

Аллан МЕГИЛЛ

Историческая ЭПИСТЕМОЛОГИЯ



МЕГИЛЛ АЛЛАН

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭПИСТЕМОЛОГИЯ

МОСКВА

КАН  Н⁺

2009

УДК 14.87
ББК 87.25
М 31

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)
проект № 06-03-16062д

Перевод *М. Кукарцевой, В. Кашаева, В. Тимонина,*

Мегилл А.

М 31 **Историческая эпистемология:** Научная монография (перевод Кукарцевой М., Кашаева В., Тимонина В.). М.: «Канон⁺» РООИ «Реабилитация», 2009. — 480 с.

Научный редактор — д. и. н., профессор *Л. П. Репина*

ISBN 978-5-88373-150-0.

Книга американского историка Аллана Мегилла подводит итог многолетним исследованиям автора в области проблем исторической эпистемологии и одновременно предлагает контуры структуры того типа мышления, которое называют историческим. Показывая широкую панораму движения исторического познания от классического историзма Ранке, через спекулятивную философию истории и концепции истории школы «Анналов», через полемику между представителями исторической герменевтики и сторонниками модели охватывающего закона К. Гемпеля к идее «исторического возвышенного» Х. Уайта, автор выявляет суть интриги развития истории как научной дисциплины с конца XIX века по настоящее время и вместе с этим специфику исторического дискурса в целом.

This book, by the American historian Allan Megill, sums up long-term researches by the author in the field of historical epistemology, while also outlining the structure of historical thinking. Megill gives a panoramic view of historical knowledge, including such topics as the classic historicism of Ranke, speculative philosophy of history, the historical concepts of the Annales school, the debate between representatives of historical hermeneutics and supporters of Carl Hempel's covering law model, the relations between history and memory, objectivity in history, the role of speculative in history, and Hayden White's "historical sublime." The author reveals both the essential plot-line of history's development as a scientific discipline and the distinctiveness of historical discourse as a whole.

УДК 14.87
ББК 87.25

ISBN 978-5-88373-150-0

© Мегилл А., 2009
© Кукарцева М., Кашаев В.,
Тимонин В., перевод, 2009
© Издательство «Канон⁺»
РООИ «Реабилитация», 2009

Слова признательности

В моих размышлениях об истории и о том, как она должна быть написана, я испытал влияние многих людей. В предыдущих изданиях статей, вошедших в этот сборник, я выразил благодарность многим из них за помощь. Здесь, в минималистском духе, я воздерживаюсь от перечисления всех имен. Я просто скажу, что многие коллеги высказали мне свои соображения.

Филипп Хоненбергер был для меня чрезвычайно важным помощником в написании этой книги. Он вдохновлял работу и в то же время много сделал для ее улучшения. Он также, вместе со Стивеном Шепардом, выступил соавтором главы IX.

Я благодарю многих студентов университетов штатов Айова и Вирджиния, которые слушали мои курсы по философии истории, историографии и другим, связанным с ними разделам, и внесли, таким образом, свой вклад в разработку некоторых из идей данной книги.

Университет Вирджинии предоставил мне творческий отпуск в весенних семестрах 1994, 2000 и 2005 годов и помощь с расходами на исследования. Без такого творческого отпуска (хотя, преподавание обычно больше помогает, чем препятствует в моей работе: педагогика, в конце концов, является истинным результатом исследований) я не сумел бы закончить работу. Фонды и превосходное обслуживание в библиотеке имени Олдермена Университета Вирджинии также весьма способствовали завершению этой книги.

Самую большую признательность хочу выразить Рите и Марии Фельски, а также благодарность за постоянную поддержку Джейсону, Джонатану и Джессике Мегилл.

В марте 2005 года я предпринял поездку в Россию в связи с проектом перевода этой книги. Я хочу выразить благодарность прежде всего профессору МГУ им Ломоносова Марине Кукарцевой за помощь в организации моей поездки, а также ректорату и коллективу кафедры философии и психологии МГТУ «МАМИ» за теплый прием и радушие. Отдельное спасибо переводчи-

кам книги, особенно профессору М. А. Кукарцевой, которая много сделала для подготовки рукописи к изданию в России, и научному редактору, доктору исторических наук, профессору Л. П. Репиной, бескорыстная и кропотливая работа которых сделала возможным издание книги в России.

Части этой книги были в разное время опубликованы в некоторых иных изданиях. Я благодарю прежних редакторов и издателей за их веру в мою работу и за разрешение на ее переиздание.

Первоначальные названия и места публикации таковы:

«History with Memory, History without Memory» – эта глава была впервые представлена в виде доклада в Институте гуманитарных наук в Вене весной 2000 года;

«History, Memory, Identity» // *History of the Human Sciences*. Vol. 11. № 3. 1998. P. 37–62;

«Does Narrative Have a Cognitive Value of Its Own?» // Horst Walter Blanke, Friedrich Jaeger, and Thomas Sandkühler, eds., *Dimensionen der Historik: Geschichtstheorie, Wissenschafts-geschichte und Geschichtskultur heute: Jörn Rüsen zum 60. Geburtstag*. Köln: Böhlau, 1998. S. 41–52;

«Recounting the Past: “Description”, Explanation, and Narrative in Historiography» // *American Historical Review* 94, 1989. P. 627–653;

«Fragmentation and the Future of Historiography» // *American Historical Review*. Vol. 96. 1991. P. 693–698;

«“Grand Narrative” and the Discipline of History» // Frank Ankersmit and Hans Kellner, eds. *A New Philosophy of History*. London: Reaktion Books, 1995. P. 151–173, 263–271;

«Coherence and Incoherence in Historical Studies: From the Annales School to the New Cultural History» // *New Literary History*. Vol. 35. 2004. P. 207–231;

«Four Senses of Objectivity». *Annals of Scholarship*. Vol. 8. 1991. P. 301–320 // repr. in *Rethinking Objectivity*, ed. A. Megill. Durham, N. C.: Duke University Press, 1994;

«Are We Asking Too Much of History?» // *Historically Speaking*. Vol. 3. № 4. April, 2002. P. 9–11;

«The New Counterfactualists» // *Historically Speaking*. Vol. 5. № 4. March, 2004. P. 17–18.

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Мне очень приятно представить эту работу российской публике. Я предназначал ее для англо-говорящих читателей, в частности для американцев, и не думал о том, что она могла бы стать русским так же, как и американским предприятием. Эти две страны очень различны – как в их истории, так и в сегодняшней социально-экономической и политической ситуации. И все же я полагаю, что эта книга может говорить и с российскими читателями (и, возможно, более ясно и непосредственно, чем с американцами), потому что в эпоху СССР попытки поставить историю на службу идеологии были гораздо более явны и очевидны, чем их более изящные эквиваленты в Соединенных Штатах.

Мой главный интерес в этой книге заключается в рассмотрении аргументов и обоснований, которые позволяют ответить на вопрос: на каких основаниях мы принимаем оценки прошлого, которые предлагают нам историки и другие люди? Или, говоря немного другими словами: как лучше всего мы можем избежать историографической ошибки? «Историческая эпистемология», к которой я обращаюсь, занимается исследованием правил, предназначенных для обнаружения и предотвращения такой ошибки. Но никто не может понять доказательную сторону исторического исследования и исторического описания без понимания других связанных с ней тем. Поэтому в книге также рассматриваются описание, объяснение и интерпретация в истории; роль памяти в историографии (и аргументы против нее); структура предположений в историческом исследовании и в историческом описании, задаваемая (как правило, имплицитно) понятиями «парадигмы» и «большого

нарратива»; объективность и место рассуждений (или «абдукция») в историческом исследовании. В этой книге также разбираются несколько частых ошибок в историографии и особенно разделяемое многими представление о том, что историк должен стремиться передать нам «непосредственный» опыт прошлого.

Прежде всего, я должен обратить внимание на то, что в мои намерения не входит предлагать теорию историописания, потому что я не думаю, что можно предложить какую-то единственную его теорию вообще или исторической эпистемологии в частности. Во всяком случае, нельзя предложить никакой *приемлемой* теории. Скорее, в этой книге дается некоторая совокупность теоретических размышлений об исторической эпистемологии, а именно – о проблеме границ и условий исторического знания. Эти теоретические рассуждения сформировались в ходе рассмотрения специальных примеров, причем результат следует искать именно в тех общих теоретических положениях, которые будут предложены в этой книге, а не в освещении специальных примеров. В меньшей степени моя цель состоит в том, чтобы внести вклад в философскую экспертизу эпистемологических проблем; скорее, она в том, чтобы побудить (или призвать еще раз) практикующих историков – и особенно (но не только) начинающих – обратиться к эпистемологическому аспекту их работы. Я постоянно возвращаюсь к этой проблеме с разных сторон и надеюсь таким образом стимулировать собственные размышления читателя. Сверх того я надеюсь, что читатель примет те теоретические положения, которые предлагаются в книге, и применит их к своей собственной практике чтения и написания истории.

Во введении я размышляю над случаями удачной и неудачной эпистемологической практики, черпая мои приме-

ры из так называемой «новой» культурной истории, которая с недавних пор играет доминирующую роль в профессиональном историописании в Соединенных Штатах.

В главе I, «Память», рассматриваются проблемы, обозначенные во введении. Две части в ней посвящены критическому анализу часто раздающегося заявления о том, что история есть просто форма памяти. Параграф 1, «История с памятью, история без памяти», прямо критикует это предположение, но в то же время доказывает, что без «памяти» нельзя обойтись. В параграфе 2, «История, память, идентичность», к указанному биному добавляется «идентичность». В главе обсуждается вопрос о том, что для нынешнего поколения идентичность стала одновременно и проблематичной, и высоко ценимой категорией в американской культуре, как и в любой другой. Идентичность тесно связана с памятью и обе они имеют сложное отношение к истории.

Глава II, «Нарратив и познание», обращена к познавательному аспекту исторического нарратива. Параграф 1 этой главы, «Имеет ли нарратив собственную познавательную ценность», начинается с тезиса Луиса Минка о том, что возможно распознать «концептуальные предположения», встроенные в нарратив. Параграф 2, «Нарратив и четыре задачи историописания», рассматривает познавательную сторону работы историка, разбирая четыре задачи историографии: описание (дескрипция), объяснение, аргументация, или обоснование, и интерпретация.

Глава III, «Фрагментация», обращена к расколу исторического исследовательского поля, который возник в границах академической историографии. Эта фрагментация появилась потому, что возникли и вошли в конфликт друг с другом различные интерпретирующие перспективы. Действительно, кажется, что фрагментация есть неизбежное

последствие интерпретирующего характера исторического исследования и исторического описания. Моя позиция заключается в том, что эпистемологически ответственной историографии следует, скорее, идти в ногу с такой фрагментацией.

В параграфе 1 главы III, «Фрагментация и будущее историографии: размышления о работе Питера Новика “Эта благородная мечта”», рассматривается проблема фрагментации истории по следам последней части известной книги Питера Новика, вышедшей в 1988 году, где он описывает американскую историческую профессию, в которой в то время, когда он писал свою работу, не было «никакого короля», т. е. не было доминирующего консенсуса. Параграф 2, «“Большой нарратив” и дисциплина истории», является гораздо более длинным и более сложным, но я надеюсь, что он возместит то внимание, которое читатель уделит ему. В нем предлагается ряд дистинкций и перспектив, которые являются весьма важными для тех, кто хочет понять природу историографической связности. В этом параграфе также исследуются варианты выбора историка, которые появляются тогда, когда отвергается идея существования универсальной истории.

Несмотря на очевидное разнообразие интерпретирующих перспектив, применяемых к историческому прошлому, сохраняется устойчивая тенденция к восстановлению связности («recoherentization») истории. В главе IV, «Связность», состоящей из одного параграфа, «Связность и непоследовательность в исторических исследованиях: от школы “Анналов” до новой культурной истории», я исследую эту тенденцию. В центре главы – наиболее влиятельная школа исторического исследования и историописания второй половины XX столетия – французская школа «Анналов». Такие мэтры школы, как Люсьен Февр и Фернан

Бродель стремились написать «тотальную историю» (или, как однажды назвал ее Февр, «тоталитарную историю»). Их усилия потерпели неудачу. Впоследствии новое поколение историков, тесно связанных со школой «Анналов», изобрело «новую культурную историю». Эти историки больше не стремятся написать тотальную историю, поскольку они хорошо понимают, что о прошлом может быть написано гораздо больше того, что когда-либо возможно поместить в единый, «тотальный» взгляд на историю. Но все же они обращаются к связности – *навязанной* связности, обоснование которой они находят в идее Томаса Куна о том, что научные дисциплины обычно объединяются приверженностью всех компетентных исследователей к единственной «парадигме», или модели, научного исследования.

Глава V обращается к двум взаимосвязанным темам – «Объективность и рассуждение» в истории. В параграфе 1 – «Объективность для историков» – кратко рассматривается широко обсуждаемая проблема объективности. Здесь доказывается, что объективность есть весьма сложная идея. В ее основе нет никакого *единственного* значения, а скорее, как предполагается в главе, она имеет их четыре – различных, хотя и связанных между собой, составляющих объективность в ее абсолютном, дисциплинарном, диалектическом и процедурном смыслах. Все четыре смысла объективности существенны для исторической работы: они составляют своего рода «фактор X», который позволяет заниматься историей, а не простой пропагандой. В параграфе 2, «Проблема исторической эпистемологии: что знали соседи о Томасе Джефферсоне и Салли Хемингс?» (соавторы С. Шепард и Ф. Хоненбергер), ставится проблема, с которой историки всегда сталкиваются в своей работе, – эту проблему социологи осторожно называют

проблемой «неполноты данных». Один из способов иметь дело с неполными данными заключается в принятии позиции агностицизма: не делать никаких заявлений о прошлом, если нельзя быть совершенно уверенным в их истинности. Но, следуя такой стратегии, историки могли бы предложить читателю только «разрозненные эмпирические фрагменты», как отметил историк и теоретик истории XIX века И. Г. Дройзен. Для того, чтобы написать любую достойную работу по истории вообще, историки должны рассуждать.

Название главы VI, «Против моды дня», говорит само за себя (хотя можно сказать, что многое из остальной части этой книги также подвергает сомнению сегодняшнюю моду). Параграф 1, «Против непосредственности (не слишком ли многого мы ждем от истории?)», привлекает внимание к необоснованному, непродуманному, даже самонадеянному, характеру допущения о том, что историк может и должен стремиться к воссозданию опыта людей прошлого в его прямой непосредственности. В параграфе 2, «Воображаемая история: о “Виртуальной истории” Найалла Фергюсона и подобных работах» я размышляю о месте контрфактического моделирования в исторических исследованиях.

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

Представленная вниманию российского читателя книга является дебютом американского историка Аллана Мегилла на российской интеллектуальной сцене. А. Мегилл (1947 г. р.), профессор истории университета Вирджинии (США), специалист в области истории идей и исторической теории, крупный представитель интеллектуальной истории. Автор известных работ: «Пророки постмодерна: Ницше, Хайдеггер, Фуко и Деррида» (1985); «Карл Маркс: бремя мотива» (2002), а также ряда работ по теории истории. Его книга «Историческая эпистемология» издана в США в 2007 году издательством Чикагского университета, в этом же году она выходит в Китае, в издательстве Пекинского университета, и в России. Примечательно, что автор предложил свою рукопись к изданию именно в этих «постмарксистских», как он подчеркивает, странах. По его мнению, интерес к истории, к историческому мышлению и особенно к теории истории одинаково велик как в России, так и в Китае, что во многом объясняется долгим господством в социально-гуманитарной мысли этих стран известной философской традиции, приведшей к трудновосполнимым лакунам в историческом знании.

Мегилл обращает внимание на то, что прежде всего его работа адресована начинающим историкам, студентам и аспирантам, неофитам, а также всем, кому интересны методологические проблемы работы историка. «...эта книга предназначена для пока еще непосвященных, она – введение в те проблемы, которые сегодня актуальны», – пишет он во «Введении». Мегилл рассуждает о том, говоря словами известного отечественного историка, «как думают историки»¹. Но, в отличие от своего российского коллеги,

¹ *Копосов Н. Е.* Как думают историки. М., 2001.

он сомневается в возможности дать более-менее четкий ответ на этот вопрос. «Безусловно, чтобы выяснить, что именно историки действительно думали – или думают – о таких вопросах, нужно было бы проделать научно-исследовательскую работу исключительной сложности, и результаты были бы проблематичными из-за того факта, что историки не всегда думают ясно, или вообще не думают, о тех проблемах, на которые теоретически ориентируются», – пишет он.

Учитывая адресата и цели издания, переводчики книги старались в своих примечаниях максимально четко разъяснять суть приводимых автором терминов и концепций, сюжеты малоизвестных исторических событий, смысл метафор, нередко имеющих хождение только в американской культуре последнего времени. Это повлияло и на выбор концепции перевода, основной идеей которой стала «установка на читателя», на удобочитаемость текста. При сохранении ссылки на англоязычное или другое приводимое А. Мегиллом издание, мы одновременно давали отсылку и к русским изданиям цитируемых им текстов, для того чтобы читателю в случае необходимости было бы просто найти заинтересовавшую его работу¹. Кроме того, мы сочли необходимым вкратце ввести читателя-неофита в круг проблем и основных этапов развития исторической эпистемологии.

Сам термин «эпистемология», где акцент сделан на первой части – «эпистеме», означает учение о твердом знании, в отличие от гносеологии, где акцентируется «гно-

¹ О проблемах перевода см. замечательную статью: Автономовой Н. С. «О философском переводе» // Вопросы философии. 2006. № 2; См. также: Руднев В. П. Вступительная статья к книге: Н. Малькольм. «Состояние сна». М., 1993; Целищев В. В. Вступительная статья к книге: Р. Рорти. Философия и зеркало природы. Новосибирск, 1997; Гаспаров М. Мастерство перевода. М., 1971; и др. работы.

гос» – слово, учение. Оба термина имеют древнегреческое происхождение, но первый из них приобрел широкое распространение в англоязычном научном дискурсе¹. Долгое время было принято трактовать гносеологию как общую теорию познания, а эпистемологию – как теорию научного познания. В отечественной философии последних лет принято понимать под эпистемологией «область традиционно философских исследований, в которой предметом анализа выступают проблемы природы, предпосылок и эволюции познания (в том числе научного), вопросы об отношении знания к действительности и условиях его истинности. Таким образом, эпистемология – это практически то же самое, что и теория познания, т. е. философская концепция, философское учение о познании»². В самом общем виде, в зависимости от задач исследования, эпистемологию подразделяют на *нормативную (традиционную)* – выявление стандартов и норм познавательного процесса, нацеленных на его совершенствование, и *дескриптивную* – описание и исследование реального познавательного процесса. В первой половине XX века нормативная эпистемология реализовывала различные программы эмпиризма и рационализма, а дескриптивная апеллировала к психологизму, натурализму, эволюционизму. В результате развернувшихся дискуссий постепенно сформировался ряд относительно самостоятельных направлений эпистемологии XX века: *эволюционная*, имеющая целью исследование биологических предпосылок познания в филогенезе и объяснение познавательного процесса на основе теории эволюции, развиваемой в биологии (имеет 2 значения: исследование эволюции органов познания и познавательных способно-

¹ См.: Микешина Л. А. Философия познания. М., 2002.

² Меркулов И. П. Эпистемология (когнитивно-эволюционный подход). СПб., 2003. Т. I. С. 7.

стей – К. Лоренц, Г. Фоллмер, Р. Ридль и др.; модель роста знания и развития научного знания – К. Поппер, С. Тулмин, Т. Кун и др.)¹; *генетическая*, анализирующая специфику когнитивных структур человеческого интеллекта в его индивидуальном развитии (Ж. Пиаже, Р. Гарсиа и др.); *натуралистическая*, исследующая и объясняющая человеческое познание в онтогенезе, исходя из методологических идей психологии, естествознания и онтологии (У. В. О. Куайн и др.)²; *аналитическая*, основанная на англо-саксонской аналитической философии, отличающейся усиленным акцентом: 1) на логическом исследовании языка (Б. Рассел, Л. Витгенштейн, М. Шлик, Венский кружок и др.), философии обыденного языка (поздний Л. Витгенштейн, Дж. Остин, П. Стросон и др.), философии науки, где знание исследовалось таким, каким оно зафиксировано в языке (Д. Дэвидсон, Б. Страуд, и др.); 2) на анализе биологических и психологических механизмов формирования, обработки и получения знания; на анализе пропозиционального и процедурного знания и пр. (Г. Фейгл, Х. Патнем, Дж. Серль и др.)³; *компьютерная*, основанная на исследовании и адаптации к решению проблем познания различных моделей обработки информации (П. Таггард и др.), *социальная*, исследующая знание с точки зрения ценностей, традиций, форм коммуникации и пр. (Д. Блур, С. Фуллер, Э. Голдман).

При этом необходимо подчеркнуть, что в современной философии нет единства мнений по поводу выявления ос-

¹ См.: Меркулов И. П. Эпистемология (когнитивно-эволюционный подход). СПб., 2003. Т. I. Ч. I.

² См. об этом: Кезин А. В. «Натуралистический поворот» в современной эпистемологии // Философия в XX веке Сборник обзоров и рефератов. Ч. I. М., 2001. С. 43.

³ К аналитической эпистемологии можно отнести и идеи натуралистической эпистемологии Куйана, если принять во внимание его принадлежность к аналитической философии.

новых направлений эпистемологии. Многочисленные журналы, посвященные проблемам эпистемологии, издающиеся, например, в США, предлагают значительное число различных типологий эпистемологии. Такой разброс мнений свидетельствует не только о трудностях примирения конфликтующих точек зрения, но и о сложности и многоплановости современной эпистемологии.

Указанная сложность свойственна и исторической эпистемологии. Ее рассматривают в трех разных контекстах. Во-первых, как область философии и методологии науки, где историческая сторона знания исследуется в границах «использования принципа историзма в анализе проблем науки»¹. В этом аспекте историческую эпистемологию от Платона до Канта, исследует, например, Якко Хинтиikka². Представляет здесь интерес и монография М. Тайлс и Дж. Тайлс, в которой рассматриваются проблемы трансформации знания в контексте бэконовской теории идолов в познании. Авторы выделяют и исследуют четыре препятствия на пути развития знания: проблема извлечения знания – идолы «рода»; проблема философской традиции – идолы «театра»; проблема языка науки – идолы «площади»; проблема истории науки – идолы «пещеры»³.

Во-вторых, историческая эпистемология мыслится *разделом социальной эпистемологии*, которая понимается как территория пересечения эпистемологии и социологии; как исследование того, что люди в разных сообществах называют знанием. «Главные вопросы, которые меня интересуют, есть беспристрастное исчерпывающее значение кон-

¹ Соколова Л. Ю. Историческая эпистемология во Франции. СПб., 1995. С. 134.

² Jaakko Hintikka. Knowledge and the Known. Historical Perspectives on Epistemology. Dordrecht-Boston, 1974.

³ Mary Tiles & Jim Tiles. An Introduction to the Historical Epistemology. The Authority of Knowledge. Oxford-Cambridge (USA), 1993.

цепта «производства знания», которое включает в себя то, каким образом определенные лингвистические артефакты («тексты») начинают сертифицироваться как знания; возможное выявление паттернов таких артефактов (особенно того, как они используются для производства других подобных им артефактов, а также артефакты, имеющее политические и другие культурные последствия); производство определенных установок исследователей на природу всего предприятия знания (таких, например, как вера в «прогресс»)¹, – пишет основатель социальной эпистемологии Стив Фуллер.

Понятие «исторической эпистемологии» было введено Марксом Вартовски и означает исследование роли теоретических концепций разного рода в способах познания, свойственных науке и искусству, и того, как эти концепции соотносятся с исторически изменяющимся контекстом человеческой деятельности. «Знание есть предмет исторической эволюции»², – считал Вартовски. Историческая эпистемология исследует, таким образом, то, как в ходе истории знание конструируется обществом и как это знание исторически изменяется. Вартовски полагал, что наши способы репрезентации реальности принимают фор-

¹ Steve Fuller. *Social Epistemology*. Indiana Univ. Press, 1988. P. XI–XII. См также журнал: *Social Epistemology. A Journal of Knowledge, Culture and Policy* (<http://www.tandf.co.uk>), издающийся с 1987 года; недавно (год назад) основанный журнал *Episteme. Journal of Social Epistemology* (www.episteme.us.com); Касавин И. Т. Социальная эпистемология: понятие и проблемы // *Эпистемология и философия науки*. 2006. Т. VII. № 1. С. 5–16.

² Marx Wartofsky. *Models, Representation and Scientific understanding* // *Boston Studies in the Philosophy of Science*. Boston, 1979. P. XIII; Он же. *Epistemology Historised* // *Naturalistic Epistemology* A. Shimony & D. Nails ed. Dordrecht, 1987; Он же. *Readings in Historical Epistemology* (unpublished manuscript: course lectures notes. 1990).

му того, что мы наблюдаем. Например, понятие и концепции сексуальности. В их исследовании пересекаются история науки и культурная история, т. к. понятия сексуальной «нормы» и «девиации» выработаны одновременно наукой и моральными установками общества, формирующимися в ходе его истории. «Историческая эпистемология пытается показать, каким образом такая новая форма опыта, которую мы называем “сексуальностью” (...когда “existence” становится “sexistence”) связана с возникновением новых структур знания и особенно с новым стилем мышления и используемым им понятиями»¹. Способы «конструктивизма» и «деконструктивизма» знания становятся ключевыми, вместо старых конструкций появляются новые (black-blackness; women-femininity; children-childhood; government-governing) и пр.² Изменяется и понятие самого субъекта познания. Как известно, М. Фуко, например, сформулировал концепцию историзации субъекта, осуществляемую через исследование дискурсивных практик общества, названную им генеалогией³. В ходе конструирования нового знания, таким образом, самое пристальное внимание уделяется его истокам в социальном и историческом контексте, его происхождению из деятельности человека и изменению характеристик этой деятельности в истории. В связи с этим И. Т. Касавин, например, понимает историческую эпистемологию как *«составную часть неклассической теории познания»* (курсив мой. — М. К.), являющуюся «ис-

¹ Davidson A. The Emergence of Sexuality // Historical Epistemology and the Formation of Concepts Cambridge, MA: Harvard University press, 2001. P. XIII.

² См.: Constructivism and Practice Towards a Historical Epistemology. C. Gould ed. Oxford, 2003.

³ Фуко М. Археология гуманитарного знания М., 1996. О проблеме исследования различных концепций дискурса см. также: Discourse Synthesis. Studies in Historical and Contemporary Social Epistemology. Ed. R. McInnis. Connecticut-London, 2001.

торическим исследованием познания и одновременно – теоретико-познавательным анализом истории»¹. Здесь предметом исторической эпистемологии становятся и история познания и «историческое априори», в котором кроме когнитивного момента «схвачен» и экзистенциально-эмоциональный элемент исторических феноменов (исторические представления о Мире, Труде и Справедливости и феноменологические описания Веры, Надежды, Любви, например, как направлений духовного постижения мира), что дает возможность рассмотреть и коллективное (деятельность) и индивидуальное (мотивацию поведения) одновременно².

Кроме того, понимание исторической эпистемологии как раздела социальной эпистемологии связано с исследованием гносеологических проблем познания настоящего, прошлого и будущего. В этом случае центральные вопросы исторической эпистемологии можно сформулировать так: что значит – «мыслить исторически?»; что значит – «исторический метод мышления?»; «как осуществляется реальный процесс исторического познания», а ее предметом становится познание законов и тенденций прошлого, настоящего и будущего истории, выявление и формулирование всех возможных эвристических принципов и методов исторического исследования³? Историческая эпистемология есть способ максимизации возможностей формулировать истинностные утверждения (или, по крайней мере, конструктивные, не разрушающие историческое знание предположения) о прошлом. Невозможно определить от-

¹ *Касавин И. Т.* Традиции и интерпретации. Фрагменты исторической эпистемологии. СПб., 2000. С. 17, 20.

² Там же. С. 14–17; см. также; *Касавин И. Т.* Миграция. Креативность. Текст. Проблемы неклассической теории познания. СПб., 1999. Особенно «Введение». С. 9–21.

³ См об этом: Теория познания. Т. 4. Познание социальной реальности. Разд. 3, 4. М., 1995; *Копосов Н. Е.* Как думают историки. М., 2001; *Он же.* Хватит убивать кошек! М., 2005; *Marcello Muste.* La storia: teoria e metodi. Roma, 2005; *J. Rusen.* History: Narration, Interpretation, Orientation. New York: Berghahn, 2005.

правные точки исторического анализа, иначе чем через отношение их к основаначалам знания вообще. Любой теоретик и методолог истории должен исходить из уяснения того факта, что на рубеже XX–XXI веков в такой древней дисциплине, как история, ключевыми становятся «проблемы, в первую очередь, методологические»¹. Такое толкование исторической эпистемологии можно назвать *историологией*.

В-третьих, историческая эпистемология входит в область *философии истории* как своей большей категории – *раздела социальной философии*. Философия истории в широком смысле включает в себя четыре основных паттерна: работы по философии историографии, т. е. о методах и теоретических допущениях в исторических исследованиях²; работы, исследующие саму теорию истории и ориентированные на практикующих историков³; работы по исторической теории, которые обращены в большей степени к философам, чем к историкам, например – аналитическая философия истории⁴; работы классической (спекулятивной)

¹ Гайденок П. П. Категория времени в буржуазной европейской философии истории XX века // Философские проблемы исторической науки. М., 1969. С. 226.

² Например: Iggers, Georg G. *Historiography in the twentieth century: from scientific objectivity to the postmodern challenge*. Wesleyan Hanover. N H: Wesleyan University Press, 1997; Burke, Peter, ed. *New Perspectives in historical writing*. Univeristy Park: University of Pennsylvania Press, 1992.; Kammen, Michael, ed. *The Past Before Us: Contemporary Historical Writing the United States*. Ithaca: Cornell University Press, 1980.; Kaye, Harvey J. *The British Marxist Historians*. Cambridge: Polity Press, 1984.

³ Например: Braudel, Fernand. *On History*. Trans. Sarah Matthews. Chicago: University of Chicago Press, 1980; White, Hayden. *Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1985; Фуко М. Археология знания. М., 2004.

⁴ Например: Данто А. Аналитическая философия истории. М., 2004; Гемпель К. Функция общих законов в истории // Карл Гемпель. Логика объяснения. М., 1998; работы В. Дильтея по исторической герменевтике. Gardiner, Patrick, ed. *Theories of History*. N. Y.: Free Press, 1959.

философии истории, в которых речь идет о самом историческом процессе, его преимущественных детерминантах, направлении, смысле и пр.¹ Безусловно, указанные разделы могут пересекаться между собой частью объемов; например, работы по теории истории могут быть с настоятельностью восприняты историками и представлять интерес в основном для философов и даже шире – для культурологов; точно так же работы по аналитической философии истории, при всей их спорной полезности в реальной исторической практике, могут вызывать у практикующих историков самый живой отклик.

Специфика философии истории заключается в том, что она вообще может заниматься тем, что считает нужным: от проблем науки и критериев научности и рациональности в историческом знании до внерационального, мифо-поэтического, эзотерического постижения истории. Форма бытия знания философии истории – философские абстракции, бывают разных уровней обобщения. Чем выше уровень, на который выходит философ, тем более отвлеченной становится историческая реальность. Абстракции философии истории имеют самые разные формы выражения, нередко, с точки зрения исторической науки, совершенно неадекватные сущности исторического процесса и методологии его познания (например, философия истории М. Фуко многим историкам кажется абсолютно а-исторической, хотя философская мотивация работ Фуко вписывается в vitalный интерес историков к практике исторических исследований). В данном случае философско-историческое знание характеризуется слабой проверяемостью; философия истории смотрит на историю с точки зрения, вынесенной за пределы истории, акцентирует философию в философии истории и отрицает пределы философ-

¹ Труды Вольтера, Руссо, Кондорсе, Канта, Гегеля, Маркса, Шпенглера, Тойнби, Сорокина, а также Ницше, Хайдеггера, Лёвитца, Коллингвуда и др.

ской интерпретации истории. С другой стороны, философско-историческое исследование не может состоять из одних абстракций. Логическая схема истории должна наполняться историческим материалом, а философ истории должен иметь некое «историческое чувство», для того чтобы его понимание природы анализируемого было отрефлексированным, а не внешним или вымышленным описанием некоторых событий. Здесь эмпирическая сторона философии истории понимается как критическое исследование исторических источников и фактов; философия истории смотрит на историю с точки зрения самой истории, акцентирует историю в философии истории, постулирует закономерные ограничения наличных объяснительных и интерпретационных схем. Таким образом, философия истории амбивалентна, она – продуктивный синтез вненаучного знания и рационализма. С одной стороны – это умозримое построение истории, т. к., чтобы подняться над доступным эмпирическим материалом, необходимо найти точку баланса, дабы не нарушать перспективу. С другой стороны, теоретические предпосылки философии истории опираются на обобщение эмпирических данных других наук – семиотики, информатики, исторической психологии, исторической поэтики и пр. Главное – избежать непоследовательности в применении тех принципов, которые были приняты как обязательные.

Философия истории XXI века чрезвычайно широка по объему. Она охватывает такие проблемы, как политическое присвоение прошлого и политологические паттерны исторического дискурса; презентация прошлого: музеи, памятники, коммеморация; масс-медия и репрезентация ближайшего прошлого; глобализованная история; новые национальные субъекты и идентичности; коллективная память и ретроспективная интерпретация социального про-

шлого; память как «открытая рана»: апелляция к прошлому и способы ее выражения в искусстве и литературе; границы философской интерпретации исторического процесса; новые тенденции в современной историографии и пр.¹ При этом надо заметить, что удельный вес философско-исторических исследований в мировой философской мысли относительно невелик. По сути дела, можно назвать только один действительно влиятельный журнал, посвященный исследованию философско-исторических проблем – *History and Theory. Studies in the Philosophy of History*². В нем публикуются интересные материалы по самым разным проблемам философии истории. Одним из постоянных авторов журнала и членом его редколлегии является Ф. Анкерсмит – самый интересный и глубоко мыслящий (наряду с Р. Козеллеком) теоретик и философ истории сегодня³.

В представленной монографии историческая эпистемология рассмотрена как *философия истории и как историология*, т. е. как часть социальной эпистемологии и как часть социальной философии.

«Неимоверно убыстрившийся и сопровождающийся катаклизмами ход исторического развития грозит утратой исторической памяти и вместе с ней – чувства преемственности с прошлым. Кто, как не историк, призван восстанавли-

¹ См. материалы II Международного конгресса по философии истории. (II International Congress for Philosophy of History. Rewriting Social Memory. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. Catedra de Filosofía de la Historia. Buenos Aires, 11–12 October 2006.

² *History and Theory. Studies in the Philosophy of History* Wesleyan University press. <http://www.jstor.org>

³ *R. Koselleck. The Practice of Conceptual History (Timing History, Spacing Concepts). Stanford university press, 2002; Он же. Futurest Past. On the Semantic of Historical Time. Mass, 1985. О философии истории см.: The Philosophy of History: A Re-Examination. W. Sweet ed. Aldershot (UK), 2004; J. J. A. Mooji. Time and Mind: History and Philosophical Problem (Brill's Studies in Intellectual History. № 3). Boston, 2005. P. 287.*

ливать и культивировать историческую память?» – подчеркивал выдающийся отечественный историк А. Я. Гуревич¹. В топиках философии истории последних двух десятилетий доминирующим предметом исследований является проблема памяти. Наиболее полным описанием и анализом направлений исследования памяти в мировой философско-исторической мысли является книга «Изобретая прошлое: исследования памяти в культуре и истории» (под ред. Отто Хейма и Каролин Вэйдмер) – от памяти как текстуальности до таких ключевых сегодня понятий в исторических исследованиях как «травма», «опыт», «молчание»². Новым и очень интересным в этой связи направлением исследований, является «постколониальная история», где историки, философы и культурологи пытаются переосмыслить историю как процесс, в котором «пост-имперское» поколение переписывает историю не как хронику, а как свой жизненный опыт; акцентируют внимание на маргинальных для общего направления истории западных стран вопросах исторического времени и пространства. Здесь заслуживает внимание книга весьма популярного сегодня в США автора Дипеша Чакрабарты «Провинциализированная Европа – постколониальное мышление и историческое различие»; на нее ссылается Мегилл, анализируя проблему памяти в первых главах настоящего издания³. В определенной

¹ Гуревич А. Я. Историк конца XX века. В поисках метода // Одиссей, 1996. С. 6; см. об этом также: П. Хаттон. История как искусство памяти. СПб., 2003; Век памяти, память века. Опыт обращения с прошлым в XX столетии: Сборник статей. Челябинск, 2004.

² *Inventing the Past: memory work in culture and History* O. Heim. & C. Weidmer ed. N. Y., 2005; см. Также; G. Rosenfeld. *The World Hitler Never Made: Alternative History and the Memory of Nazism*. N. Y.: Cambridge university press, 2005. P. 524.

³ Chakrabarty *Provincializing Europe. Postcolonial Thought and Historical Difference* Princeton University press, 2000; см. Также: Partha Chatterjee. *The Nation and its Fragments. Colonial and Postcolonial Histories*. Oxford University press, 1994; и др.

мере программной для сегодняшней философии истории можно считать статью Элко Руния «Настоящее», в которой он, в связи с увеличивающимся значением памяти в исторических исследованиях, предлагает создать «новую философию истории». В центре нее должно находиться «...что-то фундаментальное, что-то вне самой философии истории, в самом обществе ... само настоящее»¹.

В разделе «Память» Мегилл рассматривает обширный круг вопросов, связанных с проблемами исторической традиции, памяти, коммеморации. В понимании указанного феномена Мегилл часто обращается к идеям М. Хальб-вакса, согласно которому «...индивидуальная память – это точка зрения на коллективную память, изменяющаяся в зависимости от занимаемого в ней места, а само это место изменяется в зависимости от отношений, которые я поддерживаю с другими»². Т. е. индивидуальная память, фрагментарно и избирательно воссоздавая прошлое, подчиняется правилам памяти коллективной (исторической и/или социальной) и часто «лишь выражает потребности данной социальной группы»³. Без внимания американского историка не остаются и идеи П. Нора об особенностях связи истории и нации⁴. По мнению Мегилла, функционирование коллективной памяти поднимает вопросы производства,

¹ E. Runia. Presence // History and Theory. V. 45. February 2006. P. 5. В октябрьском номере History and Theory дискуссия о статусе настоящего в философско-исторических исследованиях была продолжена интересными статьями Ф. Анкерсмита, Э. Доманска и др. History and Theory. Forum: On Presence. October 2006. P. 328–336; см. об этом: Кукарцева М., Коломоец Е. Эпистемология и онтология истории // Вестник МГУ. Серия: философия. № 1. 2007.

² Halbwachs M. La memorie collective. Paris: PUF, 1970. P. 83; цит. по: В. Каради. Морис Хальбвакс: биографический очерк // М. Хальбвакс. Социальные классы и морфология. СПб., 2000.

³ Ibid.

⁴ Нора П. Франция–Память. СПб., 1999.

сохранения и передачи исторической и иной информации и манипулирования ею; формирования персональной и групповой идентичности. Американский историк подробно исследует взаимосвязи и взаимодетерминацию памяти и идентичности. Он подчеркивает, что без идентичностей – специфических конфигураций человеческого существования – не может существовать никакое историописание, поскольку тогда история испытала бы недостаток и в исторических агентах, и в центральных проблемах.

Рассматривая историческую эпистемологию как историологию, Мегилл подчеркивает, что эпистемологические проблемы всегда являются центральными для серьезной исторической работы. К сожалению, констатирует он, далеко не каждый историк сегодня руководствуется этими соображениями, так же как и ясным пониманием специфики бытия истории, особенностей основных категорий исторического познания и их отличием от категорий и методов познания природы. Он призывает возродить в историческом знании необходимость изучения историологии и определяет ее в самом общем виде как *нерешающую диалектику* или *принцип переизительности*, а это означает, что историк (в отличие, по его мнению, от философа или социолога) в области философии истории или в области методологических проблем исторического познания всегда должен воздерживаться от окончательных суждений и следовать своего рода «срединным путем», не говоря по поводу каких-либо исторических событий ни категорическое «да», ни категорическое «нет».

В связи с этим нужно обратить внимание читателя на то, что в наши дни все еще продолжает сохраняться непонимание между историками и философами, занимающимися проблемами исторической эпистемологии. «Большинство работ об эпистемологическом базисе истории публикуются сегодня в узкоспециальных журналах, где философии

больше, чем истории»¹, – сожалел, например, Т. Хамероу, представитель раннего поколения американских историков, непоколебимых «антитеоретиков», воспитанных в парадигме традиционной политической истории. Отечественный журнал «Thesis» также подчеркивал, что всякие «попытки философов уточнить границы между методологией истории и философии истории держат историков в состоянии если не войны, то вооруженного нейтралитета»², и эта ситуация не слишком изменилась и сейчас. В работах по эпистемологии истории часто доминирует элемент философской (не исторической) рефлексии, что в определенной мере оправдано, т. к. философская рефлексия способна осуществлять сложные акты дискурса, которые просто не входят в сферу компетенции истории³.

Мегилл признает это; признает он и то, что философия, в силу ее способности выйти за круг традиционных методов познавательной рефлексии (формообразование, систематизация, классификация и др.), может предложить истории новые приемы исследования, основанные на изучении нередуцируемых человеческих переживаний, аффектов, желаний как досимволических структур, активно воздействующих на сознание человека, определяющих систему означаемого в языке и весьма иллюстративно эксплицируемых в истории. Собственно, методологически ряд направлений новой истории построены на изучении подобных структур (антропологическая, психологическая школы, история снизу, устная история, квир и др.). Мегилл пишет: «Я представляю себе историков, которые могли бы транс-

¹ Hamerow T. Reflections on History and Historians. Univ. of Wisc. Press, 1987. P. 196.

² Thesis. 1994. № 4. С. 158.

³ См. интересную с размышлениями об этом в: R. Eldridge. History VS. (Epistemological) Theory // History and Theory 45 (October 2006). P. 448–454.

формировать себя в экономистов, или философов, или литературных критиков, и которые могли бы легко перемещаться взад-вперед между этими конфликтующими областями исследований (они и в самом деле конфликтующие). Я представляю себе историков, которые, в то же время, были бы интеллектуалами, со знанием дела рассуждающими как в границах историографической области исследований, так и вне ее»¹. Но, ведомые корпоративной ограниченностью, историки нередко в той или иной мере отрицают важную роль философии и ряда других наук корпуса социально-гуманитарного знания в разворачивании их системы рассуждений. Мегилл подчеркивает, что смена методов, сюжетов, оснований, целей исторического исследования стимулирует историческую эпистемологию на поиск все новых теорий и средств анализа, в связи с чем историческая эпистемология часто обращается к междисциплинарным приемам анализа, что открывает историческому исследованию различные познавательные уровни².

Междисциплинарная методология сочетает разные приемы и средства анализа не в произвольном порядке, как рядоположенные отдельные дисциплины, а строго в соответствии с реальной эпистемологической ситуацией в истории. Ну, а поскольку в последней ныне нет согласия по какой-либо из альтернативных эпистемологий, конкурирующим школам оппозиционные методологии, естествен-

¹ Что, честно говоря, вступает в некоторое противоречие с предложенным им пониманием исторической эпистемологии как принципе нерешительности. О междисциплинарности в истории см. коллективную монографию: *J. Jackson, S. Pelkey, ed. Music and History: Bridging the Disciplines. University press of Mississippi, 2005.*

² О том, нужна ли истории теория см.: *R. Koselleck. On the need for Theory in the Discipline of History // The Practice of Conceptual History. Stanford, 2002. P. 1–19;* также: предисловие Х. Уайта к этому изданию.

но, кажутся неадекватными реальным задачам исторического познания, невыполнимыми или наивными; реализация междисциплинарного подхода в ней сталкивается с рядом сложностей: угроза размывания границ предмета истории в связи с вхождением в него таких новообразований, как, например, этнопсихология, историческая поэтика, историческая климатология и пр; невыясненность техники передачи разными науками друг другу своих методик и неустановленность меры инноваций, имеющих право влиться в историю и вызвать только ее трансформацию, но не деструкцию и пр. Мегилл подчеркивает, что междисциплинарный синтез в истории нередко приводит к редукции концептуальных обобщений одной науки к другим, так что сущность собственно истории теряется. Следовательно, утверждает он, для реализации междисциплинарного подхода в истории необходимо обеспечить условия для естественного появления в ней знания новых дисциплин, но при строгом соблюдении методологических императивов своей области знания.

Как историология, историческая эпистемология оформляется только в XIX веке, хотя, например, известный английский историк П. Берк замечает, что западная историография всегда «отличается в своих основаниях склонностью к исследованию эпистемологических проблем, проблем исторического знания вообще. Историки конца XVII–начала XVIII веков разработали концепцию разных степеней правдоподобия в исторических утверждениях о прошлом и тем самым положили начало традиции взаимосвязи западной историографии и западной науки. Эта связь всегда была одновременно и тесной и сложной: одни историки объявляли себя «учеными», другие всячески отмежевывались от такого наименования. Так или иначе, но дебаты с наукой стали отличительной чертой западной историогра-

фии. Кроме того, в последней стало весьма популярным употребление термина “закон” (“трибунал” истории), а также метафорическое уподобление деятельности историка детективному или судебному разбирательству»¹.

В XIX веке историология конституировалась в контексте доминирования в научном знании позитивистского понимания единства науки, в котором предлагалось описание истории через законы науки и принципы физикалистско-объективистского детерминизма. Был сформулирован тезис, согласно которому познание истории есть каузальное *объяснение исторических событий* из некоего охватывающего (универсального) закона, который может быть социальным, психологическим, биологическим или физическим. Эти законы играют в социально-гуманитарных науках такую же роль, как и в науках естественных. Все индивидуальные случаи подводятся под охватывающие законы так, что производится логическая дедукция особенного явления из общего закона. Против такого редукционизма выступили неокантианцы баденской школы – Дильтей, Вебер, Зиммель, Арон и др., – утверждая, что все социально-гуманитарные дисциплины следуют собственным правилам, которые не являются случаями общих законов. В ходе этой борьбы сыграли ключевую роль идеи Виндельбанда о дистинкции *номологическое/идеографическое*; Дильтея – о дистинкции *объяснение/понимание*; М. Вебера – о примирении объяснительного и интерпретативного аспектов в исторической работе. Центральные вопросы историологии весьма активно дебатировались исто-

¹ P. Burke. Western Historical Thinking in a Global Perspective – 10 Theses. P. 3.; см. об этом: Особенности мышления историков на Западе // Рецензия на Western Historical Thinking. An Intercultural Debate. Berghahn Books / Ed. Jorn Rusen. N. Y.: Oxford, 2002; Вестник Московского университета. Серия «Философия». № 2. 2004. С. 31–49

риками и философами, но всегда – в контексте молчаливого соглашения о том, что недвусмысленные ответы на эти вопросы будут даны только в будущем. В целом в XIX веке дискуссии в области историологии протекали либо в контексте риторического подхода к историописанию, берущего начало от Цицерона и Квинтиллиана – «риториков»; либо в диапазоне от гегелевского требования рассматривать историю как развитие мирового духа до резкой критики исторической эпистемологии Ф. Ницше, позиционирующем себя как анти-философ истории¹, и работ Э. Бернхейма, Ш. Ланглуа и Ш. Сеньобоса² – «критических историков». Риторики были озабочены стилем исторического повествования и артикулировали сознание историка как сознание литературное; критические историки занимались исследованием методологии исторического исследования и понимали историка как методолога. Философы же истории ко всем этим проблемам высказывали небольшой интерес: они существовали в области более общих вопросов эпистемологии, как, например, Ф. Брэдли³. Из историков только Г. Дройзен в своих «Очерках историки» дал, в сущности, первое более или менее систематическое изложение исторической эпистемологии, предположив, что история принадлежит не к идеальному или материальному миру, но к миру этическому⁴.

В середине XX века утвердилось предположение о том, что убедительные (и вообще любые) ответы на вопросы о сущности истории дать нельзя. Сартр, Леви-Стросс, Хай-

¹ Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни // Собр. соч. М., 1997.

² Bergheim E. Lehrbuch der historischen Methode und der Geschichtsphilosophie. Lpz., 1908; Ш. Ланглуа, Ш. Сеньобос. Введение в изучение истории. СПб., 1898

³ Bradley F. H. The Presuppositions of the Critical History // Collected Essays by F. H. Bradley. Vol. I. Oxford University press, 1935.

⁴ И. Г. Дройзен. Историка. СПб., 2004.

деггер, позже Фуко, Деррида и др. выразили серьезные сомнения в ценности и необходимости «исторического» сознания, подчеркнули фикционный (вымышленный) характер любых исторических реконструкций. Серьезные сомнения в автономном статусе исторического дискурса спровоцировали, в свою очередь, англо-саксонские аналитические философы, предложив гигантский массив литературы об эпистемологической и культурной функции исторического мышления. Их версия звучала так: либо история есть точная наука, либо она есть подлинное искусство, и эти тезисы альтернативны. Указанные два направления исследований – европейское (в основном, структуралистское, постструктуралистское и постмодернистское) и англо-саксонское аналитическое – способствовали нарастанию интереса к эпистемологии, теории и философии истории. Все это привело к тому, что вокруг уже упоминавшегося и основанного в 1960-х журнала «History and Theory» сформировалась в целом достаточно эклектичная группа философов, социологов, историков и литературных критиков, объединившихся на основе интереса к теоретическим вопросам исторического исследования – историологии.

Основные направления их размышления можно представить (вслед за Мегиллом) четырьмя ключевыми ориентациями историологии: аналитической, герменевтической, идеалистской и нарративно-лингвистической¹. Первые три в основном относятся к дискуссиям конца XIX–начала XX века о статусе гуманитарного знания; последняя возникла только в 1970-е годы..

¹ Megill A. Historiology / Philosophy of Historical Writing // Encyclopedia of Historian and Historical Writing. Kelly Boyd ed. L, Fitzroy Dearborn, 1999. P. 499–542; см. также: Кукарцева М., Мегилл А. Философия истории и историология: грани совпадения // История и современность. 2006, № 3.

Аналитическая историческая эпистемология или, скорее, философия историографии, представляет собой междисциплинарную дискуссию о том, что может быть известно об истории (событиях прошлого) и какого рода знания могут быть предложены историографией и историописанием о прошлом. До конца 1960-х гг. развитие аналитической историологии отражало развитие философии науки, концентрируясь вокруг формального анализа историографического языка и понятий. Одним из мощных стимулов развития аналитической историологии было исследование логико-позитивисткой унифицированной модели научного знания. Историописание рассматривалось как оппозиция этой модели. Выяснение различного рода сходств и отличий между историографией, социально-гуманитарными науками, естествознанием, литературой и содержанием этих дисциплин, было главной задачей аналитической историологии. Те историки, которые разделяли идею о том, что историография есть и должна быть отраслью науки, называли себя позитивистами. Те же, кто поддерживали идею дескриптивной и нормативной автономии историографии, называли себя идеалистами или гуманитариями. Во времена «золотого века» аналитической историологии, с 1930-х по 1960-е гг. и позитивисты и гуманитарии обменивались аргументами pro и contra концепций объективности и объяснения в логико-позитивистской модели науки.

Дискуссия об *объективности* началась с обсуждения тезиса Ранке о том, что для историка научный стандарт объективности заключается в том, чтобы изобразить прошлое таким, каким «оно было на самом деле». Гуманитарии старались доказать некорректность этого тезиса тем, что историки при отборе того, какие события должны быть упомянуты в историографическом исследовании, а какие нет, часто апеллируют к эстетическим и культурным цен-

ностям. Они утверждали, что историки формулируют их утверждения так, чтобы отличить *условия*, при которых события произошли, от *причины* этих событий, поэтому историографический язык, в сущности, есть язык ценностей. Позитивисты отвечали, что все формы исследования, включая научное, селективны. Существует «объективный критерий», отличающий, благодаря концептуальному анализу терминов и сопоставлению ситуаций, каузальность от условий. Ценностно-насыщенная (валиативная) историография может быть переведена в ценностно-нейтральный язык. В 1960-е, когда философия науки пришла к заключению, о том что естествознание так же далеко от «объективности», как и знание социально-гуманитарное, гуманитарии были признаны правыми в их критике позитивистского идеала «объективности». Позитивисты, с другой стороны, были правы в том, что не существует четкой демаркационной линии между историографической «субъективностью» и научной «объективностью». Старая догма эмпиризма о том, что можно отдифференцировать «объективное» наблюдение от «субъективного» оценивания канула в прошлое и со временем стала только аналитическим, но не историографическим аргументом в защиту историографической объективности¹.

Обсуждение проблемы *объяснения* началось с работы Гемпеля «Функция общих законов в истории». Согласно идее Гемпеля, история есть не наука, а только *применение* к ней науки. Исходя из этого, он предложил универсальную модель объяснения истории, основная идея которой заключалась в том, что некоторое данное эмпирическое явление объясняется при помощи того, как объясняемое (экспланандум) выводится через логический вывод (дедук-

¹ Rethinking Objectivity A. Megill ed., Duke University Press, Durham and London, 1994.

тивный или индуктивный) из объясняющего (экспланантов). Гемпель продемонстрировал эту модель на примере автомобильного радиатора, показав взаимосвязь исходных пограничных условий, детерминирующих условий и общих физических (эмпирических) законов: автомобиль оставлен на улице на всю ночь; температура воздуха опустилась ниже 32F (°C), атмосферное давление – нормальное, замерзание воды – при температуре ниже 32F при нормальном атмосферном давлении. Из этих утверждений с помощью логического рассуждения «можно вывести заключение, что радиатор ночью даст трещину; объяснение получено»¹. Модель Гемпеля акцентировала важнейший аспект научного объяснения – связь с законами науки; кроме того, Гемпель обосновал и проанализировал *каузальную модель объяснения* и показал *значимость логики* при процедурах объяснения. Как подчеркнул А. Данто, «мир Гемпеля... был... миром логики, где императивы и приоритеты логического позитивизма были среди его основ, и ... всякий раз, когда вставал выбор между логикой и некоторым другим видом суждения, побеждала логика»².

Идеи Гемпеля положили начало дискуссии, длившейся вплоть до начала 1960-х годов. Она развернулась на страницах «History and Theory», а также резюмировалась в трех антологиях: «Теории истории» Патрика Гардинера, «Философия и история: симпозиум» Сидни Хука и «Философский анализ и история» У. Дрэй³. Ключевыми в ходе этой

¹ К. Г. Гемпель. Функция общих законов в истории // К. Г. Гемпель. Логика объяснения. М., 1998. С. 17–18

² Danto A. The Decline and Fall of the Analytical Philosophy of History // A New Philosophy of History. Ed. F. Ankersmit, H. Kellner. Univ. of Chicago press, 1995. P. 82.

³ Дрэй У. Еще раз к вопросу об объяснении действий людей в исторической науке // Философия и методология истории. Благовещенск, 2000; Вригт Г. Х. фон. Логико-философские исследования. М., 1986.

дискуссии стали идеи: У. Дрзя – о рациональном объяснении в истории; фон Вригта – о телеологическом.

По Дрзю, задачей историка является изучение индивидуальности и неповторимости каждого исторического события, а не установление общих законов. Указанные события есть результат действия людей, потому что история есть процесс человеческих действий. Отсюда следует, что историческое объяснения есть проблема объяснения совершаемых людьми *действий*. Нельзя утверждать, что Гемпель вообще не касался объяснения действий; но он полагал, что действие в истории объясняется исходя из его внешнего плана¹. По Дрзю же, историку необходимо объяснить и внутренний план действия. Объяснить можно только действия индивидуальных агентов как часть действия социальных групп, что является, по Дрзю, характерной чертой исторического объяснения вообще. Объяснить какое-либо действие – значит, показать, что оно было разумным (рациональным) при описываемых обстоятельствах. Объяснение должно осуществляться в терминах интенций и планов агента исторического действия, т. к. если поведение человека сознательно, то оно преследует определенные цели. Однако концепция Дрзя не позволяла выявить логические особенности рационального объяснения как особого

¹ Внешний и внутренний план действия в исторических исследованиях выделил Коллингвуд. «Под внешней стороной события я подразумеваю все относящееся к нему, что может быть описано в терминах, относящихся к телам и их движениям... Под внутренней стороной события я понимаю то в нем, что может быть описано только с помощью категорий мысли» (Р. Коллингвуд. *Идея истории*. С. 203). Внешний план детерминирован окружающим миром, а внутренний скрыт в психофизиологии индивида. Сегодня по поводу различения внутреннего и внешнего планов действия существует весьма обширная литература. Ряд авторов предлагает даже нервную деятельность квалифицировать как внешний аспект действия.

типа исторического объяснения; кроме того, рациональность действия полисемантична, поэтому не может служить критерием адекватности исторического объяснения. Да и не всякое действие в истории можно считать рациональным, поэтому сфера применимости этого типа объяснения узка, а сама концепция не применима к объяснению поведения групп людей. Идеи Дрэя были скорректированы теорией интенционального объяснения фон Вригта.

Действие, по Вригту, есть «поведение, к которому применимо подлинно телеологическое объяснение»¹. Вригт выделил две традиции объяснения в истории науки: аристотелевскую, где реализуется телеологическое (финалистское) объяснение, и галилеевскую, где реализуется каузальное (механическое) объяснение. Аристотелевская традиция действует в поле гуманитарного знания, а галилеевская – в естествознании. Научное объяснение – объяснение каузальное, т. е. это подведение индивидуальных случаев под гипотетические общие законы; а телеологическое объяснение есть объяснение в терминах намерений и целей. Детерминация действия людей не может быть выражена в законах, как это утверждает Гемпель. Согласно фон Вригту, проблема состоит в том, чтобы найти теоретическое основание связи действия и его детерминанты. Каузальная связь – связь внешняя, а телеологическая – внутренняя. Внутренний аспект действия есть интенция (акт воли, например), стоящая за внешним проявлением действия. По Вригту, далеко не каждое действие имеет внутренний и внешний план. Например, мыслительная деятельность не имеет внешнего плана, а действие, лишенное интенциональности – не имеет внутреннего: оно становится просто рефлекторным. В истории, по фон Вригту, как правило, реализуется телеологическое объяснение в модели практи-

¹ Вригт Г. Х фон. *Логико-философские исследования*. М., 1986. С. 119.

ческого силлогизма¹. Недостатки модели фон Вригта заключаются в том, что посылки практического силлогизма могут быть истинными, а заключение – нет. Например, человек может понимать необходимость достижения цели, знает, какие действия необходимо совершить для этого, но не совершает их из-за разных причин. Получается, что телеологическое объяснение страдает логической неубедительностью. Важный момент недостатков концепции Вригта, на который указывает, в частности, П. Рикёр, состоит в том, что схема телеологического объяснения является одновременно и схемой интерпретации, и тогда грань между ними стирается². И то и другое имеют весьма схожую структуру и задачи – прояснять смысл события. Без дополнительных уточнений, историческое объяснение сводится к интерпретации. При этом важно еще и то, что люди далеко не всегда осознают идеальный образ будущего и делают правильный практический вывод. Таким образом, Дрэй и Вригт отрицали возможность и необходимость использование научного закона в историческом объяснении, но предлагаемые ими решения не дали удовлетворительных ответов на имеющиеся вопросы.

Проблема объяснения так и не нашла решения в дискуссиях аналитической исторической историологии. Одни

¹ Практический силлогизм имеет следующий вид:

А намеревается осуществить *Р*.

А считает, что он не может осуществить *Р*, если он не совершит *а*.

Следовательно, *А* принимается за осуществление *а*.

Большая посылка – о цели действия или о намерениях (интенциях).
Малая посылка – о связи действия с чем-то, как о необходимом условии его осуществления. Заключение – описание (указание) средств для достижения цели. Посылки и заключение в практическом силлогизме зависят друг от друга. После заключения возможен следующий практический вывод, т. к. изменившаяся ситуация провоцирует серию новых выводов.

² Рикёр П. Время и рассказ. Т. 1. СПб., 1999. С. 164.

историки считали, что исторические объяснения должны следовать универсальным законам, подобным законам физических наук (каузальные объяснения); другие полагали, что исторические объяснения должны быть психологическими, описывать мотивы действий людей (телеологические объяснения); третьи апеллировали к культурным императивам, которые вынуждают людей действовать строго определенным образом. Аналитическая историология предложила также *генетические и контрастные* объяснения, отвечающие на вопрос «почему это произошло»; «*базовые*» объяснения, позволяющие получить исчерпывающую информацию о происшедшем событии; *структурные* объяснения, относящиеся к отношению между объяснениями мыслей и действий исторических агентов и объяснениями социальных структур; (структурно-генетическое объяснение); *редуктивные* объяснения, анализирующие изменения внутри социальных структур, обусловленные трансформацией поведения людей, которое и создает эти структуры. По сути дела, тема объяснения остается предметом спора и сегодня, становясь чем-то неизбывным для аналитической историологии¹. Хронологически и концептуально рамки указанной дискуссии условны. Рождаясь в пределах одной теории, релевантные идеи, развиваясь и трансформируясь, обретая новые предикаты и формы существования, становятся источниками новых теорий или новых прочтений старых теорий в новых изменившихся социальных и познавательных ситуациях.

Другим классическим исследованием аналитической историологии стали дебаты о *нарративе*. Нарративисты

¹ Об исторических объяснениях см.: McCullagh Behan C. The Logic of History/ Putting Postmodernism in Perspective. N. Y.–London, 2004, особенно ch.8, «Historical Explanation». P. 170–192. О различных теориях объяснения вообще см.: J. Pitt ed. Theories of Explanations. Oxford University Press, 1988.

(У. Гэлли, А. Данто, М. Уайт и Л. Минк)¹ утверждали, что исторические исследования есть рассказы (stories), у которых есть начало, середина и конец. В хороших нарративах каждая часть рассказа ведет к его концу. Соответственно, историографическая селекция событий и их дескрипций реферирует к их будущим следствиям. В соответствии с пониманием собственной сущности как концептуальной и аналитической деятельности, аналитическая историология, исследуя нарратив, анализировала дискурс истории как научной дисциплины. Логическое исследование структуры нарратива вообще и нарративных предложений в частности было тождественно логическому исследованию структуры языка, используемого в исторической науке.

А. Данто предложил изучить нарратив как особый класс предложений – одно из возможных описаний человеческого действия. Он рассмотрел такой жанр исторического повествования, как хроника, где все события собраны вместе и в их порядке ничего нельзя изменить, и предложил ввести фигуру Идеального Хрониста, который мгновенно записывает все происходящее и кумулирует свои записи². При этом становится заметен существенный недостаток хроники: отсутствие одного из классов описаний, а именно – полной истины о событии, которая становится доступной только тогда, когда события уже произойдут и эта истина не может быть известна Хронисту; она известна только человеку, живущему в настоящем и говорящем о прошлом, – Историку. Например, предложение «Тридцати-

¹ Данто А. Аналитическая философия истории. М., 2002; *Gally W.* The Historical Understanding // *History and Theory*. V. III. 1964; см. также: *Philosophy and Historical Understanding*. Cambridge, 1964; *Mink Louis O.* Historical Understanding, Brian Fay, E. O. Gilob, R. T. Vann. Ithaca, N. Y.: Cornell University Press, 1987; *White Morton*. The Foundations of Historical Knowledge. N. Y., 1965. Об этих авторах см. также: П. Рукёр. Время и рассказ. СПб., 1999. Т. 1. С. 131–203.

² То же. С. 144–147.

летняя война началась в 1618-м» может написать только историк. Отсюда Данто вывел логическую структуру нарратива, в которой всегда предусмотрена двойная референция: к событию, которое описывается, и к последующему событию. Таким образом, в нарративном предложении всегда присутствуют три времени: прошлое – само событие; будущее – его оценка, и эти два времени составляют содержание высказывания; настоящее – позиция самого нарратора. В отличие от Дрэя и Вригта, Данто акцентировал не интенциональный, а непредвиденный характер человеческих действий, и выявил, что нарратив есть характерная форма объяснения, а самих нарративов может быть много, и все они могут быть истинны.

У. Гэлли попытался восполнить пробел между отдельным повествовательным предложением и нарративом в целом. В связи с этим он предложил понятие *followability* – прослеживание истории¹. Прослеживать историю, по Гэлли, – значит понимать последовательность действий (что происходит) и объяснять эти действия (почему происходит). История, следовательно, должна сама себя объяснять, т. е. сопрягать случайность и приемлемость. Гэлли обратил внимание историков на важность *сюжета* исторического нарратива, который вызывает интерес читателя. Объяснения в истории помогают увидеть *связь* событий, а понять их *суть* помогает литература, литературные навыки историка. С их помощью историк переписывает историю на основе выявления неожиданного хода исторических событий. Здесь он может апеллировать к телеологическому типу объяснения и конструировать нормальный ход событий.

¹ Gally W. The Historical Understanding // History and Theory. V. III. 1964; см. также: Philosophy and Historical Understanding. Cambridge, 1964.

Луис Минк, один из наиболее инновационных философов истории 60-х – начала 70-х гг. прошлого века, исследуя проблемы отношения истории к естествознанию, исторического понимания, места и роли вымысла в истории, когнитивного статуса нарратива, вместе с Гэлли, Данто и др. сформулировал «ответ» гемпелевской теории охватывающего закона – теорию «конфигуративного понимания». Согласно ей, понять объект – значит поместить его в единый комплекс отношений – нарратив¹. Конфигуративное понимание в истории есть способность историка (или его читателя) одним усилием охватить хронологический поток, сюжет, действие исторических агентов и пр. Действие и событие понимаются как единое целое, связанное сеткой описания. Конфигуративное понимание вневременно; оно стремится разрушить времена нарратива, для того чтобы понять мир как целостность. История – интеллигибельная конфигурация отношений исторических агентов и исторических событий.

В 70-х годах XX века проблемы объективности, объяснения и нарратива так и не нашли однозначного решения в аналитической историологии. Это привело к резкому падению интереса к историографии среди аналитических философов. Работ, посвященных этой проблематике, мало. Среди наиболее заметных авторов – Б. МакКуллах, Пол Рот, Дэвид Кокбёрн, Авиезер Такер и ряд других.

МакКуллах в манере аналитической, или даже неопозитивистской, традиции философствования исследует логику исторического метода. При этом разница между фактом и объяснением расплывается, а авторская интонация незаметно для самого автора приобретает черты герменевтиче-

¹ *Mink Louis O. Historical Understanding. B. Fay, E. O. Gilob, R. T. Vann // Ithaca. N. Y.: Cornell University Press, 1987.*

ского дискурса¹. Но «поскольку МакКуллах отвергает или игнорирует идеалистов, лингвистических релятивистов, феноменологов, диалектиков и герменевтиков, то он и не в состоянии оценить эти направления»², — отмечают рецензенты.

Пол Рот работает с проблемами рациональности в контексте критики логического позитивизма³. Он анализирует некорректность веры в «означающий реализм» («meaning realism») как идеи о том, что, совершая те или иные действия, люди всегда имеют в виду осуществить нечто конкретное. Рот полагает: то, что агент имеет в виду, зависит от интерпретативного контекста вопрошающего, поэтому любая очевидная иррациональность агента есть симптом непонимания ситуации интерпретатором. Из этого и проистекает методологический плюрализм в общественных науках, полагает Рот и резко критикует смешение политики и эпистемологии в идеях Фейерабенда, например.

Кокбёрн занимается проблемами исследования истории, следуя традиции Витгенштейна. Его работу «Другие времена: философские перспективы прошлого, настоящего и будущего» считают весьма серьезным исследованием⁴. С точки зрения Кокбёрна, историки не должны заниматься исследованием памяти, коммеморации и пр., т. к. эти ис-

¹ *McCullagh, C. Behan. The Truth of History. London: Routledge, 1998; McCullagh, C. Behan. Justifying Historical Description. Cambridge: Cambridge University Press, 1984; McCullagh, C. Behan. The Logic of History: Putting Postmodernism in Perspective. London: Routledge, 2004.*

² *Richard Harvey Brown. Positivism, Relativism, and Narrative in the Logic of the Historical Sciences // American Historical Review. № 92. 1987. P. 908–920.*

³ *Roth, Paul A. Meaning and method in the social sciences: a case for methodological pluralism. Ithaca, N. Y.: Cornell University Press, 1987.*

⁴ *Cockburn, David. Other Times: Philosophical Perspectives on Past, Present and Future. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.*

следования построены на этических, а не на эпистемологических допущениях.

Работа Авиезера Такера «Наше познание прошлого: философия историографии» стала, по мнению целого ряда ее рецензентов и читателей в США, за последнее десятилетие наиболее интересным исследованием в области аналитической философии истории¹. И интерес этот связан не только с любопытными идеями, предложенными и аргументированными Такером, но и с тем обстоятельством, что Такер считает себя наиболее адекватным продолжателем идей Гемпеля, равно как всей аналитической философии историологии. Развивая философию объяснения применительно к историографии, Такер полагает, что «априорная» аналитическая философия (Гемпель и др.), при всей безупречности их методологии, разрушила философию историографии, сделав ее иррелевантной задачам исторического исследования. Целью его книги является поддержка «научной историографии» против «терапевтической ненаучной»: «только... знание прошлого, основанное на научной историографии и на ее философском понимании, может освободить нас» от тирании «до-современности» (pre-modernity). При этом интересно, что Такер уделяет значительное внимание истории самой историографии, что в целом не свойственно аналитической традиции². В фокусе его внимания находятся две основные идеи: исследование концепции «общей причины» в историографии и анализ возможности применения к истории средств математической формализации, в частности – теоремы Байеса³.

¹ *Avieser Tucker. Our Knowledge of the Past: A Philosophy of Historiography. Cambridge – N. Y., Cambridge University Press, 2004.*

² *Ibid.* См.: Гл. 2. The History of the History. P. 46–91.

³ См. об этом: *Кукарцева М., Мегилл А. Философия истории и историология: грани пересечения // История и современность. 2006. № 3.*

В рамках аналитической историологии есть работы, выполненные в феноменологической традиции. Например, монография М. Блума «Континуальность, квантум, континуум и диалектика. Основания логики западного исторического мышления»¹. Следуя идеям Канта и Гуссерля, Блум полагает, что видение исторических событий зависит от/или принимает очертания персонального темпорального опыта. Он рассматривает, каким образом в каждом повторяющемся предложении индивида (историка) отражены по принципу часть–целое структуры желания, утверждающие что-либо о событии и генерирующие определенный взгляд на событие в общем историческом потоке. *Континуальная логика* (стиль continuity) представляет возрастающую и связную серию событий. Здесь формируется систематический подход ко времени, который может быть выражен в терминах традиции, «линейное время». *Квантум-логика* (стиль quantum) фокусирует внимание на паттернах, целостностях истории, начале и конце событий, чье существование есть продолжение независимости их частей. В определенной мере это тоже хронология, но с акцентом на ее отдельных частях, а не на целом. *Континуум-логика* (стиль continuum) есть скепсис – позиция по отношению к коллективным результатам индивидуальных действий исторических агентов, этот стиль исторической логики можно назвать контекстуальным. Континуум-логика предлагает «головокружительную» индивидуальную свободу, здесь нет общего времени, выстраивается линия пересекающихся и взаимодействующих сущностей и действий – континуум. *Диалектическая логика* есть сложная форма темпоральности, ее иллюстрацией может служить роман Марка Твена

¹ Mark Blum. Continuity, Quantum, Continuum and Dialectic // The Foundation Logics of Western Historical Thinking. N. Y., 2006.

«Жизнь на Миссисипи», где множество мелких каналов между островами создают вероятность того, что, попав туда, невозможно найти выход обратно. История здесь проникает повсюду, она бесконечна. Логика континуальности тоже не отрицает бесконечности истории, но ее развитие может идти в любом направлении. Для диалектика будущее существует только в контексте динамики настоящего, каждый событийный синтез в настоящем должен вести к новым противоречиям и будущим решениями.

Блум пытается показать, что история объясняется не только через внешнюю ситуацию (независимые переменные), но и через особенности восприятия мира самим историком (зависимые переменные). Но в результате история все равно предстает в его концепции как несколько упрощенная модель, имеющая к герменевтике и феноменологии лишь косвенное отношение

В целом, аналитическая историческая эпистемология акцентировала внимание на проблеме объективности исторического исследования, анализе исторического объяснения, его логической структуры и функций, нарратива¹.

Герменевтическая историческая эпистемология возникла из анти-позитивистской ориентации. Основные рефлексии герменевтического понимания истории («дух народа», «мировая душа», «тело нации») стали результатом онтологических философско-исторических идей Дильтея: прежде всего речь идет о специфическом понимании жизни Дильтеем – индивидуальной психической жизни как прообраза жизни общества и истории².

¹ См об этом: *Ф. Анкерсмит. Диллема современной англо-саксонской философии истории // Ф. Анкерсмит. История и тропология: взлет и падение метафоры. М., 2003.*

² В данном отрывке использованы результаты исследования, проведенного в соавторстве с В. С. Тимониным и С. Р. Семеничевой.

В становлении и развитии герменевтической исторической эпистемологии большую роль сыграла французская философско-историческая школа. – Р. Арон, П. Вейн, А.-И. Мару¹. По мнению Мару, прошлое есть не более «чем мыслительная конструкция, которая легитимна... но абстрактна и... не является самой реальностью». Реальность есть «человеческое существо, индивидуальность которого единственно настоящий организм»². Своего рода введение в герменевтическую историческую эпистемологию написал П. Рикёр³. Полагаю, что к герменевтической разновидности исторической эпистемологии можно отнести и методологические идеи М. де Серто, о котором немало говорит в своей работе А. Мегилл.

Серто обозначил его понимание круга эпистемологических вопросов историописания в статье «История и структура»⁴. В ней он поставил проблему невозможности «воскрешения прошлого». В ходе своих исследований историк замечает постоянно возрастающую отдаленность объекта своего изучения, его «отсутствие»: «Оно (прошлое. – М. К.) ускользает. Или, скорее, я начинаю замечать, что оно ускользает от меня.

Именно в этот момент ухода прошлого и рождается историк. Именно это отсутствие прошлого и конституирует исторический дискурс»⁵. Серто вводит в историографическую практику понятие «Другого» или «Иного», в котором

¹ Р. Арон. Введение в философию истории. М., 2000. С. 215–499; Вен Поль. Как пишут истории: Опыт эпистемологии М., 2003; Marrou H.-Ir. De la connaissance historique. Paris: Seuil, 1954.

² Marrou H.-Ir. De la connaissance historique. Paris: Seuil, 1954. P. 177.

³ См. об этом: П. Рикёр. Время и рассказ. СПб., 1999. Т. 1–2; Он же. История и истина. СПб., 2002; Он же. Память, история, забвение. М., 2004.

⁴ Michel de Certeau. Histoire et structure // Recherches et débats. Paris, 1970. P. 168.

⁵ Ibid. P. 168.

обнаруживает дистанцию между собой как историком и объектом своего исследования. Именно эта временная дистанция, по мнению Серто, как раз и позволяет не воспроизводить прошлое в том виде, в каком оно существовало. Это просто невозможно – в диалоге с прошлым реконструировать его в форме, максимально приемлемой для настоящего. «Старый мир прошлого не двигается сам. Прошлое не стоит на месте. Это мы сдвигаем его с места»¹. Дистанция с прошлым не мешает реконструкции этого прошлого. «История предоставляет настоящему свое собственное пространство путем “маркировки” прошлого – выделения места тому, что уже мертво. Успешная роль истории состоит в том, что она позволяет практике определять себя по отношению к “другому”, к прошлому»².

Де Серто предложил концепцию «историографической операции» как сочетания трех взаимосвязанных паттернов: 1) история как *социальный продукт*. «Любая доктрина, отбрасывающая свое отношение к обществу, абстрактна... Научный дискурс, не говорящий об отношении к обществу... перестает быть научным. Отношение к социальному статусу – центральный вопрос для историка»³; 2) *история как практика*. История всегда опосредована историографической техникой, соотношением между документом и его реконструкцией, между предполагаемой реальностью и способом ее интерпретации; 3) *письмо истории или «история как письмо»*. Серто располагает эпистемологическое пространство, определяемое историческим письмом, между наукой и вымыслом. Он отрицает альтернативу, согласно которой история либо отказывается от повествования

¹ Michel de Certeau. Histoire et structure // Recherches et débats. Paris, 1970. P. 173.

² M. De Certeau. Entretien avec J. Revel, Politique-aujourd'hui. Paris, 1975. P. 66.

³ M. de Certeau. L'écriture de l'Histoire. Paris, 1975. P 70.

и сохраняет статус научности, либо, отказываясь от научности, сохраняет статус повествования как вымысла. Он видит историю как *сплав науки и мифа*. По его мнению, задача историка заключается в том, чтобы свести к минимуму ошибки текста, выявить ложное, разрушить фальсификацию, но отдавать себе отчет в том, что не существует окончательной и бесповоротной истины в воспроизведении прошлого. Центральное внимание в своих исследованиях по методологии исторического познания Серто уделяет вопросу прочтения текстов прошлого. Сам он выявляет три взаимосвязанных страта изучения источников: понимание существования непреодолимой дистанции между ними и исследователем («путь очищения»); выявление логической структуры источников («путь озарения»); герменевтическое толкование «Другого» как объекта исследования. («опыт соединения»).

В целом, герменевтическая историческая эпистемология акцентировала необходимость для исторического исследования *интерпретации* текстов прошлого; ее основной метод – *реконструкция* прошлого, основная парадигма исследования – *интеллектуальная история*.

Так же, как и герменевтическая историческая эпистемология, *идеалистская* возникла как реакция на позитивизм. Наиболее важный вклад в дело ее создания внесли Б. Кроче, М. Оукшот и Р. Дж. Коллингвуд¹. Поздним образцом идеалистской исторической эпистемологии стала книга Леона Голдстейна «Историческое познание»².

Коллингвуд рассмотрел отличия природного процесса как последовательности событий («термины тел и движе-

¹ Оукшот М. Рационализм в политике. М., 2002; Кроче Б. Теория и история историографии. М., 1998; Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография. М., 1980.

² Goldstein L. J. Historical Knowing. 1876.

ния» – внешнее) от процесса исторического – последовательности действий человека в прошлом («термины мысли» – внутреннее). В исследовании действий историк акцентирует их внутреннюю сторону, поэтому *история есть история мысли*. Историк проникает во внутренний мир исторических агентов, действия которых он изучает, рассмотрение же внешней стороны действия только подтверждает результат исследования. Коллингвуд предложил концепцию «*априорного воображения*», как воображения того, что нельзя представить, но что обязательно имеет место. Внутренний мир исторического агента дан познающему субъекту в воображении. Воображение создает исторические конструкции и является средством исторической критики, что и делает историю своеобразной комбинацией искусства и науки. Прошлое познается в результате «*переигрывания*» или «*воспроизведения*» (опыта, мыслей исторического деятеля) в сознании историка. Познавание акта мысли другого означает ее повторение в себе, и это повторение является интегральной частью исторического познания. Воспроизводится не единичный мыслительный акт со своим специфическим контекстом, а то общее, что у него есть с другими актами мысли, что и дает картину истории. Мысль субъективно-объективна: субъективность заключена в ее контекстуальности, а объективность – в способности укорениться в чужом сознании так, чтобы чужие идеи могли стать органической частью душевной жизни историка. Эти стороны мысли делают возможным историческое познание, чьим объектом становится мышление.

Заметно пересечение идей Коллингвуда и Дильтея. Оба исходили из идеи о том, что, для того чтобы понять, например, любовное томление средневекового рыцаря, необходимо научиться участвовать в его «форме жизни», вчувствоваться в нее, проникнуть во внутренние связи между идеями и социальными отношениями, актуальными для

данного общества. Дильтей называл это «переживанием», «вчувствованием», а Коллингвуд – «пере-игрыванием». Дильтей выработал понимание истории как плюрализма ее смысловых интерпретаций и тем самым отверг возможность объективной истории. Коллингвуд старался отойти от субъективизма Дильтея, но так и не сумел сделать этого до конца.

В целом, идеалистская историология отличается от герменевтической двумя вещами: во-первых, она фокусирует внимание на *действиях*, совершенных в прошлом, поэтому она реализует *политическую историю*. Например, Кроче рассматривал историю как «мышление и действие», полагая, что в истории не нужны биографии, т. к. важны не сами люди, а их дела. Человек есть символ истории и своих деяний в ней. Интересно, что, в отличие от Коллингвуда, Кроче попытался возродить в истории принцип объективного идеализма, считая, что субъективная эстетическая интуиция, на которой основывается историческое знание, есть основная форма активности бесконечного саморазвивающегося мирового Духа. Отсюда следует, что только настоящее имеет смысл, потому что Дух воспроизводит прошлое через призму настоящего. Кроче полагал, что история, будучи конструктором настоящего, есть современная история, а коллингвудово «пере-игрывание» есть передумывание нас в настоящем. Оукшотт также считал, что прошлое истории есть «безвозвратное настоящее», даже если в данный момент оно не имеет практического, или вообще никакого, значения. Прошлое есть просто настоящее, т. к. оно является частью нашего коллективного опыта, а он всегда в настоящем.

Во-вторых, идеалистская историческая эпистемология стремится рассматривать историческое исследование как *конструкцию* прошлого. По мнению Оукшота, работа историка заключается не в открытии или интерпретации, а в

созидании и конструировании¹. Для герменевтической исторической эпистемологии такой взгляд на вещи был бы слишком субъективным: для нее прежде всего необходимо найти и описать прошлое, вступить с ним в диалог.

Нарративно-лингвистическая историческая эпистемология выросла из исследования природы нарратива аналитической исторической эпистемологией, холистском акценте герменевтической, подчеркивании идеалистской исторической эпистемологией метода конструктивизма. Но она имеет и другие источники: поэтику и литературную критику периода после Второй мировой войны, обратившихся к древней риторике; методику прочтения текстов постструктуралистской философией и исследования в области философии науки конца XX века, а именно – разрушение фундаментального допущения предшествующей мысли о том, что между естествознанием и социально-гуманитарным знанием пролегает непреодолимая граница. Нарративно-лингвистическая историческая эпистемология была основана литературным критиком Р. Бартом и историком и культурным критиком Хайденом Уайтом². Важны

¹ М. Оушот. Деятельность историка // Рационализм в политике и другие статьи. М., 2002. С. 128–152.

² Roland Barthes. Introduction to the Structural Analysis of Narratives // Image, Music, Text. Trans. Stephen Heath. N. Y., 1977; Барт Р. Дискурс истории // Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М., 2003; Он же. Эффект реальности // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1994; Mink L. Historical Understanding B. Fay, E. Golob, R. Vann, ed. Ithaca, N. Y: Cornell University Press, 1987; White H. Metahistory: The Historical Imagination in the Nineteenth – Century Europe. Baltmor: Johns Hopkins University Press, 1973; Ibid. The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical Representation. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1987; Ibid. Figural Realism. Studies in the Mimesis Effect. Baltimore: Johns Hopkins University press, 1999; русск. изд.: Х. Ваум. Метаистория: историческое воображение в 19 веке». Екатеринбург, 2003.

работы Ф. Анкерсмита, Ст. Банна, Х. Келлнера, Л. Госмана, Ф. Каррарда. В трудах Барта вопрос об историческом объяснении был взят в скобки, а приемы риторики были рассмотрены как способы создания наиболее фикциональных текстов. Хайден Уайт – один из самых интересных и одновременно спорных исследователей исторической теории XX века. Он высоко оценил идеи Барта в области историописания, полагая его «наиболее изобретательным критиком своего времени... наиболее близким себе мыслителем»¹. Л. Минк, начинавший свои исследования истории в контексте идей Гэли и Данто, а также его книга о Коллингвуде, оказал на формирование концепции исследования истории Уайта огромное значение.

Уайт сформулировал концепцию «риторической диалектики», предложив ее первый вариант в раннем эссе «Бремя истории»², где он выступил как историк, как философ и как литературный критик.

Проблема, из необходимости решения которой исходил Уайт, заключалась в том, что вплоть до XIX века история в целом рассматривалась как специфический вид литературы. Общее утверждение заключалось в следующем: история должна сообщать истину и просвещать человечество. Под истиной понимались не столько факты, сколько моральные поучения. Многие историки XIX века (Карлейль, Мишле, Буркхардт) рассматривали историю как риторический, литературный или эстетический проект, а многие литераторы (В. Скотт, О. Бальзак, Э. Золя) настаивали на понимании литературы как исторического, социологического и научного предприятия. Отличия истории от литературы и возможности эстетического подхода к истории комменти-

¹ *White H. Encounters. Philosophy of History after Postmodernism* Ewa Domanska. Charlottesville and London, 1998. P. 32, 34.

² *White H. The Burden of History // History and Theory. Vol V. 1966;* см. также его работу: *Tropics of Discourse* Baltimore, 1978. P. 27–50.

ровали У. Оделотт, Б. Кроче и З. Красауэр¹. Оделотт исследовал проблему вымысла в истории, возникающую вслед за пониманием истории как вида литературы. Кроче рассмотрел «новую фикционную форму», которую он назвал «поэтической историей», где эстетическая связность делает возможной связность логическую. Красауэр обращался к «подражательной трансформации» и «гармонизирующей тенденции», вовлеченной в «эстетический подход» к истории. В то же время теоретическая позиция немецкой исторической школы, выраженная в утверждении Ранке «Wie es eigentlich gewesen ist» («показать так, как это было на самом деле») предлагала концепцию истории как формулы научного исследования. История понималась как коллективное предприятие, объединяющее историков на почве сообщения одной всеобщей, но пока еще не рассказанной до конца, истории. Далее Р. Коллингвуд сформулировал 3 пункта, отличающих историю от литературы: история должна быть локализована в пространстве и времени; она должна быть непротиворечивой; должна опираться на свидетельство². С этого момента споры о сущности истории практически не утихали³.

В своем эссе Уайт подчеркнул сложность положения историка, который должен соответствовать и суровости естествознания, и образным возможностям литературных работ. «*Бремя историков* в наше время заключается в том,

¹ *Aydelotte W.* The England of Marx and Mill as Reflected in Fiction // *Journal of Economic History*. № 8. P. 42–58; *Kracauer S.* History: the Last Things before the Last. N. Y., Oxford University press, 1969, reprinted 1995.

² *Коллингвуд Р.* Идея истории. С. 233–234

³ См об этом, например: *Савельева И. М., Полетаев А. В.* Специфика исторического познания // *История и время. В поисках утраченного*. М., 1997. С. 57–72; *Они же.* Знание о прошлом: история и теория: В 2-х т. Т. 1. Конструирование прошлого. СПб., 2003.

чтобы восстановить честь исторических исследований на основе того, что делает их совместимыми с целями и задачами интеллектуального сообщества в целом; т. е. преобразовать исторические исследования таким способом, чтобы позволить историку позитивно участвовать в освобождении настоящего от *бремени истории*»¹. Уайт полагал, что историк в своей работе должен занимать, прежде всего, определенную этическую позицию, но его должна интересовать не специфическая связь настоящего и прошлого, а разрывность, дисконтинуитет, хаос. История должна осмыслить эти феномены с помощью и современного искусства, и современной науки. В этих положениях заключалась *программа* преобразования историографической практики, изложенной в эссе «Бремя истории». Реализована она была в фундаментальной работе Уайта «Метаистория: историческое воображение в XIX веке».

Эта работа состоит как бы из несколько книг в одной.

Первая – краткое изложение основных положений теории исторической работы, вторая – размышления о специфике философии истории XIX века, третья – о специфике собственно исторического исследования в XIX веке². «Я полагаю, что то, что историки производят, есть, прежде всего, воображаемые образы, которые функционируют более, чем воспоминание прошлых событий в чем-то от-

¹ White H. The Burden of History // History and Theory. P. 130.

² Уайт составил пять уровней концептуализации исторического материала: хроника, повествование, четыре типа сюжетности (эстетика), четыре типа объяснения (наука), четыре типа идеологии (этика), четыре типа тропологических моделей. Последние – метафора, метонимия, синекдоха и ирония. Специфическая комбинация типов сюжетности, научного объяснения и идеологической импликации составляет историографический стиль, который подчинен тропологической модели. Выбор модели обусловлен индивидуальной языковой практикой историка. Когда выбор осуществлен, воображение историка готово к составлению нарратива.

дельном воображении. Поэтому я подчеркиваю подзаголовок моей книги – “историческое воображение”»¹. Уайт считает, что в XIX веке история понималась как особое направление мышления, а историческое сознание – как узкая, хотя и относительно автономная область научных исследований в широком спектре гуманитарных и естественных наук. Апеллируя к риторичности языка истории и утверждая общность задач истории и литературы, он создал новую концепцию философии истории – концепцию «эстетического историзма» или литературизации историописания. Эта концепция стала мощным вторжением риторики (тропологии, в терминологии Уайта) в историографические дебаты начала 70-х, имеющим целью изменить привычную манеру чтения книг по истории. «Метаистория» размывала границы между различными сферами знания, что указывает на поворот в исследованиях истории Уайтом в сторону постмодернизма.

В следующей работе – собрании эссе под общим названием «Тропики дискурса» идея тропологии становится для Уайта главным объектом исследований. Вместо понятия риторики, столь активно вовлекаемой в историческое исследование в «Метаистории», – новое понятие тропики. Впрочем, слово «вместо» достаточно условно; скорее, речь идет о новом понимании риторики. *Тропикой*, как континууме логики, поэтики и диактики, Уайт назвал свою теорию дискурса. «Каким образом тропы функционируют в дискурсах гуманитарного знания – есть предмет исследования в этих эссе, и поэтому я и назвал их так», – пишет он². Под дискурсом Уайт понимает движение мысли «назад и вперед» и подчеркивает, что это движение может быть

¹ Domanska E. Encounters: Philosophy of History after Postmodernism, Charlottesville. Univ. Press of Virginia, 1998. P. 34.

² White H. Tropics of Discourse Baltimore, 1978. P. 2.

до-логично, ало-гично и диалектично. Как до-логическое оно маркирует определенную сферу опыта в целях ее последующего анализа с помощью логики. Как алогичное оно имеет цель деконструировать уже имеющиеся концептуализации данной области опыта, которые блокируют свежие восприятия вещей или отрицают в интересах формализации новые эмоции. А вот вместо диалектики Уайт предлагает использовать слово *diatactical*, что означает самокритичность дискурса, ироничность по отношению к себе и невозможность руководствоваться только логикой. Дискурс для Уайта есть процедура понимания как процесс превращения незнакомого в знакомое. «Этот процесс понимания в своей сущности может быть только тропологическим», – утверждает Уайт¹. В эссе этого собрания Уайт предлагает новую методологию исторических исследований. С его точки зрения, все тексты без исключения прежде всего есть тропологический выбор историка в виде 4-х троп – метафоры, метонимии, синекдохи и иронии. Изобразительная природа фигур выражения языка предшествует теоретическим понятиям, язык не просто осуществляет инструментальную функцию в соответствии с интенциями автора, но фигуры языка всегда бессознательно фиксируют возможности осмысления этих интенций.

В целом работа Уайта «Тропики дискурса» прежде всего нацелена на изучение исторической теории и репрезентации, но в действительности его подход намного шире. Уайт полагает, что теория тропологии может успешно классифицировать такие социальные дискурсы, как дискурсы войны, мира, сексуальности, искусства; а также проникнуть и в типологию понимания, что позволит успешно соотносить различные дискурсы со стратегиями конструирования реальности в мышлении.

¹ White H. Tropics of Discourse. P. 5.

Другая работа Уайта, «Содержание формы», означала новый поворот в его исследованиях – поворот к нарративу. Но все-таки нет сомнений в том, что теория нарратива Уайта тесно связана с тропологией, что нарратив является одним из кодов тропологии. Означенный поворот углубил и гуманизировал теорию тропологии, которая до этого казалась несколько натянутой и безжизненной. Центральная функция нарратива в историописании, согласно Уайту, не эпистемологическая, не репрезентационная, а моральная и политическая. Нарратив есть инструмент для обозначения смысла того мира, в котором мы живем. Он придает непрерывность и целостность историческому повествованию, он – политическое предприятие; в нем важны не сами события, а то, что люди говорят о них, сущность событий – в этом заключается главная идея книги Уайта. В таком случае «отрицание нарративной способности или отрицание нарратива равнозначно отсутствию или отрицанию самого смысла»¹. События истории неповторимы в виде дефиниций, и они могут быть изучены не эмпирически, а только другими, неэмпирическими, методами. «Литературная форма исторического повествования до недавнего времени казалось внешней его оболочкой, природа которой не затрагивает самого его существа. Теперь становится все более ясным, что дело обстоит не так просто. Форма дискурса, в которую отливают изложение исторического материала, теснейшим образом связана с принципами его осмысления. Эта форма отнюдь не “невинна”; она подчас, помимо воли сознания исследователя, во многом определяет само содержание создаваемого им текста»², – подчеркивал А. Гуревич. Нарратив раскрывается как чрез-

¹ White H. The Content of the Form. P. 2.

² Гуревич А. Я. Апории современной исторической науки // Одиссей, 1997. С. 247.

вычайно эффективная система производства смысла, благодаря которой люди имеют возможность получить пусть воображаемое, но истинно-значимое отношение к социальным структурам, в которых они живут. Эта теория дает возможность понять социальную реальность как историю. Нарратив может быть наполнен различными содержаниями, предшествующими любой их актуализации в речи или письме. «Именно это “содержание формы” нарративного дискурса в историческом мышлении и исследовано в эссе данной работы», – пишет Уайт¹.

Последняя книга Уайта «Фигуральный реализм» является дальнейшим исследованием обозначенных им проблем². Понимание нарратива, предложенное Уайтом, будучи высоко оцененным многими исследователями, все же столкнулось с весьма ожесточенной критикой. В рецензии на работу Уайта «Содержание формы» У. Дрэй, например, признав безусловную значимость и оригинальность теории нарратива, все-таки посчитал ее «прагматической теорией истории», предполагающей «редукцию истории к статусу политической пропаганды, что совершенно недопустимо»³. Картография основных троп исторического мышления и структуры традиционного крупномасштабного сюжета, одновременно свойственные и фикции и истории, оскорбила, например, тех людей, которые считали, что фикцию и вымышленную безнравственность Уайт слишком близко поместил к исторической действительности Холокоста. «Я не думаю, что обвинение справедливо, но я, конечно, вижу серьезность этого», – пишет в этой связи Н. Парт-

¹ White H. The Content of the Form. P. XI.

² См. об этом: Уайт Х. Фигуральный реализм в свидетельской литературе // Отечественные записки. Журнал для медленного чтения. 2006. № 2.

³ Dray W. H. Review of Hayden White «The Content of the Form» // History & Theory. № 27. 1988. P. 287.

нер¹. Отвечая на критику, Уайт признал бесспорной необходимость ограниченного дискурса в отношении подобных исторических событий, а именно – отрицание буквальности. Для этого Уайт выбрал в грамматике древнегреческого языка особую языковую форму – средний залог – как возможный способ уклониться от нежелательного вторжения субъекта в действие (событие), которое он хочет репрезентировать². Репрезентирование прошлого в терминах среднего залога не есть репрезентация в обычном смысле этого слова: это репрезентация, позволяющая прошлому говорить самому. Этим приемом Уайт стремится сохранить подлинный образ Холокоста и как исторического события, и как исторического «товара»³.

Исследования Уайта являются одним из оснований нарративно-лингвистической историологии. В ее рамках, свя-

¹ См. материалы XIX конференции историков. Австралия, июнь, 2005.

² Вообще, концепцию среднезалогового письма ввел в обращение современных литературных и философских теорий в 1966 году Р. Барт. Это было понято и принято далеко не всеми и полностью не признано литературоведением и философией до сих пор. Ж.-П. Вернан полагал, что средний залог вымер в большинстве современных западно-европейских языков потому, что в древней Греции не было ясно выраженной языковой и философской категории воли, желания, самости, а в западном мире эта категория стала доминирующей.

³ *White H. Historical Emplotment and the Problem of Truth in Historical Representation // Figural Realism. P. 27–42.* В целом, литература о Х. Уайте огромна. Наиболее полную библиографию его трудов можно найти на сайте: <http://www.pre-text.com/ptlist/white.html>, а исследования его творчества – в *Contemporary Literary Criticism. V. 148. 2002.* Весьма важным исследованием творчества Уайта является докторская диссертация Х. Пола «Маски значения: экзистенциальный гуманизм в философии истории Хейдена Уайта» *Hendrik Jan [Herman] Paul. Masks of Meaning: Existential Humanism in Hayden White's Philosophy of History. University of Groningen, The Netherlands, 2006.*

зываемой с лингвистическим поворотом в истории¹, можно выделить три главных момента: «малый» лингвистический поворот, который фокусирует внимание историка на языке объекта исторического исследования, примером чему служит так называемая «история снизу» (*history from below*, в немецкой традиции «*Geschichte von unten*»); *риторический* лингвистический поворот, фокусирующий внимание на использовании риторики в историописании; и *нарративный* лингвистический поворот – переосмысление сущности и функций исторического нарратива.

Малый лингвистический поворот, или «история снизу», есть попытка реконструкции жизненного опыта людей прошлого. Проблематика «истории снизу» начала формироваться в конце XIX века, когда резко возрос интерес социально-гуманитарного знания вообще к социальной и экономической истории. В самой исторической дисциплине «история снизу» возникла как реакция на традиционную историографию, интересовавшуюся, главным образом, проблемами «большой» политики и историей социальных элит. В 1966 году вышла известная статья Э. Томпсона «История снизу», от которой и можно начинать официальный отсчет этого жанра исторических исследований¹. В качестве базовой теории значительная часть адептов рассматриваемого вида истории использовала марксизм. Однако, в отличие от последнего, где непосредственная исто-

¹ См. об этом: *Clark E. History, Theory, Text: Historians and the Linguistic Turn*. Cambridge, MA and London, Harvard Univ. Press, 2004. О некоторых эпистемологических проблемах лингвистического поворота см., например: *Кукарцева М.* Эпистемологические проблемы лингвистического поворота в историографии // *Эпистемология и философия науки*. 2006. Т. VII. № 1. С. 110–130; *Она же.* Лингвистический поворот в историописании: эволюция, сущность и основные принципы // *Вопросы философии*. 2006. № 4. С. 44–55.

² *Thompson E. P. History from Below* // *The Times Literary Supplement*. № 7. April 1966. P. 279–280.

рия «простых людей» замещалась историей рабочего движения и историей социальных институтов, в центре «истории снизу» находится сам «маленький» человек. Особый вклад в формирование «истории снизу» внесла школа Анналов, анализу которой посвящено немало страниц настоящего издания. Историки этого направления обозначили тот исследовательский механизм, в котором возможно создание «истории снизу». Образцами «истории снизу» могут служить труды, которые обычно ассоциируются с историко-антропологическими изысканиями, такие как «Возвращение Мартена Гера» Н. Земон Девис или «Мон-тайю, окситанская деревня» Э. ле Руа Ладюри, в которых жизнь интерпретируется на основе опыта человека, а история – на основе прослеживания жизни. А вот история Гинзбурга о Меноккио абсолютно нетипична для «истории снизу», т. к. его задачей было воссоздание не ментальности и повседневной жизни крестьянской общины, а духовного мира и системы ценностей конкретного человека¹. «Исто-

¹ Сам проект написания «истории снизу» сталкивается с целым рядом трудностей. Во-первых, проблема репрезентативности, вытекающая из необходимости рассмотрения множественных контекстов, в которые включен человек прошлого. Здесь каждый индивидуальный случай может по-разному прочитываться в зависимости от ракурса исследования. Чем глубже в прошлое пытается проникнуть историк, работающий в парадигме «истории снизу», тем более ограниченным оказывается круг источников, на который он может опираться. Некоторые периоды вообще при этом могут выпадать из поля зрения. Во-вторых – проблема концептуализации. Где находится это самый «низ»? Дать четкое определение понятию «народная культура» весьма сложно, поскольку сам «народ» (по крайней мере, если говорить о времени после XVI столетия) представляет собой весьма дифференцированную группу, разделенную по экономическому, гендерному и др. признакам. Эти соображения делают универсализацию понятия «низ» весьма сложной задачей. Критики упрекают «историю снизу» и в том, что она «размывает», «дефрагментирует» настоящую историческую науку. Она действительно погружает читателя в море мелочей, иногда неоправданно настойчиво акцентирует

рию снизу» можно считать началом лингвистического поворота в историческом знании еще и потому, что ее исследователей во многом интересует язык, на котором говорят их герои, стилистика языка людей прошлого, т. е. характерные особенности речи различных социальных групп (что пересекается с проблемами социолингвистики). На основании изучения этих особенностей можно вывести «значение» тех или иных исторических событий.

Идеи *риторического* поворота как исследование стилистики литературных текстов, своего рода исследование функций особенностей речи в контексте речевого целого, сформировались в лингвистическом повороте под влиянием работ Х. Уайта «Метаистория» и «Тропики дискурса». А вообще возрождение риторики в социально-гуманитарном знании связано со многими факторами; такими, например, как развитие лингвистической философии и возникновение постмодернизма. Риторика рассматривается в контексте эпистемологии, морали, роли дискурса и социальных изменений вообще, риторика и масс-медиа и пр¹. Риторика рассматривается и как методология исторических исследований и шире – как методология социальной эпистемологии вообще².

Риторический поворот в историописании инспирировал новый круг дебатов в философии истории и в самой истории вокруг дистинкции «история – наука или искусство?»,

внимание на специфике произношения слов в исследуемой эпохе, так что возникает опасность сужения истории до калейдоскопа картинок из быта маленьких людей.

¹ См. например: *A Reader*, J. Lucaites, C. Condit, S. Caudill, ed. *Contemporary Rhetorical Theory*. N. Y.–London, 1999.

² J. Nelson, A. Megill, L. McCloskey, ed. *The Rhetoric of the Human Science (Language and Argument in Scholarship and Public Affairs)*. Univ. of Wisconsin Press, 1987; см особенно: A. Megill, D. McCloskey. *The Rhetoric of History // The Rhetoric of the Human Science*. P. 221–238.

акцентировал понятие *сюжета* (*plot*) в исторических исследованиях. «Сюжет создает значение. Герои созданы сюжетом: Разум в Просвещении, вера в Средние века, пролетариат в Новое время. Все они – функции сюжета, они появились для того, чтобы события случились... Вещь может быть представлена в самом разном развитии сюжета»¹.

Согласно основным положениям сторонников риторического поворота, множественность и диверсификация объектов делают историю ближе к литературе. Историческим текстам требуются такая же аранжировка, стилистика и риторика, как и текстам литературным. Тем и другим одинаково свойственно и многообразие моделей репрезентации. Как в литературных текстах заключена истина, так и в исторических – вымысел. Следовательно, история есть литература. Факт возрождения литературы в историописании был принят историками неоднозначно. С одной стороны, это вызвало восторг ряда историков, с другой – «повергло исторические исследования в затяжной эпистемологический кризис. Оно поставило под сомнение нашу веру в неизменное и доступное определению прошлое, скомпрометировало возможность исторического отображения и подорвало нашу способность определять себя во времени», – считает, например, Д. Харлан².

Некоторый интерес в этой связи представляет разрабатываемый Стивеном Гринблаттом и рядом других исследователей «новый историзм» в литературной критике, который имел тенденцию стирать границы между литератур-

¹ H. Kellner. Encounters // Philosophy of History after Postmodernism. Ewa Domanska Univ. Press of Virginia. 1998. P. 42–43.

² Harlan D. Intellectual History and the Return of Literature // AHR. Vol. 94. 1989, P. 88. Цит. по: Роже Шартье. История сегодня: сомнения, вызовы, предложения // Одиссей, 1995. С. 191.

ным и историческим анализом¹. При всей спорности методологии «нового историзма» применительно к историческим исследованиям, он тем не менее еще раз показал, что литература обращает внимание историков на риторику, стиль исторического исследования, предлагает инструктивный репертуар различных эстетических моделей репрезентации.

Все эти моменты исторической работы и стали предметом исследования в риторическом повороте.

Нарративный поворот в лингвистических исследованиях истории акцентировал понятие *emplotment* – способ построения сюжета в нарративе и привлек внимание к самому феномену исторического нарратива. В исследованиях исторического нарратива можно выделить по крайней мере шесть направлений анализа, сформированных в 70–80-е годы XX века. *Аналитическое* (Уолш, Гардинер, Дрэй, Гэлли, Мортон Уайт, Данто, Минк) – анализирующее эпистемический статус нарратива и акцентирующее его объяснительную функцию в истории; *«анналистское»* – представленное школой Анналов (Бродель, Фюре, Ле Гофф, Леи Рой Ладюри и др.), рассматривающее исторический нарратив как не-научный способ изложения истории; *постструктуралистское* – его представляют литературные теоретики и философы (Барт, Фуко, Деррида, Тодоров, Кристева, Бенвенист, Дженетте, Эко) и для них нарратив есть один из множества «дискурсивных» кодов, который (может или не может) быть применим к репрезентации реальности; *герменевтическое* понимание нарратива, предложенное Гадамером и в деталях разработанное Рикером, который понял нарратив как темпоральный дискурс особо-

¹ Краткий обзор см.: The New Historicism Reader, ed. H. Aram Veenser. N. Y., 1994; См. также: Х. Уайт. По поводу «нового историзма» // НЛЮ. № 42. 2000; Смирнов И. П. Новый историзм как момент истории // НЛЮ. № 1 (47). 2001. С. 41–71; см. также: Кукарцева М., Мегилл А. Философия истории и историология: грани совпадения // История и современность, 2006. № 3. С. 40–42.

го рода; *доксографическое* – исследование нарратива как доксы, мнения (*doxa*), такими историками, как Хекстер (нарратив как совершенный способ «делать» историю) и Джеффри Элтон (нарратив как «практика» истории); *семиологическое* – предложенное Уайтом, как способ придания миру смысла, поиска значения.

Ф. Анкерсмит в работе «Нарративная логика» предпринял попытку исследования логических механизмов исторического нарратива¹. Книга Анкерсмита сложная, в ней излагается предложенная им теория исторической интерпретации как теории «бельведера» (*«belvedere» theory*). Это первая большая работа Анкерсмита, теоретически чрезвычайно плотная, насыщенная оригинальными идеями. Центральная категория Анкерсмита – *narration* (нарративность) – «получившая широкое определение форма, которая содержит множество специальных моделей дискурса... Три темы нарративной логики таковы: 1) нет никаких правил для трансляции реальности; 2) *narratio* существует скорее как целое, чем как сумма его нарративных предложений; *narratio* является нарративной субстанцией и дает нам интерпретацию прошлого; 3) существует сходство между историческими и метафорическими утверждениями. ... Дано не “прошлое”, но наше понимание нарративных субстанций, которое имеет нарративную структуру...»².

Вообще, по поводу исторического нарратива издано огромное множество литературы³. При этом возрождение интереса к нарративу в лингвистическом повороте и в историческом описании вообще было омрачено глубоким убеждением многих историков и философов в его (нарратива) эпи-

¹ Анкерсмит Ф. Нарративная логика. М., 2003.

² H. Kellner. Language and Historical Representation. P. 311–312. См. также: McCullagh. Review F. Ankersmit. Narrative Logic // History and Theory. № 23. 1984. P. 394–403.

³ См. об этом: W. Martin Recent. Theories of Narrative. Cornell University press, 1986.

стемологической несостоятельности. Как показывает Мегилл, Франсуа Фюре в работе «От нарративной истории к истории проблемно-ориентированной», утверждал: «...возможно обвальное падение нарративной истории»¹. Нарратив, полагал он, несостоятелен и логически и эпистемологически, т. к. «особый тип логики нарратива – *post hoc, ergo propter hoc* – не лучше подходит для нового типа истории, чем такой же традиционный метод обобщения от единичного»². Это же заметил и Р. Барт³. Он предположил, что нарратив следует своей специфической логике, заставляя рассматривать то, что происходит «после» *X* как «причиненное» *X*. Мегилл считает, что нарратив имеет четырехчленную матрицу – *дескрипцию* некоторого аспекта исторической реальности, *объяснение* некоторого аспекта исторической реальности, *аргументированность* или *обоснованность* предложенного вывода, *интерпретацию* фрагмента прошлого. В зависимости от целей исторической работы на первый план выдвигается какая-то одна из частей нарратива.

В целом, в рамках нарративно-лингвистической исторической эпистемологии существует множество подходов, подчеркивающих: конструктивную роль аранжировки исторической работы (ее диспозицию в нарративе); роль тропов или стилистики в исторической работе; четкость формулировки авторских интенций или убедительность последних для аудитории. Сама же эта модель исторической эпистемологии прочно ассоциируется с четырьмя вещами:

¹ *François Furet. From Narrative History to Problem-oriented History // Furet. In the Workshop of History / Trans. Jonathan Mandelbaum. Chicago, 1982. P. 54–67.*

² *Furet. From Narrative History to Problem-oriented History. P. 57.*

³ *Ролан Барт. Введение в структурный анализ повествовательных текстов // От структурализма к постструктурализму. М., 2000. С. 207.* Утверждения Барта есть интенсификация идей Аристотеля, высказанных в «Поэтике», о том, что есть большая разница между вещами, случившимися *propter hoc* и *post hoc*.

постмодернизмом, семиотикой, деконструкцией и нарративом. Пик их востребованности и популярности в философско-историческом и собственно историческом знании уже в значительной мере прошел¹. Постмодернизм сменен ситуацией пост-«post-mo»; семиотика сохраняет значение только как область эпистемологических исследований референциальных отношений язык/мир; деконструкция требует от историка слишком «чувствительного для него философского слуха» и огромной меры литературной образованности, и только нарратив остался наименее спорным элементом, потому что глубоко вписан в лингвистические и познавательные структуры человека, имеет (обманчиво) беспристрастную форму, граничит с литературной теорией².

В ситуации пост-«post-mo» историческая эпистемология, конечно, продолжает развиваться, но иными путями. Анализу наличной ситуации был посвящен отдельный выпуск сборника статей журнала *History and Theory*³. Общую идею этого анализа хорошо выразил Ф. Анкерсмит: «Пришло время изменить объект исследования. Лично мне весьма интересна категория исторического опыта»⁴. Ряд исследователей (Х. Уайт, Х. Келлнер, Г. Иггерс, Ю. Топольски, Й. Рюсен и др.) полагают, что акцентирование внимания на проблеме исторического опыта является фундаментальной точкой зрения для будущего самой исторической дисциплины и для философии истории⁵. В своей

¹ См. об этом, например: *Репина Л. П.* Вызов постмодернизма и перспективы новой культурной и интеллектуальной истории // *Одиссей*, 1996; Partner N. Материалы XIX конференции историков. Австралия, 2005, июнь.

² О специфике нарратива см.: *Тюпа В.* Нарратология как аналитика повествовательного дискурса. Тверь, 2001; *Критика и семиотика*. Новосибирск: НГУ, 2002. Вып. 5; *Шмид В.* Нарратология. 2003; и др.

³ *Agency after Postmodernism. History and Theory. Theme Issue 40.* Dec., 2001.

⁴ *Domanska E.* Encounters: Philosophy of History after Postmodernism, Charlottesville. Univ. Press of Virginia, 1998. P. 12.

⁵ Ibid.

книге «Возвышенный исторический опыт»¹ Анкерсмит продолжает линию размышлений, начатую в предыдущих работах.² Отправной пункт рассуждений Анкерсмита состоит в том, что нам не следует переоценивать «лингвистический поворот», поскольку существует опасность того, что «претензии лингвистического поворота» начнут «вмешиваться в принуждение опытом». Историк не должен фиксировать внимание только на историческом тексте. Проблема в том, что лингвистический формализм в любой его разновидности может подменять опыт, положительно относясь к одному содержанию опыта и враждебно относясь к другому – так же, как кубизм, например, благоволит прямым линиям и прямым углам, негативно относясь к кругам и эллипсам»³. Анкерсмит сегодня предпринимает «поворот» от языка к опыту, под которым понимает доступный нам опыт прошлого, к которому мы можем приблизиться через осмысление и интерпретацию свидетельств.

Такова вкратце интрига развития исторической эпистемологии, проблемы которой рассматривает Аллан Мегилл в своей книге. Суть же этой интриги в том, по его мнению, что история вернулась к тем же проблемам и вопросам, из которых и исходила, накопив, однако, по ходу дела, весьма солидный теоретический и культурный капитал. Ретроспективный взгляд на этот кумулятивный процесс, предпринятый американским историком, представляет собой ценный источник новых идей и новой информации не только для начинающих изучать историческую дисциплину, но и для профессионалов-историков, а также для специалистов в области философско-исторических исследований XX–XXI веков.

¹ *Ankersmit F. Sublime Historical Experience. Stanford, 2005.* См. об этом: *Кукарцева М., Мегилл А. Философия истории и историология: грани совпадения. // История и современность. 2006. № 2. С. 42–43.*

² *Ankersmit F. Historical Representation. Stanford, 2001; Ankersmit F. Political Representation. Stanford, 2002*

³ *Ankersmit F. Historical Representation. Stanford, 2001. P. 71–72.*

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭПИСТЕМОЛОГИЯ

Я выяснила бы, почему Мартин Герр оставил свою деревню и куда он пошел; как и почему Арно дю Тиль стал самозванцем, дурачил ли он Берtrandу де Ролс, и почему он не сумел заставить себе поверить. Это сообщило бы нам новые вещи о сельском обществе шестнадцатого века...

Но это оказалось гораздо труднее, чем я думала....

Натали Земон Дэвис.

«Возвращение Мартина Гера».

Простая истина есть та истина, которую часто трудно получить, а полученную легко потерять вновь.

Карл Р. Поппер.

«Догадки и опровержения:

Рост научного знания».

ВВЕДЕНИЕ

Потребность в исторической эпистемологии

В прошедшие двадцать пять лет произошли серьезные изменения в том, как историки изучают прошлое. Возможно, наиболее существенным стал поворот к культурной истории. Возвышение новой культурной истории расширило поле зрения историков, обращая внимание на те аспекты прошлого человечества, которые ранее игнорировались или были недооценены. Вспомните, например, «Возвраще-

ние Мартина Герра» Натали Дэвис, историю французской крестьянки шестнадцатого века Берtrandы де Ролс, чей муж, Мартин Герр, исчез из деревни и затем, восемь лет спустя, возвратился, казалось бы, став намного лучше. Но возвратился он только для того, чтобы быть разоблаченным как самозванец, когда наконец вернулся *настоящий* Мартин Герр, потерявший ногу на службе в испанской армии¹. Дэвис много рассказывает нам о положении, в котором оказалась Бертранда, и размышляет о том, что она, должно быть, думала, когда делала свой выбор. На протяжении всей книги Дэвис определяет свои размышления как *предположения*: «возможно», это случилось, люди «должны были так себя вести» или, «вероятно», поступали так в данных обстоятельствах; Бертранде, «возможно», помогали так и эдак, «возможно», она думала так, «возможно», она принимала ложного Мартина Герра по такой-то и такой-то причине; «в качестве мысленного эксперимента позвольте нам вообразить то, что могло бы произойти», супружеская пара, «вероятно, разработала стратегию» и так далее. Во всех этих случаях Дэвис всегда аккуратно сообщает нам о том, какое свидетельство стало основой для утверждений, которые она делает, и для возможностей, которые она предполагает. Она никогда не обрушивает это свидетельство на нас. Она сообщает нам, почему она думает, что данное свидетельство приводит к тому заключению, которое она формулирует. Она *аргументирует*.

В последние годы, однако, среди некоторых историков обнаруживается тенденция не принимать во внимание ту степень осторожности в выборе свидетельства и аргументации, которую иллюстрирует Дэвис. Нет сомнения, что Дэвис писала, имея в виду идеи американского феминизма второй половины XX столетия. В результате, она задает

¹ Natalie Z. Davis. The Return of Martin Guerre. Cambridge, MA, 1983; русск. изд.: Н. Земон Дэвис. Возвращение Мартина Герра. М., 1990.

такие вопросы о сознании французской крестьянки XVI века, которые историки прежде не задавали. Можно, конечно, увидеть в этой книге приверженность ее автора феминизму. Но Дэвис никогда не бывает небрежна в работе со свидетельством и никогда не оставляет непроясненными свои суждения и аргументы. У читателя нет ощущения, что она преувеличивает. Безусловно, «Возвращение Мартина Герра» – изящный нарратив. Посмотрите на него: это – прекрасная история, которая рассказана и неоднократно пересказана, в том числе звездой французского кино Жераром Депардьё в кинофильме 1982 года. Но хотя Натали Дэвис демонстрирует неподдельное восхищение этой историей, она всегда точна в том, каким образом рассказ соотносится со свидетельством. Она обнаруживает, коротко говоря, эпистемологическую осторожность, родственную той, что рекомендует один из основателей западной историографии Фукидид в начале своей «Пелопонесской войны». Без сомнения, Дэвис преследует свой собственный интерес, но ее история не зависит от этого интереса. В ее книге содержатся уроки для настоящего, но они не даны в эксклюзивной форме: нельзя *точно* сказать, каковы они. В целом, «Мартин Герр» – это история, а не что-либо еще. Это попытка добраться до исторической правды. Это – воображаемая конструкция или реконструкция, которую предпринимает Дэвис в надежде дать нам возможность прикоснуться к реальности, отличной от нашей собственной (хотя и подобной ей). Она выполняет свою работу с уважением к правилам – умалчиваемым или явно выраженным – к тому, что я называю исторической эпистемологией¹.

В дополнение к исследованиям, предпринятым в этой книге, я сосредоточу внимание не только на исторической

¹ Эпистемологические подходы Дэвис изложены в ее статье: On the Lane // American Historical Review. № 93. 1988. P. 572–603. В ней она отвечает своим критикам.

эпистемологии, но и на историческом *мышлении*. Для того чтобы со знанием дела рассуждать об исторической эпистемологии, необходимо иметь представление о специфике подхода историка к прошлому. Здесь может помочь традиция историописания, которая начинается с Фукидида и его коллеги Геродота. В «Пелопонесской войне», так же как в «Истории» Геродота, любой может заметить нечто, что красной нитью проходит через всю последующую историческую традицию, отличая ее от традиций философии и науки. Можно дать этому «нечто» разные названия. Я предпочитаю называть это *нерешающей диалектикой* (или, альтернативно, *принципом нерешительности*). Под этими терминами я имею в виду то, что истинный историк, тот, кто предан традиции истории, счастлив оставить свое суждение в пространстве между противоречивыми установками или утверждениями. И напротив: философ и его преемники, ученый и социолог, хотят это противоречие разрешить, чтобы получить единственное, вполне определенное заключение, и в идеале – единственную, непротиворечивую теорию.

В моей книге я не буду рассматривать варианты понятия нерешающей диалектики. Но необходимо привести ее примеры, чтобы рассуждать о релевантности этого понятия исторической эпистемологии. Едва ли можно сделать лучше, чем начать с самого начала: с первого «отца истории» – Геродота¹. Согласно традиции, Геродот путешествовал по восточному средиземноморскому миру, собирая материал для своего большого расследования о тех войнах, что вела Персидская империя против греков; войнах, которые при-

¹ См.: *Arnaldo Momigliano. The Place of Herodotus in the History of Historiography // Studies in Historiography. London, 1969. P. 127–142; François Hartog. The Mirror of Herodotus: The Representation of the Other in the Writing of History. Trans. Janet Lloyd. Berkeley, 1988.*

вели к поражению Персии и к сохранению того, о чем нам нравится думать как о «западной культуре». Люди, с которыми беседовал Геродот, рассказывали ему множество историй. Некоторые истории он мог проверить, другие – нет, но он не хотел расстаться с теми рассказами, в истине которых не был уверен. Его методы в таких случаях могли бы показаться эпистемологически безответственными. Но это не так, поскольку, пересказывая сомнительные рассказы, он не скрывает собственную в них неуверенность: «Что до меня, то мой долг передавать все, что рассказывают, но, конечно, верить всякому я не обязан. И этому правилу я буду следовать во всем моем историческом труде»¹. Он заинтересован в рассказах самих по себе, независимо от их фактической истинности, и он надеется, что мы будем относиться к ним так же. Но, в то же время, ему интересно и то, что произошло на самом деле, что не сходится с сомнительным рассказом: «...но это не так... надпись же сделал некто из дельфийцев... имя его я знаю, но не назову» (1.51). Говоря о проблеме современным языком, Геродот отклонил утверждение, что история должна быть идентифицирована с тем, что люди сегодня иногда называют «памятью». Но он также отклонил и утверждение, что история должна *исключать* «память». Скорее – и это несколько парадоксально, – история должна быть одновременно и рассказом, и памятью. Таков взгляд Геродота.

Другой вид «нерешительности» может быть найден у преемника и конкурента Геродота Фукидида. Безусловно, Фукидид отверг геродотову любовь к рассказам: в начале «Пелопонесской войны» он объявил, что хочет избежать

¹ *Herodotus. The History* / Trans. David Grene. Chicago, 1987. 7.152; русск. изд.: *Геродот. История*: В 9-и т. Кн. 7. Полигимния. 152. М., 1993. С. 353.

muthodes – слово, производное от слова «миф»¹. Вместо этого Фукидид пытался выяснить *для себя*, что именно случилось, и старался сообщать только то, в чем мог убедиться сам. (Он мог так поступать, потому что Пелопонесская война произошла в то время, когда он уже был взрослым человеком, и все еще шла, когда он писал о ней. Кроме того, он сам был военачальником в этой войне, пока афиняне не признали его ответственным за поражение от спартанцев и не сослали.) Фукидид – отнюдь не нерешителен в отношении фактической истинности своего исследования: напротив, он абсолютно убежден, что его рассказ истинен. Его нерешительность может быть найдена, скорее, в его готовности – даже рвении – подробно сообщать о противоречивых взглядах и политике множества различных партий, вовлеченных в войну. Между тем *собственные* взгляды Фукидида остаются в тени. Он – не начинающий политолог, старающийся дать нам теорию военных действий или международных отношений. Он – историк, пытающийся рассказать правдивую, и потому неоднозначную, историю. Вот почему, как указывает антиковед Дэниел Мендельсон, не правы те современные авторы, кто пробует превратить Фукидида в поставщика прямых уроков для настоящего. Например, Йельский классицист Дональд Каган предлагает прочтение Фукидида, которое могло бы быть расценено, замечает Мендельсон, «как проект односторонней политики превентивной войны в духе двадцать первого века...». Предлагая такое прочтение, Каган упрощает фукидидово исследование войны – «изъятие многих голосов и точек зрения, которые он (Фукидид. – прим. пер.) так трудно искал, для того чтобы включить в работу.

¹ *Thucydides. History of the Peloponnesian War* / Trans. Rex Warner. Harmondsworth, UK, 1954. 1.21; русск. изд.: *Фукидид. История // История Греции*. М., 1976. 1.21.

Фукидид не пытался дать нам политические предписания; Каган явно делает это»¹.

«Нерешающая диалектика», характерная для исторического мышления, тесно связана с исторической эпистемологией, поскольку один аспект этой установки историков – весьма отличной от установки теоретика или специалиста по естественным наукам – сохраняет разрыв или промежуток между прошлой реальностью, которую историк описывает, и миром опыта настоящего. (Это не означает, что прошлое и настоящее *полностью* разъединены – они только различны.) Истинный историк – не пропагандист или болельщик, не тот, кто хочет, чтобы его история была «полезной». Скорее, он тот, чья страсть к познанию заставляет его исследовать закрытую для посетителей чужую страну – прошлое. Эта страсть связана с исторической эпистемологией, потому что историк только тогда может быть правдив, когда он всерьез воспринимает важность соответствия между историческим свидетельством и тем, что он пишет. Внимательность к историческому свидетельству помогает историку быть честным, и, следовательно, перед ним меньше опасность экстраполировать на прошлое свои собственные предубеждения и благие пожелания. И наоборот: слишком большая заинтересованность в использовании истории в настоящем может сделать потенциального историка невнимательным к историческому свидетельству. Дэвис, в «Возвращении Мартина Герра», очень заботится о связи написанной ею истории с релевантным свидетельством. Это не значит, что ее книга – вне критики, что это единственный исторический рассказ, который можно написать о крестьянах XVI века, или даже о странном случае

¹ Daniel Mendelsohn. Theatres of War // The New Yorker. Jan. 12, 2004. P. 82. Заметим, что оба – и Геродот, и Фукидид – рассматривали, хотя и разными способами, феномен «множества голосов».

Мартина Герра. В действительности, истинный историк *не может* требовать эксклюзивности для своего исследования: такова догадка Геродота. (Конечно, лозунги о том, что «все годится», и то, что *действительно* случилось, не имеет значения, – одинаково некорректны: это догадка Фукидида.) Требование знать прошлое с уверенностью нарушает принцип «исторической нерешительности». Это превращает историка в несколько иной вид исследователя, находящегося вне традиции историописания. Или, того хуже, это может превратить его в поставщика ошибок и даже безнравственности (поощряя, например, самодовольство, высокомерие, гордость за прошлое, за настоящее и за отношения между ними). Претензия на эксклюзивность грешила бы также и против исторической эпистемологии, поскольку отдельные события или происшествия в прошлом не оправдывают утверждение историка о том, что его собственное исследование истинно, а все другие ложные¹.

Утверждения, которые я здесь формулирую, уже известны всем настоящим историкам, хотя, возможно, не совсем в той форме, которую предлагаю я. Моя книга критически направлена в адрес другой позиции, которая оказалась в последние годы в центре внимания, – в адрес взгляда, согласно которому истинная функция истории заключается в *защите правильной позиции в настоящем*. Согласно этому представлению, история есть политика, и даже война, но другими средствами. Конечно, не удивительно, что люди, которые преследуют свои личные цели и которые обладают способностью навязать свои желания и предпочтения, разделяют это представление. Те, кто оплачивает счета историков, естественно, хотят, чтобы истори-

¹ Принцип исторической эпистемологии означает, что историк обязан избегать таких утверждений о прошлом, которые противоречат свидетельствам; а в тех утверждениях, которые он должен сделать, он обязан четко указать, почему он так думает. – *Примеч. авт.*

ки заслужили свое содержание. Тревожит то, что в последнее время такие представления широко распространены среди профессиональных историков, которые должны бы быть более осмотрительными.

Возьмем, например, статью Уильяма Г. Томаса и Эдварда Л. Айерса «Различия, созданные рабством: тщательный анализ двух американских общин», что появилась в «American Historical Review» и на соответствующем веб-сайте в декабре 2003 года. В статье ставится цель предоставить читателям «полный доступ к академическому спору» относительно связи между рабством и Гражданской войной в Соединенных Штатах¹. Авторы утверждают, что рабство было «гораздо более важным в Гражданской войне, чем мы думаем», потому что оно оказало «определяющее влияние» даже в тех частях Юга, где не было хлопковых плантаций или афро-американского большинства². Авторы многократно повторяют это утверждение. В его поддержку они указывают на цифровой архив (the «Valley of the Shadow» Project [<http://valley.vcdh.virginia.edu>]), который содержит множество данных о двух сельских общинах в Долине Шенандоа – одна на севере (графство Франклин, Пенсильвания) и одна на юге (графство Августа, Вирджиния). На основе этих данных, а также других «исторических аргументов и свидетельств», Томас и Айерс делают еще один вывод, более решительный и определенный, чем утверждения о «важности» и об «определяющем влиянии», указанные выше: *«Опыт наших двух округов показывает, что рабство вызвало весь конфликт, который привел к*

¹ William G. Thomas III, Edward L. Ayers. An Overview: The Differences Slavery Made: A Close Analysis of Two American Communities // American Historical Review. 108. 2003. P. 1299–1307. Полная электронная версия см.: [HTTP://HISTORY](http://HISTORY)

² Thomas, Ayers. An Overview. P. 1301.

Гражданской войне», а не просто модернизация или того, что многие имеют ввиду, когда говорят о том, что «экономика» стала причиной войны, или же о том, что «индустриальный» Север выступил против «сельскохозяйственно-го» Юга¹. Однако архивные данные, используемые авторами (например, об экономической деятельности, населении, о религиозных институтах, политических и социальных взглядах), в двух схожих сельских общинах перед началом войны, в ее ходе и после окончания, хотя и имеют своего рода дескриптивный интерес, но не дают оснований для попытки вывести из этих данных более широкие заключения.

Авторы фактически никогда не *делают* того, что они подразумевают под словами «дать полный доступ» к данным. На самом деле они вовсе не приводят никаких доказательств: их «резюме аргументации» – это все, что мы имеем. Хотя слово *аргумент* повторяется в статье вновь и вновь – как если бы они хотели восполнить словом отсутствие вещи, – но обычно (если не всегда) это слово используется как синоним заявления или *утверждения*. Если же сам *аргумент* означает *утверждение*, то никакое утверждение в аргументах не нуждается. Конечно, большой набор того, что *называется* свидетельствами, представлен и в статье, и в цифровом архиве. Авторы говорят, что они приводят «свидетельство» в пользу своего «научного аргумента» (под этим они, очевидно, подразумевают свидетельство в пользу их утверждения или утверждений о рабстве и Гражданской войне²), но они не в состоянии понять, что же требуется для того, чтобы нечто стало «свидетельством» чего-то еще. Странно и абсолютно неприемлемо воображать, что кто-то приводит «свидетельство» *в пользу*

¹ AHR. P. 1302.

² AHR. P 1299.

какого-либо «научного аргумента». Тогда нужно полагать, что свидетельство – это одно, а научный аргумент – совсем другое. Но это не так: когда кто-то предлагает свои аргументы – в истории ли, юриспруденции, физике, или в любой другой области науки, – то свидетельство, которое подтверждает его заявления, есть просто часть его аргументов. Говоря другими словами: нет никакого абстрактного свидетельства: свидетельство есть всегда свидетельство *за* или *против* определенного утверждения и оно становится свидетельством *за* или *против* этого утверждения на основании того аргумента, который выдвигает историк, юрист, физик или кто бы то ни было еще.

Авторы также не в состоянии понять правила формулирования аргумента, выходящего за пределы простого описания прошлой исторической реальности. Они пишут об «определяющем влиянии» рабства и о «различиях, созданных рабством». Это объяснительные, а не только описательные утверждения: авторы говорят, что рабство произвело важное каузальное воздействие на структуру американского общества и на события того времени. Кажется весьма вероятным, что это утверждение является истинным, т. е. что рабство *на самом деле* оказывало существенное воздействие на американское общество. Но если вы хотите идти дальше того, что теперь стало трюизмом, и выдвинуть некий действительно «научный аргумент», то вы должны обеспечить свидетельство и аргументацию, поддерживающую это утверждение. Важный момент состоит в том, что как ученый вы обязаны представить свидетельство не только в пользу данного каузального утверждения, но также и свидетельство против него. Или, говоря иначе, если необходимо оценить, оказывал ли и какого типа «определяющее влияние» X на Y , то нужно также рассмотреть возможное воздействие W , V , U , T и т. д. на Y . Другими словами, необходимо осуществить контрфактическое рас-

суждение (см. гл. V наст. изд.). Также нужно быть точными в употреблении терминов, в чем так замечательно небрежны Томас и Айерс. Например, они могли назвать свою статью «Сравнительные характеристики двух американских округов в период Гражданской войны, с привлечением материалов цифрового архива». Это был бы обычный исторический проект. Вместо этого они утверждают, что проанализировали «различия, созданные рабством», без понимания того, как такое историческое исследование дифференцирующего воздействия рабства на самом деле могло быть выполнено. Они выбрали как «детерминанту» только один элемент в сложной реальности того времени и затем стали говорить о «различиях», которые он вызвал. Результат – явная путаница. Авторы не видят того, какая именно форма рассуждения требуется для тех заявлений, которые они делают.

Такая форма рассуждения может только быть аналитической. Томас и Айерс, кажется, понимают это на самом поверхностном уровне. Например, в «полной электронной версии» статьи они разместили то, что назвали «точками анализа», которые якобы являются релевантными их аргументации. Но оказалось, что «точки анализа» вообще не являются таковыми. Скорее, это разного рода утверждения. Данные утверждения всегда имеют некоторое отношение к исторической действительности исследуемых двух округов, устанавливая факт или ряд фактов, относящихся к одному или обоим округам. Например, одна такая «точка анализа», которая выделена жирным шрифтом, читается следующим образом:

«В Августе почти каждая группа белых людей имела собственность и дома большей стоимости, чем люди подобного положения во Франклине, и большая часть этой собственности была неразрывно связана с рабством».

В принципе, это положение можно легко подтвердить: это, в конце концов, простое описательное утверждение, а

не утверждение о некоей причинной обусловленности. Но параграф, который немедленно следует за вышеупомянутым предложением, обращает на себя внимание одним коротким пассажем:

«Наиболее явным было различие в личной собственности. Поскольку рабы составляли категорию богатства, полностью запрещенного на Севере, средний фермер в Августе имел в три раза больше личной собственности, чем средний фермер во Франклине. Рабство, казалось, создавало, *по крайней мере в глазах белых*, тот уровень жизни, который обеспечивал благосостояние всем белым».

Что не так в этом параграфе? Подумайте сами: сначала следует утверждение авторов, что «средний фермер в Августе имел в три раза больше личной собственности, чем средний фермер во Франклине». Томас и Айерс подробно останавливаются на этом утверждении:

«Во Франклине личная собственность составляла меньше третьей части от стоимости недвижимого имущества. В Августе, по контрасту, личная собственность, главным образом состоящая из рабов, составила в целом 10,1 миллиона долларов, почти три четверти от 13,8 миллионов долларов сельхозугодий, городских зданий и гостиниц в преуспевающем графстве».

К сожалению, Томас и Айерс пропускают важную концептуальную проблему, скрывающуюся за этим сравнением. Так как для любого разумного, любознательного читателя это – очевидная проблема, то удивительно, почему они-то не в состоянии обратить на нее внимание. Вопрос, который возникает в уме образованного читателя, таков: учитывая, что сравнение между Севером и Югом вовлекает в анализ две различные формы собственности, одна из которых не позволяла, а вторая разрешала одним людям иметь в собственности других людей, то как можно сравнивать стоимость личной собственности в этих двух регионах без учета различия ее форм?

На самом деле, прямое сравнение в высшей степени некорректно. Это так, потому что рабы как компонент личной собственности, которым обладали некоторые люди в графстве Августа, не имел никакого прямого эквивалента, как *собственность*, в графстве Франклин. Рабовладельцы в Августе являлись собственниками рабочей силы, представленной их работниками-рабами, а предприниматели во Франклине только арендовали рабочую силу, платя заработную плату свободным рабочим. Включение цены рабов в оценку личной собственности в Августе обеспечивает ей, сообщают Томас и Айерс, более высокую среднюю оценку личной собственности по сравнению с Франклином. Но различие между двумя этими числами не показывает того, что же конкретно выигрывал материально «средний фермер» в Августе (относительно личной собственности) по сравнению со «средним фермером» во Франклине. Скорее, различие между стоимостью рабов в Августе (необъявленной, насколько я могу это увидеть в электронном архиве) и ценностью рабов во Франклине (ноль) есть маркер различия между двумя противостоящими формами собственности. Чтобы установить различие стоимости личной собственности «среднего фермера» в этих двух округах, Томас и Айерс должны были предпринять *реальную процедуру* анализа свидетельств. Вместо этого все, что они предлагают нам, – это столбцы чисел, описывающих различные экономические признаки каждого графства. Но чтобы действительно сравнивать богатство «среднего фермера» в этих двух округах, требовалось вывести *сопоставимые* численные значения из имеющихся данных, которые, в их сырой форме, несравнимы. В общем, авторы должны были бы вычислить стоимость рабочей силы, обеспеченной как рабочими-рабами, так и свободными рабочими, так как рабы и нанятые рабочие, предположительно, были куплены или наняты за стоимость той рабочей силы, которую они обеспечили. Такое сравнение, конечно, потребовало бы более

глубокого анализа и логически выверенного рассуждения. Но это – единственный способ сделать сопоставимыми те несопоставимые данные, которые тем не менее намерены сравнивать Томас и Айерс¹.

Давно известно следующее элементарное требование метода социальной науки: чтобы делать сравнения, следует сравнивать только те вещи, которые являются сопоставимыми. Почему Томас и Айерс не стали заниматься той аналитической работой, которая необходима для того, чтобы получить сравнимые показатели от несопоставимых сырых данных? Единственно возможное объяснение вытекает из их утверждения о том, что «рабство казалось ответственным, *по крайней мере в глазах белых*, за тот уровень жизни, который был выгоден всем белым». Слова, которые я под-

¹ Здесь не место для полного анализа утверждений Томаса и Айерса. Эту задачу лучше оставить критическому вниманию специалистов по истории Соединенных Штатов XIX века. Удовлетворимся тем, что скажем: развертывание статистики Томасом и Айерсом раздражающе фрагментарно в моментах, которые я коротко указал, и трудно реконструируемо. В <http://vcdh.virginia.edu/tablesandstats/comparison/estatevalues1860.html> они утверждают, что «в графстве Августы основная часть личного состояния оценивалась в рабах», но они не указывают точное число рабов. Они сообщают нам: принимая во внимание, что средняя стоимость собственности на душу населения (личная собственность и недвижимое имущество) составляла во Франклине 633 \$, в Августе – 863 \$ (или 1,112 \$, если считать только белых жителей Августы). К сожалению, авторы не дают нам статистику «среднего фермера» в этих двух округах. Возможно, эти данные, и многое еще, осталось где-нибудь вне поля их зрения. Если берется только личная собственность на душу населения, то приводятся цифры: во Франклине 156 \$ и в Августе 364 \$ (включая всех резидентов). Prima facie, утверждение о том, что рабство дало округу Августы по сравнению с округом Франклина «огромные личные состояния», вводит в заблуждение не только потому, что сравниваются несравнимые вещи, но также и потому, что ими не учтена реальная стоимость собственности (сообщается, что реальная собственность на душу населения во Франклине была 476 \$, а в Августе – 499 \$, что очень близко друг к другу). Авторы также не обсуждают, что же расценивалось как личная собственность в переписи 1860 года, а также насколько надежным был сбор этой статистики и что из нее исключалось.

черкнул, озадачивают, так как Томас и Айерс начинают в «точке анализа» с заявления об объективной ситуации в Августе во время Гражданской войны, что звучит подобно словам Фукидида, который хотел написать исследование Пелопонесской войны по принципу «как это действительно было». Но в процитированном предложении они смещают акценты и отсылают к тому, что имело место в то время и что люди того времени говорили об этом, – родственник Геродоту пересказ историй персов, греков и пр., независимо от того, были они истинными или нет. К их чести, *оба* греческих основателя истории четко понимали различие между тем, что имело место в прошлом, и тем, что люди в прошлом говорили об этом, и они, сосредоточиваясь либо на одном, либо на другом, и при переходе от одного уровня к другому, сообщали об этом читателю. Томас и Айерс, вероятно, намерены уничтожить это полезное и важное различие. Досадно, что такое произошло в рамках профессиональной историографии: для нее это – решительный шаг назад.

Конечно, как уже отмечалось, авторы находят обширное количество «свидетельств». Но они не в состоянии понять, что свидетельство есть всегда свидетельство «за» или «против» некоторого утверждения. Так называемое свидетельство в этой статье больше напоминает некое декоративное оформление, или оно, скорее, похоже на массивную мебель, предназначенную произвести впечатление своим размером и весом. Томас и Айерс сообщают нам, что они хотят «соединить форму статьи с ее аргументацией, использовать электронную среду настолько эффективно, насколько возможно, чтобы презентация нашей работы выражала и подтверждала наши аргументы»¹. Возможно, то, что они делают, будет «эффективно» для тех читателей, которые ищут развлечений и некоторой доли наставлений. В конце концов, работа Томаса и Айерса дает нам шанс

¹ AHR. P. 1299.

еще раз высказать свои ламентации относительно той роли, которую сыграло рабство в истории Соединенных Штатов. Но цена «эффективную презентацию» выше аргументации – а кажется ясно, что именно это они и делают, – авторы сообщают нам историю-как-пропаганду, не говоря об этом прямо.

Зато они точно говорят о том, в чем именно их заслуга. Томас и Айерс считают, что будущая «наука истории в цифровой среде», опирающаяся на их собственную пионерскую работу, «могла бы быть сконцентрирована на следующих проблемах»:

- как представить нарратив более эффективно;
- как репрезентировать событие и изменение в истории;
- как более точно анализировать язык;
- как сделать визуализацию столь же убедительной и полной, как нарратив.

В первом, втором и четвертом из этих предложений Томас и Айерс действительно говорят о том, как максимально эффективно осуществить пропаганду. Что касается третьего предложения, то их статья не лучшая модель точного анализа. Они упорно утверждают, что их статья «использует преимущества, которые дает [цифровая] среда для большей точности...»¹. Если это – точность, то остается только спросить: а какова же неточность?

Как известно любому исследователю исторической эпистемологии, «свидетельство» не имеет постоянного статуса, необходимо избегать ошибки отождествления *информации* (или данных) и *свидетельства*. Свидетельство является таковым только на основании свидетельствования за или против определенного утверждения или множества утверждений. Информация превращается в свидетельство только тогда, когда исследователь или ученый вовлечены в спор, которым он или она стремится показать, что спорная

¹ AHR. P. 1302.

информация подтверждает или опровергает такое-то и такое-то *утверждение*. Идеологически ориентированный историк избегает задавать вопрос, каким образом его утверждения могут быть поддержаны или опровергнуты. Скорее, он *предполагает*, что сделанные им утверждения истинны, или, по крайней мере, они являются социально полезными; и затем пытается представить их так «эффективно» и настолько в «пристрастной» форме, насколько это возможно. Историк, заинтересованный в открытии истины и в элиминации ошибок, поступает по-другому. Такой историк предполагает, что утверждения, которые он формулирует, не окончательны. Такой историк знает, что он должен предложить аргументы (а не только их *резюме*), чтобы доказать свои утверждения. Такой историк всегда задает вопрос: что подтверждает то утверждение, которое я только что сформулировал? Выяснение этого вопроса приучает к интеллектуальной дисциплине.

Этот вид дисциплины воспитывает точность в суждениях. Томас и Айерс преднамеренно отделяют свои суждения от исторических данных предшествующей историографии и исторического анализа, которые все вместе были бы необходимы для подтверждения этих суждений¹. Едва ли удивительно то, что, не обременяя себя дисциплинарными требованиями все подтверждать, как это делают истинные историки, они неизбежно впадают в неточность.

В последние годы стало модно настаивать на том, что *история является нарративом*, т. е., что это просто рассказ (story). Безусловно, историописание прежде всего является нарративом, по своей природе (в гл. II § 2 я подробно расскажу о том, что, действительно, почти вся история в самом широком смысле, а не только ее большая часть, есть нарратив). Но история не есть *только* нарратив. Французский классический историк и теоретик истории Поль Вейн

¹ «Историография и свидетельство занимают разные пространственные ниши. Они находятся вне анализа, не зависят от него...».

утверждал, что «история есть правдивый нарратив»¹. Позвольте мне здесь акцентировать внимание на слове *правдивый*. Это не означает «истинный» в каком-то его абсолютном смысле, но только *обоснованный* тем способом обоснования, который свойствен истории. Альтернативой понимания истории как правдивого нарратива является понимание истории в другой ее форме – истории-как-пропаганды.

Я здесь не доказываю, что те широкие утверждения, которые Томас и Айерс делают в своей статье, ошибочны. Скорее, я считаю, что они не обоснованы. Вместо того чтобы их подтвердить, авторы просят читателя просто поверить в их правдивость. (Под «широкими утверждениями» я подразумеваю, например, утверждение Томаса и Айерса, что рабство было «важнее, чем мы думали», и имело «определяющее влияние» на весь Юг. Что касается конкретной информации, которую они организуют и воспроизводят, то я ей полностью доверяю: у меня нет причин подозревать, что описания авторами переписи 1860 года неправильны.) Критически настроенного историка несколько удивляет неточность таких широких утверждений: неясно, что именно имеют в виду Томас и Айерс. Также неясно, что они, по их словам, добавили к уже существующей исторической литературе по истории Соединенных Штатов XIX века. (Вероятная реакция специалистов: за исключением тех описаний округов Августы и Франклина, которые, скорее всего, основаны на вполне надежных данных, они не добавили фактически ничего; их широкие утверждения уже приняты большинством историков в этой области исследований.) Томас и Айерс претендуют (неявно) на то, что их работа о возникновении Гражданской войны оригинальна: их основное утверждение заключается только

¹ *Paul Veyne. Writing History: Essay on Epistemology / Trans. M. Moore-Rinvolucri. Middletown, CT, 1984; русск. изд.: Вейн П. Как пишут историю: Опыт эпистемологии. М., 2003.*

в том, что рабство было «более важно» в Гражданской войне, чем полагали предыдущие историки (таким образом, эти предыдущие историки, должно быть, все-таки считали рабство, по меньшей мере хоть отчасти, важным). Понятно, что Томас и Айерс видят свой большой вклад в историографию США не на этом субстантивном уровне. Вместо этого, и очень решительно, они утверждают, что проложили новый путь в самом способе реализации исторических исследований.

Серьезно ли это утверждение? Если историк берет на себя обязательство предложить аргументы и обоснования выдвигаемых утверждений, то – нет. Если, с другой стороны, историк берет обязательства только писать интересные и социально полезные нарративы, тогда можно посмотреть на это утверждение по-другому. Но правильно ли будет так поступить? Позвольте нам провести мысленный эксперимент. Центральное утверждение Томаса и Айерса состоит в том, что рабство «создало различия» в американской Гражданской войне, если вспомнить название их работы. Вообразите теперь нацистскую Германию 1935 года, но с современной компьютерной технологией. Пропагандистам режима была бы поставлена задача демонстрации того, что «евреи являются источником наших неудач [*die Juden sind unser Unglück*]. Множество данных показали бы, что евреи, совершенно непропорционально к их количеству, контролируют большие сектора экономики и культуры. Такие утверждения были бы сделаны очень убедительно, с привлечением цифрового архива, демонстрирующего все богатство немецких евреев. И таким образом это утверждение было бы «доказано». Насколько, на эпистемологическом уровне, это гипотетическое упражнение в цифровой истории отличается от способа исследования, рекомендованного в «*American Historical Review*»? По моему мнению, здесь не было бы никаких фундаментальных различий. Конечно, можно возразить, что пропагандисты Третьего рейха были безнравственны и обманывали сами себя. Но все, что мы

хотим и в чем нуждаемся, — это такая историография, которая была бы *независима* от этических взглядов, доброй воли, политической ориентации и т. п. историка и ученого. Мы можем получить такую историю, только если обратим серьезное внимание на проблемы исторической эпистемологии. Иначе единственным вариантом остается ввести тест на этику, толерантность, корректную политическую ориентацию для историков или будущих историков. Если такое тестирование станет общепринятым, с исторической наукой будет покончено.

* * *

Изначальная посылка настоящей книги состоит в том, что историки обязаны излагать материал ясно. Четкая аргументация включает в себя, во-первых, корректное использование свидетельств, приведение концептуальных и контрфактических аргументов (там, где это требуется) и постоянные усилия соизмерять весомость своих утверждений с силой того, что их подтверждает. Безусловно, в истории приемлемы (и даже неизбежны) и гипотеза, и рассуждение (см гл. V § 2 и VI § 2). Но гипотезы и рассуждения должны быть строго идентифицированы как таковые, и всегда необходимо иметь действительно весомые причины для их использования в работе. Все остальное только без нужды расширяет границы исторического исследования.

Я вновь должен настойчиво подчеркнуть, что мое общее представление об истории совпадает с тем, что давно уже известно всем истинным историкам; здесь я не оригинален. Оно было известно Геродоту, рассказчику конкурирующих историй, истинность которых бывала сомнительна. Оно было известно Фукидиду, задавшему эталон фактуального исследования. (Ученые традиционно считают, что после того, как в 424 году до н. э. афиняне его выслали, Фукидид провел много времени в путешествиях, чтобы разыскать существующие документы и побеседовать с ветеранами войны.) С профессионализацией историописания,

которая началась в XIX веке, внимание стало акцентироваться на правилах исторического метода – как формализованных, так и неписанных. Во многих областях профессии эти правила все еще господствуют. Историки, что и говорить, являются наиболее нетеоретичными из всех ученых, так что правила исторического исследования часто не артикулируются. Но они *живут* в любом историке или группе историков, представляющих свои незавершенные рукописи на проверку той методологической критикой, которой лучше всех владеют их коллеги по профессии.

И еще раз: все это известно, по крайней мере многим. Это было известно и тем старшим поколениям историков, которые усваивали смысл исторического метода на традиционных исторических семинарах или узнавали методические правила из социальных наук. (Методы социальных наук не являются методом исторических исследований, но могут многому научить историков.) Предлагаемая книга адресована не таким динозаврам, а, скорее, более молодому поколению, – поколению, которое если и получило какое-то эпистемологическое наставление вообще, то получило его (за отсутствием другого) от Мишеля Фуко, историка-философа, чьи блестящий ум и оригинальность бесспорны, но чья настойчивость в том, что знание есть только проявление власти, есть упрощение и в конечном счете очень опасное утверждение. Тем, кто убеждены предложенной Фуко версией анти-эпистемологии, или кто, абсолютно независимо от Фуко, верят в то, что история является и должна быть способом пропаганды и навязывания своего мнения, – мне нечего сказать. Я адресую эту книгу не тем, кто уже познал обязанность настоящего историка изучать все факты, ничего не изобретая и ничего не исключая; я адресую ее и не тем так называемым историкам, кто видит себя в качестве оракулов. Скорее, эта книга предназначена для еще не посвященных; она – введение в те проблемы, которые сегодня актуальны.

Глава I

ПАМЯТЬ

§ 1. История с памятью, история без памяти

Многие люди вполне естественно считают, что история должна быть формой памяти. Они предполагают, что центральная задача историописания – возможно даже его единственная задача – состоит в том, чтобы сохранить и восполнить память. У этого предположения есть древний прецедент. В первых строках своей «Истории» Геродот сообщает, что он написал свою работу, «дабы ни события с течением времени между людьми не истребились, ни великие и дивные дела, эллинами и варварами совершенные, не остались бесславными»¹.

Предположение, что история – это память, сохраняется и сегодня, причем способами различными и противоречивыми. Рассмотрим два примера, сходных с геродотовым в том, что оба относятся к памяти о войне. В 1994–1995 годах обнаружилось противоречие во взглядах по поводу выставки, предложенной Смитсонианским институтом в связи с 50-летней годовщиной атомной бомбардировки Японии. Выставка, открытие которой было намечено на май 1995 года, была отменена, потому что группы ветеранов, комментаторы по вопросам политики и культуры, политические деятели выразили протест против той интерпретации войны и ее окончания, которую предлагала эта выставка. Теоретические вопросы таковы: на чью память

¹ *Herodotus. The History* // Trans. David Grene. Chicago, 1987. 1.1. P. 33; русск. изд.: *Геродот. История* // Историки Греции. М, 1976. С. 27).

была рассчитана эта выставка и, более конкретно, должна ли память уступить место более поздним конструкциям историков и музейных работников?¹ Мощные силы культуры выступили против этого. Подобное же требование «правильной» памяти возникло и после вьетнамской войны, что привело в начале 1980-х годов к конфликтам вокруг Национального мемориала вьетнамских ветеранов. В свое время проект этого мемориала, предложенный Мейя Лин, «взорвал» чувства многих ветеранов и их организаций; некоторые из них осудили его как «черное несмываемое пятно позора»². Такие же жалобы и требования возникли и, без сомнения, будут еще возникать как результат атаки на Центр международной торговли и последующей затем «войны против терроризма».

Вопрос, который часто задают сегодня: кто владеет историей?³ Это поразительно неадекватный вопрос. Во мно-

¹ Противоречие, возникшее из одного центрального исторического вопроса: было ли оправдано решение президента Трумэна применить атомные бомбы против Японии? – было рассмотрено множеством авторов (см.: *Journal of American History*. Vol. 82. 1995. P. 1029–1144; см. особенно: *Richard H. Kohn*. *History and the Culture Wars: The Case of the Smithsonian Institution's Enola Gay Exhibition*. P. 1026–1063; см. также: www.afa.org/media/enolagay. Дело не просто в недоразумении между просвещенными профессионалами и заинтересованной «публикой». Недавнее обсуждение этого случая дает основание полагать, что работники Национального аэрокосмического музея, планировавшие выставку (особенно его директор Мартин Харвит и его кураторы), занялись слишком тенденциозным прочтением и отбором исторического материала. (См.: *Robert P. Newman*. *Enola Gay and the Court of History*. New York, 2004; также см.: <http://hnn.us/articles/6597.html>).

² *Jan C. Scruggs, Joel L. Swerdlow*. *To Heal a Nation: The Vietnam Veterans Memorial*. New York, 1985. P. 80–84.

³ *E. g., Eric Foner*. *Who Owns History? Rethinking the Past in a Changing World*. New York, 2002; *Otis Graham*. *Editor's Corner: Who Owns American History?* // *Public Historian*. Vol. 17. 1995. P. 8–11; *Karen J. Winkler*. *Who Owns History?* // *Chronicle of Higher Education*. Jan. 20, 1995. P. A10–A11.

гих случаях, он должен быть понят так: кто имеет право контролировать то, что «мы» помним о прошлом? Или, говоря другими словами, *чьи* «политические, социальные, и культурные императивы» будут доминировать в репрезентации прошлого в любой данный момент?¹ Требование помнить прошлое *правильным способом* звучит весьма настойчиво, и ожидается, что историки будут здесь выполнять свою часть работы в угоду тем, кто им платит, и тем, кто чувствует, что их собственные политические, социальные и культурные «императивы» должны быть защищены. Чтобы переместить фокус рассмотрения проблемы от прошлого, которое предположительно неправильно запомнили, к прошлому, возможно забытому, иногда говорят, что немцы в первом или втором поколении после Второй мировой войны, а японцы даже сегодня, подавляют и продолжают вытеснять память о тех злодеяниях, которые их нации осуществляли в ходе той войны². Можно просто сказать, что то, в чем нуждались немцы, и в чем все еще нуждаются японцы, — это память; и чем ее будет больше, тем лучше. Историкам иногда предлагают заняться решением задачи восполнения «дефицита памяти», который чувствуется в таких ситуациях. Понятая таким образом, история стала бы, прежде всего, *ремеморацией*, продолжением памяти или, в данном случае, продолжением воспоминаний, которые, по той или иной причине, были ранее отвергнуты.

* * *

Существует некая противоположность этим тезисам, которая ближе к истине, а именно: далекая от того, чтобы быть продолжением памяти, настоящая история стоит к ней почти в оппозиции. Другими словами, ошибочно пола-

¹ Foner. Who Owns History? XVII.

² Erna Paris. Long Shadows: Truth, Lies and History. New York, 2001.

гать, как делают многие люди в наши дни, что главная функция истории состоит в сохранении и восполнении памяти. Безусловно, история и память были связаны в течение долгого времени, что мы и находим у Геродота. Но память в трактовке Геродота – не то же самое, что память в современном понимании. И у Геродота, и у историков, работавших в его стиле в более поздние времена, «память», с которой они имеют дело, есть цепочка «воспоминаний» людей о делах, осуществленных в прошлом. Эти «воспоминания» должны быть получены путем штудирования работ историков, содержащих рассказ об этих событиях. Но в современном прочтении речь идет о новом виде памяти. (Кто-то мог бы называть это «постмодернистской» памятью, хотя термин *постмодернистский*, из-за его неопределенности, изменчивости и полемической окрашенности, должен употребляться с осторожностью.) В новом мышлении память рассматривается как объект, имеющий самостоятельную ценность, а не только как способ получения или хранения большего, чем прежде, объема знания о прошлом.

Новое, ценностное понимание памяти близко к тому, что мы находим у Геродота, а именно – к тенденции пленяться теми историями, которые рассказывали ему его собеседники, принадлежавшие к различным культурам. Геродот любил повторять эти рассказы. Он находил, что они интересны сами по себе, а также потому, что они проливали свет на то, как люди, рассказывавшие их, видели мир и как они вели себя в нем. Но Геродоту была неинтересна память *как таковая*. Он хотел узнать и поведать нам об «удивительных делах», совершенных греками и персами в ходе конфликта между ними. Он был заинтересован непосредственно самими деяниями, а не способом их запоминания. Во-вторых, как он говорит уже в начале своей «Истории», он хотел показать «причину, по которой они вое-

вали друг с другом». Короче говоря, его внимание было сфокусировано на самой реальности свершившегося и на действительных предпосылках той войны, которая в дальнейшем и дала название этим деяниям.

Озабоченность памятью как ценностью, и даже как объектом почитания, появилась в недавнем прошлом в качестве ответа на события, которые мы теперь называем Холокостом или Шоа. Интерес к памяти возник в этом контексте вслед за пониманием того, что в недалеком будущем все выжившие в Холокосте будут мертвы (это понимание стало особенно отчетливым в 1970-х годах). В таком случае, если воспоминания о пройденных мучениях жертв Холокоста следовало сохранить, то они должны были быть записаны как можно скорее. Аудио (позже видео) архив был основан для этой цели музеем Йад Вашем в Израиле, Йельским Университетом и (весьма впечатляюще, хотя и запоздало) кинорежиссером Стивеном Спилбергом¹. Коллекция показаний «свидетелей» и «оставшихся в живых» далеко выходит за рамки того, что необходимо историкам для реконструкции событий прошлого. Но дело не просто в том, что существует такое множество доказательств (только в архиве Спилберга их больше пятидесяти тысяч), что каждое дополнительное доказательство вряд ли внесет что-нибудь новое в историческое понимание. В конце концов, всегда есть шанс, что, сверх всяких ожиданий, очередное свидетельство может пролить неожиданный свет на то, что произошло. Проблема состоит скорее в том, что это свидетельство дает далекое от адекватного понимание того, что

¹ Информацию об этом можно получить на сайте: www.yadvashem.org.il/aboutyad/indexabout_yad.html; www.library.yale.edu/testimonies; www.vhf.org/organization.htm. В конце 2005 года Фонд выживших в Холокосте, основанный Стивеном Спилбергом в 1994 году (Steven Spielberg's Survivors of the Shoah Foundation) стал Институтом Фонда Шоа Южно-Калифорнийского Университета. (University of Southern California's Shoah Foundation Institute): www.usc.edu/schools.college/vhi.

именно произошло. Рассматриваемые события были глубоко травматичными и часто происходили в тех обстоятельствах, когда точное наблюдение было невозможно. Кроме того, многие из свидетельств были собраны спустя десятилетия после описываемых событий. Таким образом, было достаточно времени, чтобы воспоминания исчезли или трансформировались в ходе их переосмысления и пересказа. Хорошо известно, что даже с показаниями, собранными сразу после событий, нужно обращаться с большой осторожностью¹. А когда после событий проходит какое-то время, то ситуация только усугубляется. Люди бывают неспособны заметить разницу между тем, что они действительно видели, и тем, о чем они только слышали. Они иногда вкладывают в то, что считают своими собственными воспоминаниями, ту информацию, которая стала доступной им позднее. Возьмем только один пример: свидетельство оставшегося в живых узника концлагеря, представленное в 1986 году в Израиле, на суде над бывшим охранником концентрационного лагеря Иваном Демьянюком, оказалось некорректным по многим пунктам. Почти наверняка можно сказать, что Демьянюк не был, как утверждалось судебным обвинением, жестоким и демоническим «Иваном Грозным» из Трешлинка. Свидетели, которые были уверены в этом, оказались не правы².

¹ А. Джонсон суммировал классические случаи недостоверности свидетельств очевидцев в работе: *Allen Johnson. The Historian and Historical Evidence*. New York, 1926. P. 26–49.

² *Lawrence P. Douglas. The Memory of Judgment: Making Law and History in the Trials of the Holocaust*. New Haven, CT, 2001. P. 196–207. Осуждение Демьянюка на смертную казнь было отменено в 1993 году Верховным судом Израиля. Нужно отметить, однако, что в своем примечательно сдержанном и тщательном исследовании Кристофер Р. Браунинг показал, что, там, где возможно критическое сравнение свидетельств, свидетельство очевидца действительно может помочь историкам заполнить лакуны в нашем историческом знании о прошлом. (См.: *Browning. Collected Memories: Holocaust History and Postwar Testimony*. Madison, Wisc., 2003.

В самом деле, массивное собрание свидетельств о Холокосте мало что может сделать (если вообще может) для его более точного исследования. Скорее, эти свидетельства собраны потому, что в них стали видеть нечто подобное священным реликвиям. В исследовании «Холокост в американской жизни» историк Питер Новик убедительно написал о «сакрализации» Холокоста, происшедшей в конце 1960-х¹. Святость того, о чем в них рассказано, оправдывает массив собранных показаний. Кроме того, сакральный характер этих показаний делает нерелевантным сам вопрос об их ненадежности как свидетельства. С этой точки зрения, не имеет значения, что предлагаемая в качестве доказательства (спустя полстолетия после конца Второй мировой войны) видеозапись, на которой запечатлены ответы свидетеля на вопросы интервьюера, вероятнее всего мало что знающего о том месте и времени, о котором говорит свидетель (а возможно, не знающего даже языка или языков, на которых разворачивались события), едва ли можно считать вкладом в историческое знание. Здесь важен ритуал сбора, сохранения и восприятия этого свидетельства, а не его содержание.

Такой тип сбора свидетельств далек от западной (или, возможно, любой другой) традиции историописания. Он не свойствен Геродоту, и – еще в большей степени – он не свойствен его преемнику, коллеге и конкуренту Фукидиду. Фукидид настаивал, что ему интересно только то, что действительно *произошло* в прошлом, и особо подчеркивал свое желание избежать «ненадежных потоков мифологии». Фукидид использовал слово *muthodes*, что означает «легендарный» или «невероятный»; оно производно от *muthos*, что в разных контекстах означает «речь», «сообщение»,

¹ *Peter Novick. The Holocaust in American Life. Boston, 1999. P. 199–201 and passim.*

«заговор» и «рассказ», и, как уже отмечено, соотносится со словом *миф*¹. В начале своей книги Фукидид жалуется на то, что люди склонны принимать на веру первый же рассказ, который они слышат. Стремясь добраться до истины, основанной на фактах, он «...не считал достойным писать все, что узнавал от первого встречного или что сам мог предполагать...». Более того, он решил писать только о тех событиях, в которых сам участвовал, или о тех, о которых он узнал «по достовернейшим свидетельствам, настолько полно, насколько это позволяет давность», так как он глубоко осознал то, что «очевидцы событий передавали об одном и том же не одинаково, но в меру памяти или сочувствия к той или другой из сторон»².

Другими словами, саму по себе «память» Фукидид не находил интересной. Скорее, она функционировала для него как наиболее важный источник свидетельств. Он беседовал с очевидцами, собирая их воспоминания о событиях войны, и затем, если мы можем доверять его словам, он пытался проверить эти воспоминания, сопоставляя их друг с другом, с тем, что он видел сам, и, возможно, с любыми другими источниками, которые он мог найти. В глазах Фукидида, короче говоря, это вообще не было вопросом сохранения памяти. Если что и было, так это проблема *коррекции* памяти, включая его собственную, где искаженные воспоминания всех использовались для проверки искаженных воспоминаний каждого. Таким образом, историк использует память, чтобы добраться до того, что лежит вне ее. Это не только позиция Фукидида – до недавнего вре-

¹ См. *Liddell and Scott. A Greek-English Lexicon. New Edition.*

² *Thucydides. History of the Peloponnesian War / Trans. Rex Warner, Harmondsworth, 1956. P. 1.21–1.22; русск. изд.: Фукидид. История // Историки Греции. М., 1976. С. 168.*

мени это была, бесспорно, господствующая тенденция в профессиональной историографии¹.

Напротив, в новом, ориентированном на память понимании истории обнаруживается то, что можно было бы назвать «дважды позитивным» центрированием на память. Я называю это «дважды позитивным», потому что ценность «памяти» подчеркивается двумя способами. Во-первых, подчеркивается ценность воспоминаний действующих лиц истории и ее жертв «самих по себе», т. е. совершенно независимо от точности этих воспоминаний. Во-вторых, оценивается наше знание этих воспоминаний, знание не бесстрастное и отстраненное, но само являющееся формой памяти; знание, которое связывает прошлое, настоящее и будущее в общей структуре воспоминаний. Ориентированная на память историография есть особый случай более общей категории историографии, которую можно назвать *аффирмативной*, т. е. утверждающей, потому что ее главная цель состоит в том, чтобы утвердить и превознести определенную традицию или группу, чью историю и опыт она изучает. Очевидно, что человеку необходимо иметь аффирмативное отношение к определенной традиции – желание поддерживать эту традицию, быть ее последователем и защитником, чтобы считать оправданным свое участие в гигантских усилиях по сбору воспоминаний участников прошлых событий с целью их сохранения для настоящего и будущего. Обратите внимание: я не утверждаю, что такая деятельность не легитимна. Я только утверждаю, что неправильно, даже нечестно, выдавать ее не за то, чем она является, а именно – упражнением в благочестии. И производители, и потребители истории должны осозна-

¹ R. G. Collingwood. The Idea of History // Rev. edition, with Lectures 1926–1928, ed. W. J. van der Dussen. Oxford, 1993. P. 234–235, 252–253; 366–367; русск. изд.: Коллингвуд Р. Дж. Идея истории // Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография. М., 1980. С. 226–227, 280–281.

вать, что познавательная ценность (или отсутствие ценности) такого воспоминания – вопрос, который совсем не зависит от эмоционального и экзистенциального воздействия, которое это воспоминание может оказывать на нас.

Ориентированная на память аффирмативная историография – это версия «обыденного» или «вульгарного» понимания истории, которую рассматривает и обсуждает Хайдеггер в последнем разделе «Бытия и времени»¹. Здесь нет необходимости входить в технические тонкости взгляда Хайдеггера на историю, поскольку мой исходный тезис прост. Аффирмативная историография подчиняет прошлое тем проектам, которыми люди заняты в настоящем. У нее отсутствует критическая позиция по отношению к воспоминаниям, которые она собирает, и к традиции, которую она поддерживает. В самом деле, она не только некритична по отношению к избранным воспоминаниям и традициям, но фактически имеет тенденцию к их мифологизации. («Впадение» Хайдеггера в национал-социализм преподносит в этом смысле важный негативный урок.) Если внимание сосредоточено на воспоминаниях исторических действующих лиц «ради них самих» (т. е. если историк рассматривает воспоминания как ценные сами себе), и если историк одновременно думает об историческом исследовании и написании истории как о продолжении таких воспоминаний, то это заводит в тупик тот тип процедуры критического анализа, первым практиком которой, возможно, был Фукидид.

* * *

Должно ли стать центральной задачей историописания сохранение и восполнение памяти? Кто-то, возможно, так

¹ *Martin Heidegger. Being and Time* / Trans. Joan Stambaugh, Albany, N.Y., 1996. §73. P. 378ff (немецкая нумерация страниц).

и считает, судя по тому пониманию задач истории, которое демонстрируют политические деятели, образовательные учреждения, популярные средства информации и некоторые историки. Но мой тезис состоит в том, что история, скорее, должна элиминировать память и заменить ее чем-то другим, что не так привязано к потребностям настоящего. Неспособность некоторых людей в ряде стран согласиться с аспектами их собственного прошлого не означает, что если имеется «дефицит памяти», то положение должно быть исправлено его восполнением. Первая проблема такого представления есть проблема эпистемологическая. Однако семантика «памяти» известна, «память» имеет значительный диапазон общепринятых значений и, кажется, как предположил Коллингвуд, является, по своей природе, «непосредственной». Другими словами, если человек искренне утверждает «я помню, что Р», то мы не имеем никаких адекватных оснований оспаривать это утверждение: мы должны принять это, как подтверждение того, что человек действительно помнит. Но с историей – другое дело, так как в этом случае необходимо предоставить свидетельство. Как хорошо сказал об этом Коллингвуд: сказать «я помню, как писал письмо к тому-то и тому-то», есть «утверждение памяти», но не «историческое утверждение»; но если я могу добавить «я прав, ибо вот его ответ», то я рассказываю историю¹. По общему признанию, неплохо было бы немного смягчить жесткую дистинкцию, установленную Коллингвудом между историей и памятью, где первая слишком бесстрастна к эмоциональной силе памяти в человеческой жизни. Но бесспорная важность памяти для нашей повседневной индивидуальной и коллективной жизни не оправдывает утверждение, согласно которому историю нужно приравнять к памяти.

¹ *Collingwood. The Idea of History.* P. 366, 252–254; *Коллингвуд. Идея истории.* С. 209, 280, 282–283.

Это приводит нас ко второй проблеме, которая по своему характеру является экзистенциальной и практической. Эта вторая проблема есть в то же самое время проявление эпистемологической дистинкции между историей и памятью в реальной жизни. Очевидно, что во многих ситуациях люди страдают не от дефицита так называемой памяти, а от ее избытка. Наиболее отчетливо «память» о предполагаемых древних конфликтах часто инспирирует и усугубляет глубокий конфликт в настоящем. Вспомним о роли «памяти» в конфликтах израильско-палестинском, на Балканах, в Северной Ирландии – если взять только эти три примера. Когда в таких ситуациях «память» наталкивается на «память», люди часто увязают в «состязании» воспоминаний, которое не имеет однозначного решения и из которого нет выхода. Важно, чтобы историки не присоединялись к таким «состязаниям». В большинстве случаев в них нет победителей: одна группа «помнит» одним образом, другая – другим. Но важно, что эти состязания являются, или должны быть, нерелевантными любым актуальным *реальным* проблемам. Реальные проблемы почти всегда имеют отношение не к наследуемым конфликтам, реальным или вымышленным, но к различиям в настоящем и в недавнем прошлом. Акцентирование памяти в таких конфликтах историки должны, конечно, принимать во внимание, но это не то, к чему они должны стремиться, так как «память» одновременно и подстрекает к таким конфликтам, и является признаком неспособности вовлеченных в него людей справиться с причинами конфликта в той конкретной ситуации, в которой они живут.

Можно, конечно, найти ситуации, в которых дефицит исторического *знания* препятствовал осмыслению реальных проблем настоящего. Одна из таких проблем: как быть с преступлениями прошлого? В 2000 году я провел шесть месяцев в Австрии, и не мог пройти мимо случая с доктором Гроссом, врачом из Вены, ответственным за эвтаназию

большого числа детей-инвалидов во время Второй мировой войны. После войны он сделал большую и прибыльную карьеру профессора Венского университета и хорошо оплачиваемого эксперта-психиатра в судебной системе Вены¹. Хотя его прошлое было известно властям, это не вредило его карьере. Серьезная попытка привести его к правосудию осуществилась только в конце 1990-х годов. Была ли неспособность судов решить дело Гросса своевременно и эффективно (так же, как и неспособность австрийских историков привлечь внимание к этому или другим случаям соучастия австрийцев в нацистских преступлениях) результатом «дефицита памяти»? Нет. Эти связанные между собой провалы ни в каком смысле не являются результатом недостатка «памяти». В деле Гросса было много свидетельств памяти, как со стороны его защитников, так и со стороны родственников убитых детей. Скорее, дело было в *сознательном* отказе, прежде всего со стороны профессиональных австрийских историков.

Без сомнения, этот провал в какой-то мере зависел от решений, которые были приняты вне исторической профессии, например – финансирование и назначение Гросса на должность профессора. Но очевидно, что эти решения не были приняты *полностью* за пределами исторической профессии, которая в Австрии, как в других странах, имеет тенденцию тесно – иногда слишком тесно – переплетаться с каждодневной политикой. Одна из функций историче-

¹ John Silverman. Gruesome Legacy of Dr Gross // BBC News Online. 6 May, 1999. www.news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/336189.stm. О применении эвтаназии в Вене в годы власти Третьего рейха см.: Herwig Czech. Forschen ohne Skrupel: Die wissenschaftliche Verwertung von Opfern der NS-Psychiatriemorde in Wien // in: Von der Zwangssterilisierung zur Ermordung. Zur Geschichte der NS-Euthanasie in Wien. Teil II. / Ed.: Eberhard Gabriel, Wolfgang Neugebauer. Vienna, 2002. S. 143–164. Доктор Гросс умер 15 декабря 2005 года в возрасте 90 лет, и вердикт суда по его делу не только не был вынесен, но даже не был представлен к судопроизводству.

ской профессии состоит в том, что она всегда должна сопротивляться политической сиюминутности и исследовать прошлое с осторожностью и тщательностью, не обращая внимания на возможные последствия. Очевидно, что это происходит не всегда. Однако неспособность и австрийской юридической системы, и историков Австрии адекватно оценить случай с доктором Х. Гроссом, не был результатом недостатка памяти. Влиятельные люди в Вене обладали достаточной памятью (хотя, возможно, без деталей) о сути того, что произошло. Многие люди в Австрии стремились поддерживать миф о том, что Австрия была не повинна в преступлениях Третьего рейха¹. Просто наличествовало сильное нежелание слишком глубоко вникать – или вообще вникать – в вопрос о том, в чем на самом деле принимали участие Австрия и австрийцы в ходе Второй мировой войны. Если бы реальное прошлое было обнародовано и осмыслено вовремя, тогда намного раньше можно было бы понять, какого рода судебные и политические действия необходимы, чтобы окончательно похоронить в прошлом нацистские преступления Австрии.

Безусловно, без памяти не было бы никакой истории. Невозможность истории без памяти проявляется, по крайней мере, двумя способами. Во-первых, историческое исследование и написание истории тесно связаны с пережи-

¹ Миф о «невинной Австрии» наиболее ясно и открыто был выражен в мюзикле «Звуки музыки», который в 1965 году был экранизирован и стал весьма популярным кинофильмом. Семейство, изображаемое в кинофильме, фон Трапп (его прототипом было настоящее австрийское семейство), демонстрируя невозможность прийти к соглашению с Третьим рейхом, покинуло Австрию с большим ущербом для себя. Нерассуждающий зритель мог легко принять фон Траппов за представителей Австрии в целом. Историк же обязан задать эпистемологический вопрос, а именно: какие свидетельства доказывают, что множество других австрийцев действовали, или хотя бы только *думали*, так, как фон Траппы?

ванием времени – момент, на который решительно указал Поль Рикер. Без человеческого переживания времени, без ощущения – на самом элементарном уровне – различия между тем, что случилось ранее, что происходит сейчас и что будет происходить впоследствии, не могло бы существовать никакое историописание. И также очевидно, что человеческий временной опыт не мог бы существовать без памяти. В самом деле, можно сказать, что память есть один из модусов нашего временного опыта – модус временного опыта, сфокусированный на прошлое. Таким образом, память делает для нас возможной базовую концептуальную предпосылку историописания, поскольку без памяти не было бы переживания времени, а без временного опыта мы не могли бы располагать события и «экзистенциалы» в прошлом, вместо того чтобы рассматривать их в актуальном или вечном настоящем¹. Во-вторых, отношение между историей и памятью можно рассмотреть на уровне содержания. Среди многих других вещей, история имеет дело и с историческими фактами. (История также имеет дело с перспективами или интерпретациями, но сейчас мы оставим этот вопрос в стороне, он будет рассмотрен позже.) Регистрация фактов в исторических источниках и регистрация фактов историками по этим источникам были бы невозможны без памяти.

¹ *Paul Ricoeur. Time and Narrative. 3 vols. Chicago, 1984–1988. Vol. 1 & 2 / Trans. Kathleen McLaughlin, David Pellauer; Vol. 3 / Trans. Kathleen Blamey, David Pellauer. 1. P. 91–230.* Кто-то может посчитать акцент Рикера на временном опыте чрезмерным. Например, должен ли археолог, исследуя имеющиеся археологические данные, принимать во внимание временной опыт для доказательства того, что вещи, возможно, изменились определенным образом? Я так не думаю: вывод может быть сделан как экстраполяция имеющихся неполных данных. Но точка зрения Рикера шире: сама концепция прошедшего требует памяти и временного опыта. Это – одно из отличий истории от палеонтологии или от неисторичной политической науки. (См. русск. изд.: *П. Рикёр. Время и рассказ. Т. 1–2. М.–СПб., 2000.*)

Однако сказать, что память является *conditio sine qua non* истории, не означает, что память есть основа истории, не говоря уже о том, *что́* является этой основой. Обманчиво легко перепрыгнуть от первого утверждения ко второму. Память принято рассматривать как источник или корень истории, а историю расценивать как берущую начало от памяти и в некотором смысле никогда не покидающую ту территорию, которую предлагает память. Эту позицию занимает Жак ле Гофф в его книге «История и память». Там он характеризует память как «сырье» истории и предлагает, чтобы «ментальная, устная или письменная, она была живительным источником, из которого черпают историки»¹. На это можно сказать: «да, но...», поскольку потенциально очень опасно рассматривать память в качестве источника исторических фактов. Рассмотрим такой пример. Известно, что «воспоминания» (т. е. доказательства) оставшихся в живых жертв Холокоста отмечены погрешностями – иногда тривиальными, иногда не столь уж тривиальными. Как уже отмечалось, людям, работающим со свидетельствами, давно известна ненадежность даже непосредственных воспоминаний очевидцев событий. Также известно, что воспоминания меняются со временем, и оттого, что их носители все дальше отдаляются от тех событий, о которых их спрашивают, на них воздействует то, что они слышали или читали позже. Тому, кто вспоминает, легко ошибиться в деталях; например, относительно точного местоположения или числа газовых камер и печей крематория. Также вспоминающие имеют тенденцию объединять в своих воспоминаниях те события, факты или интерпретации, которые стали доступными только после того, как сами события произошли. Если мы придаем памяти аб-

¹ Jacques Le Goff. History and Memory / Trans. Steven Rendell, Elizabeth Claman. New York, 1992. P. XI.

солютную ценность, то мы открываем дверь опасной идее попытаться использовать неизбежные ошибки в воспоминаниях и тем самым полностью дискредитировать то, что говорят вспоминающие. Эта была любимая тактика тех, кто отрицал факт Холокоста. Поэтому и существуют прагматические основания для ухода от излишнего углубления в воспоминания.

Есть также и хорошо разработанный теоретический аргумент против того, чтобы слишком сильно полагаться на память или, более точно, на доказательства, в соответствии с которыми воспоминания четко сформулированы и доступны всем. Современная историческая традиция выделяет два основных типа исторического свидетельства. Хотя они и существуют в континууме, на концептуальном уровне они четко отличны друг от друга.

Концептуальное различие, которое учитывает в своей работе любой уважающий себя историк, заключается в том, что в историческом свидетельстве выделяют исторические *следы* и исторические *источники*. След есть нечто, оставшееся от прошлого, что не может раскрыть прошлое перед нами, что просто является частью обычной жизни прошлого. Источник, с другой стороны, является чем-то, что было задумано его создателем как некое исследование событий. Эта вторая категория свидетельства, которое мы могли бы также назвать «доказательством», конечно, более основательно полагается на память, чем следы¹.

¹ Разница между следами (*Überreste*) и источниками (*Quellen*) в ряде деталей обсуждена Дройзеном: J. G. Droysen. Outline of the Principles of History / Trans. E. Benjamin Andrews. Boston, 1893. §§ 21–26 (translation of the 3rd ed. of: Droysen. Grundriss der Historik. 1881). Он возвращается к размышлениям Хладениуса об историческом методе в его работе «Allgemeine Geschichtswissenschaft», впервые вышедшей в 1752; русск. изд.: Й. Г. Дройзен. Историка. СПб., 2004.

Легко людям, непривычным к размышлению о теории и методе, недооценивать ту роль, которую непреднамеренное свидетельство играет в историческом исследовании и в написании истории. Примером следа в его чистой форме могут быть две протоптанные дорожки шагов, ведущие к двум дверям. Эти дорожки позволяют нам сделать вывод о числе людей, использующих тот или иной вход (только такой вывод возможен в одной из историй о Шерлоке Холмсе)¹. Другой, менее очевидный пример, являющийся частью непреднамеренного свидетельства, есть расписание движения поездов, вывешиваемое на вокзале. В отличие от авторов, скажем, средневековой летописи, люди, разрабатывающие эти графики, не делают этого с намерением составления некоего исторического отчета. Они делают это потому, что графики необходимы для того, чтобы эффективно направлять поезда без угрозы их столкновения. Хотя такие графики не составляются с целью реконструкции функционирования железной дороги в будущем, историки все же могут это сделать. Так, расписание движения поездов в Центральной Европе в ходе Второй мировой войны рассматривается как свидетельство Холокоста, хотя составители этих графиков, конечно, не преследовали такую цель. Историк, изучая график сентября 1942 года, может увидеть, что поезд был послан полностью загруженным к неизвестному запасному пути в Польше, и он был пуст, когда его загнали на этот запасной путь. Историк может сделать выводы из этих фактов². Эти выводы не имеют

¹ Eugene T. Webb et al. *Nonreactive Measures in the Social Sciences*. 2nd ed. Boston, 1980. P. 4.

² Я резюмирую сцену из фильма Клода Ланцманна «Shoah» 1985 года, где историк Рауль Хилберг, сидя в своем кабинете в Барлингтоне, штат Вермонт, рассказывает о том, какой вывод можно сделать из одного такого графика поезда – *Fahrplananordnung 587*, в котором зафиксировано следование полностью заполненного поезда, состоявшего из пятидесяти грузовых вагонов, к Треблинке, и его отправление пустым из нее. (Claude Lanzmann. *Shoah: The Complete Text of the Film*. New York, 1985. P. 138–142.)

никакого отношения к кем-то представленным доказательствам. Это не память, а, скорее, *нечаянный* остаток прошлого, «сырье» истории.

Обычно оба вида свидетельства, непреднамеренное и намеренное, вовлекаются в процесс конструирования исторического исследования. Хотя это может показаться неправильным, но все же есть смысл в том, что иногда непреднамеренное свидетельство является гораздо более фундаментальной основой исторического знания, чем свидетельство, которое как таковое обозначили в прошлом. Так происходит потому, что этот «источник» неизбежно будут путать с воззрениями людей прошлого и с неадекватными представлениями о том, что произошло, тогда как «след», по крайней мере в его чистой форме, будет лишен такой примеси. «Источники» всегда являются интерпретациями событий, а «следы» – нет. Безусловно, «следы» не предлагают нам факты в чистом виде, этого вообще никто не может делать. Но в непреднамеренном свидетельстве следы изолированы от осознанных или бессознательных желаний людей помнить и свидетельствовать каким-то особым способом. Память не обладает этим видом объективности.

* * *

Все же было бы слишком просто закончить наши размышления в этом пункте, так как проблемы, стоящие перед историографией, отнюдь не исчерпываются установлением исторических фактов. Факты важны, но они – только один аспект добротного исторического исследования. Главная особенность любого исторического исследования, достойного такого названия, состоит в попытке расположить факты в пределах более крупной структуры. Говоря другими словами: исторические исследования имеют дело с *отношениями части и целого*. Факт может рассматриваться как «часть», но часть бессмысленна, если она не вписана в гра-

ницы больших структур, которые придают фактам значение. Отчасти эти структуры имеют корни в мире настоящего, в котором живет историк. Когда кто-то пытается сформулировать понятие исторического мышления, он должен задать себе вопрос: каким именно способом могут быть связаны исторические исследования с миром настоящего? Я утверждаю, что историописание соотносится с миром настоящего тремя возможными способами. Два из них представляют собой почти прямые противоположности, а третий – нечто вроде их синтеза.

Согласно одной из полярных позиций, историописание выполняет функцию консолидации и поддержки сообщества (группы, Volk, государства, нации, религии, политического единства и т. д.), в котором оно возникает. Противоположная точка зрения рассматривает функцию историографии, прежде всего, как критическую и негативную в отношении того сообщества, где она возникает, и того прошлого, какое она изучает. Между историографией, которая подтверждает, и историографией, которая занимается критическим анализом, имеется третья, дидактическая, позиция, которая стремится указать народу (Volk) или группе путь к лучшему будущему. Казалось бы, следует выбрать среднюю, дидактическую позицию, потому что в ней есть попытка занять промежуточное положение между двумя другими позициями – подтверждения и критики. Но ввиду значения настоящего (и прошлого, которое неотрывно от него) история в действительности должна выполнять критическую роль. Дидактическая историография – это благородная, но неоправданная попытка заставить историю делать то, на что та не имеет полномочий, т. е. быть не только критиком, но и наставницей.

Мой выбор критической историографии, в противоположность аффирмативной или дидактической, частично объясняется тем значением, которое я придаю различным

методологическим дистинкциям, которые вносят определенную ясность и точность в понимание прошлого (напротив, аффирмативный и дидактический подходы склонны не прояснять, а даже преднамеренно скрывать, структуру тех предположений и приемов, которыми они оперируют). Важнее всего то, что если кто-либо выбирает критическую историографию, то он *должен* отличать историю от памяти. Очевидно, что память не является простым воспроизведением прошлого; это далеко не так. Поэтому нельзя утверждать, что память пассивна; напротив, это активная способность человека, что мы видим по тому, как действительно она преобразует известные факты прошлого. Но память – не критическая или рефлексивная способность, и это становится абсолютно очевидным, когда различные «воспоминания» вступают друг с другом в противоречие (как тенденция это случается всякий раз, когда разные этнические группы – например, израильтяне и палестинцы, сербы и хорваты, боснийские сербы и боснийские мусульмане и т. д. – приводят различные «исторические» оправдания в пользу своего доминирования в регионе). Непосредственно на уровне «памяти» конфликт *различных* «воспоминаний» не может быть разрешен¹. Необходимое решение противоречия между конфликтующими «воспоминаниями» может быть найдено только на другом уровне, где действуют критерии, отличные от мнемонических. Говоря другими словами, память не может быть своим собственным крити-

¹ Wolfgang Höpken. Kriegserinnerung und Nationale Identität(en): Vergangenheitspolitik in Jugoslawien und in den Nachfolgestaaten // Transit: Europäische Revue. № 15. Fall, 1998. S. 83–99. Хепкен, описывая противоречивые воспоминания о Второй мировой войне ее участников в Греции и Югославии, замечает, что «расходящиеся воспоминания не только возникают рядом с друг другом, но и противоречат друг другу как конфликты памяти, которые только с трудом могут – если вообще могут – быть разрешены в беседах» (Р. 85). Примеры могут быть умножены бесконечно.

ческим тестом. Критика должна прийти извне памяти. Критика «памяти», поскольку память формулирует утверждения об истории и об отношении этой предполагаемой истории к настоящему, может исходить только из методологически обоснованного исторического исследования и из мышления, чувствительного к релевантности – *или иррелевантности* – этого исследования проблем настоящего.

Но нельзя видеть только различия между историей и памятью. Нужно также видеть различия между разными концепциями, которые в недавних дискуссиях были эклектически объединены вместе под одной рубрикой «память» (что и объясняет, почему я часто употреблял слово *память* в кавычках). Основной смысл памяти состоит в том то, что мы можем назвать «опытом». В этом эмпирическом смысле «историческая память» обозначает опыт людей, которые на самом деле участвовали в обсуждаемых исторических событиях. Точнее – историческая память обозначает восстановление и преобразование этого опыта в нарратив. (Таким образом, только те люди, кто на самом деле попали в жернова Холокоста 1933–1945 годы, могут сказать, что у них есть «память» о Холокосте в опытном смысле термина *память*.) Очевидно, что часть интереса к «исторической памяти», который появился в последней четверти XX столетия, сосредоточена на памяти именно в этом смысле. Видеосъемка бесед с оставшимися в живых мучениками Холокоста в основном предназначена для сохранения памяти об опыте Холокоста. Как уже отмечалось, эти обширные видеоматериалы не имеют почти ничего общего с проектом сбора большего количества свидетельств о том, как действовала машина Холокоста. В центре внимания находится именно сам *опыт его непосредственного переживания*¹. Чтобы не считать Холокост исключительным случаем

¹ Пока я пересматривал эту главу, я получил электронное сообщение от Джорджа Крафта, специалиста отдела комплектования библиотеки

приложения памяти, нужно понимать, что память и опыт как ее главный объект, присутствуют и в других современных жанрах истории, включая «историю снизу» – Alltagsgeschichte («историю повседневности») и доминирующие версии культурной истории, – где исследование сосредоточено в большей степени на анализе культурного *процесса*, чем на его содержании.

Использование термина «память» для обозначения воспоминаний участников событий о своем опыте прошлого абсолютно законно. Существует и другой термин, также широко используемый в современных исторических дискуссиях, – «коллективная память». Собственно говоря, коллективная память возникает в том случае, когда множество людей участвует в одних и тех же исторических событиях. Тогда можно говорить о том, что эти люди имеют «коллективную» память о данных событиях, но не в смысле некой надындивидуальной памяти – поскольку нет «памяти» вне индивидов, – но в том смысле, что каждый человек имеет (в границах своего собственного сознания) образ, опыт или гештальт, который пережили также и другие люди. Кроме того, эти образы или гештальты в большой степени совпадают, иначе память не была бы «коллективной». Таким образом, можно сказать, что оставшиеся в живых мученики Холокоста имеют коллективную память об опы-

университета Вирджинии, в котором говорилось о том, что Фонд визуальной истории передал библиотеке из архива Спилберга 51.000 видеointервью с оставшимися в живых мучениками Холокоста. Крафт также отметил, что интервью «можно только купить, напрокат они не выдаются» и что их стоимость – \$92 за кассету. Полный архив стоил бы \$4.692.000 – цена вне всякой досягаемости почти для любой научной библиотеки. Но, по-видимому, многие люди заплатили бы \$92, чтобы увидеть бабушку или дедушку, рассказывающих об их опыте Холокоста. Это подтверждает мои размышления. После 2005 года эти материалы стали доступны исследователям и всем заинтересованным лицам в Университете Южной Калифорнии “USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education (see www.usc.edu/schools/college/vhi), продолжая тем самым процесс мемориализации истории и историзации памяти.

те, который позже, в течение 1960-х годов, стал известным как Холокост. Каждый приобрел свой собственный опыт, но общее воспоминание относится к единому для всех набору событий. То же самое, без сомнения, будет истинно для многих людей, кто испытал на себе, так или иначе, события 11 сентября 2001 года¹.

Нас здесь интересует не то, оправдан ли интерес к тому, каким образом люди переживали историческое прошлое или как они сохранили свой опыт в воспоминаниях и свидетельствах. Ответ на это очевиден. Вопрос в том, каково должно быть отношение историка к этим историческим «воспоминаниям». Здесь обнаруживается интересное размежевание четырех различных позиций по отношению к исторической памяти, или, возможно точнее, четырех разных способов *использования* исторической памяти. Три из них расположены в области самого исторического исследования и историописания; четвертый лежит вне этого поля, на другой территории.

Первая позиция состоит в том, что историческая память – или, более точно, произведенные воспоминающими субъектами наррации прошлого – может служить историку свидетельством того, что объективно произошло в прошлом, т. е. того, что произошло в форме внешне наблюдаемых событий. В конце концов, используют же историки «следы» и «источники» в своих конструкциях или реконструкциях прошлого. «Память», в форме воспоминаний участников событий, является одной из категорий источников для исторических построений. Иногда память обеспечивает историческое свидетельство, которое иначе было бы недоступно. Так, рассказы очевидцев, вероятно, единственное свидетельство, которое мы имеем о каком-либо восстании в Vernichtungslager (лагерь смерти). Однако все же лучше,

¹ Лучшее введение в проблему коллективной памяти см.: *Maurice Halbwachs. On Collective Memory* / Ed. and trans. Lewis A. Coser. Chicago, 1992. Особенно интересно введение переводчика (Р. 1–34).

когда этот вид свидетельства можно проверить, сопоставив его с непреднамеренным свидетельством.

Вторая позиция исходит из того, что историческая память может служить историку в качестве свидетельства того, как переживали прошлое те люди, которые позже сделали запись своих воспоминаний. Другими словами, историк может переключить свое внимание с того, что случилось в прошлом в форме внешне наблюдаемых действий и событий, на то, что происходило в умах и душах людей, вовлеченных в них. Короче говоря, историк мог бы сконструировать или восстановить *опыт участников истории* (в таком-то и таком-то наборе исторических событий). В идеале, этот вид исторического исследования, сосредоточенного на рассмотрении опыта исторических агентов, должен состоять в диалогических отношениях с другими формами исторического исследования, сфокусированными на таких вещах, как структурные и материальные условия и детерминанты истории, философские и религиозные взгляды и приверженности, научные теории, технические приемы, представления о наилучших способах организации политической и социальной жизни и т. д.

Третья позиция подразумевает, что историческая память сама по себе может стать для историка объектом историографического внимания. Это значит, что историк может сосредотачиваться не на внешних событиях прошлого и не на опыте их участников, а на том, какими способами люди позже вспоминали свой пережитой опыт – для чего, конечно, именно *сами по себе* зафиксированные воспоминания и будут рассматриваться в качестве свидетельства. Понятно, что способ запоминания людьми прошлого также является легитимным объектом исторического исследования, и это такой же отдельный вопрос, как и то, являются ли их воспоминания точным воспроизведением прошлого, которое, по их утверждению, они запомнили.

Четвертая позиция исходит из наличия такого подхода к зафиксированным воспоминаниям о прошлых событиях, который находится вне компетенции историка. Здесь зафиксированные воспоминания прошлых событий, или, точнее сказать, нарративизация этих воспоминаний, становится чем-то родственными объектам религиозного почитания. Воспоминания превращаются в самоценные объекты. Такое развитие можно увидеть, прежде всего, в отношении к памяти о Холокосте, но нечто подобное, конечно, случается также и в других контекстах.

Когда возникает поклонение, память в ее основном, опытном смысле превращается в нечто иное: *память* становится *коммеморацией*. В целом, я рассматриваю память как персональный опыт отдельных индивидов или групп индивидов, которые приобрели некоторый совместный опыт. Память начинается с более или менее спонтанного запоминания проживаемого в данный момент опыта. Хотя память и коммеморация родственны друг другу, но они также и резко различаются. Если память – побочный продукт прошлого опыта, то коммеморация *возникает в настоящем* из желания сообщества, существующего в данный момент, подтверждать чувство своего единства и общности, упрочивая связи внутри сообщества через разделяемое его членами отношение к прошлым событиям, или, более точно, через разделяемое отношение к репрезентации прошлых событий.

События, о которых идет речь, возможно, не имели места в действительности. Отнюдь не случайно коммеморация является важным элементом в некоторых религиях: возьмите Пасху в еврейской традиции или Рождество и Пасху в христианской. Коммеморация – это способ скрепления сообщества, сообщества коммемораторов. Некоторые комментаторы, серьезно рассматривая этимологию, видят связь между *religio* и *religare* (связывать), видят

функцию религии в сохранении сообщества. В этом смысле, коммеморация имеет много общего с религией.

* * *

Должны ли историческое исследование и историописание иметь такие же императивные функции? Т. е. должны ли историческое исследование и историописание отправлять, как важную, функцию объединения человеческого сообщества, подтверждая его общий (возможно, мифический) опыт? Говоря другими словами: должна ли история быть в своей основе аффирмативной по отношению к тому сообществу, в котором она возникает? Это важный вопрос, и он проявляется по-разному в разные времена и в разных местах. Невольно хочется согласиться: да, конечно, история должна обладать аффирмативной функцией, ведь *фактически* историческая дисциплина всегда подтверждала тот политический порядок, который оплачивал ее счета. Казалось бы, подтверждение того сообщества, в котором она возникает, является постоянно сопутствующим условием организованного историописания, меняется только специфический акцент и направление этого подтверждения.

В девятнадцатом столетии дисциплина истории была очень тесно связана с расширением мощи европейского национального государства. В Германии, Франции и Англии, как и в Соединенных Штатах, историческая дисциплина, недавно ставшая профессиональной, имела тенденцию служить идеологической опорой государства. Это верно и для немецко-говорящих стран, например для Пруссии и ее владений (или, альтернативно, для ее конкурентов); и для секуляризированной Французской республики с ее *цивилизаторской миссией*, появившейся после поражения Франции во франко-прусской войне 1871 года; и для Англии и ее колоний в этот же период; а также и для на-

циональных, а затем имперских претензий Соединенных Штатов. В каждом случае имелся свой господствующий нарратив – «мастер-нарратив», – который охватывал всю историю нации, описывая ее развитие с самого начала, через пробуждение и рост национального самосознания, и до текущей борьбы за ее признание и торжество. За «мастер-нарративами» стоит превосходящий его «большой нарратив» – секуляризированная версия христианского нарратива о древнем происхождении человечества, его борьбе и окончательном спасении¹.

Относительная устойчивость «мастер-нарративов» и «больших нарративов» придавала историописанию специфическую форму и смысл. За исключением тех историков, которые стояли вне дисциплинарной структуры (вспомните, в частности, швейцарского историка культуры и знатока искусства Якоба Буркхардта), фокус исследования был безоговорочно помещен в политическую историю особого типа. Доминировала история как повествование о все возрастающей свободе. Иногда она представляла в либеральном регистре, с акцентом на прогрессе в свободе индивида преследовать свои частные интересы и иметь голос в управлении государством; иногда она подавалась в консервативном или авторитарном регистре, с акцентированием культурного развития (*Bildung*) и свободы и могущества самого государства. Сегодня очевидно, что эти различные «мастер-нарративы» и «большие нарративы», на которые они опираются, утратили свой авторитет. Они его утратили тогда, когда война 1914 года превратилась в кровавую мясорубку. Безусловно, нельзя сказать, что *никто* больше не

¹ О немецком варианте господствующего нарратива см.: *Georg G. Iggers. The German Conception of History: The National Tradition of Historical Thought from Herder to the Present. 2nd. ed. Middletown, CT, 1983.* Об опоре исторической дисциплины на «Большой христианский нарратив» см. главу III настоящего издания.

верит в старый «большой нарратив» и «мастер-нарративы». Например, меня часто поражает, до какой степени многие американские студенты все еще верят в большой американский нарратив о «городе на холме», который стоит как «последняя лучшая надежда человечества» – «надежда мира», как сказал однажды президент Никсон¹. Но большинство тех, кто задумывается над такими вещами – и даже многих из тех, кто этого не делает, – ни старые национальные нарративы, ни «большой нарратив свободы», ни *Bildung* больше не впечатляют. Вместо этого преобладает, как сказал Ж. Ф. Лиотар, «недоверие» к таким всеобъемлющим нарративам².

Если история не является поставщиком авторитетных нарративов человеческого прогресса, то что она тогда предлагает? В современной культуре, и в современной американской культуре в частности, циркулируют разные взгляды на историю. Обращает на себя внимание позиция исторической невосприимчивости, которая может быть определена как просто отсутствие всякой явной или даже неявной ориентации на историю. Историческую невосприимчивость можно рассматривать в темпоральном плане – как коллапс видимого горизонта истории в какой-то момент настоящего. Или – в когнитивном плане – можно увидеть в этом решительный отказ от истории, когда все формы знания о прошлом либо игнорируются, либо преднамеренно отвергаются как иррелевантные. Безусловно, здесь следует видеть различие между знанием о прошлом и знанием из прошлого, поскольку знания из прошлого вовсе не отрицаются, пока они считаются полезными для действий в

¹ Об Уотергейте см.: www.watergate.info/nixon/

² *Jean-François Lyotard. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, 1979 / Trans. Geoff Bennington and Brian Massumi Minneapolis, 1984. XXIII; русск. изд.: Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М., 1998. См. гл. 10.*

настоящем. Но знание, взятое из прошлого, беззастенчиво сосуществует с полным невежеством по отношению к тем контекстам, в которых оно существовало прежде.

Хотя, возможно, рассуждения об исторической невосприимчивости звучат снисходительно, но я не намереваюсь проявлять такую снисходительность и ограничусь только констатацией фактов и описаниями. Использование термина *история* в английском просторечии означает «мертвый и ушедший, неуместный, устаревший», как в классике «крутых» телевизионных сериалов 1980-х годов *Miami Vice*: «Бросайте оружие или вы – история!». Этот набор представлений, возможно, более американский, чем европейский, и он, вероятно, распространен в «америках» определенного типа. Он ассоциируется с Америкой предместий и муниципальных кварталов; с Америкой, охваченной телевизионной манией; с излишне оптимистической Америкой «а теперь желаю хорошего дня» и предприимчивого «вставай и иди»⁴.

Это – старая история, один из настоящих мифов Америки, миф о гарантированной доле для каждого и победно-

Таблица 1

Четыре способа отрицания истории или уклонения от нее

<p>История как память: История должна воспроизводить или укреплять «культурную память» определенных групп</p>	<p>История как коммеморация: Функция истории заключается в том, чтобы дать нам возможность чтить своих мертвых предков («самое великое поколение» и т. д.).</p>
<p>Историческая невосприимчивость: Незнание или игнорирование истории: история как бесполезное изучение «мертвого и ушедшего».</p>	<p>История как традиция: Функция истории заключается в пропаганде и укреплении традиции определенных социальных групп.</p>

го продвижения на дикий Запад, оставляя все старое позади. И потом – снова и снова вперед... Это «уходы» даже не обязательно географические или физические. Они могут быть концептуальными, технологическими, экономическими, политическими, научными. В них – отказ думать об историческом опыте вообще, или если о нем все же думают, – то неспособность проявить внимание к контекстуальным различиям, отделяющим прошлое от настоящего и радикально изменяющим значение тех исторических частных случаев, которые представляют собой наиболее заметный аспект прошлого.

Историческая невосприимчивость не является чем-то специфически американским или каким-то новым явлением. Конечно, знание истории в основном всегда было одним из двух: либо культурным предметом роскоши (с некоторым упрощением вспомните здесь Геродота), либо потенциальным инструментом для поддержания интересов и оказания помощи реальным или предполагаемым правителям (вспомните Фукидида и его интеллектуальных наследников). Для тех людей, кто не в состоянии купить такую роскошь, или для тех, кто не вхож во властные структуры, совершенно нормально не знать историю, быть к ней безразличными, по крайней мере в отсутствие «большого нарратива прогресса» или некоторого функционального эквивалента такого нарратива. «Большой нарратив» может дать оправдание знанию прошлого, позволяя историческим частностям, которые иначе казались бы иррелевантными, найти их место в более широком поле истории, и это может также служить поддержкой мастер-нарративов, связанных с отдельными этническими, национальными, религиозными и другими группами. В отсутствие «большого нарратива», способного определить место и придать значение историческим частностям, историческая невосприимчивость становится чем-то вроде нормальной человеческой позиции¹.

¹ Безусловно, «большой нарратив», если он полностью подчиняет себе исторические частности повествуемой им истории развития или

Вторую установку по отношению к истории, которая обнаруживается в современной культуре (что также имеет отношение к недавней дискредитации мастер-нарратива и «большого нарратива»), можно определить как *исторический эстетизм*. В реальном мире исторический эстетизм часто тесно переплетается с другими установками по отношению к истории. Но на теоретическом уровне можно определить эстетизм истории весьма точно. Исторический эстетизм заключается в эстетическом отношении к объектам, дошедшим из прошлого, или это подается так, *как будто* они дошли к нам из прошлого. Эти объекты рассматриваются как некоторым образом *замена* прошлого. Основное отношение к этим объектам проявляется в наслаждении или восхищении. В историческом эстетизме внимание сосредоточено на чувственном аспекте рассматриваемых объектов. Исторический эстетизм не оперирует интеллектуальными или этическими рассуждениями и не проявляет интереса к более широким контекстам, в пределах которых расположены созерцаемые объекты, если эти контексты также не могут быть рассмотрены эстетически.

Приведу примеры. Один из таких объектов, который я хорошо знаю, находится недалеко от того места, где я живу, Иви, штат Вирджиния. Я имею в виду архитектуру центра Университета Вирджинии, «Academical Village», с ротондой, павильонами и студенческими общежитиями – все это было задумано как единый ансамбль Томасом Джефферсоном. Я также имею в виду дом Джефферсона, Монтичелло. Все эти памятники, но прежде всего Монтичелло,

истории спасения, может уничтожить историю и историческую мысль. Вот почему марксизм так легко перескочил от истории к ошибочной науке или теории истории, и почему христианская история спасения должна была подвергнуться секуляризации, прежде чем она смогла предложить в конце XVIII – начале XIX веков основание для появления исторической дисциплины.

особенно заметны потому, что изначально они были вписаны в естественную окружающую среду и все еще носят ее следы. Эти памятники побуждают к их чувственному восприятию, но не в чисто кантовском смысле, потому что оно связано с той историчностью, которой эти памятники обладают и которая не свойственна их естественному окружению.

Коротко говоря, «исторический эстетизм» проявляет себя в позитивном, благодарном отношении к историческим памятникам. Такой эстетизм присутствует в «движении сохранения» («preservation movement»), которое ратует за сохранение старых зданий и за защиту их от перестроек, изменяющих их первоначальное предназначение. Его знаки можно увидеть повсюду в Соединенных Штатах в табличках, обозначающих такие остатки прошлого, как поля бывших сражений, руины построек американских аборигенов и т. д. Возможно, как это ни парадоксально, исторический эстетизм в самой чистой форме может быть найден там, где предметом историко-эстетического созерцания является полностью *сконструированный* объект. Парадигматическим случаем может случить воссоздание судна «Титаник» для популярного кинофильма «Титаник» (1997). Судя по публикациям, огромные усилия были затрачены на то, чтобы посуда и столовые приборы были точными копиями сервировки стола на оригинальном «Титанике». Другим примером исторического эстетизма, конечно, была бы «Диснеевская Америка» – тематический парк, который в 1994 году компания Диснея предложила построить в четырех милях от национального парка сражения при Манассасе в северной Вирджинии, около Вашингтона, округ Колумбия. Но искусственно сконструированное прошлое, которое, без сомнения, выглядело бы намного приятнее и возвышеннее, чем оригинал, было признано слишком очевидно не соответствующим тем действительным историче-

ским событиям, которые там некогда разворачивались, и проект никогда не был реализован¹.

Третья позиция по отношению к истории, которая возникла вслед за крахом могущества «большого нарратива», включает в себя идентификацию истории с памятью и с коммеморацией.

Историческая невосприимчивость отрицает историю, объявляя историческое знание иррелевантным настоящему и будущему. Исторический эстетизм отрицает историю, трансформируя материальную обстановку прошлого в красивые объекты, существующие в «конфигурации», не имеющей, в сущности, никакого отношения к истории. В обоих случаях предпринимается попытка редуцировать наше сознание до горизонта настоящего: в первом случае, объявляя иррелевантным все, что не *из* настоящего, во втором, объявляя иррелевантным все, что не может быть красиво представлено *в* настоящем.

Те же самые процессы происходят и при идентификации истории с памятью и коммеморацией. Когда история становится просто тем, что люди помнят или отмечают как важные события, происходит редукция истории к структуре мышления и действия в настоящем. Память так же много сообщает нам о сегодняшнем сознании того, кто вспоминает, как и о самом прошлом. Память – это образ прошлого, субъективно сконструированный в настоящем. Таким образом, она сама субъективна; она может также быть иррациональна, непоследовательна, обманчива и самодостаточна. Давно известно, что без независимого подтверждения, память не может служить надежным маркером исторического прошлого.

Четвертая установка по отношению к прошлому, которую, наряду с историей, памятью и коммеморацией, также

¹ Предложение Диснея широко обсуждалось в прессе в 1994 году. См.: *David Hackett*. Disney, Leave Virginia Alone; Give Us No Imitation History // *St. Petersburg Times (Florida)*. June 1, 1994.

стоит рассмотреть, – это традиция. Удивительно, какое множество сегодняшних дискуссий о «памяти», особенно о «культурной памяти», является, на самом деле, разговором о традиции. Но ошибочно соединять вместе память и традицию: это приведет к фундаментальному непониманию. Память субъективна и персональна; она глубоко эмпирична. Конечно, традиция, чтобы функционировать, должна войти в опыт людей, но это больше, чем субъективный и персональный опыт. Традиция над-субъективна; она над-персональна. Традиция подразумевает передачу не персонального опыта в его предположительной уникальности и субъективности, а чего-то гораздо более дистанцированного от индивида, чего-то, что имеет коллективный вес и *над-индивидуальное* существование. Мы должны быть *воспитаны в традиции*. Традиция должна быть активно усвоена каждым человеком и каждым поколением. Она, таким образом, как бы дистанцирована от индивида и связана с процессом обучения, что не относится к понятию памяти.

История ближе к традиции, чем к памяти и поминовению. С историческим знанием происходит то же, что и с традицией. В одном из своих аспектов историография – это корабль, идущий в темных водах времени и забвения. Отчасти историография является активной попыткой сопротивляться времени и забвению. В этом отношении историография весьма схожа с деятельностью тех типов религиозных школ, в которых студентам преподают тексты данной религиозной традиции так, чтобы они стали для них своими. И все же история, в ее модернистском понимании, *не* традиция. Напротив, современная европейская историография возникла в конце XVIII – начале XIX веков как преодоление традиции. Когда «большой нарратив», предлагаемый религиозной традицией, потерял большую часть своего авторитета, освободилось место для появления истории как научной *дисциплины*, которая, продолжая религиозную традицию, сумела тем не менее и от нее, и от традиции вообще отделиться. Очевидно, что те претензии

на абсолютную объективность, которые предъявляла историческая дисциплина в XIX и начале XX веков, сегодня не могут быть приняты. В этом одна из причин того, почему границы между историей, с одной стороны, и памятью и коммеморацией, с другой, стали нечеткими и почему в некоторых случаях последние рассматривались почти как заменители истории.

* * *

Опасно, когда история исходит или из идеи сохранения персональной памяти, или из идеи своего функционирования как способа поминовения. И также нельзя историю рассматривать как форму традиции, несмотря на сходство между ними. Слияние истории с памятью, коммеморацией и традицией имеет тенденцию элиминировать критическую функцию истории. Например, какому разумному и чувствительному человеку, находящемуся в Вашингтоне в День поминовения у Мемориала Вьетнамской войны, пришлось бы в голову выступать с критическим анализом американского участия в той злополучной войне? Это не соответствовало бы случаю. Память и коммеморация занимают свои места, но слияние истории с памятью и поминовением подчиняет историю мнемонической и коммеморативной функциям. Историописание должно быть скорее критичным по отношению к порядку вещей в настоящем, чем аффирмативным, и по одной простой причине: многое из того, что появляется в культуре настоящего, уже аффирмативно по отношению к этой культуре. Есть потребность в таком подходе к прошлому, которое отстраняется от настоящего, поскольку столь многое в нашем отношении к прошлому этим качеством не обладает. Говорить, что историография должна быть критичной к порядку, который ее поддерживает, не означает, в более широкой перспективе, отдавать предпочтение критике перед аффирмацией. Это признание того факта, что аффирмация преуспевает при нормальном ходе вещей, а критический анализ – нет. Дело затрудняется

тем, что этот критический анализ должен быть направлен и на общепризнанные критические (или так называемые критические) идеи настоящего времени.

Короче говоря, увязывание вместе истории и памяти глубоко проблематично. Если историк поступит на службу памяти, то, сознательно или подсознательно, своекорыстные и самодостаточные воспоминания индивидуумов и их групп станут окончательным арбитром исторической истины. Это опасно. Задача историка должна в меньшей степени заключаться в сохранении памяти, чем в ее преодолении или, по крайней мере, в ее ограничении. Можно, конечно, представить себе историков, включающих в свои исследования свидетельства прошлого, данные историческими агентами (например, американскими солдатами Второй мировой или вьетнамской войн); в свет выходят книги, заполненные свидетельствами такого рода¹. Но все же ясно, что историкам необходимо выйти за границы этого жанра.

Должна ли историография быть дидактической? Т. е. должно ли историописание пытаться предлагать уроки прошлого для наставления людей в настоящем? Некоторые философы истории действительно рекомендуют дидактическую функцию для истории. В Германии, особенно по причинам, связанным с горькой реальностью Третьего рейха, было написано много трудов под общим заглавием «историческая дидактика»². Трудность, связанная с понятием дидактической функции в истории, состоит в том, что историки как историки, очевидно, не имеют власти давать предписания настоящему и будущему. В их компетенции — конструирование и реконструкция прошлого. Постольку, поскольку они делают эту работу хорошо, они достаточно подготовлены, чтобы критиковать тех политических деяте-

¹ Возможно, наиболее известная книга, написанная в таком жанре, — это: *Studs Terkel. The Good War: An Oral History of World War Two*. New York, 1984.

² Взять, хотя бы почти 800-страничный «*Handbuch der Geschichtsdiaktik*», 5th ed., ed. Klaus Bergmann et al. Seelze-Velber, 1997.

лей, и граждан вообще, кто искажает прошлое в попытке поддержать определенную линию в законодательстве или политике. Так, историк, написавший книгу об интернировании американцев японского происхождения во время Второй мировой войны, имел все основания выступить против политика, который, с целью и сегодня осуществить подобный кавалерийский подход к гражданским свободам, использовал подтасованные материалы о той позорной политике¹. Но историк опрометчив, если полагает, что его или ее собственные нормативные политические предпочтения в настоящем могут найти поддержку в историческом исследовании. История может предоставить ряд поучительных примеров, которые позволительно использовать против политической самонадеянности в настоящем. Но она не может поддерживать какую-то предлагаемую политику. Она может только показать, как такая-то и такая-то политика в прошлом, проводимая разными историческими деятелями, сказывалась на ходе истории.

Уместно вспомнить здесь кантову работу «Спор факультетов»² (1798). В ней Кант различает «низший», философский факультет, который, как он говорит, должен быть посвящен чистому поиску истины, и высшие факультеты юриспруденции, медицины и теологии, которые предназначены для обслуживания интересов государства и общества. Соответственно, более высоким факультетам не дозволена полная свобода исследования и преподавания, предоставленная философскому факультету. Однако преимущество вовсе не у философского факультета. Профессор теологии вынужден следовать за учением, установлен-

¹ Так поступил Эрик Мюллер (*Eric L. Muller. Free to Die for Their Country: The Story of the Japanese American Draft Resisters in World War II. Chicago, 2001; см.: A Blog Takes Off // Chronicle of Higher Education. June 6. 2003. P. A15.*

² *Immanuel Kant. The Conflict of the Faculties / Trans. Mary J. Gregor. New York, 1979; русск. изд.: Кант И. Спор факультетов // Собр. соч.: В 8 т. Т. 7. 1997.*

ным государственной Церковью: в этом отношении его свобода ограничена, тогда как свобода профессора философии – нет. Но в то же время профессор теологии имеет за собой силу и авторитет установленной догмы. С одной стороны, профессор теологии ограничен в том, что он может сказать, но, с другой, его предписания имеют авторитет, которого лишены слова профессора философии.

Историк ближе к кантову философскому факультету, чем к богословскому. Безусловно, я не сказал бы, что участие в дидактическом предприятии, в наставлении, полностью обходит историка стороной. Но такое предприятие предполагает догматические обязательства, которые нужно ясно иметь в виду, которые должны быть обнародованы и которые не должны вступать в противоречие с поиском исторических истин. Кроме того, в Германии историческая дидактика стала частью усилий выкорчевать остатки национал-социализма. Она, таким образом, была критически сориентирована на прошлое Германии. В Соединенных Штатах дидактическая история в процессе своего существования, весьма вероятно, трансформируется в аффирмативную.

Следовательно, я полагаю, историк вообще должен быть больше ориентирован на критику, чем на подтверждение или догматику. В этом отношении французский историк и философ истории М. де Серто предлагает образцовую модель. Де Серто доказывает, что современная западная историография построена на понятии разрыва между прошлым и настоящим. Историк не имеет непосредственного доступа к опыту (или воспоминаниям) прошлого; существует «другая» история, которая остается вне его понимания. Де Серто также настаивает на дистанцировании историка от его или ее настоящего. В своей блестящей работе он исследует сложности «историографической операции» – той, благодаря которой практикующие историки знают, что их работа гораздо больше имеет дело с границами, прерывностями и различиями, чем с преемственно-

стью и сходством¹. В этом смысле история отлична от «памяти», которая и в своем эмпирическом и в своем коммеморативном аспектах способствует возникновению успокаивающей иллюзии общности и непрерывности между прошлым и настоящим.

Безусловно, может быть высказано возражение против того понимания истории, которое я здесь предлагаю. Когда я обнародовал первую версию этой главы в виде лекции, один чешский философ возразил, что существуют некоторые ситуации – например, когда требуется построить новое или молодое демократическое государство, – в которых аффирмативный тип историописания не только допустим, но и необходим. Но я не убежден, что в долгосрочной перспективе аффирмативная роль подходит для истории. Это, во-первых, узурпация роли традиции. Во-вторых, то, что существенно для традиции, слабо связано с историческим прошлым и несколько им не оправдано вообще. В годы моего раннего детства Канада, где я рос (это была абсолютно английская Канада, а не весьма отдаленная французская Канада), отчасти оправдывала свое существование, опираясь на традиционную связь с британской короной и с британской системой управления. Ретроспективно мне кажется ценным в этой традиции то, что многие вещи могли быть, и часто были, заявлены в форме определенных принципов или утверждений (очень часто определяемых по контрасту с Соединенными Штатами). Одно утверждение состояло в том, что парламентская система управления превосходит президентскую; другое в том, что индивидуальные права должны быть подчинены идее общего блага, выражающейся в формуле «мир, порядок и хорошее управ-

¹ *Michel de Certeau. The Historiographical Operation // de Certeau. The Writing of History / Trans. Tom Conley. New York, 1988. P. 56–113.* На русском языке были опубликованы только некоторые фрагменты работы де Серто: Письмо истории: Сотворение места // Сегодня. 1996. № 165; Искаженный голос // Новое литературное обозрение. 1997. № 28.

ление», – безусловно более удовлетворительной, чем формула «жизнь, свобода и поиски счастья».

Если мы рассмотрим традицию, о которой я говорю, как формулирующую некий набор явных и неявных требований, то она приобретает форму неопределенно заявленной политической теории. Это и была политическая теория, обернутая в одежды исторического нарратива. Этот британско-центрированный нарратив едва ли мог выдержать серьезную проверку на прочность (особенно учитывая этнический состав страны даже в то время), что и закончилось возникновением обратной реакции в форме сепаратистского движения в Квебеке. Но нарратив был, в конечном счете, несуществен. Что было действительно важно и могло бы быть разумно обсуждаемо, так это обоснованность (или нет) выдвигаемых требований и принципов. Эти требования и принципы не были нарративами о прошлом. Скорее, они были руководящими принципами или структурами, предназначенными для организации настоящего и будущего.

Опору государства, конечно, не следует искать в исторических нарративах. Проблема не только в том, что такие нарративы нарушают принцип «разделения», а именно, принцип, в соответствии с которым история, достойная своего названия, тщательно различает прошлое и настоящее. Важнее то, что такие нарративы совершенно не пригодны для формирования базиса политических систем. Например, если реальное основание французской политики есть французская история – *nos ancêtres les gaulois*, – то это вполне может закончиться исключением из настоящего и будущего Франции тех людей, которые никак не напоминают жителей древней Галлии. В широком смысле, такая традиция могла бы рассматриваться как «культурная память». Но даже если бы это была истинная память – даже если бы было истинно то, что французское государство восходит по непрерывной линии от галлов, – это, возможно, было бы интересным и удивительным фактом, но не

тем, в чем можно было бы сегодня видеть легитимную основу французского государства. И то же самое, безусловно, применимо ко *всем* попыткам обеспечить «историческое» оправдание существующему порядку. Либо нарратив станет некорректной основой для формирования настоящего и будущего порядка, *либо* он настолько лишится легитимного исторического содержания, что больше вообще никогда не станет полноправным историческим нарративом.

* * *

Критическая историография должна находиться на некотором расстоянии от памяти, во всех смыслах последней, и так же она должна быть одновременно связана и отстранена от настоящего. Критическая историография ничего не предписывает настоящему. Она только показывает то, что было иным и удивительным – даже поразительным – в прошлом. Если в историописании утрачивается это качество удивлять, то оно одновременно утрачивает и свое академическое, научное оправдание. Такая история может повторно изобретать себя как память, или коммеморация, или традиция. Ни одна из них не плоха сама по себе, однако ни одна не является отличительной чертой историографического проекта. С другой стороны, такой тип историописания может превратиться в парадигмально зависимую, оппортунистическую, неоригинальную и бесперспективную форму профессиональной историографии – чего историки боятся как чумы. Когда, в противоположность этому, история открывает до сих пор неизвестное прошлое, это заставляет людей увидеть, что горизонт настоящего не совпадает с горизонтом всего сущего. Коротко говоря, история нуждается в памяти, но не должна идти за памятью. Если у кого-то возникает желание писать историю, то нужно попытаться найти вещи, с точки зрения здравого смысла удивительные. Если же историк остается в пределах структуры памяти, то наиболее вероятным результатом станет не удивление, а подтверждение.

§ 2. История. Память. Идентичность

Термины «идентичность» и «память» находятся сегодня в широком и неоднозначном обращении. Идентичность превратилась в предмет обязательств, дискуссий и сомнений. Не без связи с ней, память стала рассматриваться как привилегированный тип дискурса, предъявляющий специфические требования к подлинности и истинности. Чему может научить нас в деле исторического понимания та неопределенность, которая окружает память и идентичность? И наоборот: чему может научить нас история касательно памяти и идентичности?

Историческое исследование и историописание попали в западню между требованием универсальности и претензиями, предъявляемыми к ним отдельными идентичностями. Это одно из проявлений той «нерешающей напряженности», или диалектики, которая характерна для всякой истинной истории¹. Универсальное измерение исторического исследования и историописания коренится в приверженности историков к определенному набору процедур, предназначенных максимизировать возможности получения обоснованных исторических утверждений и минимизировать возможность ошибки. Партикуляристский аспект, который стал широко обсуждаться вслед за Мишелем Фуко и другими исследователями, приравнявшими знание к

¹ Классическая защита методологического единства истории принята Коллингвудом: *R. G. Collingwood. The Idea of History* (1946) // rev. edition, with Lectures 1926–1928, ed. W. J. van der Dussen. Oxford, 1993. Epilegomena. P. 231–315; русск. изд.: *Р. Дж. Коллингвуд. Идея истории. // Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография. М., 1980. Эпилегомены. С. 195–321. Об оппозиции универсального/особенного см.: Eric W. Hobsbawm. The Historian between the Quest for the Universal and the Quest for Identity // Diogenes. Vol. 168. 1994. P. 51–64. (Special issue on «The Social Responsibility of the Historian».)*

культурному принуждению, соединяется с некой позицией в настоящем (мы, как предполагается, в любой момент знаем *какова* эта позиция). Так как исторический партикуляризм часто артикулируется на языке памяти, то между историей и памятью складываются сложные отношения. С одной стороны, «история» возникает как псевдо-объективный дискурс, грубо подчиняющий себе частные воспоминания и идентичности, в которых заложена та самая эмпирическая реальность и аутентичность, которых история лишена. С другой стороны, память выступает как некий не поддающийся измерению дискурс, делающий утверждения о собственной валидности, которые не могут быть верифицированы.

Как можно разорвать этот круг? Никак: не позволяет диалектика. Но мы можем получить определенную ясность касательно отношения история–память и отношения их обеих к идентичности. В этой главе исследуются некоторые существенные особенности соотношения история–память–идентичность. При этом я не берусь за слишком многое: ведь ни одна отдельная теория не может удовлетворительно ответить на все связанные с этим вопросы. Я ограничусь указанием только на то, где находится центр их пересечения. Речь идет не о простой оппозиции «история *versus* память», и не о другой простой оппозиции «дисциплина *versus* желание». Скорее, это вопрос одновременно и письма, и ситуации, в которой хотя и может быть достигнута некоторая определенность, но всегда, в конечном счете, сохраняется неуверенность. Рассмотрим теперь эти проблемы более конкретно и специально, а следовательно, более эффективно и основательно.

* * *

Волна памяти прошла через многое в современной культуре. Самым показательным случаем, хотя и далеко не единственным, были Соединенные Штаты. Выдвинувшись

на первый план в 1980-е годы и достигнув пика в середине 1990-х, память вторглась во множество областей, часто в компании своего «злого двойника» – амнезии. К концу 1990-х годов некоторые из наиболее экстремальных форм озабоченности памятью отступили, по крайней мере до какой-то степени. Но в других отношениях память продолжала оставаться главной заботой современной культуры. Эта озабоченность памятью распространилась так широко, что было бы трудно ограничить список ее примеров. Но мы должны его ограничить, чтобы получить какой-то шанс продвинуться вперед в концептуальном отношении. Среди множества возможных примеров некоторое конкретное представление о том, что включает в себя «память», могут дать следующие.

А. Во многих психотерапевтических кругах в Соединенных Штатах большое значение было придано потребности психологически травмированных людей восстановить «вытесненные воспоминания» о пережитом в детстве насилии, которое, предположительно, и привело к возникновению их проблем. Многими самыми разными врачебными кругами настоятельно было высказано мнение, что воспоминание о прошлом зле (как выразился Ян Хакинг) обладает «абсолютным источником власти»¹.

¹ *Ian Hacking. Rewriting the Soul: Multiple Personality Disorder and the Sciences of Memory. Princeton, 1995. P. 213.* Две очень влиятельные книги, которые рассматривали «память как власть»: *Ellen Bass, Laura Davis. The Courage to Heal: A Guide for Women Survivors of Child Sexual Abuse. New York, 1988; Judith Lewis Hermann. Trauma and Recovery. New York, 1992.* О феномене «восстановления памяти» вообще см.: *Hacking. Rewriting the Soul. Ch. 15. Memoirs-Politics. P. 210–220; Elaine Showalter. Hystories: Hysterical Epidemics and Modern Culture. New York, 1997. Ch. 10. Recovered Memory. P. 145–158; см. также: Nicholas P. Spanos. Multiple Identities and False Memories: A Sociocognitive Perspective. Washington, D. C., 1996.*

Б. Методы терапии памяти были использованы в американской судебной системе: как элемент на слушаниях о бракоразводных делах, на других гражданских судебных процессах, и в уголовном судебном преследовании за насилие над детьми (и в одном знаменательном случае, за убийство), иногда по причине отсутствия физического или другого свидетельства о предполагаемом преступлении¹.

В. Вне Соединенных Штатов примечательны этнические конфликты, возникшие в 1991 году вслед за падением Советского Союза. Здесь вызывают интерес случаи, когда конфликт опирался незначительно (или вообще не опирался) на внешне видимые различия между этническими группами и имел много общего с так называемой «коллективной памятью». Хорошим примером этому является бывшая Югославия².

Г, В Соединенных Штатах и в других странах заметна озабоченность памятью о Холокосте. Почти все люди, ко-

¹ Рассмотрение случаев ритуального насилия в американской судебной системе см.: *Debbie Nathan u Michael Snedeker. Satan's Silence: Ritual Abuse and the Making of a Modern American Witch Hunt.* New York, 1995. Случай осуждения за убийства на основе так называемых восстановленных воспоминаний и его дезавуирование см.: *Elizabeth Loftus and Katherine Ketcham. The Myth of Repressed Memory: False Memories and Allegations of Sexual Abuse.* New York, 1994. Такой же случай с П. Инграмом, который был приговорен за убийство к 20-летнему заключению на основе восстановленных воспоминаний. О процедуре рассмотрения дела Инграма см.: *Lawrence Wright. Remembering Satan.* New York, 1994. К концу 1990-х растущий скептицизм в отношении дел такого рода стал очевиден. Тем не менее истерия, невежество или преднамеренное игнорирование эпистемологических стандартов, и прежде всего ошибочный отказ римско-католической церкви признать факт насилия над детьми в крупных масштабах, означали, что все еще остаются люди, верящие каждому обвинению и тому, что нужен только хороший врач, чтобы извлечь из подсознания глубоко запрятанные воспоминания о насилии.

² *Tim Judah. The Serbs: History, Myth, and the Destruction of Yugoslavia.* New Haven, 1997, XI–XII и далее.

торые были вовлечены в Холокост (жертвы ли его, или преступники, свидетели или просто его современники), теперь мертвы; скоро не останется никого. Поскольку Холокост стал важным для еврейской идентичности, вопрос о том, что будет с «памятью» о Холокосте, как эта «память» будет сохранена, был и остается предметом беспокойства многих людей¹. Холокост также играет важную роль в перепланировке немецкой истории, хотя в Германии гораздо менее остро обсуждается проблема сохранения памяти о Холокосте, чем то, как Холокост вообще мог произойти².

Очевидно, что каждый из этих примеров относится к определенным материальным, институциональным и культурным контекстам и имеет свой собственный специфический набор причин. Но все же эти примеры, очевидно, имеют нечто общее. Почему «память» и ее противоположность могут существовать в таких радикально различных контекстах? Почему болезнь Альцгеймера является, возможно, самой большой угрозой нашему здоровью? Почему судебные слушания становятся упражнениями в воспоминаниях? Почему популярное кино так часто обращается к вопросам памяти и забвения — достаточно упомянуть только несколько кинофильмов: «Бегущий по лезвию» (1982), «Вспомнить все» (1990), «Первобытный страх» (1996), «Люди в черном» (1997), «Мemento» (2001). Почему мы

¹ Важный момент введения в проблему: *Saul Friedlander, ed. Probing the Limits of Representation: Nazism and the «Final Solution»*. Cambridge, Mass., 1992; также см. работы: *Christopher R. Browning, Dominick LaCapra, Eric L. Santner*. О парадоксах памяти о Холокосте см.: *Andreas Huyssen. Monuments and Holocaust Memory in a Media Age // In: Huyssen. Twilight Memories: Marking Time in a Culture of Amnesia*. New York, 1995. P. 249–260.

² *Charles S. Maier. The Unmasterable Past: History, Holocaust and German National Identity*. Cambridge, Mass., 1988. Особенно: Гл. 3. A Holocaust Like the Others? Problems of Comparative History. P. 66–99.

снова должны вспоминать раны детства? И почему необходимо так остро и отчаянно помнить Холокост? Общей чертой большинства современных проявлений мемориальной мании является трансформация представлений об идентичности. В мире, в котором альтернативные реальности постоянно входят друг с другом в конфликт, и в котором множество возможных идентичностей выставлено на показ, неопределенность идентичности, возможно, является неизбежным побочным продуктом. В такой ситуации для «памяти» вполне достаточно причин выдвинуться на первый план. Можно даже постулировать одно правило: когда идентичность становится сомнительной, повышается ценность памяти.

Идентичность может быть рассмотрена одновременно и на философском, и на обыденном уровне. Мне представляется, что эти два уровня имеют некоторую связь: возможно, между ними есть даже каузальное отношение. В «Опыте человеческого разума» Джон Локк изложил классическую философскую проблему идентичности. По мнению Локка, эта проблема состоит в том, чтобы понять, каким образом может сохраняться во времени то, что мы могли бы назвать персональной идентичностью. Как известно, Локк пришел к выводу, что персональная идентичность поддерживается единым сознанием человечества. Примечательна ювелирная тонкость вывода Локка. При этом Юм, пришедший к выводу в «Трактате о человеческой природе», что самосознания, которое Локк считал единственным конститутивным качеством персональной идентичности, нет и что персональная идентичность является фикцией, не считал этот вывод некорректным¹. Вообще, до XX века идентичность не рассматривалась как проблема. Только

¹ Интересное исследование взглядов Юма предлагает: *Harold Noonan. Personal Identity. London, 1989. P. 77–103.*

с появлением экзистенциальной традиции в философии глубинная конституция самости формируется как центральная проблема.

Чарльз Тейлор убедительно доказал, что отступление в эпоху модернизма от общих теологических и религиозных допущений породило эффект «модернистской идентичности»: это отступление, считает он, лишило идентичность той структуры, в рамках которой она могла определяться¹. Конечно, в экзистенциальной традиции и где-нибудь еще саморефлексия явно связана с упадком концепции человека как созданного *imago dei*. Это также относится к упадку последующих эквивалентов этой концепции, прежде всего к концепции человеческой природы, определяющей индивидуума. Мы можем постулировать, что, когда такие внешние опоры отсутствуют, индивиды и сообщества имеют возможность моделировать свои собственные идентичности. В идеологии позднего модернизма это «само моделирование» должно было выполняться в духе творческой самоуверенности². У Ницше, самого, возможно, выдающегося теоретика модернизма, вызвала восхищение самоуве-

¹ Ch. Taylor. Sources of the Self: The Making of the Modern Identity. Cambridge, Mass., 1989. P. 25–32 и далее. Формирование идентичности в эпоху господства теологии хорошо описал Дройзен: «Человек, по своей сути, есть целое в самом себе, но постигает он эту суть только понимая других и будучи понятым ими... Индивид только относительно является целым. Он понимает и понят только как экземпляр и выражение сообществ, чьим членом, а также частью сущности и развития, он является, сам по себе не являясь выражением этой сущности и развития» (J. G. Droysen. Outline of the Principles of History / Trans. E. Benjamin Andrews (translation of: Grundriß der Historik. 3rd. ed. 1882). Boston, 1893. Sect. 12. P. 14; русск. изд.: Дройзен Г. Принципы истории. М., 2004.

² Stephen Greenblatt. Renaissance Self-Fashioning: From More to Shakespeare. Chicago, 1980. Само моделирование есть одна из ключевых идей развитого модернизма, овладение им позволяет различить его аналогии в прешествующем времени.

ренность Гёте, который «дисциплинировал себя в нечто цельное, он *создал* себя... Такой *ставший* свободным дух пребывает с радостным и доверчивым фатализмом среди Вселенной...»¹. Продолжая рассуждать отвлеченно, мы можем утверждать, что такое само моделирование, вероятнее всего, вызывает некоторые опасения и, следовательно, требует какой-то формы оправдания. Когда гётевская или ницшеанская самоуверенность исчерпывается, возникает повод обратиться к прошлому или, скорее, к некоторому образу прошлого, который можно назвать памятью.

Такое направление размышлений не есть просто абстрактное теоретизирование. Напротив, ему можно найти аналоги в реальной жизни. В значительных регионах современного мира (тех, где существует относительная экономическая стабильность и где средства информации оперативны и влиятельны), идентичность *на самом деле* была проблематизирована. Т. е. идентичность была представлена как вариативное и в такой же степени сомнительное образование: она стала вопросом возможного выбора разных и иногда противоположных ролей. В этих обстоятельствах идентичность не обязательно является предметом эмпирически верифицируемых утверждений, о которых можно недвусмысленно говорить как об истинных или ложных. По общему признанию, некоторые связанные с идентичностью утверждения *являются* либо истинными, либо ложными: так, истинно или ложно, что мой рост 5 футов 9 дюймов или что я имею четверых детей. Но люди формулируют много связанных с идентичностью утверждений,

¹ *Friedrich Nietzsche*. *Twilight of the Idols*, «Skirmishes of an Untimely Man». Sect. 49 // in: *Nietzsche*. *The Portable Nietzsche* /ed. and trans. Walter Kaufmann. New York, 1954. P. 554; русск. изд.: *Ницше Ф.* Сумерки идолов или Как философствуют молотом // *Ницше Ф.* Соч.: В 2-х т. Т. 2. М., 1990. С. 623.

которые не относятся (или, по крайней мере, не относятся однозначно) к этому типу. Такие утверждения об идентичности, которые недвусмысленно истинны или ложны, можно назвать «самообозначениями». Самообозначения – не физические или статистические факты. Самообозначение – это то, как «мы» хотим называть себя, как «мы» определяем себя в языке.

Так, например, Соединенные Штаты – это страна с населением 293 миллиона, и «americans» (как обычно используется этот термин) являются гражданами этой страны. Но Соединенные Штаты есть также «земля свободных и отечество смелых», «город на холме», «надежда мира» и т. д. Следуя подобной схеме, используя самообозначение, мы определяем и себя как индивидов. Существуют границы принятия таких самообозначений – границы материального и институционального типа. По крайней мере, среди людей, склонных искать доказательства, нельзя, например, долгое время приписывать себе физические качества, институциональный статус или личные навыки, которых на самом деле нет. Но также ясно, что во многих ситуациях современного общества существует достаточно возможностей утверждать, что эти качества есть. Трудно сказать, как заявления типа «я – искатель истины и правосудия», «я – христианин» могут быть с точностью проверены эмпирическим способом. Следовательно, мы часто принимаем такие идентификационные заявления, не задумываясь о них всерьез.

В некоторых случаях идентичность ограничена, в некоторых – нет. Здесь существует элемент произвольности или случайности, некоторой свободы или, по крайней мере, «эффекта свободы». Установление и лишение идентичности – обычный опыт в современном мире, подкрепленный мобильностью капиталистической экономики и бесчисленными примерами вариативных идентичностей, представ-

ленных в средствах массовой информации (ясно, что это не *универсальный* опыт: его предварительное условие есть некоторая степень свободы от наиболее насущных материальных потребностей). Но в относительно благополучном, насыщенном средствами информации социальном контексте, людям доступно слишком много моделей самообозначения, которые они могут рассматривать как приемлемые для себя или даже примерять их на себя¹.

Между процессом самообозначения и образами прошлого существует важная связь. В «памяти» возникает особая заинтересованность в ситуациях, в которых люди прибегают к самообозначению, так как она стабилизирует и оправдывает заявленное самообозначение². Для самообозначения характерно утверждение типа «я есть X», где «X» есть любой вид обозначения идентичности. Если трудно заявить в буквальном смысле, что «мой рост шесть футов», когда я и близко не дорос до них, то другие виды самообозначения можно действительно «присваивать». Т. е. можно присвоить себе самообозначение, которое значительно отличается от того, как человек видит сам себя, и от того, каким его до сих пор видели окружающие. Конечно, самообозначение может быть концептуализировано как полный

¹ Это контрастирует с культурой крестьянства, как она описана Джоном Бергером (John Berger): «Крестьяне не *играют ролей*, как городские жители... Потому что пространство между тем, что неизвестно о человеке, и тем, что вообще известно... слишком мало» (Berger. *Pig Earth*. New York, 1979. P. 10). Безусловно, ситуация, которую описывает Бергер, в большей мере может стать характеристикой *западного* «до-модернизма», находившегося во власти авторитарной монотеистической религии, чем его известное универсальное описание.

² Как выразился один литературный критик, «память консолидирует субъектов и конституирует настоящее. Это название мы даем способности, которая поддерживает непрерывность коллективного и индивидуального опыта» (Richard Terdiman. *Present Past: Modernity and the Memory Crisis*. Ithaca, 1993. P. 8).

отказ от старого обозначения: трансформация Павла на пути в Дамаск может служить образцом. Если существует убеждение, что новая идентичность дана Богом, то, возможно, нет никакой необходимости поддерживать ее заявлением, что она уже в неявном виде существовала перед этой трансформацией: в любом случае старая идентичность рассматривается как неискупленная, связанная с миром греха.

Однако в современной культуре преобладает другой лингвистический и концептуальный ход. Утверждение «я есть X» часто дополняется и расширяется следующим способом: «я есть X, и я всегда был X». Например, такое утверждение часто делается людьми, предпринимающими смену пола. Здесь память о том, что человек всегда был X, поддерживает идентичность, которая иначе могла бы казаться недостаточно оправданной. Когда такой ход принят, в игру вступают обстоятельства «памяти» и «истории».

Ощущение слабой идентичности, или идентичности, которой что-то угрожает, по-видимому, является общей чертой, объединяющей апелляции к «памяти» в этническом конфликте, в воспоминаниях о тревожных общественных событиях и о травматических (или представляющихся травматическими) событиях личной жизни. Феномен самообозначения отнюдь не несовместим со слабой или находящейся под угрозой идентичностью: напротив, идентичность, заявленная посредством самообозначения, тем более нуждается в оправдании того вида, который может предложить «память». Волна памяти и волна сомнения в идентичности идут параллельно.

* * *

Теперь возникает вопрос об отношении между современными проблемами с идентичностью, памятью и исто-

рическим пониманием. Существует обширная литература по истории и памяти, значительно увеличившаяся с начала ее формирования в конце 1970-х¹. Но в то время как эта литература пролила немало света на отношение история–идентичность–память, в исследованиях отношения исторического понимания к проблематизации идентичности обнаружился большой пробел. Упомянутая литература во многом сосредоточилась на том, как история и память консолидировали и сохраняли уже существующие идентичности. Необходимо было понять, почему история и память были поставлены на службу этим идентичностям. Но возможная изменчивость этих идентичностей не была достаточно исследована.

Начнем с французского социолога Мориса Хальбвакса (1877–1945), первого ученого, который систематически

¹ Два момента, которые позже вызвали повальный интерес к отношению история–память, обозначены Пьером Нора: *Pierre Nora. Mémoire de l'historien, mémoire de l'histoire: Entretien avec J.-B. Pontalis // Nouvelle Revue de psychanalyse. № 15. 1977. P. 221–234; ego же. La Mémoire collective // La nouvelle Histoire / Ed. Jacques Le Goff. Paris, 1978. P. 398–401. В течение 1980-х годов малый ручеек интереса превратился в мощный поток, и здесь особенно важны работы: J. Le Goff. *History and Memory* / trans. Steven Rendall, Elizabeth Claman. New York, 1992. (Впервые опубликована в Италии в 1986 году и затем во Франции в 1988-м); монументальный коллективный труд под ред. *Пьера Нора. Les Lieux de mémoire. 7 vols. Paris, 1984–1992. Многие эссе из этой работы опубликованы на английском языке в «Realms of Memory», ed. Pierre Nora, English language edition ed., предисловие Lawrence D. Kritzman, trans. Arthur Goldhammer (3 vols. New York, 1996). Во введении к этому изданию (Т. 1. P. XV–XXIV) Нора прояснил тесные связи между «царством памяти» и проблемами (французской) идентичности. См. также: *Amos Funkenstein. Collective Memory and Historical Consciousness // History and Memory: Studies in Representation of the Past Vol. 1. 1989. P. 5–27; Wulf Kansteiner. Finding Meaning in Memory: A Methodological Critique of Collective Memory Studies // History and Theory. Vol. 41. 2002. P. 179–197.***

рассмотрел отношение между историей и памятью. Он предпринял это в целом ряде работ: «Социальные структуры памяти» (1925); «Евангелическая легендарная топография святых земель: Исследования коллективной памяти» (1941); и в посмертно изданной обобщающей работе «Коллективная память» (1950)¹. В течение долгого времени работы Хальбвакса о памяти оставались почти незамеченными в широком интеллектуальном мире; только в конце 1970-х они начинают получать некоторую известность. Это связано с артикуляцией в пределах одного контекста некоторого набора идей и с их восприятием в другом, резко отличным контексте.

Ведущий представитель социологии во Франции Хальбвакс хотел показать, что память – это социальный, а не только индивидуальный феномен и, следовательно, должна быть объектом социологического исследования. Его ключевое утверждение заключалось в том, что память индивидов жестко детерминирована существующими в обществе категориями понимания. В «Евангелической легендарной топографии святых земель» он применил эту социологическую концепцию памяти к конкретному случаю, а именно – к существовавшим, начиная с раннехристианского периода, интерпретациям отношений между реальной и придуманной человеком географией Святой Земли и событий, описанных в Новом Завете. Он также предположил, что исторические интерпретации особенно зависимы от сознания производящих их социальных групп.

Согласно модели Хальбвакса, память детерминирована идентичностью (коллективной или индивидуальной), ко-

¹ *Maurice Halbwachs. Les Cadres sociaux de la mémoire // Postface by Gérard Namer. Paris, 1994; La Topographie légendaire des évangiles en terre sainte // 2nd. ed. Preface by Fernand Dumont. Paris, 1971; The Collective Memory / Trans. Francis J. Ditter, Jr. Vida Yazdi Ditter. Введение Mary Douglas. New York, 1980.*

торая уже надлежащим образом определена. Исследования памяти, предпринятые Хальбваксом – такие как, его анализ памяти вообще и его анализ исторической памяти в частности, – прежде всего есть исследование способов конструирования памяти такими идентичностями. Его анализ исторической памяти направлен на то, как идентичность, целостность которой в данный момент устанавливается, приходит к конструированию прошлого, соответствующего этой идентичности. Снова и снова Хальбвакс подчеркивал это положение: например, «в каждой эпохе» память «реконструирует образ прошлого, который соответствует... преобладающим мыслям общества», и «различные группы, которые составляют общество, способны в любой момент реконструировать свое прошлое»¹. Он также утверждал, что рассматриваемые группы «разграничены во времени и пространстве»². Существенный момент здесь состоит в том, что для Хальбвакса социальные идентичности возникают еще до коллективных воспоминаний, которые они конструируют. Безусловно, через какое-то время коллективные воспоминания придают новую форму идентичности, которая их выстроила, но идентичность всегда *предшествует* памяти.

В противоположность этому, наиболее характерной особенностью современной жизни является недостаток стабильности на уровне идентичности, что приводит к проекту конструирования памяти с целью конструирования самой идентичности. В большей степени, чем модель Хальбвакса, для понимания такого контекста подходит модель Б. Андерсона. По выражению Андерсона, все дело – в «воображаемых сообществах»; мы можем представлять

¹ *Maurice Halbwachs. The Social Frameworks of Memory. Preface, Conclusion // Halbwachs. On Collective Memory. P. 40, 182.*

² *Ibid. P. 84.*

воображаемые сообщества как воображаемые идентичности¹. Конечно, каждое сообщество, кроме очень маленьких групп, в некотором строгом смысле является «воображаемым». Чем больше сообщество воображаемо, тем больше ему требуется «памяти», так же как и «забывания»². Наоборот, чем меньше сообщество укоренено в существующих и хорошо функционирующих социальных практиках, тем более проблематична его идентичность, тем более конститутивным является для него его «вспоминаемое» прошлое.

Важно обратить внимание на то, чем не является память. Во-первых, это – не ностальгия. В целях данного анализа позвольте определить «ностальгию» как притягательность реального или воображаемого прошлого – тоска по нему. Однако во множестве обращений к памяти в современной культуре обнаруживается отсутствие тяготения к прошлому. Возьмем, например, память о Холокосте или о насилии над детьми. Различие между ностальгией и памятью, как видно, заключается в том, что ностальгия ориентирована в направлении *от* субъекта (отдельного человека; группы) и сосредоточивает внимание на реальном или воображаемом прошлом. Память же ориентирована в направлении *к* субъекту и реальное или воображаемое прошлое ей интересно только потому, что прошлое воспринимается как важное для субъекта, даже конститутивное для него. В то время как память, как я ее понимаю, связана с ненадежно-

¹ *Benedict Anderson. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Revised ed. London, 1991; 1-е изд. 1983. Русск. изд.: Бенедикт Андерсон. Воображаемые сообщества. М., 2001.*

² Значение «забывания», возможно, впервые было отмечено Э. Рена-ном в классической лекции «Что такое нация» (1882), где он подчеркнул, что для возникновения французской нации потребовалось вытеснить из памяти резню в День святого Варфоломея. См.: *E. Renan. What is a Nation? / Trans. Martin Thom // Nation and Narration. Ed. Homi K. Bhabha. London, 1990. P. 8–22.*

стью сегодняшней идентичности, конструирующей эти воспоминания, ностальгия связана с ощущением удовлетворенности идентичностью настоящего, порождающим эту ностальгию. Многие из исторической ностальгии в Соединенных Штатах (ностальгия по старым полям сражений, по домам прежних президентов, фактически по любым историческим реликвиям) не имеет отношения к сколько-нибудь глубокому чувству неуверенности по поводу идентичности. Что касается французских *lieux de mémoire*, исследованных Пьером Нора и его коллегами в 1980-е годы, многие из этих «мест памяти», по сути, являются местами ностальгии. Исследование историками «мест памяти» часто более всего интересно тогда, когда оно выдвигает на первый план сложную диалектику памяти и ностальгии, которую обнаруживают эти «места памяти»¹.

Во-вторых, память не есть традиция. Определим здесь «традицию» как объективно существующий набор культурных артефактов или артикуляций. Приверженцы традиции, уверенной в собственной основательности, вряд ли будут обращаться к памяти: вместо этого, когда требуется защитить традицию, они обращаются именно к несубъективным факторам – к канону, к набору философских или религиозных истин, к предполагаемым историческим со-

¹ В «Общем введении: между памятью и историей» Нора интересно рассматривает диалектику ностальгии и памяти, или – оперируя другими терминами – устойчивой и неустойчивой идентичности (*Realms of Memory*. Vol. 1. P. 5–6). В самом деле, возможно хорошо, что эта диалектика, в большей мере, чем диалектика «истории и памяти», стала истинной идеей этой работы. Нет сомнения, что главным импульсом проекта *lieux de mémoire* (мест памяти. – Прим. переводчика) было чувство, что французская идентичность требует особого критического рассмотрения, потому что ее значение к концу 1970-х и в начале 1980-х годов уже не было столь ясным, как это казалось прежде. (Русск. изд.: *П. Нора и др. Франция–Память*. СПб., 1999. С. 17–51.)

бытиям, к существующей институализированной структуре. У прочной идентичности мало нужды в явном, предметном обращении к памяти. Когда память вплотную приближается к традиции, это значит, что она приближается к *слабой* традиции. Другими словами, обращение к памяти, т. е. обращение к тому, что является субъективным и личностным, вероятно, возникает только тогда, когда начинает ощущаться неадекватность объективно существующих опор данной традиции. Например, зная непоколебимую веру римского папы в фундаментальность традиций и учреждений Римско-католической Церкви, трудно представить себе Иоанна Павла II, обращающегося к памяти в целях защиты и укрепления Церкви.

По общему признанию, на эмпирическом уровне память часто накладывается на ностальгию и традицию. Но память, с одной стороны, и ностальгия или традиция – с другой, остаются по многим параметрам разными феноменами. Следовательно, на концептуальном уровне различие между ними должно быть сохранено. Не различая эти явления, мы рискуем не заметить важные отношения, существующие между памятью и идентичностью и между памятью и историей.

* * *

Историк и философ истории исследуют специфику заявлений, сделанных от имени памяти. Они часто связаны с самыми глубокими убеждениями в сущности наличных идентичностей. Два примера прояснят то, что иначе осталось бы абстрактным рассуждением.

Первый пример. В мае 1995 года я проверял работы по истории, написанные учащимися старшего и среднего школьного возраста, финалистами конкурса «Национальный день истории», проводимого в Вирджинии. Для этого

я был обязан прочитать пособие о правилах проведения конкурса, которое я и беру, чтобы проиллюстрировать широко распространенные представления о характере исторического понимания. Среди многих других правил, от школьников требовалось различить в библиографии их работ первичные и вторичные источники. Правила определяли «первичный источник» как материал, непосредственно связанный с темой исследования релевантным историческим временем или фактом причастности к нему. Такие материалы включают в себя письма, речи, дневники, газетные статьи соответствующего времени, устные рассказы, документы, фотографии, экспонаты или что-нибудь еще, что дает информацию о человеке или событии из первых рук¹.

Любой историк, знающий о проблемах свидетельства, признает, что предлагаемое здесь определение первичного источника абсолютно неудовлетворительно. Хотя историки не всегда едины в их размышлениях о таких проблемах, есть тем не менее традиционное согласие, которое позволяет им в необходимых случаях различать два типа источников. Отправной пункт заключается в том, что первичный источник должен быть датирован тем же временем, что и событие, которое он описывает². Но правила проведения «Национального дня истории» позволяли обозначить источник как первичный только на основе его квалификации в качестве «материала, непосредственно связанного с те-

¹ National History Day. Inc., National History Day Student Contest Guide // National History Day. University of Maryland, College Park, 1993. P. 2.

² «Строго говоря, первичным источником должен быть тот, что содержит прямое свидетельство очевидца событий. Все другие источники, полученные из этого первичного, были бы вторичными. Обычно, однако, источники, закрытые современниками от свидетелей, рассматриваются как первичные источники. Совпадение во времени становится тестом на реальность» (*Allen Johnson. The Historian and Historical Evidence. New York, 1926. P. 61*).

мой» временем «или» причастностью к нему; а также в категорию первичного источника заносили, без разъяснений, «устные рассказы». В результате эти правила расширили границы первичного источника далеко за пределы того, что может принять хорошо образованный профессиональный историк. Например, правила позволяют расценить как первичный источник «устный рассказ» оставшегося в живых мученика Холокоста, рассказанный спустя много лет после самих событий. Хотя я не хочу абсолютизировать или любым способом превозносить понятие первичного источника, давнее согласие историков не принимать доказательство, предложенное пятьдесят или шестьдесят лет спустя после свершившегося факта в качестве «первичного», оправдано всем, что мы знаем о селективном и дифференциальном характере памяти¹.

Какие могут быть основания для того, чтобы расширить понятие первичного источника таким способом, чтобы воспоминания оставшегося в живых мученика Холокоста, рассказанные внуку в 1994 году, считались бы таковыми? Два связанных между собой допущения, конечно, оправдали бы такую позицию. Первое допущение заключается в том, что личный опыт исторических событий имеет значение сам по себе, он весьма отличен от любого внешнего стандарта, потому что он «подлинный»². С этим допущением связано второе, заключающееся в том, что память

¹ О слабости свидетельства очевидца вообще (даже того, что сразу же следует за описываемыми событиями) см.: *The Basis of Historical Doubt; The Nature of Historical Proof* (Allen Johnson. *The Historian and Historical Evidence*. P. 24–49, 141–156). Безусловно, есть определенные теоретические трудности дистинкции первичный/вторичный источник. Главный момент здесь заключается в том, что обязательным является само методологическое правило этой дистинкции.

² Этот взгляд близок к тому, что Морис Манделбаум отнес к «доктрине непосредственности», которая, как он предположил, «заняла доминирующую позицию в мышлении 20-го века» (Maurice Mandelbaum. *History, Man, and Reason: A Study in Nineteenth-Century Thought*. Baltimore, 1971. P. 350–364, 358).

также обладает «подлинностью» и, следовательно, легитимностью. При этом не принимаются во внимание любые проблемы с ее точностью, возникающие в результате первоначального неправильного восприятия события или искажений, появившихся по истечении времени. Однако подлинность памяти, очевидно, не является тем видом подлинности, которую историк приписывает документу прошлого, прошедшему процедуру верификации. Скорее, это подлинность в экзистенциальном смысле, черпающая свою силу из того предполагаемого факта, что она возникает непосредственно и немедленно из столкновения субъекта с миром.

Второй пример. В отличие от первого, он не так типичен, но тем не менее так же разоблачителен. Он иллюстрирует такой ход мышления, который, хотя обычно выражен менее экстремальными способами, имеет отношение к кругам психотерапевтического сообщества Соединенных Штатов, а также произвел некоторое воздействие на американскую культуру вообще. Рассматриваемый пример – книга «Ритуальное насилие: каково оно, почему оно происходит и как помочь», вышедшей под псевдонимом Маргарет Смит¹. Смит утверждает, что ритуализированное насилие над детьми, включающее в себя черные мессы, убийство детей, поедание детей, сексуальное насилие над детьми, принудительную каннибализацию, уродование трупов, сексуальное насилие над мертвыми телами и другие подобные действия, широко распространены в Соединенных Штатах. Смит утверждает, что сама выжила после такого насилия.

Смит сообщает, что «первая реакция ребенка на этот вид насилия заключается в отрицании того, что произошло» (34). Насилие настолько травмирует, что психика не-

¹ *Margaret Smith. Ritual Abuse: What It Is, Why It Happens, and How to Help. New York, 1993.* Далее ссылки на номера страниц этой работы заключены в круглые скобки.

запоминает его. Но тело помнит, поскольку правда сохранена в форме «воспоминания тела»: «После того как травма затянулась, физические ощущения возвратятся в тело как *воспоминания тела*... ..тело точно помнит, что случилось» (35). Смит утверждает, что серьезное насилие вызывает множественное личностное расстройство. «Во время серьезной физической травмы есть момент, в который происходит раскол сознания и тела» (34). Чтобы успокоить противоречивые чувства оставшихся в живых жертв ритуального насилия развиваются «вторые личности». Смит перечисляет множество типов вторых личностей: интернализированные преступник/преследователь; защитники; убийца/мучители; тот, кто пристаёт к детям на улице/насильник; интеллеktуал (кто находит, что слова оставляют боль); ангелы-хранители, помощники, утешители, и воспитатели (36–42).

Описание множественного личностного расстройства, данное Смит, чрезвычайно важно и релевантно, поскольку придает специфическое содержание моему утверждению о том, что память стала тесно связана с идентичностью и что память особенно важна в ситуациях, где идентичности что-то угрожает или когда она сомнительна. Могла ли слабость идентичности быть представлена более ярко, чем настойчивым повторением пациентов, что у них не одно, но много лиц (самостей, частей, личностей)? Часто говорят, что люди, страдающие множественным личностным расстройством, имеют не больше чем одну личность, но меньше чем одну¹. Просматривая видеосъемки людей, страдающих

¹ *Hacking*. *Rewriting the Soul*. P. 18. В 1994 году американская психиатрическая ассоциация переименовала MPD в «диссоциативное расстройство личности», но этот феномен продолжает оставаться широко известным под своим ранним названием. Описание диагностических критериев см.: *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*. 4th ed. [DSM-IV]. Washington, D. C., 1994. P. 484–487. Перемена названия от «множественного личностного расстройства» к «диссоциативному расстройству» только подтвердила, что не существует множества идентичностей, но есть только одна (разрушенная).

множественным личностным расстройством, с которыми беседовал клинический психолог, проводящий судебную экспертизу, я начинал думать о личности именно так¹. Предполагаемое обладание рассматриваемым субъектом множеством личностей, казалось, служило средством ухода от ответственности за действия, которые этот индивид совершил. Надежное владение *одной* личностью сделало бы эти множественные личности ненужными. Складывалось впечатление, что различные личности были картонными коробками, в которых индивид мог спрятаться. Когда одному его укрытию что-то угрожало, он перепрыгивал в другое.

Именно потому, что владение самостью опасно, субъект упорно утверждает, что сделанные заявления представляют собой не просто *ex post facto* интерпретации, которые придают смысл трудной персональной истории, приписывая символическое и узнаваемое лицо плохо понятым ужасам, но являются, в буквальном смысле, фактически истинными. Это проблема самоутверждения: чтобы утверждать свою самость так, как она понимает себя в данный момент, субъект настаивает на принятии специфической истории о том, как его самость такой стала. «Маргарет Смит» правильно расставляет акценты, когда глубоко переживает о том, что «многие люди не верят оставшимся в живых жертвам ритуального насилия. Людей больше интересуют свидетельства или доказательства насилия, чем чувства жертв. Многие люди думают об оставшихся в живых как о сумасшедших, другие обвиняют оставшихся в живых в их собственной боли» (33). Смит не принимает такую позицию; по ее мнению, «оставшиеся в живых нуждаются в лю-

¹ Видеозаписи были произведены в Институте права, психиатрии и общественной политики университета Вирджинии в начале 1990-х, с разрешением использовать их в целях исследования и обучения.

дах, которые могут их поддержать, кто верит им и кто не обвиняет их в перенесенном насилии» (179).

Возвращаясь к области модернистской теории: такая настойчивость на подлинности и валидности памяти далека от той модели отношения между идентичностью и памятью, которую предложил типичный модернист Ницше. Наиболее важное обсуждение Ницше этого отношения имеет место в начале второго трактата «К генеалогии морали», озаглавленного «“Вина”, “нечистая совесть” и все, что сродни им». В первых двух частях эссе он обращается к созданию специфического вида субъекта, а именно к субъекту, который способен выполнять обещания¹. Он обсуждает память не потому, что (как можно вообразить), для того чтобы выполнять обещания, их нужно помнить, но потому, что память выступает как один из элементов в созидании субъекта. В этих разделах Ницше пишет не только о памяти, но также, в равной мере, и о забывчивости. Казалось бы, забывчивость не имеет никакого позитивного отношения к выполнению обещаний; напротив, на декларационном уровне ее отношение к выполнению обещаний негативно – забытое обещание не может быть выполнено. Ницше обсуждает забывчивость потому, что она, наряду с запоминанием, существенна в создании субъекта. (В частности, Ницше заинтересован созданием определенного вида субъекта, а именно субъекта, который берет на себя ответственность за выполнение обещаний.) Забывчивость есть то, что позволяет возникать субъективности – перед лицом нескончаемого потока впечатлений сознания.

Как пишет Ницше, «забывчивость... есть активная, в строжайшем смысле позитивная сдерживающая способ-

¹ *Friedrich Nietzsche. On the Genealogy of Morality: A Polemic. Trans. Maudemarie Clark, Alan J. Swensen. Indianapolis, 1998. Second Treatise. sections 1–2. P. 35–36. Данные ссылки даны в круглых скобках; русск. изд.: Ницше Ф. К генеалогии морали // Соч.: В 2-х т. Т 2. М, 1990. С. 439–440.*

ность (*Hemmungsvermögen*)», которой следует приписать то, что все переживаемое, испытываемое, воспринимаемое нами, в состоянии переваривания ... столь же мало доходит до сознания, как и весь тысячекратный процесс, в котором разыгрывается наше телесное питание, так называемое «органическое сварение». Результатом является «немного тишины, немного *tabula rasa* сознания, чтобы опять очистить место для нового, прежде всего для более благородных функций и функционеров, для управления, предвидения, предопределения». Такова польза «активной... забывчивости, как бы некой привратницы, охранительницы душевного порядка, покоя, этикета». При помощи памяти, «забывчивость в некоторых случаях упраздняется – в тех именно случаях, где речь идет об обещании». Далее Ницше доказывает, что память, подобно забывчивости, «активна». Память «не просто пассивное неумение отделаться от вцарапанного однажды впечатления... но активное *нежелание* отделаться, непрерывное воление однажды поволенного, – настоящую *память воли*, так что между изначальным “я хочу”, “я сделаю” и собственным разряжением воли, ее *актом*, спокойно может быть вставлен целый мир новых и чуждых вещей, обстоятельств, даже волевых актов, без того чтобы эта длинная цепь воли лопнула»¹.

Из рассуждения Ницше ясно, что он не придавал большой ценности памяти как таковой. В самом деле, его размышления предполагают почти оппозиционные отношения между памятью и субъективностью. Он – далеко не единственный исследователь субъективности, пришедший к такому заключению: сразу же можно вспомнить резкое

¹ Ницше Ф. К генеалогии морали // Сочинения: В 2-х т. Т. 2. М., 1990. С. 439–440. – Прим. переводчика.

высказывание Фрейда о том, что «истерики страдают, главным образом, от воспоминаний»¹.

Но сегодня многие врачи и другие люди, испытывающие влияние психоанализа, придерживаются иной точки зрения: хотя они признают, что воспоминания могут быть травмирующими, они также рассматривают память как маркер приобретенного жизненного опыта, через который возникает идентичность самости, и, следовательно, как обладание своей аутентичностью, которая, однако, дезорганизует содержание этой аутентичности. Борьба идет вокруг того, считать ли, что память нужна для того, чтобы служить «суррогатом души»². Почему бы это могло быть так? В иные исторические эпохи, когда была широко распространена приверженность основывающейся на догме теологии или структурам веры, считали, что персональная идентичность получала связность и значение более широкой структуры отношений. Но в мире, лишенном иллюзий, у «души» нет такой определяющей опоры. Она редуцирована к мирскому опыту, а непрерывность этого опыта определена памятью и зависит от нее. Это – возвращение к Джону Локку, но в другом, более радикальном ключе.

Следовательно, на глубинном эмпирическом уровне память чрезвычайно важна для нас. Как уже говорилось, мы боимся болезни Альцгеймера. Мы болезненно зача-

¹ *Sigmund Freud. On the Psychological Mechanism of Hysterical Phenomena: A Lecture (1893) // Freud. The Standard Edition of the Complete Psychological Works / Transl. under the general editorship of James Strachey. 24 vols. London, 1953–1974. Vol. 3. P. 25–39.* Среди врачей начала XX века, разделявших идеи Фрейда о необходимости для пациентов преодолеть их память, были Пьер Жанет и Х. Годдард. (*Hacking. Rewriting the Soul. P. 86, 252, 260–261.*)

² *Hacking. Rewriting the Soul. P. 260.*

рованы несвязностями того вида памяти, которые описал психиатр Оливер Сакс¹. Мы дорожим семейными фотографиями. Ничто из этого не имеет отношения к «науке», но это важно для нашего самоосмысления. Высокая оценка памяти имеет тенденцию проникать в историографию (и в общественный интерес к истории) в тех пунктах, где исторические события и обстоятельства пересекаются с личным и семейным опытом. Наш личный опыт в истории есть вопрос «памяти». Семейный опыт в истории – скажем, опыт бабушки и дедушки, избежавших Холокоста, рассказанный и переданный их потомкам, – часто обозначается как «память», хотя в строгом смысле слова это не так. Литературный критик Джеффри Хартман писал о желательности превращения истории в память. Дело здесь не в том, чтобы согласиться или не согласиться с Хартманом. Дело в том, что, призывая к такой замене, он присоединяется к высокой оценке памяти (и более того – фокусирует внимание на идентичности) в современной культуре².

¹ *Oliver Sacks. The Man Who Mistook His Wife for a Hat and Other Clinical Tales.* New York, 1985.

² *Geoffrey H. Hartman. Judging Paul de Man // Hartman. Minor Prophecies: The Literary Essay in the Culture Wars.* Cambridge, Mass., 1991. P. 123–148. At 148: «Цель суждения в историческом или литературно-критическом дискурсе... состоит в превращении истории в память: что нужно помнить и как это нужно помнить. Эта ответственность преобразовывает каждое суждение в суждение человека, который его формулирует». Этот последний пункт особенно точен: перемещение от «истории» к «памяти» влечет за собой переход от познания того, что имело или не имело места в прошлом, к предложению суждений относительно характера субъективностей в настоящем. Вообразите качество академического обсуждения, полученное в результате такого подхода. Прежде всего, мы нуждались бы в надежной верификации личности, а качество работы, сделанной людьми, о которых мы судим, было бы вторичным, если не полностью иррелевантным.

* * *

В свете такой высокой оценки памяти какова должна быть позиция историка? Но что еще важнее – какова должна быть позиция любого разумного человека? Сегодня обнаруживается патетический и иногда трагический конфликт между тем, что «память» выражает, и тем, что она подтверждает, а именно – между требованиями субъекта и требованием доказательств, обязательных для любой научной дисциплины. Сегодня в широких культурных и даже академических кругах существует намерение, говоря словами другого литературного критика Евы Кософски Седжвик¹, «перечеркнуть эпистемологию свидетельства и вместо этого подчеркивать его эротику». Очевидно, что свидетельство никогда не говорит само за себя объективно: оно всегда говорит *из* позиции субъективности, *в направлении* субъективности, в аргументативном контексте субъективности. Короче говоря, нет такой вещи, как «чистое» свидетельство. Более того, эротика свидетельства есть, конечно, необходимый момент в границах большей структуры, потому что без желания (которое я буду рассматривать как ядро «эротики») не было бы никакого побуждения конструировать (или реконструировать) прошлое, как это понимали Ранке, Мишле, Буркхардт и многие другие. Но без контроля над желанием исследуемое прошлое становится просто проекцией исследующей его субъективности.

¹ *Eve Kosofsky Sedgwick. Against Epistemology // Questions of Evidence: Proof, Practice, and Persuasion across the Disciplines. Ed. James Chandler, Arnold I. Davidson, Harry Harootunian. Chicago, 1994. P. 132–136, at P. 136.* Не совсем ясно, что именно имеет в виду Сэдджвик под «эротикой» свидетельства. Я полагаю, что эта фраза означает акцент на драматизации проблем настоящего в средствах информации или в другом перформативном контексте, без большого (или вообще без какого-либо) внимания к тому, каким образом устанавливается точная или буквальная достоверность этой драматизации.

В фундаментальном смысле ничему нельзя научиться, лишь выполняя упражнения. Только если субъективность контролируется, ее можно обучить взаимодействовать с противостоящими субъективностями и с социальными и материальными мирами, в границах которых эти субъективности функционируют.

Говоря другими словами, легко вообразить, что мы должны *помнить* прошлое. Но мы не помним прошлое. Мы помним настоящее: т. е. мы «помним» то, что остается жить в нашей ситуации *сейчас*¹. Мы *осмысливаем* прошлое: т. е. мы конструируем или реконструируем его на основе некоторых критических процедур. Релевантный девиз: «Помните настоящее, думайте о прошлом». «Je me souviens» (девиз Квебека) относится к субъективности, которая существует в настоящем, но не в прошлом, о котором размышляют. Почти всегда, когда историческое понимание описано как «воспоминание», можно прийти к выводу, что предпринята попытка содействовать установлению в настоящем той или иной наиболее желательной коллективной идентичности².

Можно легко отмахнуться от субъективного, мемориального аспекта истории, но это было бы и абсолютно ошибочным. Претензии на абсолютную объективность – предложение взгляда «глазами Бога» – являются несостоятельными. Но так же ошибочно превращать историю просто в способ борьбы за идентичность в настоящем. Недавние исследования в области философии истории предлагают много серьезных размышлений о проблемах исторического понимания. Эти исследования не разрешают кон-

¹ *Johannes Fabian. Remembering the Present: Painting and Popular History in Zaire / Иллюстр. Tshibumba Kanda Matulu. Berkeley, 1996.*

² Анализ этой позиции, как и противоположной ей – «критической» или «ревизионистской», – см. в работе: *Steven Knapp. Collective Memory and the Actual Past // Representations. № 26. Spring 1989. P. 123–149.*

фликт между требованиями субъективности, связанными со специфическими идентичностями (расы, класса, гендера, нации) и требованиями доказательства, но они обозначают этот конфликт. В связи с возникающими здесь проблемами оценок и знания, в литературе существуют две противоречивые тенденции. Одна из них лучше всего представлена Р. Коллингвудом и П. Рикером, а другая – Хейденом Уайтом и Мишелем де Серто.

Первая тенденция считает прошлое, в своей основе, познаваемым. Эта тенденция присутствует в концепции исторического нарратива Рикёра как то, что объединяет гетерогенные явления в некоем синтезе – «синтезе гетерогенностей»¹, как выразился Рикёр¹. Но гораздо решительнее она заявлена в «Идее истории» Коллингвуда, причем наиболее ясно – в главе под названием «Историческое свидетельство», почти половина которой посвящена исследованию вопроса «Кто убил Джон Доу?»². Здесь Коллингвуд в дедуктивной манере изучает расследование инспектором Дженкинсом убийства Джона Доу, ближайшего соседа англиканского священника. (Это вполне вымышленная история, но я возьму на себя смелость рассмотреть ее как историю о реальном убийстве.) Исследование достигает высшей точки в открытии, что убийцей был сам священник. В течение ряда лет Джон Доу тайно шантажировал викария, угрожая

¹ *Paul Ricoeur. Time and Narrative. 3 vols. Chicago, 1984–1988. Vol. 1–2. / Trans. Kathleen McLaughlin, David Pellauer; Vol. 3. Trans. Kathleen Blamey, David Pellauer. Chicago, 1984–1988). 1. P. IX; русск. изд.: Рикёр П. Время и нарратив. Т. 1. Интрига и исторический рассказ; Т. 2. Конфигурации в вымышленном рассказе. М.–СПб., 2000.*

² *Collingwood. The Idea of History. Note 1, above. Part V. Epilegomena. Ch. 3. Historical Evidence. P. 249–282. Who Killed John Doe? Дальнейшие сноски даны в круглых скобках; русск. изд.: Коллингвуд Р. Идея истории. §VII: Доказательство в исторической науке. Раздел VII: Кто убил Джона Доу? С. 253–255.*

придать огласке то, чем его жена, теперь уже умершая, занималась до брака. Шантаж Доу поглотил все сбережения викария, и теперь Доу требовал денег, которые по завещанию жена оставила викарию на содержание своей дочери. Когда священник понял, что разоблачен, он принял яд и таким образом избежал виселицы.

Исследование Коллингвудом случая с убийством Джона Доу (которое он расценивает как парадигматическое для исторического исследования вообще) отмечено явным недостатком. Если говорить кратко, Коллингвуд полностью замалчивает ту травму, которая, должно быть, разрушила семейство священника. Ясно, что боль и желание скрыть тайну постоянно главенствовали в семействе. В течение всего времени, которое священник платил шантажисту, он не знал, что человеком, который совратил его жену, и был сам вымогатель. Жена викария, возможно, не знала, что ее муж платил шантажисту в целях ее защиты. Точно так же дочь викария, родившаяся через шесть месяцев после свадьбы ее родителей, не знала, что ее отцом был не священник, а Джон Доу. Коллингвуда просто не интересует то, какие сложные были отношения между викарием и его женой, между викарием и его дочерью, между умершей женой и соседом и т. д. Короче говоря, он пропускает всю культурную историю семейства. Как будто травма и отчаяние, преследовавшие этих людей, не существовали. В действительности, Коллингвуд не рассматривает травму как часть истории, он полностью исключает ее из области истории.

Как известно, Коллингвуд представлял историческое прошлое как нечто, конструируемое историком, который руководствуется правилами исторического исследования. Историческое исследование выдает *единственное* истинное и объективное заключение; на самом деле Коллингвуд заходит так далеко, что заявляет: исторический аргумент убедителен «так же окончательно, как вывод в математи-

ке», и он должен «неизбежно вытекать из свидетельства». Таким же образом для полицейского инспектора есть только одна приемлемая история, объясняющая убийство, и как только он обнаруживает такую историю, он абсолютно уверен в ее истинности. Но историк-детектив способен достигнуть такой уверенности только исключением любого соприкосновения с травмой.

Вторая тенденция в философии истории поддерживает идею непознаваемости прошлого. В работе «История как письмо» Серто настойчиво утверждает, что конфронтация со смертью и с Другим существенно важна для возникновения современной западной историографии; что должен быть разрыв между прошлым и настоящим, чтобы история могла быть написана; и история как дисциплина должна признать, что есть вещи, которые она не может познать, — невосстанавливаемые пробелы и лакуны, иначе, которую она тем не менее стремится себе представить¹. Работы Хейдена Уайта известны намного лучше, чем работы Серто. С точки зрения Уайта, истинная история нерасторжимо связана с возвышенным, т. е. не с тем, что слишком ужасно, чтобы быть познанным. В резком контрасте с Коллингвудом, который утверждал, что историк переигрывает прошлое в своем сознании, Уайт оставляет место в прошлом для того, что слишком страшит, чтобы быть воссозданным. Как выразился Уайт, дезориентирующие попытки «украсить» прошлое лишают историю уровня бессмыслицы, которая одна может помочь живущим людям сделать их жизнь особенной для себя и их детей, кото-

¹ *Michel de Certeau. The Writing of History / Trans. Tom Conley. New York, 1988. [Orig. French ed., 1975]. P. XXV–XXVI, 5, 39, 46–47, 85, 91, 94, 99–102, 218–226, 246–248 and passim.* На русск. языке были опубликованы фрагменты из «Истории как письма»: Сотворение места // Сегодня. 1996. № 165; Искаженный голос // Новое литературное обозрение. 1997. № 28.

рая, нужно сказать, придает их жизни значение, и за которую полностью ответственны только они одни»¹. Для Уайта «историчность сама по себе есть и реальность и тайна», и эта тайна не может быть раскрыта². Другими словами, он предлагает нам исторический ноумен, т. е. концепцию пределов исторического знания.

Можно понимать исторический ноумен множеством различных, хотя и связанных между собой способов. В самом широком смысле, его можно рассматривать как некую зону непостижимости, лежащую за пределами того, что мы способны познать. В этом смысле исторический ноумен составляет принцип историографической скромности. Он родственен скромности Геродота, который часто повторял истории, рассказанные ему его информантами, хотя и не утверждал, что они подлинные³. Близко, хотя и не тождественно, позиции Геродота следующее соображение: понятие исторического ноумена подразумевает, что в таких рассказах, доказательствах, воспоминаниях и т. п. на самом деле скрыта Истина, даже если мы лишены возможности эту Истину познать. Говоря точнее, исторический ноумен может быть понят как область, заполненная: а) тем, что является слишком травмирующим, чтобы быть выраженным в языке; б) тем, что является слишком чуждым, чтобы быть понятым в настоящем; в) тем, что не может быть сконструировано или реконструировано, потому что отсутствует адекватное свидетельство.

¹ *Hayden White. The Politics of Historical Interpretation: Discipline and De-Sublimation // Hayden White. The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical Representation. Baltimore, 1987. P. 58–82, особенно: P. 72.*

² *Hayden White. The Question of Narrative in Contemporary Historical Theory // Ibid. P. 26–57, особенно: P. 53.*

³ *Herodotus. The History / Trans. David Grene. Chicago, 1987. 7.152. P. 521: «Но так то было или иначе, в прение о том я не вхожу»; русск. изд.: Геродот. История. М., 1976.*

Понятие зоны непостижимости помогает осмыслить сложные отношения между памятью и историей, предлагая другой горизонт исследования, который находится одновременно вне и памяти, и истории. Будет ошибкой рассматривать память и историю переходящими друг в друга: ошибка, например, думать о памяти как о сырье истории. Также ошибочно полагать, что история есть просто сумма всех возможных воспоминаний: при всем уважении к Толстому, сражение при Ватерлоо не может быть реконструировано соединением вместе всех воспоминаний об этом событии. Но также будет ошибкой рассматривать историю и память как простые оппозиции. С одной стороны, память, далекая от того, чтобы быть сырьем истории, есть «Другой», который неустанно преследует историю. Память есть образ прошлого, сконструированный субъективностью в настоящем. Она, таким образом, по определению субъективна; она может также быть иррациональной и противоречивой. С другой стороны, история как дисциплина должна быть объективной, унифицированной, упорядоченной, аргументативной. И все же она не может быть всецело такой, поскольку всегда за тем, что известно, сохраняется некий непостижимый остаток, а связь истории с субъективностью неустраима¹.

Заявлением «Бог мертв» модернист Ницше стремился охарактеризовать важный аспект модернизма. Вероятно, Ницше полагал, что модернизму удалось, или ему вскоре удастся, отделиться от «Другого»: веры, откровения, метафизики, трансценденции и чего-нибудь еще, что противостоит разуму. И все же Ницше также высказывал беспокойство (что часто не принимается во внимание), вызванное изгнанием «Другого»: «Как мы успокоим себя, убийцы

¹ Несколькими идеями и формулировками в этом параграфе я обязан М. Гуэнтеру.

всех убийц?»¹ Возможно, отчасти память появилась как ответ на тревогу, вызванную неспособностью проекта модерна, сосредоточенного на поисках нового, адекватно объяснить, почему прошлое все же продолжает постоянно проникать в настоящее.

Рассмотрим, например, отношение дисциплины истории с ее глубокими западными, христианскими, монотеистическими корнями. Ашис Нанди считает, что написанная историками не-западная история «обычно является историей доисторического, примитивного, и до-научного», и она оставляет «только один выбор – внесение аисторического в историю». Цель таких историй, считает Нанди, «ничто иное, как полное обнажение прошлого на основе четко сформулированной структуры референции». Это, конечно, абсолютно коллингвудианская концепция прошлого; как продолжает Нанди, «в восприятии эпохи Просвещения... история и конструирование прошлого представляются полностью равноценными; предполагается, что нет никакого прошлого, независимого от истории»². В этом смысле, коллективная память не-западных людей становится «Другим» истории, исключенным из нее.

Но на самом деле этот «Другой» может быть весьма близок к истории, или, по крайней мере, к историкам. Один из представителей школы «subaltern studies» историков Южной Азии, Дипеш Чакрабартти, показал, каким образом низшие классы участвовали в самом формировании вестернизирующегося среднего класса. Люди из «низших» классов физически присутствовали (как слуги) в семейном

¹ *Friedrich Nietzsche*. The Gay Science. Sect. 125 // in: *Nietzsche*. The Gay Science, with a Prelude in Rhymes and an Appendix of Songs / Trans. Walter Kaufmann. New York, 1974; русск. изд.: *Ничуе Ф.* Веселая наука (la gaya scienza) // Сочинения: В 2-х т. Т. I. М., 1990.

² *Ashis Nandy*. History's Forgotten Doubles // *History and Theory*. Theme Issue. 34. 1995. P. 44–66, at 44, 47–48, 53.

окружении и в пространстве формирования средних классов, и, следовательно, в этом пространстве присутствовали аспекты их культуры. Этот культурный опыт проник, или, по крайней мере, *может* проникнуть, в историографию. Еще детьми многие представители среднего класса Индии слушали рассказываемые слугами волшебные сказки, которые объясняли мир и обеспечивали его понимание. Здесь коллективная память низших классов Южной Азии выступает как «Другой», противоположный истории. Этого «Другого», став взрослыми, могли бы понять южноазиатские историки – и некоторым это удастся¹.

Однако, если память – это «Другой» истории, тогда необходимо также сказать, что история – это «Другой» памяти. Заявления, которые делает память, только *возможно* истинны. Требуя доказательств, история стоит в резкой оппозиции памяти. История напоминает памяти о необходимости свидетельств, получаемых и от очевидцев (*autopsy*), и из материальных источников². Память – область мрака, ей нельзя доверять. Но в то же время нельзя думать, что тогда история – это область света, так как, наряду с относительным светом истории и относительной темнотой памяти, нельзя забывать о существовании обширной области исторической непознаваемости. Это урок, преподанный нам слабой идентичностью, существующей

¹ *Dipesh Chakrabarty. The Rational and the Magical in Subaltern Studies* // Лекция, прочитанная на теоретическом семинаре университета Вирджинии 28 февраля 1997 года.

² О важности *autopsy*, или свидетельства очевидцев, для Геродота см.: *François Hartog. The Mirror of Herodotus: The Representation of the Other in the Writing of History* / Trans. Janet Lloyd. Berkeley, 1988. P. 260–273. Требование дополнять свидетелей и их показания (*Quellen*) материальными остатками (*Überreste*) наиболее ясно было сформулировано Дройзеном, хотя оно восходит к работе: *Хладениус. Allgemeine Geschichtswissenschaft*. 1752; см.: *Johnson. The Historian and Historical Evidence*. P. 122.

в наше время, так как, разрушая представление об единственной авторитетной перспективе, к которой мы можем иметь доступ, неопределенность идентичности также подрывает самонадеянность и истории, и памяти. С одной стороны – самонадеянность безусловности; с другой – самонадеянность подлинности.

Границы истории и памяти, возможно, наиболее ясно проявлены в важном явлении XX века, а именно – в судах над предполагаемыми преступниками, совершившими одобренные государством зверства. Целью этих судов были одновременно истина/правосудие и построение новой коллективной идентичности через формирование коллективной памяти¹. Поразительны необходимость и, одновременно, невозможность заявленного двойного проекта: как это можно сделать? как можно это *не сделать*? Суды и комиссии (в одно и то же время нацеленные и на то, чтобы обнаружить историческую истину, и на то, чтобы восстановить коллективную идентичность) имеют отношение к нашей теме как проявление общих теоретических позиций, которые я попытался артикулировать. Эти позиции могут быть представлены в форме нескольких суждений:

А. Неопределенности в истории, идентичности и памяти взаимны.

В. История и память резко отличны, что, прежде всего, проявляется в радикально различных историях, которые помнят разные люди или группы.

С. Границы между историей и памятью тем не менее не могут быть установлены точно.

Д. В отсутствие единственного, бесспорного авторитета или структуры, напряженность между историей и памятью не может быть снята.

¹ См.: *Mark J. Osiel. Mass Atrocity, Collective Memory and the Law. New Brunswick, N. J.: Transaction Publishers, 1997.*

Во времена «большого нарратива» присутствие Истории подразумевало, что история могла всегда побеждать память: История доминировала над «историями». После краха «большого нарратива» этого больше нет. Таким образом, трудно узнать, может ли когда-либо быть преодолена напряженность отношений между историческим и мнемоническим. Очевидно, что сумма воспоминаний не составляет историю в целом. Так же очевидно, что история *сама по себе* не порождает коллективное сознание, идентичность, и, когда она вовлекается в подобные проекты формирования и продвижения идентичности, результат плачевен. Значит, между историей и памятью остается граница, которую время от времени можно пересечь, но которую никто не может и не должен хотеть устранить. Возможно, в наше время более тревожной тенденцией является желание устранить репрессивную Историю в пользу подлинной памяти. Но правда и правосудие, или их симулякры, остающиеся с нами, требуют, по крайней мере, *призрака* Истории, если они вообще могут хоть что-то требовать от людей. В противном случае останется только то, что считается хорошим (или удовлетворительно плохим) в настоящий момент.

Глава II

НАРРАТИВ И ПОЗНАНИЕ

§ 1. Обладает ли нарратив собственной познавательной ценностью?

Обладает ли нарратив собственной познавательной ценностью? На этот вопрос не легко ответить, по крайней мере как-то определенно. Напрашиваются два ответа, самые простые из всех возможных: «Да» и «Нет».

Да, нарратив имеет свою собственную познавательную ценность. Искомая истина обнаруживается в *форме* нарратива, но не в его специфическом содержании: по словам философа истории Луиса Минка, «познавательная функция нарративной формы... придавать тело ансамблю взаимосвязей... как единому целому». Это «придание тела», полагает Минк, дает возможность познать те вещи, которые иначе были бы нам недоступны. С точки зрения Минка, нарративы «выражают свои собственные концептуальные предположения». Вследствие этого они являются «нашим самым полезным свидетельством для продвижения к пониманию концептуальных предположений, весьма отличных от наших собственных». Например, мы лучше понимаем греческую идею Судьбы через сюжеты греческой трагедии, учитывая, что греческая идея Судьбы «никогда не была явно сформулирована как философская теория и... далеко отстоит от наших собственных предположений о каузальности, ответственности и естественном порядке»¹.

¹ *Louis O. Mink. Narrative Form as a Cognitive Instrument // Mink. Historical Understanding. Ed. Brian Fay, Eugene O. Golob, Richard T. Vann. Ithaca, 1987. P. 182–203, 198, 186.*

Утверждениям Минка можно возразить: например, как мы можем узнать из любого отдельно взятого нарратива, что «концептуальные предположения», которые мы различаем в тексте, на самом деле поддерживались людьми в эмпирической реальности, существующей вне текста? В действительности, сам по себе нарратив не может обеспечить это знание. Но нарративное «придание тела» взаимосвязям и «выражение» их концептуальных предположений тем не менее должны быть приняты как истинные в том смысле, что, даже если единственное свидетельство некоторого рода обязательства перед этими предположениями содержится в одном, и только в одном нарративе, мы должны признать эти отношения и предположения как *возможные* способы придания смысла миру. Другими словами, нарратив делает нам доступным образ мира, который должен быть подтвержден именно *как* образ мира, потому что он содержится в нарративе. На основании существования нарратива мы знаем, что образ или образы мира, которые он воплощает, также существуют.

Но истинен также и противоположный ответ. *Нет*, нарратив не имеет собственной познавательной ценности. Истина нарратива всегда должна быть подтверждена свидетельством, внешним по отношению к нему. Правдоподобие нарратива – который мы можем концептуализировать как (а) сумму его связности в качестве рассказа и (б) его непротиворечивости миру, расположенному вне этого рассказа, – не гарантирует его истинность. Другими словами, рассказ, который является «хорошим рассказом» и в явной форме не противоречащим тому, что мы в данный момент знаем о реальном мире, самым тривиальным образом может быть неистинным. Ответ «нет», т. е. утверждение, что нарратив не имеет познавательной ценности, мог бы, вероятно, быть предпочтен опытным и разуверившимся во всем судьей, который снова и снова слышит доказательства, оказывающиеся, на поверку, ложными, и который, вслед-

ствие этого, отказывается верить рассказу только на том основании, что этот рассказ внутренне последователен и не противоречит тем нашим знаниям о мире, какие мы имеем в данный момент. Из своего богатого опыта судья знает: при ближайшем рассмотрении можно обнаружить, что такие рассказы ложны.

Ответ «нет», с его скептическим отношением к красивым иллюзиям нарратива, является ответом более прозаическим. Он также и менее интересен. Не случайно до сих пор для большинства историков это был наиболее убедительный ответ. Нет, нарратив не несет свою собственную истину, не имеет ее собственного стандарта или критерия. Ответ «Нет» является для историков более приемлемым потому, что это ответ, который обращает внимание на конкретные особенности, а именно – на определенные факты и контексты, к которым историки, профессионально занимающиеся своим делом, проявляют наиболее пристальное внимание. Ответ «да» менее приемлем, потому что форма нарратива, в которой располагается его предполагаемая познавательная ценность, соединяется с сущностями, в отношении которых историки настроены не столь позитивно из-за общего эмпирического уклона их дисциплины. «Форма» нарратива более связана с тотальностями, чем с партикулярностями: она связана со взглядами или перспективами. Эти перспективы часто не замечаются теми, кто их принимает; они имеют, скорее, статус бессознательных предпосылок, чем сознательных допущений. Это тем более так, когда речь идет о рассмотрении исследователя и того контекста, из которого он или она вышли, поскольку именно интерпретативная перспектива исследователя часто выпадает из исследования.

Таким образом, кажется очевидным, что оба ответа на вопрос «Имеет ли нарратив свою собственную познавательную ценность?» являются правильными. Также кажется очевидным и то, что отношения между ответами «Да» и

«Нет» не симметричны, поскольку эти ответы занимают разные концептуальные территории. Чтобы сказать, что нарратив имеет собственную познавательную ценность, скорее нужно вызвать в памяти общее... а не отдельное. Чтобы твердо придерживаться ответа «Да», необходимо, таким образом, понимать историописание, прежде всего, как имеющее целью подтвердить или изменить способы людей видеть мир и действовать в нем. Наоборот, чтобы твердо придерживаться ответа «Нет», необходимо понимать историописание как, прежде всего, нацеленное на предложение специфических, обоснованных дескрипций и объяснений прошлой действительности, не подтверждая и не изменяя «структуру исторического сознания» людей, если воспользоваться выражением Минка¹.

В данной главе предлагается разработка и критика ответа «Да». Роль историописания в конфигурировании наших способов видения мира и жизни в нем действительно существенна (то, что подпадает под это понятие в главе II, §2 я называю «интерпретацией»). Ответ «Да» включает в себе тот несомненный факт, что историописание связано со временем историка и его или ее читателей, также как и со временем, которое историк исследует. Ответ «Нет» содержит признание того, что историк обязан формулировать дескриптивные и объяснительные утверждения, которые являются истинными *в отношении прошлого*. Но эти утверждения расположены в пределах интерпретирующей структуры, связанной с настоящим. Таким образом, ответ «Да» истинен в более *широком* смысле. Однако, сказав это, я также должен обратить внимание на то, что ответ «Да» не только отдает дань нарративу, но и приглашает к его критике. Поэтому, я рассмотрю здесь эпистемологические ограничения нарратива. Нарратив *qua*- нарратив обладает

¹ *Louis O. Mink. On the Writing and Rewriting of History // Mink. Historical Understanding. P. 89–105.*

притягательной силой, которая имеет тенденцию увлекать за собой слушателя и читателя в сам ход повествования. В когнитивной сфере эта сила нарратива проблематизируется. Люди могут рассказывать истории по разным причинам, но все истории связаны с задачей обнаружения исторической истины. Ввиду того эстетического факта, что нарратив *qua*- нарратив должен давать нам удовлетворение, неправдам и самообманам в нем легко придается приятная форма. Увлекательная форма нарратива имеет тенденцию придавать ему познавательный вес, которого он не заслуживает.

Начиная с публикации в 1973 году книги «Метаистория», имя Хейдена Уайта было в центре многих дискуссий среди философов истории¹. Я не буду здесь вступать в дебаты по поводу некоторых специфических утверждений Уайта, которые относятся к сближению истории с вымыслом. Скорее, я заинтересован самим *фактом* такой дискуссии, поскольку широкий (хотя и полемический) отклик, который работа Уайта получила среди лиц, интересующихся теоретическими проблемами историографии, сам по себе показателен. Это указывает на впечатляющее признание мощи нарратива (и связанных с ним литературных форм), а также признание того, что существуют нерешенные теоретические вопросы, которые из этого и возникают.

Нужно лучше разобраться в характере и значении этой непреодолимой силы. Отчасти нарратив имеет *эстетическую* силу, поскольку связывает события между собой в некие паттерны, которые люди находят интересными и увлекательными. Нарратив имеет также и *культурную* силу.

¹ *Hayden White. Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. Baltimore, 1973; русск. изд.: Уайт Х. Метаистория. Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург, 2002.* Эва Доманска показала влияние идей Уайта на историческую дисциплину в целом в собрании интервью с известными историками историографии и философами истории (*Ewa Domanska, ed. Encounters: Philosophy of History after Postmodernism. Charlottesville, VA, 1998*).

Так, нарратив оценивается по тому способу, которым он передает, облекая в специфические и яркие образы, некоторые важные аспекты нашего совместного бытия в рамках общественного порядка. По этой причине в последние тридцать лет, или около того, так много голосов было поднято в пользу ре-нарративизации многих областей исследования для придания им нравственной цели, здравого смысла, маргинальных голосов, независимой рациональности, демократических идеалов и пр.¹ Кроме того, нужно обратить внимание на то, что нарратив также способен доставить и вызвать своего рода *интеллектуальное удовлетворение*. Когда озадачивающие события «падают на место», становясь частью связной истории, недоумение исчезает. И наоборот: если мы, как исследователи и как агенты действия в этом мире, обнаружим свою неспособность распознать нарративную структуру, которая «придала бы смысл» рассматриваемому явлению, мы, наверное, ощутим прямо противоположное чувство – некоторую интеллектуальную *неудовлетворенность*.

Все эти соображения заслуживают дальнейшего рассмотрения. Но фокус внимания будет сходиться на двух вопросах: на так называемом «кризисе нарратива» и на эпистемологических границах нарратива.

* * *

Под «нарративом» я здесь подразумеваю сообщение, которое организовано хронологически и имеет распознаваемые начало, середину и конец (в главе II, §2 я предлагаю несколько другое определение нарратива). Это классическое определение обманчиво просто, и поэтому здесь

¹ Попытку более тщательно и точно описать и оценить так называемую «нарративную парадигму» см. в книге: *Walter R. Fisher. Human Communication as Narration: Toward a Philosophy of Reason, Value and Action*. Columbia, SC, 1987; особенно ч. II и III.

необходимы два пояснения. Во-первых, вопрос о хронологическом порядке. Как учат нас структуралистские теории нарратива, на самом деле события нарратива не рассказываются в строгом хронологическом порядке: напротив, на уровне изложения рассказа (уровень «дискурса», как называют это структуралистские теории нарратива) разрешены всякие виды возвращений назад и забегающих вперед. Важный момент, однако, состоит в том, что за уровнем «дискурса» читатель *может* различить хронологически организованный «рассказ»¹.

Во-вторых, поскольку нарратив не следует за строгим хронологическим порядком, а фактически в большей или меньшей степени всегда отклоняется от этого порядка, именно потому необходимо обратить внимание и на недостаточность или расхождение в категориях начала, середины и конца. Например, очевидно, что начало, середина и конец никогда в тексте полностью не представлены. Следовательно, это требование состоит не в том, что все эти категории должны присутствовать, а в том, чтобы нарратив мог существовать. Идея, на самом деле, заключается в том, что (присутствуют они или нет) каждая из этих трех категорий может *проектироваться* от того, что наличествует в тексте. Соответственно, усеченный или фрагментированный нарратив, т. е. сообщение, в котором одна или более из этих трех категорий потеряны, может быть тем не менее все еще расцененным как нарратив.

Начиная уже с 1930-х годов, некоторые комментаторы предположили, что нарратив устарел и даже находится

¹ Дистинкция рассказ/дискурс является канонической в структуралистской нарративной теории. Как ее известный пример см.: *Boris Tomashevsky. Thématique // Théorie de la littérature / Ed. and trans. Tzvetan Todorov. Paris, 1965. P. 263–307; Seymour Chatman. Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film. Ithaca, New York, 1978.* [Работа Чатмана, возможно, является наиболее доступной и полезной для большинства историков.]

в кризисе. Считалось, что нарративу угрожают обстоятельства современной жизни; а также отмечалось, что нарратив расположен ниже уровня подлинно научного знания. Подробно рассматривать вопрос о предполагаемом кризисе нарратива – вне возможностей данной книги, но несколько комментариев должны быть сделаны, т. к. предполагаемый кризис нарратива безусловно релевантен эпистемологическим вопросам свидетельства и истинности¹.

Разумно начать с обсуждения предполагаемого кризиса «большого нарратива» (*grand récit*). «Большой нарратив» является сообщением, которое полагает себя наиболее авторитетным сообщением истории вообще; к этому понятию можно добавить близкое ему понятие «мастер-нарратив» – сообщение, которое претендует на авторитетную передачу некоторого отдельного сегмента истории, скажем – истории нации. Известно, что Жан-Франсуа Лиотар в работе «Состояние постмодерна» (1979) подчеркивал, что мы являемся поколением «скептицизма» по отношению к «большому нарративу». Под этим он имел в виду то, что культурная власть универсальной истории человечества, которую в какой-то момент более или менее явно приняли люди Запада, глубоко поколеблена. В XIX столетии было еще легко верить в то, что существует всеобщая история человечества, которая обладает свободой, культивированием смысла (*Bildung*) или некоторой комбинацией этих двух понятий, как ее *telos*; к концу XX века сохранять эту веру было гораздо труднее².

¹ Краткий обзор литературоведческого исследования ценности нарратива см.: *Richard Kearney. The Crisis of Narrative in Contemporary Culture // Metaphilosophy. № 28. 1997. P. 183–195.*

² *Jean-François Lyotard. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge / Trans. Geoff Bennington, Brian Massumi. Minneapolis, 1984. P. XXIII–XXIV; русск. изд.: Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М, 1998. Я буду обсуждать проблему «большого нарратива» в главе III.*

Но заметьте, что как бы ни был третируем «большой нарратив», это не означает, что нарратив *tout court* подвергается сомнению. На самом деле, может быть и хорошо, что в отсутствии «мастер-нарратива» или «большого» нарратива, который придавал бы смысл нашей нации или человечеству в целом, люди все более обращаются к «малым нарративам» (*petits récit*), для того чтобы придать смысл их собственным индивидуальным обстоятельствам¹. Возможно, наличие «большого» или «мастер-нарратива» фактически до некоторой степени освобождает людей от потребности рассказывать их собственные ситуации. Например, взяв христианскую историю спасения как путеводитель их жизней, индивидуумы или их группы могут не испытывать вынуждающей потребности придумывать и распространять свои собственные жизненные истории. И вполне правомерно предположить, что в отсутствие «большого» или «мастер-нарративов» люди обращаются к «нарративизации» собственных обстоятельств, т. е. изобретают истории своей жизни как средства придания смысла тому, кем они являются. Другими словами, я утверждаю, что вопрос о том, принимается ли какой-либо отдельный нарратив в целом как главенствующий, не имеет никакой необходимой связи с вопросом о том, находится ли в кризисе нарратив вообще. Гибридность и разнообразие какой-либо культуры может отвергать «большой нарратив», в то время как

¹ Пьер Нора указал на этот же момент в отношении памяти (экзистенциальный феномен, близко относящийся к литературному феномену нарратива): «Чем меньше память переживается коллективно, тем больше она нуждается в специальных людях, которые сами превращают себя в людей-память. Это как внутренний голос, который говорит корсиканцу “Ты должен быть корсиканцем!” и “Нужно быть бретонцем бретонцу”» (*Nora. General Introduction: Between Memory and History // Realms of Memory. Ed. Pierre Nora. 3 vols. New York, 1996. Vol. 1. P. 1–20, особенно: P. 11; русск. изд.: П. Нора. Франция–Память. СПб., 1999. С. 34–35.*

нарратив сам по себе, в форме множества *petits récits*, процветает.

Или же можно утверждать, что всякий нарратив, а не только большой, находится в кризисе. Отчасти это был аргумент Лиотара в «Состоянии постмодерна», где он описывает движение от ситуации, в которой тот или иной нарратив легитимизирует общество и его различные учреждения к ситуации, в которой сам «принцип перформативности» (другими словами – оптимизация работы системы) есть то, что придает ей легитимность¹. Посмотрев на литературу в целом, можно обнаружить, что в ней были рассмотрены как практические, так и теоретические опасности для нарратива. Считалось, что на практическом уровне ему угрожали взаимосвязанные реальности технологии и бюрократии. Один из тех авторов, кто считал, что технология угрожает нарративу, был Вальтер Беньямин. В работе «Storyteller» (1936) он предположил, что трансляция наследуемых историй, мифов, легенд и т. п. внутри сообществ заменяется более анонимной и мгновенной передачей информации. В том же самом году в работе «Произведение искусства в эпоху механического воспроизводства» он утверждал, что механическая воспроизводимость выводит художественные работы из «области традиции», в границах которой они существовали прежде². Компьютерные базы данных часто рассматриваются как наличие именно такого вида бесконечной воспроизводимости; и проблема также

¹ Lyotard. The Postmodern Condition. P. 46–47, 67; Лиотар. Состояние постмодерна. С. 26, 76, 78, 87–88, 100.

² Walter Benjamin. The Storyteller: Reflections on the Work of Nicolai Leskov; The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction // Benjamin. Illuminations / Ed. Hannah Arendt. New York, 1969. P. 83–109, 217–251.

усугубляется полнотой сохраненной информации, объемом которой столь велик, что трудно вообразить, как можно было бы эту информацию преобразовать в связную форму нарратива¹.

Что касается бюрократии, то ее приверженность универсально применяемым процедурным правилам имеет тенденцию к департикуляризации, делая irrelevantными ее или его попытки предложить обоснование ее (его) требования через пересказ ее (его) собственной истории. «Процесс» Кафки блестяще иллюстрирует этот момент: невозможно лучше, чем это сделано в «Процессе», дать понять, что история Йозефа К. не имеет отношения к его судьбе (нужно, конечно, понимать, что «суд» в «Процессе», фактически является карикатурой бюрократического судопроизводства, а не судом, каким он традиционно понимается в англо-американской судебной системе). Любой из тех, кто вынужден был иметь дело с огромными и дистанцированными от себя правительственными агентствами, уловит этот антинарративистский импульс, поскольку детерминирующим фактором господства деперсонализирующей бюрократии является редуцирование индивидуума к специфической бюрократической категории. Например, если индивидуум – иностранный профессор, для которого американский университет хочет получить «зеленую карту», то университет должен обязательно доказать, что профессор соответствует категории «выдающиеся профессора и исследователи». В тех случаях, когда история индивидуума не может быть рассказана так, чтобы обслужить цели его или ее классификации, то эта история становится irrelevantной. Про американскую бюрократию говорят, что

¹ Хотя предмет его исследования память, а не нарратив, Нора также близко подошел к такому предположению, обсуждая «архивную память» в: *Between Memory and History*. Разд. 8–11; русск. изд.: *П. Нора. Франция–Память*. СПб., 1999.

«правительственные служащие редко читают до второй страницы»¹. Сжатие чтения до такой степени делает экспозицию нарратива затруднительной².

Что касается теоретической атаки на нарратив, то она проявляется в двух противоположных формах. Одна из них исходит от позитивизма. Здесь акцент на потребности в универсальных законах и теориях и на их важности ведет к декларированию отказа от нарратива. Эта сциентистская форма антинарративизма была ясно сформулирована логическими эмпиристами. Хотя как философская позиция он уже давно мертв, логический эмпиризм значительно повлиял на методологию социальных наук, и его утверждение о том, что только законы и теории являются подлинно научными, даже сегодня продолжает господствовать в обширных областях социальных наук. Основное требование заключается в том, что наука должна говорить на языке закона и теории, а не на языке нарратива. Можно вспомнить в этой связи пример, приведенный Карлом Гемпелем, о попытке завести автомобильный радиатор в холодную ночь, к которому я обращаюсь в главе II, §2: пример решительно не хронологический; вместо этого он состоит из ут-

¹ См.: Письмо А. Мегиллу от директора отдела международного сотрудничества одного из университетов США, датированное 3 февраля 1998 года, с просьбой дать рекомендательное письмо, поддерживающее обращение за визой профессора У.

² Кроме Кафки, классическим автором работ о бюрократии остается Макс Вебер. Более специальные и современные работы см.: *Theodore M. Porter. Trust in Numbers: The Pursuit of Objectivity in Science and Public Life. Princeton, 1995.* Портер описал в мельчайших деталях работу «механической» объективности, которая стремится создавать однородные категории, в терминах которых затем классифицируются специфические явления. Характерное устройство этой статистической ориентации – анкетный опрос или собеседование, которое, по его мнению, имеет не много общего с нарративом.

верждений о начальных и пограничных условиях, объединенных с утверждениями эмпирических законов¹.

Вторая форма теоретической атаки на нарратив исходит из абсолютно других позиций. В этой второй форме, *непрерывность* нарратива рассмотрена как недостаток, поскольку, как говорят, изображая некую вещь как непрерывно существующую в течение какого-то времени, нарратив подтверждает власть этой вещи. Короче, здесь нарратив отрицается на том основании, что он якобы служит для того, чтобы оправдать свой главный предмет. Аргумент в некотором роде существенно ницшеанский, резонирующий к утверждению Ницше, высказанному в работе «Человеческое, слишком человеческое» (1878), что «вся телеология построена на том, что о человеке последних четырех тысячелетий говорят как о *вечном* человеке, к которому все вещи в мире изначально имеют естественное отношение»². Но Ницше никогда не возводил дисконтинуитет в эксплицитный принцип. Это произошло только в XX столетии — наиболее известным образом у Фуко, чья «Археология знания» (1969) презентуется, между прочим, как попытка сформулировать «общую теорию дисконтинуитета», чтобы выступить против «континуальной истории», что «принимается в качестве основы обновления основ»³. Нужно так-

¹ См.: *Carl G. Hempel. The Function of General Laws in History // Theories of History. Ed. Patrick Gardiner. New York, 1959. P. 344–355, at 346.* Впервые статья напечатана в: *Journal of Philosophy. Vol. 39. 1942. P. 35–48; русск. изд.: Гемпель К. Функция общих законов в истории // Логика объяснения. М., 1998. С. 17.*

² *Friedrich Nietzsche. Human, All-Too-Human: A Book for Free Spirits / Trans. R. J. Hollingdale. Cambridge, 1996. Vol. 1.1. Of First and Last Things. § 2. P. 13; русск. изд.: Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое. Книга для свободных умов. Отд. 1: О первых и последних вещах // Сочинения: В 2-х т. Т. 1. М., 1990. С. 240.*

³ *Michel Foucault. The Archaeology of Knowledge / Trans. A. M. Sheridan Smith. New York, 1972. P. 12; русск. изд.: М. Фуко. Археология знания. М., 2004. Введение. С. 3.*

же обратить внимание на то, что Вальтер Беньямин в его «Тезисах по философии истории» (1940) настаивал, что историки должны «[прекратить] передавать последовательность событий, подобно бусинкам четок»¹. Необходимо сказать, однако, что сжатая и лапидарная формулировка Бенямина едва ли является четким утверждением аргумента против континуальности.

Таким образом, можно обнаружить множество атак (или предполагаемых атак) на нарратив. На практическом уровне нарратив рассматривается в качестве жертвы технологии и бюрократии; на теоретическом уровне он – объект нападения сторонников универсального научного метода и антиисторицистов. Все же ни технологические, ни бюрократические, ни сциентистские атаки, ни нападки антиисторицистов не угрожают нарративу так сильно, как это кажется на первый взгляд. Напротив, нарратив снова и снова возвращается, вновь появляясь даже в тех ситуациях, где, казалось бы, он подвергается наиболее жестким атакам. Рассуждая логически и доверяя несколько разрозненным и случайным свидетельствам – для детального изучения здесь нет возможности – можно сделать некоторые предположения о характере этого возвращения.

Рассмотрим сначала предполагаемые выпады против нарратива, которые исходят из практического уровня. Очевидно, что в технологическом отношении мы живем, как предположил Лиотар более поколения назад, в «компьютеризированных обществах»². Так же верно и то, что цифровая технология чаще всего проявляет себя не нарративным способом. Например, компьютеризированная информация базы данных не организована нарративно. Точно так же

¹ Benjamin. Theses: Thesis XVIII.A // Illuminations. P. 263.

² Lyotard. The Postmodern Condition. P. 3. (*Луотар*. Условия постмодерна. С. 14.)

Сеть делает информацию доступной благодаря обширному множеству сингулярных ответвлений и дорожек ответвлений: здесь нет никакой единственной линии, а линии, которые существуют, в любом случае не организуются хронологически. Все же поражает то, до какой степени люди склонны *конструировать* нарративы из рассеянных фрагментов информации. Сеть содержит бесчисленные персональные страницы (homepages): наиболее продуманные из них часто включают нарративы, которые люди построили на основе своих жизней. Сеть также оказалась матрицей, на которой были построены теории заговора; например, предполагаемый заговор с целью скрыть тот возможный факт, что самолет рейса № 800 Trans World Airlines из Нью-Йорка в Париж 17 июля 1996 года был сбит ракетой, предположительно запущенной с корабля военно-морского флота Соединенных Штатов¹. Теория заговора, конечно, не является ничем иным, как хорошо организованным нарративом. Точно так же люди, сталкивающиеся с бюрократическим порядком современного государства, обычно сообщают истории о себе в попытке представить себя соответствующими такой-то бюрократической категории. Нарративизация кажется нормальным человеческим ответом одновременно на сложность и на затруднения, реакцией на бюрократическую тенденцию к упрощению.

Что касается теоретических нападков на нарратив, то ни scientisticкая, ни антиисторицистская версия не оппозиционны нарративу так, как это кажется на первый взгляд. В каждом случае предполагаемые антинарративы легко

¹ Поиск по Google® от 10 июня 2004 года (на: «Рейс № 800 Trans World Airlines» и «потерпел крушение») дал 370 попаданий. В данном контексте автор остается неуверенным в том, какой из этих различных нарративов является истинным. Официальное заявление состоит в том, что рейс № 800 потерпел аварию из-за возникновения искры в главном топливном баке.

могут быть сконструированы как нарративы, для этого требуется не более чем поворот калейдоскопа. Например, Гемпель предлагает отчет о том, что привело к отказу радиатора, через ряд сингулярных утверждений, типа: «автомобиль был оставлен на улице на всю ночь», и через другую серию общих утверждений, например, «Ниже 32-х градусов по Фаренгейту, при нормальном атмосферном давлении, вода замерзает». Но, хотя на уровне дискурса рассуждения Гемпеля, конечно, не являются нарративом, читатели могут легко выстроить эти утверждения *как* нарратив, различая за дискурсом историю. Фактически это читатели и делают. То же самое с антиконтинуалистскими выпадами против нарратива. Рассмотрим соображения Фуко в работе «Слова и вещи» (1966) о последовательности *epistemes*, или систем мысли на Западе: возрожденческая, «классическая», модернистская, или «гуманистическая» и постгуманистическая. Широко известны утверждения Фуко о том, что движение от одной *episteme* к следующей имеет характер радикальной и необъяснимой «мутации»¹. Коротче говоря, Фуко отрицает, что имеет место континуальность нарратива в этой последовательности *epistemes*, но читатели тем не менее строят некий нарратив, который больше подчеркивает дисконтинуальность, чем континуальность.

Итак, нарратив всегда возвращается, даже когда он подвергается наиболее серьезным атакам. Повторное возвращение нарратива позволяет предположить наличие у него особой силы в качестве способа организации нашего восприятия мира. Вероятно, люди устроены таким образом, что, ориентируя себя в мире, они снова и снова прибегают

¹ *Michel Foucault. The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences / Trans. anon. New York, 1970. P. XXII–XXIII, 42–43, 250–253, 386–387; русск. изд.: М. Фуко. Слова и вещи: археология гуманитарных наук. М., 1977.*

к нарративу. Это – тот пункт, с которым соглашаются многие видные теоретики нарратива. Например, Ролан Барт в его влиятельнейшей работе «Введение в структурный анализ нарратива» заявил, что нарратив является «интенциональным, трансгисторическим, транскультурным: он просто здесь, подобно самой жизни». Хотя и во многом отличаясь от Барта, Поль Рикёр в работе «Время и нарратив» формулирует почти то же соображение: «В сочиняемых нами интригах я вижу особый способ, посредством которого мы ре-конфигурируем наш смутный, неоформленный и в известной мере бессловесный временной опыт»¹. «Рассказывание историй есть наиболее вездесущее из всех человеческих действий», – замечает Л. Минк. В свою очередь, У. Гэлли подчеркивает «прослеживание» («followability») историй и видит у людей наличие естественного желания двигаться в унисон с историями, которые рассказывают. Наконец, Хейден Уайт справедливо указывает, что «поднять вопрос о характере нарратива – значит, осмыслить сам характер культуры», так как импульс к наррации настолько «естествен», что «нарративность может казаться проблематичной только в той культуре, в которой она отсутствовала». Следовательно, заявляет он, «нарратив и наррация – это скорее данности, чем проблемы»².

¹ Roland Barthes. Introduction to the Structural Analysis of Narratives // in: Barthes. Image, Music, Text. New York, 1977. P. 79–124, особенно: P. 79; русск. изд.: Р. Барт. Введение в структурный анализ повествовательных текстов // французская семиотика. От структурализма к постструктурализму. М., 2000. Paul Ricoeur. Time and Narrative. 3 vols. Chicago, 1984–1988; vol. 1 & 2. Trans. Kathleen McLaughlin, David Pellauer; vol. 3. Trans. Kathleen Blamey, David Pellauer. I. P. XI; русск. изд.: Рикёр П. Время и рассказ: В 2-х т. СПб., 2000. Т. 1. С. 9; Minck. Narrative Form as a Cognitive Instrument. P. 186; W. B. Gallie. Philosophy and the Historical Understanding // 2d ed. New York, 1968. особенно: Chap. 2. What is a Story? P. 22–50.

² Hayden White. The Value of Narrativity in the Representation of Reality // White. The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical Representation. Baltimore, 1987. P. 1–25, at 1.

Наше открытие здесь кризиса нарратива, оказавшегося и не кризисом вовсе, подчеркивает один момент, который акцентируют указанные теоретики нарратива, а именно то, что люди находят истории глубоко привлекательными. Из всех теоретиков наименее подозрителен к полномочиям нарратива Рикёр. Хотя иногда среди его обширных комментариев других авторов трудно выявить его собственную позицию, Рикёр дает весьма положительную оценку нарративу: можно было бы даже сказать, что он мифологизирует нарратив. Но другие, указанные выше исследователи, высказывают некоторый скептицизм в отношении нарратива. По Гэлли, «followability» в любом смысле не производит истину. Согласно Минку, совершенно ясно, что нарратив выходит за пределы того, что могут дать свидетельства о конкретных событиях. И Уайт, хотя он вообще не рассматривается как эпистемологически ориентированный автор, решительно предположил, что мы *накладываем* нарратив на мир. Однако нет никакой необходимости принимать позицию, за которую, как иногда кажется, выступает Уайт (а именно – что мир людей в основе своей хаотичен), чтобы разделять осторожное отношение к истине нарратива, которое санкционирует позиция Уайта.

* * *

Вездесущность нарратива – его сверхъестественная способность возрождаться после обрастаемой слухами смерти, его эстетическая и убедительная сила как способ придания смысла миру – опять возвращает нас к центральной проблеме этого эссе: имеет ли нарратив свою собственную познавательную ценность? Вездесущность нарратива возвращает нас к этому вопросу, подчеркивая его важность. Как я говорил, на этот вопрос можно отвечать и «Да» и «Нет»: на эмпирическом уровне – «Нет»; на уровне интерпретативных целостностей или тотальностей – «Да».

Т. к. нарратив воплощает представление о мире – или способ нахождения в мире, т. е. если мир не существовал ранее того, как стал представлен в нарративе, – то он обретет существование на основании этого нарратива.

Почему же нарратив постоянно возвращается, даже когда от него почти программно отказываются? Почему нарратив «естествен» для людей? Ответ кажется ясным: нарратив глубоко связан с теми процессами, с помощью которых индивидуумы и их группы придают смысл самим себе и даже определяют себя. Когда мы говорим о таком самоопределении, то немедленно в игру вступает нечто, что тесно связано с нарративом и что обычно проявляет себя в форме нарратива, а именно память. В этих обстоятельствах, вопрос об отношении нарратива к истине сам по себе трансформируется в вопрос об отношении памяти к истине. Мы можем думать о такой истине, как об истине, связанной, прежде всего, с идентичностью; об истине, которая будет иногда совпадать, а иногда расходиться с другим видом истины, о которой мы можем думать как об относящейся к миру или как об интерсубъективной истине.

В ситуациях, когда сообщение о прошлом, предложенное памятью, не оспаривается каким-либо иным сообщением и когда у нас нет никакой особой причины сомневаться в воспоминаниях, мы обычно принимаем истину, сформулированную на основе памяти. В таких обстоятельствах мы можем более или менее идентифицировать память с (правдивой) историей; но мы, к сожалению, рассуждаем о дефиците памяти (*Defizit an Gedächtnis*), тогда как на самом деле имеем в виду дефицит истории (*Defizit an Geschichte*)¹. Но поразительно, до какой степени в нали-

¹ *Paul Ricoeur. Gedächtnis–Vergessen–Geschichte // Historische Sinnbildung: Problemstellungen, Zeitkonzepte, Wahrnehmungshorizonte, Darstellungsstrategien. Ed. Klaus E. Müller, Jörn Rüsen. Reinbek bei Hamburg, 1997. P. 433–454.*

чествоющий исторический момент воспоминания конфликтуют друг с другом. Таким же образом, как основательность какой-то области экспертизы становится сомнительной в тот момент, когда ее представители противостоят друг другу в зале суда, – так же подвергается сомнению и основательность памяти, когда различные воспоминания вступают друг с другом в противоречие. Это приводит к тому, что истина нарративов, в которых рассказаны эти воспоминания, также ставится под вопрос.

Или, иначе говоря, оказывается, что истина, относящаяся к миру, ставит под сомнение истину, относящуюся к идентичности.

Чего мы должны избежать – так это романтизации памяти, которая ведет к романтизации истины, связанной с идентичностью. Заманчиво принять за истину нарративы, которые производятся из памяти. На самом деле, там, где сознание рационально и сосредоточено, расхождения между рассказом о мире, который это сознание нарративно вспоминает, и конструированием истории из «следов» и «источников» могут быть небольшими. Но сознание не всегда рационально и сосредоточено, а когда самые глубокие желания индивидуумов или их групп связаны со специфическим образом прошлого, вопрос становится куда более сложным. Сегодня в некоторых ситуациях память рассматривается как подтверждение, оправдание и, возможно, даже основание идентичности, безотносительно к тому, какую идентичность кто-то принял как собственную. Там, где память полагается как основание идентичности, вероятнее всего существует глубокая приверженность к тому виду нарратива, который память сообщает, и, соответственно, глубокая враждебность к противостоящим нарративам.

Можно было бы полностью говорить на языке памяти и забвения. Так, *можно было бы* говорить об объединенном

Defizit an Gedächtnis и *Übermaß an Vergessen*, преобладающим, скажем, в Германии, или на Балканах, или в других регионах в некоторое (весьма недавнее) время их истории. Но мое заключение – и это ницшеанская позиция – состоит в том, что память и забвение слишком тесно связаны друг с другом и потому стали нераздельны, что каждое запоминание является также способом забвения, а любое забвение есть способ запоминания.

Таким образом, хотя я бы сказал, что оппозиция между памятью и забвением действительно имеет основания и полезна, взаимопроникновение этих двух категорий означает, что гораздо больше смысла говорить о принятии или отклонении определенных нарративов, каждый из которых представляет собой самостоятельную связку воспоминаний и забвений. Вопрос тогда принимает следующую форму: какими критериями нужно пользоваться при решении вопроса о том, принимать ли, отклонять ли, или частично принимать и частично отклонять рассматриваемые нарративы?

Совершенно ясно одно – такие критерии *должны* быть эпистемологическими и они *должны* располагаться вне структуры самого нарратива. Мы обязаны сомневаться в истинности некоторых утверждений о фактах, которые вовлекаются в нарратив, особенно в ситуациях, в которых такие нарративы играют важную роль в утверждении идентичности. Это не отрицает того, что нарратив может иметь *эвристическую* ценность для историка. Использование нарратива в своем исследовании – общее место для историков. Историк предпринимает «предварительное» конструирование гипотетического нарратива (или нарративов) в качестве попытки «охватить» исследуемую историческую реальность, чтобы лучше понять ее. Конструируя такие

нарративы, историки получают более ясное представление о пробелах, остающихся в их исследованиях, и таким образом процесс исследования продвигается вперед. Но, возможно, еще более важно то, что историк может таким способом увидеть, какие именно аспекты его или ее темы вообще *не нуждаются* в исследовании (*ограничение* исследования обязательно, для того чтобы любое исследование вообще могло быть закончено). Но пока различия между конкурирующими сообщениями не будут исследованы и обсуждены, не стоит делать заявления об истинности рассматриваемых нарративов.

* * *

Чрезвычайные случаи часто выдвигают на первый план проблемы, которые трудно различимы или даже невидимы в «обычных» ситуациях. Коротко говоря, крайность имеет эвристическую ценность, как и сам нарратив. Рассмотрим несколько экстремальных случаев и обсудим, каким образом некоторые авторы отреагировали на них.

Пример № 1. Когда я был студентом в Саскачеване, Канада (прозаически нормальная страна), я один год жил в частном доме, в котором две спальни снимали студенты. Хозяйка дома, которая была одержима идеей о необходимости держать дом закрытым на ключ, рассказала мне интересную историю. Она утверждала, что в Саскачеване орудует банда воров со специфическим *modus operandi*. Воры крали фрагменты собственности и ловко заменяли их другими идентичными объектами, но меньшей ценности (можно написать целый трактат о метафизике воровства). Моя домовладелица информировала меня, что банда украла разные вещи в ее доме, *включая ванну*. По моим сведениям, никто в Саскачеване не был уверен в существовании этой банды воров, и о ней никогда не писали в местной газете. Сомневаясь в существовании такой банды, я попытался убедить свою домовладелицу, что она неправа и что, в частности, ванна в ее доме была несо-

менно та самая, которая стояла в доме с момента его постройки много лет назад. Мои усилия не увенчались успехом¹.

Пример № 2. В одном широко известном случае, который был описан литературным критиком Тэрри Кастл, две английские ученые дамы, Шарлотта Энн Моберли и Элеонор Джордан, заявили, что видели появление Марии Антуанетты и нескольких ее придворных в садах Малого Трианона около Версаля 10 августа 1901 года. В любопытных деталях профессор Кастл рассказывает и анализирует их историю. Больше всего поражает в сообщении Кастл та легкость, с которой Моберли и Джордан нашли детали, подтверждающие их заявления о том, что они видели последнюю французскую королеву².

Пример № 3. В начале 1990-х годов профессор психиатрии Медицинской школы в Гарварде Джон Мак много работал почти с сотней людей, которые помнили о своем похищении космическими пришельцами. Он пришел к заключению, что все эти люди не были сумасшедшими и не просто вообразили себе такую

¹ Моя прежняя домовладелица была далеко не одинока; ее заблуждение было идентифицировано и названо: это синдром Капграса, впервые подробно описанный в 1923 году французскими психиатрами Капграсом и Ребуль-Лашо (Reboul-Lachau). См. интереснейшую книгу: *Louis R. Franzini, John M. Grossberg. Eccentric and Bizarre Behaviors. New York, 1995. Chap. 7. Capgras and Other Misidentification Delusions: Replaced by an Impostor. P. 121–138.* Без сомнения, если бы синдром Капграса был лучше известен и если бы он так или иначе ассоциировался с проблемами установления идентичности, он был бы гораздо более распространен.

² См.: *Terry Castle. Contagious Folly: An Adventure and Its Skeptics; Françoise Meltzer. For Your Eyes Only: Ghost Citing; Terry Castle. A Rejoinder to Françoise Meltzer // Questions of Evidence: Proof, Practice. Persuasion across the Disciplines. Ed. J. Chandler, A. I. Davidson, H. Harotunian. Chicago, 1994. P. 11–42, 43–49, 50–55.* Моберли и Джордан предложили свой рассказ в: *Elizabeth Morison and Frances Lamont [Charlotte Moberly and Eleanor Jourdain]. An Adventure. 2d ed. London, 1913.* Другие издания были опубликованы в 1911, 1924, 1931, 1955. Кастл возвращается к этому случаю в главе «Marie Antoinette Obsession» в своей следующей книге: *The Apparitional Lesbian: Female Homosexuality and Modern Culture. New York, 1993. P. 107–149.*

встречу, но имели реальные столкновения с внечеловеческими формами разума. По словам Мака, «я столь же осторожен, как и положено при установлении диагноза. Я исчерпал все возможности, которые являются вполне психологическими, даже психосоциальными, которые могли бы объяснить это»¹.

Пример № 4. На самом деле не один, а несметное число примеров. С начала 1980-х и в течение 1990-х годов в Соединенных Штатах произошло много случаев предполагаемой «вытесненной памяти», связанных с «сатанинским» или «ритуальным» сексуальным насилием (память об этом была предположительно восстановлена благодаря вмешательству психотерапевтов)². И это явление все еще продолжается. Материал, каким бы способом он ни устанавливался, неизменно принимает форму нарративов, при этом такие нарративы становятся все более детальными и разветвленными, поскольку «разрабатываются» и повторяются.

Много людей в «терапевтическом сообществе» Соединенных Штатов расценивают такие нарративы как акт самооправдания.

¹ John E. Mack. *Abduction: Human Encounters with Aliens*. New York, 1994. Я цитирую здесь второстепенную статью: *Marjorie Rosen, J. D. Podolsky, S. Avery Brown*. *Out of This World* // *People Magazine*, May 23, 1994. P. 38–43, at 40. Но его утверждение здесь равнозначно тому, которое он обнаружил в «*Abduction*» (например, на стр. 414 об инопланетянах: «инопланетно/человеческое гибридное потомство», «программа размножения»). Должен заметить, что профессор Мак придерживается другого мнения в своей следующей книге: *Passport to the Cosmos: Human Transformation and Alien Encounters*. New York, 1999. В ней он утверждает, что «моя цель в этой книге состоит не в том, чтобы установить, что инопланетные похищения были вполне реальны в буквальном, физическом смысле», а, скорее, «мой принципиальный интерес заключается в рассмотрении самих этих опытов» (p. 9).

² О «ритуальном насилии» см.: *Debbie Nathan, Michael Snedeker*. *Satan's Silence: Ritual Abuse and the Making of a Modern American Witch Hunt*. New York, 1995. Характерная работа этого жанра принадлежит: *Margaret Smith*. *Ritual Abuse: What It Is, Why It Happens, How to Help*. New York, 1993. Какое-то время полагали, что организация «*Believe the Children*» действовала как место проведения подобных ритуальных актов насилия. Много сайтов можно найти в Сети. Например, поиск Google® 11 февраля 1998 года дал 1187 материалов; такой же поиск 12 июня 2004 года – около 30.500.

В некоторых случаях имели место плачевные ошибки правосудия. Одним из наиболее скандальных случаев, кратко описанных в главе I, §2, является дело Пола Инграма (г. Олимпия, штат Вашингтон), которого в 1988 году его дочери обвинили в совершении над ними ритуального насилия. Забавно, что он был вынужден «вспомнить» эпизоды такого насилия, и в результате признал свою вину, от которой – слишком поздно – попытался отречься. Он был, в конце концов, освобожден из тюрьмы в апреле 2003 года, когда закончился срок его заключения¹.

Чему мы должны научиться на этих примерах и на бесчисленных подобных им, которые можно приводить и приводить? Все они подчеркивают, насколько свидетельства не «очевидны». Напротив, это – хилый тростник, которому суждено быть согнутым субъективностью и сломанным небрежностью и некритическим к нему отношением. Прежде всего, случаи, которые я отметил, демонстрируют, как легко свидетельство может быть растоптано желанием признавать или не признавать его. Иногда это – желание видеть себя такого-то рода важным или интересным человеком (защитником очага и дома; достаточно важной персоной, чтобы быть участником церемоний при старом режиме; инопланетянином; «защитником» детей). Иногда это кажется не более чем желанием твердо придерживаться простой и удовлетворяющей истории событий. Возможно, в отсутствие простых и достаточных «большого» и «мастер-нарративов» человеческое желание иметь такие истории фиксируется на другом, более специфическом уровне, ведя к особому типу лояльности, очень отличному от национальной преданности старых нарративов. Или, возмож-

¹ Случай с Ингрэмом широко освещался в печати. См. особенно: *Lawrence Wright. Remembering Satan. New York, 1994*, где показано как предъявлялось обвинение в этом случае государственной юридической службой Вашингтона. См также статью: *Brad Shannon. Man in Notorious Sex Case Finishes Term // The Olympian. 8 April, 2003. «Front page». At www.theolympian.com/home/news/20030408/frontpage/38738.shtml.*

но, это просто продолжение коммивояжерского умения заинтересовать людей, которое процветает в любом коммерциализированном, управляемом рынком обществе, где существует много форм бонусов для людей, обладающих талантом убеждать своих друзей и сограждан с помощью аргументов, на самом деле неубедительных.

Было бы легко, если бы история была вопросом окончательной истины, аподиктической уверенности, не допускающей никаких разногласий. В одном из менее удачных пассажей «Идеи истории» Коллингвуд утверждает, что «в подлинной истории нет места для просто вероятного или просто возможного; она разрешает историку утверждать только то, что обязывают его утверждать находящиеся в его распоряжении факты»¹. Если бы все было так просто! Но это не так. Коллингвуд хорошо это знал: в другом месте он утверждает, что никакой результат в истории не является окончательным, что свидетельство меняется «с каждым изменением исторического метода», что «принципы, которыми это свидетельство интерпретируется, также меняются» и что, следовательно, «каждое новое поколение должно переписывать историю его собственным способом». Я только должен добавить: это не означает – не может означать, – что «все сгодится» или что каждое «поколение» (школа, национальная группа, парадигма) равным образом находит оправдание в своем способе историописания. Коллингвуд пишет в этом же пассаже также о том, что существует «вариативность в компетентности историков». Такое утверждение предполагает способность с нашей стороны оценивать уровни компетентности. Именно в этом – часть

¹ R. G. Collingwood. *The Idea of History* (1946). Rev. edition, with Lectures 1926–1928 / ed. W. J. van der Dussen. Oxford, 1993. P. 204; русск. изд.: Коллингвуд Р. Дж. *Идея истории* // Коллингвуд Р. Дж. *Идея истории. Автобиография*. М., 1980. С. 195.

задач исторической эпистемологии. Но это также есть одна из задач собственно истории, поскольку не только нарратив, но и вопросы аргументации и обоснования, делают историческое исследование и историописание такими, какими они должны быть.

Все мы знаем силу «увлекательной истории». Трудно в общих чертах определить, в чем состоят элементы «увлекательной истории». Намного легче ее распознать, когда мы с ней сталкиваемся, особенно когда она прошла испытание временем. Миф и литература, безусловно, являются двумя областями, изобилующими такими историями, – историями настолько привлекательными, что их рассказывают и пересказывают через сотни и даже тысячи лет. Мы должны также знать – и это важно – о сложностях взаимосвязи вымышленных конструкций мифа и литературы и утверждений точной истины о мире. Одна из причин того, что множество литературных работ и мифов нас затрагивают, заключается в том, что они предлагают связный вымышленный мир, – мир, который, несмотря на все его перипетии, в конце концов обретает смысл. (Сплетня, как называют необоснованные слухи, имеет подобную же привлекательность.)

Когда мы вступаем в мир сплетни, мы движемся от действий и страданий вымышленных лиц (или тех лиц, кого мы сегодня *принимаем за* вымышленные) к реальным людям. И здесь существует риск попадания на территорию эпистемологической и этической трансгрессии. Одно из достоинств проверенных эпистемологических принципов истории заключается в том, что они призывают нас рассмотреть свидетельство, говорящее «за» и «против» тех утверждений, формулирование которых доставляет нам удовольствие. Проблема свидетельства, предлагаемого создателем или сторонником определенного нарратива, состоит в том, что оно часто является слишком неотъемле-

мым от самого нарратива, чтобы полностью заслуживать доверие. Поэтому требуется не просто *свидетельство*, но также *свидетельство свидетельства*; или, говоря по-другому, необходимы согласованность, совпадение между различными формами свидетельства. В этом – часть причин того, почему история должна быть не только (в некоторых из ее аспектов) эстетической практикой, но также и *научной дисциплиной*, т. е. организованным получением знаний теми коллективами, которые разделяют принципы и практику точного, методического и непрерывного конструирования, деконструирования и реконструкции исторического прошлого. До тех пор, пока поддерживается идея концептуализированной де Серто дистанции между прошлым и настоящим, историк находится в лучшем положении, чем представители большинства других гуманитарных наук, для того чтобы развивать критическое измерение человеческого познания. Позиция историка подразумевает существование дистанции между историком и объектом его исследования, которая *может* способствовать формированию убежденности в том, что историк действительно должен пытаться достигнуть истинного понимания вещей, даже если при решении этой задачи не имеется в виду получение какого-то *практического* результата¹.

¹ Было бы неправильно, однако, вообразить, что история так или иначе выше других гуманитарных наук в отношении эпистемологии. Можно вспомнить о сложном функционировании статистических методов в таких дисциплинах, как политическая наука, и, возможно, не настолько очевидно, о текстуальных методах в литературоведении. В качестве примера бдительного текстолога, который выбивается из традиции тенденциозной небрежности среди литературоведов, биографов и историков, см.: Julie Bates Dock, Daphne Ryan Allen, Jennifer Palais, Kristen Tracy. «But One Expects That»: Charlotte Perkins Gilman's «The Yellow Wallpaper» and the Shifting Light of Scholarship. PMLA Vol. III. 1996. P. 52–65.

* * *

На вопрос «имеет ли нарратив собственную познавательную ценность» нужно ответить «Да». Конечно, нарратив имеет собственную познавательную ценность в том смысле, что связность нарратива есть связность возможного мира. Независимо от того, имеет или нет образ, проецируемый нарративом, *действительное* существование в том мире, каковым этот мир является сейчас или будет в будущем, он существует в нарративе и в сознании, которое задумывало этот нарратив. Но одновременно и, возможно, более решительно, мы должны также сказать, что нарратив не имеет собственной познавательной ценности. Он обладает, скорее, соблазняющей властью – властью, которая может быть слишком легко реализованной, для того чтобы представить нарративное *возможное* видение как видение действительное. Здесь мы должны сказать нарративу «Нет»: его прекрасным или возвышенным соблазнам мы должны противопоставить дефляционную силу метода и критицизма. Среди прочего, это означает, что историки должны проповедовать своим примером, стараясь в вопросах исторической истины быть максимально осторожными и максимально открытыми процедуре аргументации и доказательства, с помощью которой исторические и другие притязания проходят проверку и коррекцию, – поскольку кажется очевидным, что *истина* никогда не будет обнаружена¹.

¹ Здесь я расхожусь во взглядах с Б. МакКуллахом (C. Behan McCullagh), который в замечательной тем не менее книге: *The Truth of History*. London, 1998, – по моему мнению, слишком убежден в том, что люди «обладают возможностью обнаружить истину о прошлом» (Р. 309; курсив мой. – Megill). Он спутал, по-моему, взгляд Бога с возможностями людей.

§ 2. Нарратив и четыре задачи историописания

Что характерно для задач, связанных с историческим исследованием и историописанием? Для историков этот вопрос не так уж прозрачен, как должен быть. По общему признанию, строгая концептуальная ясность не всегда совместима с написанием связных исторических нарративов. Кроме того, ученые, заботящиеся о точных границах развертываемых ими концепций, могут столь увлечься самой концепцией, что упускают из виду саму идею историописания. В конце концов, мы должны сказать вместе с Фрэнсисом Бэконом, что «истина все же скорее возникает из заблуждения, чем из неясности»¹. Если историки хотят быть больше, чем просто болельщиками за ту или иную хорошую идею, они должны лучше понимать то, что делают. Конечно, многие историки учатся разбираться в собственных предположениях и методах благодаря своему высокому интеллекту, тщательности в своих исследованиях и подходах к написанию книг. Но тем не менее лучше всего размышлять над такими вопросами в эксплицитной форме. *Каковы задачи историописания?* И далее: каким образом различные задачи приходят в соответствие друг с другом? На эти вопросы я постараюсь ответить в этом параграфе. Я начну свои рассуждения методом от противного, потому что анализ ложных положений поможет найти путь к концептуальной истине историописания.

Совсем недавно, в 1980-е годы, среди профессиональных историков было широко распространено представле-

¹ *Francis Bacon. The New Organon* / Ed. L. Jardine, M. Silverthorne. Cambridge, 2000. Book Two. Aphorism XX. P. 130; русск. изд.: *Бэкон Ф. Новый органон. Книга вторая афоризмов об истолковании природы, или О царстве человека. Афоризм XX // Бэкон Ф. Сочинения. Т. 2. М., 1978. С. 113.*

ние о том, что по-настоящему серьезная задача истории, делающая ее областью знания, а не простой тривиальностью, – это задача «объяснения». (Я закавычил *объяснение* потому, что мы, читатель и автор, еще не достигли понимания по поводу того, какое значение приписать этому слову.) Безусловно, представление о том, что объяснение – центральная задача историописания, имело тенденцию быть существенно нивелированным в 1990-е годы, когда «новая культурная история» стала весьма модной в границах дисциплины, и более ранние пристрастия к социальной истории и социально-научной истории потеряли свое значение и влияние. В то время как «социально-научные историки» считали «объяснение» своим главным делом, «новые культурные историки» отдавали приоритет «описанию» (предпочтительно «насыщенному» описанию) и «интерпретации»¹. Все же прежнее представление, а именно о том, что задачей историописания является «объяснение», продолжает существовать. Оно может быть обнаружено даже среди защитников и представителей новой культурной истории. Его можно найти и среди многих теоретиков и представителей социальных наук, чье воздействие на ис-

¹ Понятие «насыщенное описание» (описание, фиксированное на значении человеческого действия, а не просто голая действительность того, что происходит) популяризировано антропологом Клиффордом Гирцем: *C. Geertz. The Interpretation of Cultures: Selected Essays*. New York, 1973, особенно глава I: *Thick Description: Toward an Interpretive Theory of Culture*. P. 3–30; *Geertz. Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology*. New York, 1983; русск. изд.: *Гирц К. Интерпретация культур*. М., 2004. Гл. 1. Насыщенное описание: к интерпретативной теории культуры. Двумя широко известными антологиями, которые выдвинули на первый план «интерпретирующий» поворот в социальной науке, были: *Interpretive Social Science: A Reader*. Berkeley, 1979; *Paul Rabinow, William M. Sullivan, eds. Interpretive Social Science: A Second Look*. Berkeley, 1987.

торию едва ли может быть переоценено. Но даже если бы это представление больше вообще никем не поддерживалось, его все же стоило бы рассмотреть, потому что некоторые из теоретиков и методологов, сосредоточенных на «объяснении», умудряются, иногда невольно, разъяснять даже относящиеся к объяснению задачи историка.

* * *

Мнение о том, что объяснение – центральная задача дисциплинарного понимания в истории или в любой другой дисциплине, было наиболее четко выражено исследователями, которые считали себя представителями социальных наук, *учеными*, и теми, кто рассматривал науку в свете теорий, четко сформулированных философами логического эмпиризма¹. В методологической культуре, которая воспоследовала из логического эмпиризма и была влиятельна с 1940-х до 1970-х годов, объяснение занимало привилегированное положение. Обратите внимание на то, что я здесь использую термин «объяснение» не в широком смысле – «пролить свет» или «разъяснить», но в смысле, общепринятом в философии и социальных науках, где в большинстве контекстов «объяснить что-то» означает сказать, что стало причиной этого. Т. е. в данной главе я использую термин «объяснение» в значении «предложить ответ»

¹ Краткий обзор логического эмпиризма (также известного как «логический позитивизм») см.: *David Oldroyd. The Arch of Knowledge: An Introductory Study of the History of the Philosophy and Methodology of Science.* New York, 1986. Chap. 6: Logic and Logical Empiricism. P. 209–263. Все согласны с тем, что логический позитивизм давно скончался. Одной из работ, которая сыграла здесь роковую роль, была монография: *У. Куайн. Две догмы эмпиризма. Willard Van Orman Quine. Two Dogmas of Empiricism* // Originally published in: *The Philosophical Review.* Vol. 60. 1951. P. 20–43. См. также весьма интересное исследование: *Nelson Goodman. Fact, Fiction and Forecast.* 4th ed. Cambridge, Mass., 1983. [Orig. ed., 1954]. Но слухи о смерти логического эмпиризма долгое время ходили и вне философских кругов.

на вопрос «Почему?», употребляя «Почему?» в смысле «Что стало причиной этого?» или «Что вызвало это?». Я не имею ничего против использования слова *объяснить* в другом значении, ибо это личное дело каждого, как именно использовать это слово. Но если мы должны рассуждать о вещах со знанием дела, то лучше не путать различные значения одного и того же слова. Следовательно, я употребляю здесь термин «объяснение» в *одном* значении¹.

¹ Понятие причины занимает несколько проблематичную позицию в эмпиристской традиции философии, но нам нет необходимости касаться здесь этой проблемы (проблема для эмпиристов заключается в том, что на самом деле никто не может увидеть каузальность, ее можно только вывести). Классическая работа Б. Рассела: *Bertrand Russell. On the Notion of Cause (1912–1913) // Mysticism and Logic, and Other Essays. New York, 1918. P. 180–208.* О мотивах обоснованного отказа использовать сами термины «причина» и «результат» одновременно с постоянным обращением к ним см. классическую работу: *Carl G. Hempel. The Function of General Laws in History (1942) // Patrick Gardiner, ed. Theories of History. New York, 1959. P. 344–356;* русск. изд.: *Карл Г. Гемпель. Функции общих законов в истории // Карл Гемпель. Логика объяснения. М., 1998.*

Заметьте также, что вопрос «Почему?» мог быть сформулирован как «Для чего такой-то субъект привел дело к такому-то состоянию?». Короче говоря, существует различие между извлеченным из прошлого каузальным смыслом «Почему?» и ориентируемым на будущее целеполаганием. В данном контексте я имею в виду каузальный смысл. Нельзя забывать, однако, что достигнутые цели могут рассматриваться как причины, т. е. служить объяснением, почему произошло то-то и то-то. (Почему событие случилось? Потому, что такой-то агент или множество агентов решили, что оно должно быть осуществлено для достижения таких-то целей. Здесь мы полагаем цель агента как причину возникновения события.)

Философ и лингвист *Силвен Бромбергер* обсуждает объяснение и вопрос «Почему?» в: *On What We Know We Don't Know: Explanation, Theory, Linguistics and How Questions Shape Them. Chicago, 1992.* Мое обсуждение этого вопроса гораздо менее глубоко и движется в ином направлении – в том, которое кажется мне соответствующим тем видам исследования, какие предпринимают историки.

Легко найти свидетельства привилегированного положения объяснения, определенного, как я сказал, англо-американской философией науки. Философы науки в 1940-х, 1950-х и 1960-х годах были полностью заняты «объяснением», которое они рассматривали как ответ на вопрос «Почему?», взятый в каузальном смысле¹. Некоторое время теоретики и методологи социальных наук следовали за этими философами науки. Много методологических руководств было написано под влиянием логического эмпиризма, открыто заявившего, что основная задача социальных наук есть объяснение. Показательны в этом смысле такие образцовые тексты, как книга Стинчкомба «Конструирование социальных теорий»². Указанные руководства не

¹ Среди других работ см.: *Carl C. Hempel. Aspects of Scientific Explanation and Other Essays* // in: *The Philosophy of Science*. New York, 1965. P. 245, 344 and passim; *Carl G. Hempel. Philosophy of Natural Science*. Englewood Cliffs, NJ, 1966. P. 47, 49; *Ernest Nagel. The Structure of Science: Problems in the Logic of Scientific Explanation*. New York, 1961. P. 15–16; *Wolfgang Stegmüller. Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und Analytischen Philosophie*. Band I: *Wissenschaftliche Erklärung und Begründung*. Berlin, 1969. S. 77.

² А. Стинчкомб обращает внимание на объяснительную функцию социальных теорий: *Arthur L. Stinchcombe. Constructing Social Theories*. New York, 1968. Среди других работ см.: *Eugene J. Meehan. Explanation in Social Science: A System Paradigm*. Homewood, 111. 1968; *Philippe Van Parijs. Evolutionary Explanation in the Social Sciences: An Emerging Paradigm*. Totowa, NJ, 1981; *Abraham Kaplan. The Conduct of Inquiry: Methodology for Behavioral Science*. Scranton, PA, 1964; *Robert Borger, Frank Cioffi, eds. Explanation in the Behavioral Sciences*. Cambridge, 1970; *Patty Jo Watson, Steven A. LeBlanc, Charles L. Redman. Explanation in Archaeology: An Explicitly Scientific Approach*. New York, 1971; *David Harvey. Explanation in Geography*. London, 1969; *Paul Kiparsky. Explanation in Phonology*. Dordrecht, 1982; *Willem Doise. L'Explication en psychologie sociale*. Paris, 1982; *Peter D. McClelland. Causal Explanation and Model Building in History, Economics and the New Economic History*. Ithaca, NY, 1975; *Christopher Lloyd. Explanation in Social History*. Oxford, 1986.

всегда точно сообщали о том, что в них подразумевалось под объяснением, но обычно его центральное, если не вообще эксклюзивное, значение заключалось в ответе на вопрос каузального характера. И наоборот: в этой методологической традиции очень немного внимания уделялось «описанию», которое считалось абсолютно неинтересным. Например, авторы учебника для начинающих «Исследования в социальных и поведенческих науках» поддерживают мнение о том, что исследование типа «case study» имеет только *предварительный* статус: самое большее, оно может предложить гипотезы для дальнейшего исследования и, возможно, обеспечить «частное свидетельство, чтобы проиллюстрировать более общие результаты»¹.

Одно или два поколения практикующих историков, кажется, разделяли представление о том, что задача исторического исследования и историописания состоит в том, чтобы объяснить исторические события, а другие возможные задачи обесценивались или игнорировались. Безусловно, чтобы выяснить, что именно историки действительно думали – или думают – по этому поводу, нужно было бы проделать исследование исключительной сложности, и результаты были бы проблематичными из-за того, что историки не всегда думают ясно, или вообще не думают о таких теоретических проблемах. Лучшее, что мы можем здесь сделать, – это взглянуть на то, что именно некоторые историки *говорили* об объяснении. Я призываю читателя к интроспекции, спрашивая себя, согласится он или нет с пози-

¹ *Miriam Schapiro Groszof, Hyman Sardy. A Research Primer for the Social and Behavioral Sciences. Orlando, FL, 1985. P. 112, 114. Исключение составляет работа: C. Behan McCullagh. Justifying Historical Descriptions. Cambridge, 1984, написанная с позиций неопозитивизма и рассматривающая «дескрипцию».*

цией, которую каждый цитируемый здесь историк, как мне кажется, формулирует достаточно ясно.

В эссе 1961 года «Причинная обусловленность и американская Гражданская война» Ли Бенсон использовал предложенную Е. Форстером дистинкцию «истории» и «сюжета». «Историей», как определил ее Форстер, является «нарратив событий, организованных в их временной последовательности»; например: «король умер, а затем умерла королева». Что касается сюжета, то это «также нарратив событий, но акцент падает на каузальную связь; например: «король умер, а затем от печали умерла королева». Бенсон прокомментировал дистинкцию история/сюжет Фостера следующим способом: используя критерий Фостера, мы можем определить историка как рассказчика сюжета. В отличие от хрониста, историк пробует выяснить тайну того, почему события произошли в данной временной последовательности. Его окончательная цель состоит в том, чтобы раскрыть и выявить мотивы людей, действующих в определенных ситуациях и таким образом помочь людям понять себя. Историческое сообщение поэтому обязательно примет такую форму: «Что-то случилось, и затем что-то случилось еще, *потому что...*». Говоря иначе, работа историка должна объяснять человеческое поведение спустя какое-то время.

Во-вторых, возьмите утверждение Э. Карра, сформулированное в его книге «Что такое история?», о том, что «изучение истории есть изучение причин», а также его настойчивые характеристики истинного исторического исследования как такого, которое дает читателю «связную последовательность причин и следствий».

Наконец, возьмите утверждение Дэвида Хакетта Фишера в книге «Ошибки историков», что «историописание — это не рассказывание историй, а решение проблемы» и

что историческое повествование является «формой объяснения»¹.

В утверждениях Бенсона и Карра предполагается, что сущностные связи в историческом исследовании есть связи каузальные, касающиеся артикуляции того, что вызвало следующее явление в определенной последовательности событий. Раскрытие каузальных связей есть то, что я (и они) определяем как объяснение. Позиция Фишера неоднозначна, т. к. его дефиниция объяснения охватывает разъяснение вообще, а не только каузальный анализ². Тем не менее акцент Фишера на том, что история «не рассказывание историй, а решение проблемы» (идея развитая, как увидим, также и французским историком школы «Анналов» Франсуа Фюре), кажется, подтверждает присутствие пристрастия к объяснению и в его концепции.

Конечно, Карр, Бенсон и Фишер – только три историка среди тысяч других. Но пристрастие к объяснению, вероятно, *вообще* присутствует среди историков, привлеченных аналитической философией или методологией социальных наук. Короче говоря, кажется оправданным расценивать

¹ *Lee Benson*. Causation and the American Civil War // *Benson*. Toward the Scientific Study of History: Selected Essays. Philadelphia, 1972. P. 81–82; *E. M. Forster*. Aspects of the Novel. New York, 1927. P. 47, 130 and passim; *Edward Hallet Carr*. What Is History? 1961; rpt. edn. New York, 1967. Chap. 4: Causation in History. P. 113–143, особенно: P. 113, 130, а также: P. 111–12, 114, 138; *David Hackett Fischer*. Historians' Fallacies: Toward a Logic of Historical Thought. New York, 1970. P. XII, 131.

² *Historians' Fallacies*, XV, n. I, Фишер определил объяснение следующим образом: «Объяснять – значит просто сделать явной, ясной или понятной некоторую проблему относительно событий прошлого, так, чтобы полученное знание было полезно в решении будущих проблем». Хотя Фишер не замечал этого, но существует несоответствие между первой и второй фразами, так «полезно[сть] в решении будущих проблем» предполагает знание причинно-следственных отношений, следовательно каузальная концепция объяснения, которая в первой фразе «объясняет», означает просто «проясняет».

только что процитированные утверждения Карра, Бенсона и Фишера как признаки наличия среди историков большой склонности к объяснению. Другие критики также заметили то же самое обстоятельство. Так, например, историк и теоретик истории Поль Вейн замечает в своей книге «Как пишут историю», что «очень... распространена идея о том, что историография, достойная этого названия и подлинно научная, должна совершить переход от “повествовательной” истории к “объясняющей”. Точно так же, в начале 1980-х годов философ Поль Рикёр заявлял на основе изучения историографии школы Анналов, что “в научной истории форма объяснения приобретает автономность”»¹.

Склонность к объяснению, которую можно обнаружить среди некоторых историков – и еще в большей мере среди социологов, – есть что-то, что само по себе должно быть осмыслено исторически. Во-первых, в XX столетии большая часть философских и методологических размышлений о науке испытали влияние истории ньютоновской физики. Логический эмпиризм и аналитическая философия вообще брали сам факт этой истории и преобразовывали его в принцип. Физическая наука в XVIII и XIX столетиях была отмечена попытками экстраполировать ньютоновскую теорию на максимальное число явлений. В границах ньютоновской структуры острие науки не могло быть найдено в «простой» дескрипции. Лучший из известных контрпримеров, в отличие от ситуации, которая преобладала перед дарвиновской революцией, – это линнеевское естествознание, где успех мог быть достигнут в результате обнару-

¹ *Paul Veyne. Writing History / Trans. Mina Moore-Rinvuluceri. Orig. French edn. 1971; Middletown, Conn., 1984. P. 305. N. 5; русск. изд.: Поль Вен. Как пишут историю. Опыт эпистемологии. М., 2003. С. 115, сноска 5; Paul Ricoeur. Time and Narrative / Trans. Kathleen McLaughlin, David Pellauer. 3 vols. Orig. French edn., 1983–1985. Chicago, 1984–1988. Vol. 1. P. 175; русск. изд.: Рикёр П. Время и рассказ. Т. 1–2. Спб., 2000. Т. 1. С. 203.*

жения и классификации максимально большего числа типов организмов (только *после* Дарвина биологическое описание становится связанным с объяснительным проектом). Напротив, в ньютоновской физике успех не означал ранжирования феноменов по наглядным типам. Скорее, он состоял в дальнейшем распространении ньютоновской теории путем обнаружения все новых законов природы (или демонстрации того, что уже обнаруженные законы могут применяться более широко или более интенсивно, чем это полагали прежде); при этом физики занимались тем, что в конечном счете было *объяснительной* задачей. В формулировании законов движения, например, они показывали, почему при таких-то физических условиях пушечное ядро будет следовать по такой-то траектории. И при этом казалось, что к физике не применялась *интерпретирующая* процедура. До 1890-х годов ньютоновская интерпретирующая структура почти универсально рассматривалась как недвусмысленно истинная. В итоге, она вообще не воспринималась как интерпретирующая, но как толкование того способа, которым мир (абсолютное время, абсолютное пространство) существует как реальность¹.

Во-вторых, когда мы специально обращаемся к контексту «наук о человеке», мы обнаруживаем, что поразительной особенностью секуляризированной, модернистской

¹ *Thomas L. Hankins*. Science and the Enlightenment. Cambridge, 1985. P. 9, 20–21, 53; *J. L. Heilbron*. Electricity in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. Berkeley, 1979. P. 6, 87, 95 n. 47, 458; *Christa Jungnickel, Russell McCormmach*. Intellectual Mastery of Nature: Theoretical Physics from Ohm to Einstein. 2 vols. Chicago, 1986. Vol. 1. P. XXIII. О классификационном принципе в естествознании и других областях науки см.: *Hankins*. Science and the Enlightenment. P. 113, 117; *Wolf Lepenies*. Das Ende der Naturgeschichte: Wandel kultureller Selbstverständlichkeiten in den Wissenschaften des 18. und 19. Jahrhunderts. Munich, 1976. P. 34, 47–48, 93, 98–102, 122–124.

академической культуры стала ее приверженность метафорам вертикальности – поверхностной реальности противопоставлялась реальность глубинная, скрытая. (О метафоре вертикальности можно равным образом рассуждать и как о метафоре *дифференциальной видимости*, раскрывающей такие соотносимые оппозиции, как передний план и фон, или сцена и кулисы.) Использование такой метафорики, которая, возможно, наиболее очевидна во фрейдизме (супер-эго/культура) и марксизме (базис/надстройка), фактически было присуще всей социальной науке XX века. Общим тропом модернистского исследования является то, что вещи, наблюдаемые более или менее непосредственно, во все не являются «реальной» действительностью. Согласно этому положению задача исследования состоит в переходе к тому, что скрыто, – к «основным» детерминантам, к «фундаментальным» особенностям ситуации. Метафоры вертикальности имеют тенденцию предоставлять привилегии объяснительному проекту. Иллюстрация Дэвидом Юмом того факта, что мы не можем наблюдать причинную обусловленность, подкрепляет представление о том, что объяснение – *tieferliegend*, чем «дескрипция». Когда представитель социальной философии Филипп Вэн Пэрайджес заявил, что «любое объяснение допускает действие некоего *лежащего в основании механизма*», он невольно обнаружил присутствие той же самой метафоры. Обсуждая прогрессистскую социальную мысль в Америке, Ричард Хофstadтер выдвинул предположение о том, что «действительность» «спрятана, упущена из виду, вынесена за кулисы» – подобный же троп с идентичной функцией¹. Когда такие

¹ *Van Parijs*. Evolutionary Explanation in Social Sciences, 6; *Stegmüller*. Wissenschaftliche Erklärung und Begründung. Kapitel 1, 2.b.: Erklärungen und Beschreibungen. S. 77; *Richard Hofstadter*. The Age of Reform from Bryan to F.D.R. New York, 1969. P. 199–200. Lionel Trilling, V. L. Parrington and Theodore Dreiser. Trilling: Reality in America // The Liberal Imagination: Essays on Literature and Society. New York, 1956. P. 3–21.

метафоры уместны, наиболее поразительными открытиями становятся те, которые показывают, каким образом «находящиеся на сцене» или «надстроечные» вещи и события возникают из невидимых прежде экономических, социологических или психологических условий. Эти открытия имеют объяснительный характер, поскольку они есть ответы на вопрос «Что стало причиной этого?»¹.

Метафоры базис/надстройка никоим образом не противоречат прогрессу познания до тех пор, пока они продолжают инспирировать новые трактовки вещей и пока их ограниченный эвристический характер сохраняется в поле зрения исследователя. Но дисциплины имеют тенденцию к склеротическому самодовольству. Методологические правила, четко сформулированные в одном контексте, часто весьма неуместно применяются к другим контекстам. Интерпретирующие структуры слишком часто рассматриваются как *die Sache selbst*.

Рассмотрим, каким образом установка на объяснение выражена в логическом эмпиризме. Хотя логический эмпиризм давно уступил дорогу различным вариантам нео- и постпозитивизма, формулировки логического эмпиризма остаются важными по двум причинам. Во-первых, они ясно и точно выражают понятия, менее отчетливо артику-

¹ Кажется возможным предположить, что мыслители, менее преданные метафоре базис/надстройка или другим метафорам, которые предусматривают дифференциально видимые реальности, будут меньше преданы и проекту объяснения. Один методолог социальных наук отметил, что большинство «теорий» Макса Вебера на самом деле являются «концептуальными схемами и описаниями «исторических типов» (Jack P. Gibbs, *Sociological Theory Construction*. Hinsdale, IL, 1972. P. 16). Сюда же можно причислить связь между известным подозрением Вебера в отношении метафоры базиса/надстройки и тем фактом, что его самые крупные достижения представляются гораздо в большей степени описательными и интерпретирующими, чем объяснительными.

лированные где-либо еще; во-вторых, многие не-философы, включая некоторых историков, все еще цепляются за формулировки логического эмпиризма, предложенные много десятилетий назад и апеллируют к ним всякий раз, когда хотят казаться строгими и методологически подкованными¹.

В первом предложении когда-то широко цитируемой работы «Исследования по логике объяснения» (1948) Карл Гемпель и Поль Оппенгеймер заявили, что «объяснение явлений в мире нашего опыта, ответы на вопрос “Почему это происходит?”, а не только на вопрос “Что это такое?”, являются одной из ключевых целей эмпирической науки». В подобном же духе Эрнест Нагель утверждал в работе «Структура науки», что «именно стремление к объяснениям, которые являются одновременно и систематическими, и руководствующимися фактическим свидетельством, делает науку; и именно организация и классификация знания на основе объяснительных принципов является отличительной целью науки». И как последний пример рассмотрим еще одно утверждение, сформулированное некоторыми застенчивыми «строгими» историками. Оно появилось в работе, которая стремилась установить приоритетные темы исследований для истории социальной науки в Соединенных Штатах – «Бюллетень 64» Совета по научным исследованиям в области социальных наук: «Истинная научная функция начинается там, где заканчивается функция

¹ Худшим нарушителем может быть только экономика: *Donald [Deirdre] N. McCloskey. The Rhetoric of Economics. Madison, WI, 1985. P. 7–8.* Но в обзоре в мае 1987 года Морган Коуссер предположил, что «неофициальный позитивизм» оставался весьма распространенным в то время среди историков: *J. Morgan Kousser. The State of Social Science History in the Late 1980s. // Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History. Vol. 22. 1989. P. 12–20, at 14.*

дескриптивная. Научная функция включает в себя не только идентификацию и дескрипцию временных последовательностей; она также включает в себя их объяснение»¹.

Ни один из указанных авторов не отрицает, что «описание» составляет часть эмпирической науки; такое опровержение было бы, конечно, антиэмпирическим. Но все рассматривают «объяснение», которое они определяют, по существу, так же, как это делаю здесь я, – как «истинно научную функцию». Учитывая риторический престиж, который придается словом «научное», у нас нет никакого другого выбора, кроме как считать эти утверждения проявлением склонности к объяснению.

Эта склонность поддерживала – и до некоторой степени продолжает поддерживать – два ошибочных предрассудка. Один из них – предрассудок универсальности; другой – герменевтическая наивность, или вера в безупречное восприятие.

Предрассудок универсальности возвышает объяснение над «дескрипцией», потому что в логическом эмпиризме «дескрипция» привязана просто к наличной данности, в то время как объяснение рассматривается как универсально применимая категория. В качестве непосредственной оппозиции логическому позитивизму существует все еще важное и влиятельное различие, впервые предложенное Вильгельмом Виндельбандом в 1894 году, между «номотетическими» науками, занятыми поиском общих и неизменных

¹ См.: *Carl G. Hempel, Paul Oppenheim. Studies in the Logic of Explanation // Joseph C. Pitt, ed. Theories of Explanation. Oxford, 1988; Ronald N. Giere. Explaining Science: A Cognitive Approach. Chicago, 1988. P. 28; русск. изд.: Гемпель К., Оппенгейм П. Логика объяснения // Гемпель К. Г. Логика объяснения. М., 1998. Ч. 1. С. 90–105; Ernest Nagel. The Structure of Science: Problems in the Logic of Scientific Explanation. New York, 1961. P. 4; Social Science Research Council, Committee on Historiography, The Social Sciences in Historical Study: A Report [Bulletin 64]. New York, 1954. P. 86.*

законов, и «идиографическими» науками, в фокусе внимания которых находятся индивидуальные объекты¹. По крайней мере, в принципе Виндельбанд предоставил равный статус номотетическим и идиографическим исследованиям: в его глазах, оба они были наукой (*Wissenschaft*). Позитивисты, напротив, ограничили название и статус науки номотетическими исследованиями, теми областями, в которых выявляли (или заявляли, что выявляют) общие законы.

Так как историки часто путают «общие законы» с другими видами обобщений, они иногда тосковали по полной силы идее о том, что область исследований научна только в том случае, если в ней выявляют общие законы. Под «генерализацией» историки обычно подразумевают широкое утверждение, которое тем не менее все же привязывается к особому историческому контексту. На языке историков нижеследующее гипотетическое утверждение рассматривается как обобщение (вопроса о том, является ли утверждение правильным, мы здесь не касаемся): «В результате роста городов и развития торговли, феодализм уступил место в Европе позднего средневековья и раннего Нового времени начинающемуся капитализму». «Проблема обобщения», как ее понимают историки, обычно является проблемой того, как добраться от фрагментарных и запутывающих данных к таким широким утверждениям². Но эти утверждения совсем не то, что имели в виду логические

¹ *Wilhelm Windelband. History and Natural Science* // Вводные замечания: *Guy Oakes. History and Theory*. Vol. 19. 1980. P. 169–185, особенно 175; см. также: *Georg G Iggers. The German Conception of History: The National Tradition of Historical Thought from Herder to the Present*. Rev. ed. Middletown. CT, 1983. P. 147–152.

² См. классическую работу: *William O. Aydelotte. Notes on the Problem of Historical Generalization* // *Social Science Research Council, Generalization in the Writing of History: A Report of the Committee on Historical Analysis*. Ed. Louis Gottschalk. Chicago, 1963. P. 145–177 (переиздано: *Aydelotte, Quantification in History*. Reading, MA, 1971. P. 66–100).

эмпиристы или до них имел в виду Виндельбанд, рассуждая об общих законах. В «номотетической» науке искомые обобщения *трансцендентны* данному времени и пространству, как, например, в следующем виртуальном утверждении: «*Всякий раз, когда* в границах феодальной системы начинают развиваться города и торговля [мы, наверное, могли бы перечислять дальнейшие условия, наряду с соображениями об их взаимосвязях], *тогда* феодализм уступает дорогу капитализму». Короче говоря, рассматриваемые обобщения есть законы (которые могут быть сформулированы по типу утверждений «если..., то») и группа таких законов соединяются вместе в теориях.

Виндельбандову дистинкцию индивидуальное/общее часто сравнивают с дистинкцией описание/объяснение. Рассмотрим следующий пассаж, который является началом известной работы Гемпеля 1942 года «Функция общих законов в истории»: «Достаточно широко распространено мнение, что история, в отличие от так называемых физических наук, занимается скорее описанием конкретных явлений прошлого, чем поиском общих законов, которые могут управлять этими событиями. Вероятно, эту точку зрения нельзя отрицать в качестве характеристики того типа проблем, которыми в основном интересуются некоторые историки. Но она, конечно, неприемлема в качестве утверждения о теоретической функции общих законов в научном историческом исследовании»¹.

Как, может быть, замечено любым желающим остановиться на этом пассаже подольше и увидеть его освобождающую иронию, Гемпель действительно делает здесь два шага. Во-первых, он отклоняет предположение Виндель-

¹ *Hempel. Function of General Laws in History.* P. 344–345; русск. изд.: Гемпель К. Г. Функция общих законов в истории // Логика объяснения. М., 1998. С. 16.

банда о том, что историческое исследование и историописание должны быть определены его «идиографическим» характером, т. е. изучением индивидуального как отличного от того, что является всеобщим (а именно – законов). Гемпель признает, что «некоторые историки» (мы должны читать это как «к сожалению, почти все историки») глубоко заинтересованы изучением индивидуального. Будучи хорошим логиком, Гемпель рассматривает такой интерес, как, на самом деле, весьма тривиальный. Что является действительно *серьезным*, по его мнению, так это артикуляция законов и теорий, с которыми надежная «дескрипция» индивидуального связана таким же способом, каким подготовка к сексу связана с самим сексом. Во-вторых, Гемпель связывает «дескрипцию» с индивидуальным. Эти два шага составляют в целом глубокое умаление значения «дескрипции», но умаление, которое сам Гемпель, вероятно, расценивает настолько неявно обоснованным, что оно не требует никакого явного обоснования вообще.

Как же так? Вновь рассмотрим два виртуальных пассажа, предлагаемых выше, относительно перехода от феодализма к капитализму. Первый: «В результате роста городов и развития торговли, феодализм уступил место в Европе позднего средневековья и раннего Нового времени начинающемуся капитализму». Это утверждение имеет одновременно компоненты «что это такое» и «почему это происходит». В самом деле, утверждение дескриптивно, оно отвечает на вопрос «что?», т. к. говорит, что имело место (или, скорее, *утверждает*, что должно было иметь место) в Европе позднего средневековья и раннего Нового времени: города и торговля росли, феодализм уступал дорогу, начинался капитализм.

И это же утверждение является также объяснительным, поскольку предлагает соображение по поводу того, почему имел место переход от феодализма к капитализму: он имел место потому, что наблюдался рост городов и торговли.

Точнее говоря, в утверждении *заявлено*, что в нем предложена «дескрипция» и объяснение реального прошлого. Я говорю *заявлено*, что в нем это делается, потому что в нем не предлагается чего-либо, что оправдывало бы нашу веру в его заявления.

Я говорю, что этот пассаж *заявляет о том*, что он объяснительный, но не является таковым, потому что не предлагает никакого подтверждения того, что рост городов и торговли стал причиной появления капитализма. Этот пассаж просто *делает* заявление. Безусловно, мы могли бы представить эти заявления как тот их вид, который, вероятно, имеет место в учебнике, где историкам едва ли возможно выложить аргументы и свидетельства; но эпистемологически внимательный читатель требует, чтобы такие заявления могли быть *подтверждены* свидетельством и аргументами – даже в том случае, если есть причины, оправдывающие их отсутствие в данной работе. Историк должен быть в состоянии аргументировать, когда его просят об этом, а не просто делать заявления.

Следует также заметить, что объяснительные утверждения требуют того вида обоснования, который отличен от того, что свойствен дескриптивным утверждениям. Любое каузальное утверждение, т. е. любое утверждение о таком-то состоянии дел, включает в себя контрфактическое рассуждение (хотя нужно заметить, что этот мой тезис едва будет спорным для тех, кто задумывался над им вопросом). Возможно, мы согласились бы с тем, что заявление, будто уступка феодализмом дороги капитализму «происходила в результате» роста городов и торговли, *на самом деле* объяснительно, если бы мы были убеждены в этом рассмотрением аргументов «за» и «против».

Позвольте обратиться теперь ко второму заявлению: «Всякий раз, когда в границах феодальной системы начинают развиваться города и торговля... феодализм уступает дорогу капитализму». Это заявление весьма отличается от первого, поскольку оно не «описывает» никакой особой

реальности. Скорее, оно формулирует общее утверждение, теоретическое. Оно относится к понятиям «феодалная система», «рост», «города», «капитализм». Когда оно применяется к особой реальности – скажем, к Европе XIV столетия или к Нижней Слоббовии в двадцатом, – оно имеет объяснительный результат, по крайней мере, если наличная аудитория принимает представленные законы как истинные и соглашается с тем, что рассматриваемые концепции соответствуют этой реальности. «Почему осуществился переход от феодализма к капитализму в Нижней Слоббовии в XX столетии? Ну, потому что всякий раз, когда...». И в результате мы имеем форму объяснения, которая обладает портативностью, всеобщностью, чего нет у «описания».

Там, где существует склонность к всеобщности, объяснению придается более высокая ценность, чем «дескрипции». В философии и в социальных науках широко распространена мысль о том, что только знание общего или всеобщего (в отличие от единичного или отдельного) действительно научно; всё остальное знание есть знание низшего порядка. Предрассудок всеобщности происходит из специфики древнегреческого мышления, из философии Платона и (что имело большее влияние на науку) из философии Аристотеля. В «Метафизике» и в других работах Аристотель утверждал, что всеобщее знание есть самая высокая форма знания¹. В «Поэтике» он рассмотрел значе-

¹ Aristotle. *Metaphysics* / Trans. W. D. Ross. 982, a 20–25 // Aristotle. *Complete Works*. Ed. Jonathan Barnes. 2 vols. Princeton, 1984; русск. изд.: *Аристотель. Метафизика* // Соч.: В 4-х т. Т. 1. М., 1976. С. 982, а 20–25. О феномене «преданности родовому» в Греции см.: Windelband. *History and Natural Science*. P. 181. Также есть и другая сторона проблемы у Аристотеля, в его «Этике» и «Риторике», где акцент сделан на определенных случаях морального суждения или убеждения. См.: Stephen Toulmin. *The Recovery of Practical Philosophy* // *American Scholar*. Vol. 57. 1988. P. 337–352, at 339 and passim. Но модернизм на этикориторические аспекты смотрит с неодобрением.

ние познания для истории, предполагая, что «поэзия философичнее и серьезнее истории, ибо поэзия больше говорит об общем, история – о единичном»¹. В наше время стремление к универсализации все еще живо, хотя в современном мышлении оно берет начало не из Аристотеля, а из идей Юма и Канта. Поэзия выпала из круга всеобщего знания, которое теперь ограничено математикой, естествознанием и социальными науками, поскольку они конструируются по модели естествознания².

Итак, первая ошибочная причина общей приверженности к объяснению в ущерб «дескрипции» – предрассудок всеобщности. Вторая – герменевтическая наивность, которая ведет не к возвышению значения объяснения, но к снижению качества «дескрипции». Под герменевтической наивностью я подразумеваю ошибку в организации исторического сообщения, как если бы это был «взгляд ниоткуда», вместо – как это и есть на самом деле – взгляда из некоторой частной интерпретирующей перспективы. Модернистская академическая культура – особенно тогда, когда она провозглашала престиж науки, – имела тенденцию подавлять интерпретирующее измерение. И Маркс, и Фрейд были печально известны склонностью к такой репрессии, но их позиция далека от уникальной. Вспомним еще раз, что логический эмпиризм дает особенно ясное выражение этого широко разделяемого представления. Возьмем

¹ *Aristotle. Poetics* / Trans. Ingram Bywater. 1451 a 6–7 // *Aristotle. «Rhetoric» and «Poetics»* / Introd. Edward P. J. Corbett. New York, 1984. P. 235; русск. изд.: *Аристотель. Поэтика* // *Аристотель. Соч.*: В 4-х т. Т. 4. М., 1984. 1451 b 9. С. 655.

² Об идее всеобщности в современном мышлении см. среди других: *Max Weber. A Critique of Eduard Meyer's Methodological Views* // *Weber. The Methodology of the Social Sciences* / Trans. Edward A. Shils, Henry A. Finch. Glencoe, Ill, 1949. P. 163 n. 30; *Stanley Rosen. Hermeneutics as Politics*. New York, 1987. P. 45, 95; *Richard W. Miller. Fact and Method: Explanation, Confirmation and Reality in the Natural and the Social Sciences*. Princeton, 1987. P. 3–4.

«Функцию общих законов в истории» Гемпеля. Историки – читатели этой широко известной работы – всегда будут помнить ее центральное место: пассаж о повреждении автомобильного радиатора. Гемпель предложил объяснение события в дедуктивно-номологической форме, согласно которой из некоторых исходных и пограничных условий (например, взрывное давление для материала радиатора, падение температуры в течение ночи) и из некоторых физических законов (например, об условиях замерзания воды) может быть выведено появление трещины в автомобильном радиаторе. Утверждение об исходных и пограничных условиях составляет, конечно, «дескрипцию». Как ни странно, в конце эссе Гемпель пришел к прото-куновскому заключению о том, что отделение «чистой дескрипции» от «гипотетического обобщения и конструирования теории» не является гарантированным. Тогда возможно, что каждая «дескрипция» осуществлена уже в соответствии с «теорией», подобно тому как в картине науки, предложенной Куном, факт обусловлен парадигмой. Все же в примере с радиатором Гемпель не сумел сформулировать собственный вывод. Он просто перешел к рассмотрению того, как действительно была бы возможна «чистая дескрипция»¹.

Герменевтическая наивность переплетена с представлением о том, что «дескрипция» просто неинтересна. Когда исключен герменевтический контекст, «дескрипция» редуцируется к определенному множеству данных. В свете этой точки зрения позитивизм придерживается позиции, согласно которой большинство историков признается несовершенными исследователями. Все же даже среди достаточно

¹ *Hempel. Function of General Laws in History. P. 356; cp.: Thomas S. Kuhn. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago, 1962; русск. изд.: К. Гемпель. Функции общих законов в истории // Карл Г. Гемпель. Логика объяснения. М., 1999.*

искушенных историков остается тенденция недооценивать силу и возможности герменевтического понимания того, что всякое восприятие осуществляется в определенной перспективе. Ричард Дж. Бернштейн дает важное (хотя и схематическое) отличие между до- и постхайдеггеровской трактовками понятия «герменевтический круг». Во многих стандартных характеристиках этого понятия круг понимается как движение между частью и целым в границах той реальности, которую исследователь стремится понять. Например, историк или литературный критик стремятся понять одно предложение документа в свете этого документа как целого. Но в более широком, пост-хайдеггеровском смысле, круг образуется между самим исследователем и тем, что исследуется. Исследование подталкивается традициями, обязательствами, интересами и надеждами исследователя, которые оказывают воздействие на его открытия. И опять же: процесс исторического исследования и историописания изменяет и исследователя, и его аудиторию; по крайней мере, это происходит в том случае, если исследование нетривиально¹. Для того чтобы ухватить суть интерпретирующего аспекта исследования, нужно осуществить акт рефлексии, рассмотрев, каким образом точка зрения исследователя становится составной частью исследования. Длительная историографическая традиция, которая поддерживает фикцию объективного нарратора, притворяющегося безмолвным перед истиной прошлого, противостоит саморефлексивному восприятию². Эта традиция существует наряду с недооценкой «дескриптивного» проекта,

¹ *Richard J. Bernstein. Beyond Objectivism and Relativism: Science, Hermeneutics and Praxis. Philadelphia, 1983. P. 135–136.*

² См.: *Robert Finlay. The Refashioning of Martin Guerre; Natalie Zemon Davis. On the Lane // American Historical Review. Vol. 93. 1988. P. 553–571, 572–603.* Обмен мнениями, в котором на первый план выдвигается

который, как мы увидим в связи с грандиозной работой Фернана Броделя «Средиземное море и Средиземноморский мир», гораздо более сложен и интересен, чем это допускает не подозревающая о герменевтике исследовательская перспектива.

* * *

От внимания читателя не ускользнет то, что я употребляю термин «дескрипция» в кавычках, как интеллектуальный эквивалент резиновых перчаток. К сожалению, это слово связано как бы пуповиной с понятием «*простой дескрипции*» – неоцененным проектом, который это понятие, как предполагается, обозначает. Этот проект есть ответ на вопрос «*Что произошло?*» в отличие от ответа на вопрос, который является признаком объяснения, «*Почему произошло?*» (или «*Что стало причиной этого?*»). Учитывая бесконечное разнообразие перспектив, исходя из которых может быть написано историческое исследование, оба проекта воплощают в себе огромное число трудностей и возможностей¹.

Соответственно, требуется термин не столь откровенно намекающий на простое копирование некоторой внешней

необходимость тщательно следить за различными голосами и установками, которые проявляют себя в работе истории. Даже историки, знакомые с интерпретационной традицией, часто сопротивляются саморефлексивным импликациям. Обратите внимание, например, на очевидно невольную редукцию пост-хайдеггеровской герменевтики к до-хайдеггеровской у Квентина Скиннера: *Quentin Skinner. Hermeneutics and the Role of History // New Literary History. Vol. 7. 1975–1976. P. 209–232.*

¹ Как это делает дальнейший вопрос аргументативного или обосновательного характера: какие основания есть у нас, автора и аудитории, для веры в то, что имело место то-то и то-то, и почему то-то и то-то имело место? Но я оставляю здесь вопрос обоснования в стороне. См. о case study главу V, §2.

модели. Поэтому я выбираю термин «*подробный пересказ*» (*recounting*) как альтернативный для обозначения ответов на вопрос «Что произошло?». Связанный с французским словом *raconter*, этот термин побуждает нас размышлять об ответе на такие вопросы в повествовательной форме рассказа; – в данном случае рассказа, для доказательства истинности которого приводятся различные аргументы, документальные материалы и пр. Очевидно, что существует не один способ рассказать какую-либо историю; есть также различные способы конструирования или реконструкции исторического прошлого. Термин *подробный пересказ* помогает нам понять, что «*описание*» – это не нейтральная операция, предваряющая *реальную* работу объяснения, не простое собрание данных. Он дает нам возможность лучше увидеть, что описанию и объяснению нельзя придавать различное значение, абстрагируясь от целей и от читателей конкретных исторических работ.

Те, кто забывает принять во внимание (обычно более или менее подсознательно) важность подробного пересказа, занимают одну из двух взаимосвязанных позиций. Или, сохраняя различия между описанием и объяснением, они считают описание неинтересной операцией (когда, например, она рассматривается как простое введение в научное знание); или они смешивают обе вещи вместе, но таким способом, чтобы реинтерпретировать описание как объяснение. В обоих случаях результатом является исключение подробного пересказа из круга значимого знания.

Это исключение тесно связано с вопросом о нарративе и его ценности. Нарратив соединяет описание и объяснение. Одним из результатов ориентации на объяснение и связанного с этим стремления к универсальности было снижение качества не только «описания», но и самого нарратива. Прославляемое в последние тридцать лет «воз-

рождение нарратива» должно было работать против распространенного подозрения о том, что нарратив *как таковой* является эпистемологически ущербным. Когда Лоуренс Стоун отметил в статье 1979 года, что нарратив «скорее имеет дело со специфическим и определенным, чем [с] собирательным и статистическим», мотивом этого утверждения (которое, как установлено, является ложным), казалось, стало беспокойство по поводу неспособности нарратива к теоретическому обобщению, доступному только с помощью объяснения в терминах законов и теорий, которые делают его научным. Таким образом, предполагаемое возрождение нарратива было омрачено глубоко укорененными предубеждениями, работающими против него¹.

Мы можем добраться до сути рассматриваемых взглядов, изучив их артикуляцию, предпринятую Франсуа Фюре, который отклонил и дескрипцию, и нарратив по причинам, близко связанным с установками философии и социальных наук, отмеченными выше. В работе «От нарративной истории к истории проблемно-ориентированной», впервые изданной в 1975 году, Фюре предложил хронику развития новой, аналитической, концептуальной, «проблемно-ориентированной» историографии и утверждал о «возможном обвальном падении нарративной истории»². Он

¹ Lawrence Stone. The Revival of Narrative: Reflections on a New Old History // Past and Present. № 85 November, 1979. P. 3–24, особенно: P. 3–4; переиздано: Stone. The Past and the Present. Boston, 1981. P. 74–96, особенно: P. 74. Конечно, даже «собирательное и статистическое» не возвышается до универсальности. «Собирательное и статистическое» сами по себе являются «партикулярным и специфическим». Например: *что собирается? что статистически подобрано?*

² François Furet. From Narrative History to Problem-oriented History // Furet. In the Workshop of History / Trans. Jonathan Mandelbaum. Chicago, 1982. P. 54–67.

одобрял такое развитие событий, поскольку нарратив, полагал он, несостоятелен и логически, и эпистемологически: «Особый тип логики нарратива – *post hoc, ergo propter hoc* – не лучше подходит для нового типа истории, чем столь же традиционный метод обобщения от единичного»¹. По общему признанию, Фюре проявил себя как *разуверившийся* позитивист, т. к. он отрицал, что переход от нарративной истории к «проблемно-ориентированной» достаточен для того, чтобы поместить историю в «научную область доказуемого». Он предположил, что подобная цель, вероятно, недостижима, но такой переход, по крайней мере, приближает историю к этой цели².

До какой степени характеристика нарратива, данная Фюре, адекватна реальности? Здесь интересны два момента. Во-первых, как и Стоун, Фюре ссылаясь на предполагаемую применимость нарратива только к единичностям, хотя, в отличие от Стоуна, он придал этому явно отрицательный характер в связке с эмпирической ошибкой ложной генерализации. Но значение утверждения Фюре остается неоднозначным, поскольку на самом деле он не сказал (хотя его слова, казалось бы, это предполагают), что narra-

¹ *Furet. From Narrative History to Problem-oriented History. P. 57; см. также: In the Workshop of History. Introduction. P. 8. «Традиционное историческое объяснение повинуете логике рассказа. То, что идет первым, объясняет то, что следует за ним».*

² О недостижимости этой цели см.: *Furet. From Narrative History to Problem-oriented History. P. 66–67. По поводу связи предпочтения, отдаваемого Фюре проблемно-ориентированной истории, и предубеждения к универсальности см.: In the Workshop of History. Introduction. P. 6–7 («новая история» становится «формой знания», применимой к любому и всем обществам); см. также: From Narrative History to Problem-oriented History. P. 60, где историко-демографическая трансформация «исторических индивидуумов» во «взаимозаменяемые и измеримые единицы» также указывает на присутствие универсалистского критерия.*

тив и обобщение от единичного обладают некоторой специфической близостью друг к другу.

Намного более ясным выглядит другое утверждение Фюре, а именно то, что нарратив следует за некорректной логикой *post hoc, ergo propter hoc*. То же самое утверждение было сделано некоторыми другими авторами, включая также литературного теоретика Ролана Барта, чьи краткие комментарии по поводу предположительно вымышленного характера нарратива добавляют блеск довольно скромному утверждению Фюре. В важной работе «Введение в структурный анализ нарративов» (1966) Барт утверждал, что нарратив характеризуется «телескопичностью» логики и темпоральности: «В самом деле ... механизм сюжета приходит в движение именно за счет смещения временной последовательности и логического следования фактов, когда то, что случается *после* некоторого события, начинает восприниматься как случившееся *вследствие* него; в таком случае можно предположить, что сюжетные тексты возникают в результате систематически допускаемой логической ошибки, обнаруженной еще средневековыми схоластами и воплощенной в формуле *post hoc, ergo propter hoc*»¹. Хотя утверждение Барта при первом чтении может показаться озадачивающим, его отправной пункт прост. Барт полагает, что нарратив есть последовательность установленных при-

¹ Roland Barthes. Introduction to the Structural Analysis of Narratives // Image, Music, Text. Trans. Stephen Heath. New York, 1977. P. 79–124, особенно 94; русск. изд.: Р. Барт. Введение в структурный анализ повествовательных текстов // Французская семиотика. От структурализма к постструктурализму. М., 2000. С. 207. Утверждения Барта есть интенсификация идей Аристотеля, высказанных в «Поэтике», о том, что есть большая разница между вещами, случившимися *propter hoc* и *post hoc*. Среди тех историков, кроме Фюре, кто связывал нарратив с логикой *post hoc, ergo propter hoc* были Лоуренс Стоун и Чарльз Тилли. (Lawrence Stone. Social Change and Revolution in England, 1540–1640. London, 1965. P. XXII; Charles Tilly. As Sociology Meets History. New York, 1981. P. 90.)

чин и следствий. Короче говоря, он придерживается такой же точки зрения о нарративе, какую мы находим у Ли Бенсона и Э. Карра об историографии. Таким же образом он предлагает считать нарратив, в сущности, объяснительным феноменом.

Другую каузально-объяснительную конструкцию нарратива можно найти в работе американского философа Мортона Уайта. В своей книге «Основания исторического знания» (1966) Уайт утверждал, что «нарратив состоит, прежде всего, из единичных объяснительных утверждений» и что история – это «логическое соединение утверждений, большинство из которых являются единичными каузальными утверждениями». Мортон Уайт отличал историю от хроники, которая есть «соединение некаузальных единичных утверждений». Он, таким образом, усложнил существо дела явным допущением того, что история может содержать элементы хроники и все еще оставаться историей: вот почему исторический нарратив только «главным образом» каузальный или объяснительный феномен¹. Но он не продолжил исследование того, какое воздействие структура хроники могла бы оказать на исторический нарратив. ИмPLICITно он рассматривал хронику как «просто хронику» так же, как историческая «дескрипция» имеет тенденцию переносить на себя облик «простого описания». Подлинная история каузально-объяснительна.

Формулировка этой идеи, данная Бартом и Фюре, легко может быть подвергнута эмпирической проверке, так как она проясняет утверждение о вещах, которые мы называем нарративами. Нарратив, как предположил Барт, путает следствие и следствие, заставляя нас рассматривать то, что происходит «после» X как «причиненное» X. Это действительно будет иметь место, если нарратив есть цепь уста-

¹ Morton White. *Foundations of Historical Knowledge*. New York, 1965. P. 4, 14, 222–225, кавычки на С. 4, 223, 222.

новленных причин и следствий – *A* причиняет *B* причиняет *C* причиняет *D* и т. д. Если нарративы на самом деле приглашают читателей приравнять следование к следствию, *post hoc* к *propter hoc*, то из этого следует, что нарратив функционирует как цепь причин и следствий. Далее, если дело обстоит так, то нарратив будет адекватно понят только в терминах категории объяснения. Наоборот, если мы не находим *post hoc, ergo propter hoc* ошибкой, заметной в имеющихся нарративах, то это предполагает необходимость пристального внимания к не-объяснительным элементам в нарративе, что поощряет дистинкцию «подробный пересказ/объяснение».

Но, оказывается, случаи каузально-темпоральной путаницы в нарративе найти довольно трудно. Безусловно, для несколько неожиданной сферы нарративности – кинематографа – предположение Барта весьма иллюстративно; например, оно проливает свет на то, как зрители открывают смысл действия фильма. Когда камера сначала показывает как один человек направляет куда-то оружие и стреляет, а на звук выстрела показывает другого человека, падающего на землю и лежащего неподвижно, бывалые зрители обычно предполагают, что второй человек упал на землю не только после выстрела, но также и из-за выстрела. Но кинематограф – это некоторым образом особый случай нарратива, там обычно нет голоса нарратора, сообщающего нам историю; вместо этого просто предполагается, что фильм показывает историю. В результате кино, вероятно, очень сильно зависит от согласованности каузальных связей, устанавливаемых зрителем¹. В беллетристике трудно

¹ Как заметил Сеймур Чатман, «фильмам требуются особые усилия, для того чтобы подтвердить свойство или отношение» (*Seymour Chatman. What Novels Can Do That Films Can't [and Vice Versa]* // In: *W. J. T. Mitchell, ed. On Narrative. Chicago, 1981. P. 117–136, особенно P. 124*).

найти случаи каузально-темпоральной путаницы в отсутствие нарратора определенного типа – того, кто, возможно из стилистической склонности к паратаксису, предпочитает намекать на каузальные отношения, вместо того чтобы напрямую их устанавливать¹. Беллетристика, таким образом, ясно дает понять, что каузально-темпоральная путаница не является обязательной частью фикционального нарратива, но проистекает, вместо этого, из принятия нарратором специфического стиля повествования. Что касается историографии, то можно ясно показать, в противоположность Фюре, что здесь каузально-темпоральная путаница возникает не из самого акта повествования, а из лакун в аргументации или доказательстве, – третьем, кроме подробного пересказа и объяснения, аспекте исторического исследования.

Коротко говоря, эпистемологические и методологические упущения со стороны историков, а не проблема, свойственная нарративу, ведут к ошибкам *post hoc ergo propter hoc*. Рассмотрим следующий пассаж Натана Розенберга и Л. Бердзеля-младшего из работы «Как Запад стал богатым»: «Легко представить себе предприятия, основанные компаньонами, которые учились доверять друг другу на войне или на море, как это довольно часто случается и в наше время. (Поколение, которое воевало на американской

¹ Например: «Он непрерывно курил в течение недель. Его десны кровоточили от малейшего прикосновения кончика языка» (*J. D. Salinger For Esmé – With Love and Squalor // Salinger. Nine Stories. New York, 1983. P. 104*). Обратите внимание на то, насколько неустойчива здесь «путаница»: будет достаточно добавить «потому что» («потому что он непрерывно курил в течение недель»), чтобы уничтожить ее. О различии между паратактическим стилем, который не разъясняет разрядов и отношений, и гипотактическим стилем, который это делает см.: *Richard A. Lanham. Analyzing Prose. New York, 1983. P. 33–52*.

Гражданской войне, например, в двадцать лет, в сорок изобрело не основанную на родстве собственников модель предприятий – современную индустриальную корпорацию.)»¹ Во втором предложении, в скобках, Розенберг и Бердзель делают два различных утверждения. Они прямо сообщают нам, что изобретение современной индустриальной корпорации следовало за опытом Гражданской войны. В то же время они намекают на то, что изобретение современной индустриальной корпорации было вызвано опытом Гражданской войны. Неопытные читатели вполне могут не найти ничего неправильного в этой подмене намека утверждением. Но у хорошо обученных профессиональных историков, столкнувшихся с таким пассажем, возникнут подозрения и вопрос о свидетельстве. Например, сколько людей – основателей модели современной индустриальной корпорации – фактически принимали участие в Гражданской войне? Насколько четко может быть установлена связь между таким опытом и основанием, спустя два десятилетия после указанных корпораций? Какие другие факторы могли бы вызвать развитие таких корпораций? Каузально-темпоральная путаница в этом тексте не имеет никакого отношения «к специфической логике» нарратива. Она следует из отказа твердо придерживаться молчаливого правила профессиональной историографии воздерживаться от неоднозначных утверждений. Здесь очевидна ошибка в аргументации, а не проявление внутренней природы нарратива.

Подводя итог: нарратив сам по себе не есть сциентистски дискредитируемое применение ошибки *post hoc, ergo*

¹ Nathan Rosenberg, L. E. Birdzell, Jr. *How the West Grew Rich: The Economic Transformation of the Industrial World*. New York, 1986. P. 125.

*propter hoc*¹. Но это не удивительно. Удивительно то, что взгляд, которому противоречит чтение работ практически каждого хорошего историка-нарративиста, например Фукидида, принимается без серьезных возражений. Возможно, это указывает на силу пристрастия историков к объяснению. Социолог Артур Стинчкомб предположил, что «в истории принято в качестве профессионального стиля (в отличие от стиля восхваляющего или проклинающего...), что нормальный лингвистический результат должен заставить нарратив *казаться* каузальным»². Полагая нарратив чем-то бóльшим, чем каузальное утверждение, мы обязаны проявить внимание к тому, что является в нем иным, не-каузальным утверждением.

* * *

Попытка Фюре отрицать статус нарративной истории как легитимной формы производства знания тесно связана с дистинкцией нарративная история/«проблемно-ориентированная история». Но не Фюре установил эту дистинкцию: она была предложена Фернаном Броделем в том же 1949 году, когда появилось первое издание его «Средиземноморского мира». Таким образом, дело не в одном Фюре: речь идет о научной мифологии, которая долго осеняла так

¹ После того как я закончил анализ понимания Фюре исторического нарратива в контексте логики *post hoc, ergo propter hoc*, я обнаружил, что философ У. Дрей также критикует Фюре по этому и другим пунктам. W. H. Dray. Narrative versus Analysis in History // J. Margolis, M. Krausz, R. M. Burian, eds. Rationality, Relativism and the Human Sciences. Dordrecht, 1986. P. 23–42, 26.

² A. Stinchcombe. Theoretical Methods in Social History. P. 13. Конечно, как будет видно далее из моей аргументации, стиль – это только часть истории. Объяснительный уклон проистекает более широко из определенного взгляда на науку, из определенных метафор, из прагматических целей в социальных науках, а также, возможно, из других влияний. Историография не существует в изоляции от других интеллектуальных и социальных практик.

называемую французскую школу «Анналов». В рецензии на книгу Шарля-Анри Жюльена «*Les Voyages de découverte*», Бродель четко сформулировал разницу между *histoire-récit*, которая «слишком часто скрывает подоплеку экономических, социальных и культурных фактов» и *histoire-problème*, которая «погружается глубже [*plonge plus loin*] событий и людей, это история, схваченная в пределах ясно поставленной животрепещущей проблемы или ряда животрепещущих проблем, и ей подчинено все, что воспоследует, радость пересказа [*raconter*] или возвращения прошлого к жизни, восхищение превращением великого мертвого сна в живого»¹. Как мы должны характеризовать *histoire-problème*, которую рекомендует Бродель? Ответ предложен Дж. Хекстером в остроумно пародирующей Броделя статье. Хекстер справедливо идентифицирует *histoire-problème* как историю, в которой выяснение вопроса «Почему?» – в смысле «Что стало причиной этого?» – является ключевым в сознании историка. Короче говоря, это история, которая ищет объяснений. Как пример *histoire-problème* Хекстер цитирует статью Эдмунда Моргана «Проблема занятости в Джеймстауне в 1607–1618 гг.», которая имеет целью ответить на вопрос почему в колонии, которая в 1611 году была на грани вымирания, колонисты занимались «своей ежедневной и обычной работой, играли в шары на улицах», вместо того чтобы выращивать урожай, необходимый для сохранения их жизней².

¹ *Fernand Braudel. La double Faillite 'coloniale' de la France aux XVe et XVIe siècles // Review of Charles-André Julien, Les Voyages de découverte et les premiers établissements, XVe et XVIe siècles. Paris, 1948; Annales: Économies, Sociétés, Civilisations. Vol. 4. 1949. P. 451–56, at 452, 453.*

² *J. H. Hexter. Fernand Braudel and the Monde Braudellien... // Journal of Modern History. Vol. 44. 1972. P. 480–539, at 535–538; обсуждение работы: Edmund S. Morgan. The Labor Problem at Jamestown, 1607–1618 // American Historical Review. Vol. 76. June 1971. P. 595–611.*

Хекстер был вынужден обратиться к Моргану в поисках примеров такого вида вопросов, которые формулирует *histoire-problème*, потому что «Средиземноморье и Средиземноморский мир» не являются таковыми.

Во-первых, нет никакого единственного фундаментального каузального вопроса, который ставит эта работа. Например, в ней не спрашивается «Что стало причиной появления “средиземноморского мира”?» Конечно, даже одна мысль об этом вопросе, заставляет признать чрезвычайную трудность ответа на него. Что же можно тогда сказать о каузальных вопросах более определенного свойства? Хекстер цитирует три варианта вопросов: «Почему в Средиземноморье к концу XVI столетия процветал бандитизм?»; «Чем объясняется значительный приток христианских вероотступников на службу в Турцию и в берберские государства?»; «Почему испанцы в конечном счете вытеснили морисков?»¹ Таких вопросов на самом деле гораздо больше, но рассмотренные в отношении к работе в целом – около полутора тысяч страниц в английском переводе – они играют относительно незначительную роль и появляются периодически. Можно прочесть до нескольких страниц, даже до дюжины или более, и не натолкнуться на ответ (или даже на вопрос) «почему?». Потом вдруг появляется вопрос и, возможно, ответ. Но нет ощущения, что объяснение, предложенное или только востребованное, так или иначе определяет общую форму текста. Объяснения кажутся вписанными во что-то намного большее, что не является объяснением. Например, в первых трех разделах первой главы первой части, которые занимают до шестиде-

¹ *Hexter. Fernand Braudel and the Monde Braudellien. P. 535.*

сяти страниц английского текста, я нахожу только три ясных случая вопросов, в которых ищутся объяснения¹. Хотя в других местах книги Бродель формулирует такие вопросы немного чаще, ранние разделы не так уж нетипичны².

Во-вторых, дело не просто в неравномерности, с которой Бродель предлагает объяснения, но также и в диапазоне предлагаемых объяснений. Связь между объяснением и метафорами вертикальности уже была отмечена. Метафоры очевидно присутствуют в причудливом взгляде Броделя на то, что существуют три исторических уровня: поверхностный, стремительный, легко видимый уровень событий; более глубокий и медленнодвигающийся уровень конъюнктуры; и самый глубокий геоисторический или структурный уровень, который едва ли движется вообще и чье воздействие на человеческую историю легко упускается из

¹ *Fernand Braudel. The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II / Trans. Sian Reynolds. 2 vols. New York, 1966. Т. 1. Р. 77, 82, 83; русск. изд.: Бродель Ф. Средиземное море и Средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. М, 2002. Ч. 1. Роль среды. Гл. 1. Полуострова: горы, равнины, плоскогорья. С. 33–96.*

² Замечание терминологического порядка. Бродель часто использует слово «объяснение» в широком смысле – «разъяснить». Он в «Средиземном море и средиземноморском мире» явно смешивает понятия *expliquer* (объяснить) и *éclairer* (прояснить). (*La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II. Paris, 1949. Р. 307.* Этот пассаж во введении к Ч. 2 пропущен во 2-м изд.) Соответственно, когда Бродель использует термин «объяснение», он не всегда подразумевает его в том смысле, в котором этот термин здесь принят. Одно место, где, кажется, он имеет в виду «разъяснение» без специальной референции к каузальности, имеется в предисловии к 1-му изданию «Средиземноморья и средиземноморского мира»: «Эта книга состоит из трех частей, каждая из которых представляет собой самостоятельный очерк в общем объяснении». Русск. изд.: Бродель Ф. Средиземное море... С. 20.

виду¹. Кроме того, он принимал вызов, предлагаемый историку этим причудливым образом, требующим объяснения через соединение одного уровня с другим. Наиболее явно эта цель сформулирована им в конце предисловия ко второму изданию, а также в его рецензии на работу Жюльена. Но как замечал каждый серьезный комментатор «Средиземного моря и средиземноморского мира», Бродель сам не сумел соединить указанные уровни. Хекстер отметил, что *histoire-probleme* предлагает решение проблемы «соединения события, конъюнктуры и структуры»². Но решение было отвергнуто Броделем – настолько, что социолог Клод Лефорт, рецензируя «Средиземноморье» в 1952 г., увидел в этом «страх каузальности»: «Осуждение каузальной связи приводит [Броделя] к пуантилизму, который, кажется, противоречит социологическому духу работы»³.

Сам Бродель, вероятно, признавал, что «Средиземноморье» не соответствовало идее *histoire-probleme*. В новом предисловии к третьей части, написанном для второго издания, он предположил, что недавние исследования сделали возможным для историков выбирать из «двух достаточ-

¹ См.: *Samuel Kinser*. Annaliste Paradigm? The Geohistorical Structuralism of Fernand Braudel // *American Historical Review*. Vol. 86. 1981. P. 63–105, 83 and passim. Бродель изменил характеристику первого и второго уровней в промежутке между первым и вторым изданиями «Средиземноморья». При этом Бродель не всегда придерживается идеи трех уровней в истории. Но эти несообразности не являются предметом моего обсуждения.

² *Hexter*. Fernand Braudel and the Monde Braudellien. P. 535.

³ *Claude Lefort*. Histoire et sociologie dans l'oeuvre de Fernand Braudel // *Cahiers internationaux de sociologie*. Vol. 13. 1952. P. 122–131, at 124. О несвязанности броделевских уровней см. также: *Bernard Bailyn*. Braudel's Geohistory – A Reconsideration // *Journal of Economic History*. Vol. 11. 1951. P. 277–282, at 279; *H. Stuart Hughes*. The Obstructed Path: French Social Thought in the Years of Desperation. New York, 1968. P. 58–59.

но хорошо сложенных «цепочек» в реконструкции прошлого – цепочки экономических событий и конъюнктур и цепочки политических событий. Полностью объяснительная история, вероятнее всего, редуцировала бы одну цепочку к другой. Но он продолжал утверждать, что «для нас всегда будут существовать две цепочки – не одна» [2, p. 902]. В этом же самом предисловии он обращается к «почве истории», которой является география, и затем сразу же предполагает, что «метафора песочных часов, вечно обратимых», была бы «подходящим образом» этой работы [2, p. 903]. Короче говоря, он сам произвел деконструкцию метафоры вертикальности, которая сопутствовала его понятию *histoire-probleme*.

К какому же жанру тогда принадлежит «Средиземное море и средиземноморский мир», если не к профессиональному жанру *histoire-probleme*? Следуя самому Броделю [2, p. 1238], Хекстер предположил, что это – «тотальная» или «глобальная» история¹. Эта характеристика требует пояснения. В другой важной работе из корпуса литературы о Броделе Ханс Келлнер показал, что общие устремления (неизбежно невыполненные) «Средиземноморья» помогают идентифицировать его как «анатомию» или «мениппеанскую сатиру». В значительном и вдумчивом исследовании этой литературной формы (лучшей из известных иллюстраций которой, возможно, является «Анатомия меланхолии» Роберта Бартона), Нортроп Фрай отметил некоторые из ее наиболее поразительных особенностей: она вовлечена в «разбор или анализ»; она «гибка»; она обнаруживает «существенные неувязки»; и она способна, через «накопление огромной массы эрудиции», превратиться «в энциклопедическую мешанину», с которой «не так уж не

¹ Hexter. Fernand Braudel and the Monde Braudellien. P. 530; см. также P. 511.

связан инстинкт сороки собирать факты»¹. Даже тот, кто только перелистывал «Средиземноморье», должен почувствовать подобное ощущение. Но анатомия, как также указал Фрай, есть «гибкая форма *нарратива*», показывающая «существенные неувязки в общепринятой логике *нарратива*»². Короче говоря, «Средиземное море и средиземноморский мир» есть работа в жанре нарративной истории.

Было бы преуменьшением сказать, что «Средиземноморье» обычно не рассматривается как нарратив. Но это потому, что «нарратив» обычно понимают как, цитируя Лоуренса Стоуна, «организацию материала в хронологически последовательном порядке»³. Стоун следует почтенной традиции. Его определение нарратива проистекает из «Поэтики» Аристотеля, где отдается пальма первенства сюжету (*mythos*) над другими составляющими элементами трагедии⁴. Но если, как это обычно делается, мы употребляем слово «сюжет», имея в виду последовательность действий в какой-то работе, понятие сюжета фокусируется только на одном аспекте нарратива. «Действие» подразумевает агента действия, а он также подразумевает наличие ситуации, в которой действие совершается. Соответственно, для того чтобы выдержать «хронологически последовательный порядок», указанная черта нарратива произвольно исключает

¹ *Hans Kellner. Disorderly Conduct: Braudel's Mediterranean Satire (A Review of Reviews) // History and Theory. Vol. 18. 1979. P. 197–222; переиздано в: H. Kellner. Language and Historical Representation: Getting the Story Crooked. Madison, Wis., 1989. P. 153–187; Northrop Frye. Anatomy of Criticism: Four Essays. Princeton, NJ., 1957. P. 308–314.*

² *Frye. Anatomy of Criticism. P. 309, 310.*

³ *Stone. Revival of Narrative. P. 3*

⁴ *Aristotle. Poetics. 1450 a 2–17 // Aristotle. «Rhetoric» and «Poetics». P. 231. Даже при том, что, строго говоря, поэтика исследует драму, а не нарратив (репрезентацию на сцене, а не повествование), ее влияние далеко превышает такие различия. Русск. изд.: *Аристотель. Поэтика // Аристотель. Соч.: В 4-х т. Т. 4. М., 1984. 1450 а 6. С. 652.**

ется. Безусловно, «традиционная» историография имеет тенденцию сосредоточиваться на действии, и последовательность истории часто рассматривается как история действий – как *historia rerum gestarum*. Но мы не можем позволить себе считать, что только один аспект нарратива определяет нарратив в целом.

Столетие назад Генри Джеймс подверг сомнению «старомодное различие между романом о герое и романом о событии»¹. Различие между этими двумя крайностями – вопрос степени, а не вида. Мы можем вообразить континуум, простирающийся от быстро сменяющих друг друга сюжетных эпизодов (как, например, в некоторых полицейских телевизионных сериалах) к романам, скажем, Генри Джеймса. Но различие между эпизодом и персонажем в дальнейшем должно быть разрушено. Основываясь на российской формалистической традиции, теоретик нарратива Сеймур Чатман установил дистинкцию действия (*осуществленного* агентом) и события (*столкновение* персонажей). Далее следует установить различие между героем (который действует) и историческим окружением (которое складывается). Взаимодействие этих четырех элементов производит нарратив. Два элемента (действие и событие) *происходят*; другие два (герой и окружение) *просто существуют*. Первые два мы можем называть «событиями»; последние два (изобретая термин) – данностями («*existents*»). (Конечно, данности могут и возникать, но это не отрицает различия между появлением какой-либо данности, которое подпадает под наименование события, и этой данностью как таковой.) Акцент на одном из этих четырех необходимых элементов отвлекает внимание от других.

¹ *Henry James. The Art of Fiction (1884, 1888) // James. The Art of Criticism: Henry James on the Theory and the Practice of Fiction. Eds. William Veeder, Susan M. Griffin. Chicago, 1986. P. 174.*

Эту идею можно выразить посредством формулы:

$$(AH) \times (CS) = k$$

(действие, помноженное на случай [т. е. «событие»], умноженное на героя и умноженное на окружение [т. е. «данность»] равняется некоторой константе)¹. Простой традицией, если не бессознательным предубеждением, является настоящая идентификация нарративной истории с действиями и событиями, ведь герои и среда также могут служить фокусами нарратива в том виде, в каком он здесь определен.

Следовательно, ключевой вопрос для решения, правильное ли будет рассмотреть некую данную работу как пример нарративной истории, не есть вопрос о том, «организован ли текст в хронологически последовательном порядке?». Скорее, это вопрос о том, «насколько заметны в тексте элементы нарратива?». В «Средиземном море и средиземноморском мире» они действительно заметны, даже при том, что только третья часть, имеющая дело с «блестящей поверхностью» [2, р. 903], составленной политическими событиями, организована хронологически. Коротко говоря, «Средиземное море и средиземноморский мир» – это работа в жанре нарративной истории, которая (кроме третьей части) фиксирует внимание не на событиях, а на данностях (*existents*). Бродель превратил историческое окружение, разделы и подразделы этого окружения в об-

¹ См.: *Seymour Chatman. Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film. Ithaca, NY, 1978. P. 19, 32, 34, 44–45, 96–145.* Моя формула – это расширение предложенной Уоллисом Мартином (в работе: *Wallace Martin. Recent Theories of Narrative. Ithaca, NY, 1986. P. 117–118*), который, в свою очередь, был вдохновлен весьма отличной от нее формулой Жерара Женетта (*Gérard Genette. Narrative Discourse // An Essay in Method. Trans. Jane E. Lewin. Ithaca, NY, 1972. P. 166*).

ширную коллекцию персонажей. Вместе эти персонажи составляют единственного, всеобъемлющего героя, которым и является само «Средиземное море и средиземноморский мир».

Многие из комментаторов Броделя указывали на его склонность к персонификации. В одной из ранних рецензий Люсьен Февр заметил, что Бродель придал «Средиземноморью» «достоинство исторического персонажа». Хекстер находил, что Бродель населял *longue durée* «не-человеческими персонами – географическими объектами, особенностями ландшафта»; города имеют намерения; Средиземноморье – главный герой; даже столетия персонифицированы. Кинзер отметил что Бродель обращался с пространством как с «человеческим актором, энергично и быстро меняющим костюмы»¹. Но нам нет нужды зависеть от комментаторов, ведь сам Бродель высказывался определенно о том, что он делал. Рассмотрим следующий пассаж в предисловии к первому изданию: «Его герой сложен, громоздок, неординарен, он не укладывается в привычные рамки. Обычный стиль историописания – “такой-то родился тогда-то” – к нему не подходит; к этому герою неприменим добросовестный рассказ о событиях, как они происходили... Итак, нам затруднительно в точности определить, что за исторический персонаж Средиземноморье...»². «Средиземное море и средиземноморский мир» лучше всего рассмотреть поэтому как масштабный анализ героя, в ходе которого Бродель разбил «Средиземноморье», начинавшееся как анализ недифференцированного единства, на его

¹ Lucien Febvre. Un livre qui grandit: La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II // Revue historique. Vol. 203. 1950. P. 218; Hexter. Fernand Braudel and the Monde Braudellien. P. 518–519; Kinser. Annaliste Paradigm? P. 67–68.

² Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. Ч. I. М., 2002. С. 15–16. – Прим перев.

конститутивные части, демонстрируя возрастающее внимание в ходе всей книги к процессам жизни людей, проходившим в пределах этого геоисторического пространства. К концу работы «Средиземноморье» стало грандиозным дифференцированным целым. Мы знаем: «Средиземноморье говорит многими голосами; оно – сумма индивидуальных историй», – как написал Бродель в предисловии к английскому изданию (1972) [1, р. 13]. «Средиземноморский мир» сообщает нам, чем было Средиземноморье тогда и, до некоторой степени, чем оно все еще остается сейчас. Объяснения Броделя являются вкладом в этот итог. Его работа – это обширный подробный рассказ, в который объяснения вкраплены как булавки в булавочную подушку. И эта работа также представляет собой обширный нарратив, хотя больше все-таки анализирующий нарратив о герое, чем последовательный нарратив действия.

* * *

Сила и импликации рассматриваемой в этой главе дистинкции описание/объяснение и их демонстрация того, что работа Броделя «Средиземноморье» фактически является нарративом, вероятно, могли быть неправильно истолкованы многими читателями. Некоторые из них, возможно, помнят о более ранней, сильно отягощенной политическими пристрастиями полемике по поводу желательности или нежелательности «нарративной истории»¹. Другие же читатели будут склонны неверно рассматривать мою критику *априорно* отдаваемого позитивизмом предпочтения объяснению по отношению к дескрипции как, некоторым обра-

¹ Для короткой справки с необходимыми отсылками см.: Novick. *That Noble Dream*. P. 622–623. Защиту «традиционной истории» против, главным образом, не-нарративной социальной истории см.: *Gertrude Himmelfarb*. *The New History and the Old: Critical Essays and Reappraisals*. Cambridge, Mass., 1987.

зом, отрицание легитимности и важности объяснительных усилий историков. Наконец, ряд читателей могут неправильно истолковать характер дистинкций, рассматриваемых в эссе. Эти дистинкции *концептуальны*, они имеют целью внести ясность в размышления об историческом исследовании и историописании. Сказать, что различие может быть сделано в мысли, не значит сказать, что различаемые подобным образом элементы обязательно будут ясно обозначены в практической работе. Фактически, различие между описанием и объяснением частично выстраивается самим читателем, но это не опровергает их реальности, потому что активное взаимодействие читателя с текстом является необходимым условием понимания этого текста.

Как предполагалось в начале этой главы, описание и объяснение – всего лишь две из четырех главных задач историографии.

Описание некоторого аспекта исторической реальности – рассказ о том, что имело место – является первой задачей. Работа, в которой эта цель доминирует, неизбежно будет организована в форму нарратива, как она определена здесь, т. е. исторические действия, события, герои и окружения будут играть (но в разных пропорциях) видную роль в тексте.

За описанием следует *объяснение* некоторого аспекта исторической реальности. Если главной задачей историка становится объяснение, работа, сконцентрированная на связи *эксплананса* и *экспланандума*, может существенным образом отклоняться от формы нарратива (хотя нарратив допускает объяснения).

Третье – утверждения историка, что его или ее дескрипции и объяснения истинны: в противном случае, мы традиционно воспринимали бы этого ученого как кого-то иного, но не как историка. Таким образом, историческое исследование имеет третий аспект, а именно *аргументацию* или *обоснование*. Исторiku можно уклониться от репрезентации, так сказать, первого порядка: он или она мо-

гут считать, например, что таких репрезентаций, предлагающих в каждом случае некоторую комбинацию описания и объяснения, вполне хватает. В таком случае историк должен сосредоточиться на обосновании конкретной репрезентации прошлого, противоположной одной или множеству других репрезентаций. Здесь исследование историка имело бы форму дескриптивной аргументации. В качестве альтернативы историк мог бы сосредоточить внимание на «источниках»; тогда описание и объяснение снова отступили бы на второй план, поскольку историк сосредоточился бы на комментировании или анализе текстов источников. Здесь исследование историка стало бы во многом подобно литературной критике. В обоих случаях предложения *нарратива* о прошлом отошли бы в тень, а *элементы* нарратива (герой, действие, окружение и событие) скорее предполагались бы, чем подробно прописывались.

Наконец, историк обязательно *интерпретирует* прошлое, так как он или она рассматривает его из конкретной перспективы настоящего и адресует свои работы людям в настоящем или будущем. Перспектива пронизывает все, что историк пишет: мы не имеем доступа ни к какому *regard de fin du monde*, и даже если бы имели, то это была бы только одна интерпретация среди других, – интерпретация Бога, отличная от всех остальных. Поскольку историческое исследование с необходимостью написано из перспективы настоящего, оно всегда касается значения исторической реальности для людей, живущих сейчас и для людей в будущем, даже если оно явным образом отрицает, что имеет какой-либо подобный интерес¹. Если степень

¹ Тонкие размышления об отношениях прошлого и настоящего с точки зрения историка см.: J. H. Hexter. The Historian and His Day // Hexter. Reappraisals in History. Evanston, IL, 1961. P. 1–13. Хекстер подчеркивает, что нет никакой единственной перспективы в настоящем, из которой пишет историк. Он также подчеркивает способность профессионального историка погружаться в документы прошлого.

заинтересованности прошлым становится доминирующей, историк становится не просто историком, но также и общественным или интеллектуальным критиком. Здесь историческое исследование может также перестать быть прежде всего нарративом о прошлых событиях и данностях.

Необходимо учитывать границы категориальной схемы. Идея состоит не в том, что эти категории достаточны, для того чтобы дать основу для *полного* анализа работ по истории, но только в том, что они составляют карту важных измерений историографического предприятия.

Рассмотрим следующую последовательность выдержек из учебника истории для первокурсников колледжа, который, как в обычных дефинициях, так и в дефинициях, предложенных выше, является примером нарративной истории.

1. В 1839 году Англия, наряду с другими великими державами, подписала договор, гарантирующий нейтралитет Бельгии.

2. Немцы планировали напасть на Францию через Бельгию.

3. Они требовали от правительства Бельгии разрешения на проход войск через ее территорию...

4. Бельгия отказалась...

5. Легионы кайзера начали переходить через границу [так или иначе].

6. Британский министр иностранных дел немедленно выступил в парламенте и заявил, что его страна готова к защите международного права и малых наций.

7. Британский кабинет послал ультиматум Берлину, требуя, чтобы Германия уважала нейтралитет Бельгии и чтобы немцы дали удовлетворительный ответ к полуночи.

8. Министры кайзера не дали никакого иного ответа, кроме как о необходимости военной операции.

9. Как только часы пробили полночь, Великобритания и Германия оказались в состоянии войны¹.

Каждое из этих девяти утверждений сообщает о том, что произошло. Но, взятые все вместе, они представляют собой нечто большее, чем только последовательность дескрипций, поскольку они предлагают ответ на вопрос, имеющий целью объяснение того, «почему Англия вступила в войну против Германии?». Как только читатель пройдет через эти дескрипции, он или она увидит, что текст также предлагает и объяснение. (Одна из трудностей, с которой сталкиваются слабые студенты в чтении таких учебников, заключается в их неспособности осуществить этот переход.)

Объяснение зависит от описания. Объяснить, как мы здесь определили, значит дать ответ на вопрос: «Что стало причиной этого?». Чтобы задать такой вопрос, мы нуждаемся в фиксации «этого». Поэтому вопрос «Что произошло?» является основным: он предшествует вопросу по поводу объяснения. Но предлагаемые объяснения сами по себе будут подробным пересказом того, что произошло. Предположим, что аудитория должна получить элементарное представление, скажем, о Французской революции. Аудитории предложили схему революции: что она началось во Франции в 1789 году с заседания Генеральных Штатов; что ее первым важным символическим событием была клятва в зале для игры в мяч; что Генеральные Штаты вскоре стали Национальным собранием; что далее последовал штурм Бастилии; что была война и террор и так далее. Как часть этого пересказа будут предложены объяснения исторических событий и данностей. Объяснения, од-

¹ *Edward McNall Burns, Robert E. Lerner, Standish Meacham. Western Civilizations: Their History and Their Culture. 10th edn. New York, 1984. P. 927–928.*

нажды принятые аудиторией как убедительные, станут частью созданной ею картины того, что произошло, и, таким образом, частью репрезентации прошлого. Но картины того, что произошло, всегда делают возможными дальнейшие вопросы объяснительного характера. Эти дальнейшие объяснения, если они принимаются как убедительные, включаются в картину того, что произошло, и создают возможность задать еще больше вопросов в поисках объяснения.

Соответственно, то, что считается объяснением в одном контексте, легко может выступить как подробный пересказ в следующем. Этот процесс подобен завоеванию земли Зейдер-Зее. Во-первых, имеется та часть исторического представления, которую аудитория – безотносительно, состоит ли эта аудитория из любителей или из наиболее «продвинутых» историков-профессионалов – просто принимает как то, что имело место, не подвергая это (или не подвергая в дальнейшем) сомнению. Это схоже с землей, уже завоеванной Зейдер-Зее и теперь возделываемой. Во-вторых, существует та часть исторического представления, по поводу которой аудитория склонна задавать дальнейшие вопросы объяснительного характера. Этот процесс имеет сходство с существующей береговой линией Зейдер-Зее. Убедительные ответы на вопросы в поисках объяснения подобны насосам и плотинам, которые превратят эту часть земли в сухую почву – в то, что принимается в качестве того, что имело место быть. Существует еще одна часть – не знание, а неведение, – которая слишком далека от принятых интерпретаций, чтобы позволить на ее основе формулировать вопросы объяснительного характера, но которая может стать объектом объяснения в будущем. Здесь мы имеем в виду донные места земли Зейдер-Зее, все еще скрытые под водой. Наконец, нельзя забыть и о том, что есть обширное сообщество, внутри которого работают историки. Оно подобно Северному морю, чьи штормы могут

разрушить плотины и залить водой часть или даже все то, что было завоевано и гарантировано как место безопасного земледелия. Когда это случается, старые дескрипции и дополняющие их объяснения начинают казаться ошибочными, или если не невольно вводящими в заблуждение, то, по крайней мере, нерелевантными важным задачам настоящего и будущего. В ответ на отступление того, что когда-то казалось обладающим убедительностью, возникает необходимость пересмотра прошлого.

Все же, несмотря на все взаимосвязи описания и объяснения, различие между ними существенно и важно. Возьмем другой пассаж из того же самого учебника:

Возникновение Революции

Столкнувшись с серьезными вызовами центральной власти со стороны поднимавшей голову дворянской элиты так же, как со стороны основанных на народном недовольстве политических движений в восемнадцатом веке, только наиболее способный правитель, обладающий абсолютной властью, обладающий в равной мере административными талантами, личной решительностью и пронизательностью, мог надеяться править успешно. Французский король Людовик XVI не имел ни одного из этих талантов. Людовик вззошел на трон в 1774 году в возрасте двадцати лет. Он был полным благих намерений, но ограниченным и неспособным монархом...

Условия во Франции могли бы подвергнуть серьезному испытанию способности даже самого талантливого короля; поэтому для человека, обладающего личными недостатками Людовика XVI, эта задача была практически невыполнима. Три фактора, в частности, привели к взрыву, который произвела революция»¹.

¹ Burns, Lerner, Meacham. Western Civilization. P. 674.

Ясно, что на одном уровне этот пассаж предлагает дескриптивный пересказ – серию предложений о том, что, как полагают авторы, имело место во Франции в период, предшествующий Французской революции. Но на другом уровне авторы начинают предлагать объяснение того, почему, на их взгляд, революция произошла. Хотя различие между описанием и объяснением в исторических текстах не всегда очевидно, здесь налицо его отчетливый маркер, существующий в форме «контрфактического условного» или «контрфактического» высказывания. Как давно уже известно философам, утверждения о каузальной обусловленности предполагают существование контрфактического условного высказывания¹. Когда историк заявляет, что *C* стал причиной (привел, причинил, вызвал) *E*, то он или она одновременно подразумевает, что без *C* не было бы никакого *E* при всех прочих равных условиях². Сообщая нам, что «только наиболее способный правитель, обладающий абсолютной властью, обладающий в равной мере административными талантами, личной решительностью и проницательностью, мог надеяться править успешно», авторы указанного выше пассажа явно вводят условие контрфактичности, которое присутствует, по крайней мере неявно, во всем объяснении. Историки, остающиеся в неведении

¹ См. об этом, например.: Г. Х. фон Вригт. Объяснение и понимание // Логико-философские исследования М., 1986. С. 104–105. – Прим. перев.

² По этому поводу существует большая литература. Хорошее исследование представляет собой работа Peter Menzies. Counterfactual Theories of Causation // in the online «Stanford Encyclopedia of Philosophy» at: <http://plato-stanford.edu/entries/causation-counterfactual>. Accessed April 2006; хорошее собрание статей представляет John Collins, Ned Hall, L. A. Paul, eds. Causation and Counterfactuals. Cambridge, MA, 2004. Труд, в котором предпринята попытка связать контрфактическое обоснование с обоснованием в историческом исследовании, написан Jon Elster. Counterfactuals and the New Economic History // in his Logic and Society: Contradictions and Possible Worlds. Chichester, England, 1978. P 175–221.

относительно того, каким образом объяснение в его апелляции к контрфактическим условиям отличается от дескрипции, вступают на шаткую эпистемологическую почву.

Описание и объяснение не существуют по отдельности; скорее, они вмонтированы в четырехчленную матрицу, предложенную выше. Часто в историологических дискуссиях проводится различие между «нарративной» и «аналитической» историей. Но дихотомия нарратив/анализ слишком груба, чтобы внести вклад в понимание проблемы. «Средиземноморье» Броделя показывает, что некоторые нарративы весьма аналитичны, т. е. они участвуют в дифференцировании прежде недифференцированных объектов. И наоборот: в большой мере анализ происходит в (конвенционально) нарративной форме, придерживаясь «хронологически последовательного порядка»; например, модель нарратива в марксовой работе «Классовая борьба во Франции»¹. Термин «нарратив» весьма путано используется в современных теоретических дискуссиях, хотя причины путаницы мы здесь выявлять не будем. Что касается анализа, то он имеет место в весьма различных интеллектуальных контекстах, установленных четырьмя задачами дескрипции, объяснения, обоснования и интерпретации.

Мы уже видели, что анализ может проходить в дескриптивном контексте. Он имеет место также и в контексте объяснения: например, детальный анализ классовой структуры французского общества в 1848 году, проведенный Марксом, имеет целью объяснить, почему Французская революция 1848 года произошла таким образом. Наконец, анализ также осуществляется в контекстах обоснования и интерпретации. В первом случае результирующий фокус

¹ *Karl Marx. The Class Struggles in France: 1848 to 1850 // Karl Marx. Surveys from Exile / Ed. David Fernbach (Marx. Political Writings. Vol. 2. New York 1974. P. 35–142; русск. изд.: К. Маркс. Классовая борьба во Франции // К. Маркс, Ф. Энгельс. Собр. соч. Т. 7. С. 5–110.*

на текстах, на основе которых пишется история, вполне может заставить автора-исследователя быть больше литературным критиком, чем историком¹. В последнем случае, результирующий фокус на значении прошлого для настоящего вполне может заставить автора-исследователя ощущать себя больше социальным критиком и культурным комментатором, чем историком.

К дистинкции нарратив/анализ относится различие между «нарративной» и «проблемно-ориентированной» историей, которую Фюре развил из концепции Броделя. В работе «От нарративной истории к истории проблемно-ориентированной» Фюре, как кажется, изобразил вырывающуюся на свободу из нарративной истории историю «проблемно-ориентированную». Во введении к работе «В цехе истории» Фюре выражал сожаление по поводу того, что британский историк Франции Ричард Кобб «превращает историю в лабораторию для чисто экзистенциальных предпочтений». Ненавидя «идеи» и «интеллектуализм», Кобб превратил поиск знания «в страсть к беллетристическому нарративу». Не имея «интеллектуальных конструкций», он был социальным историком, для которого «существуют только индивидуумы». Его нарратив руководствовался симпатией к «жизни» того периода, который он описывал. Но, согласно Фюре, симпатия, которая стремится заменить собой «ясно формулируемый вопрос» как руководящий принцип исследования, «принадлежит сфере аффектации, идеологии или их комбинации». Таким образом, история а la Кобб «остается чисто эмоциональной», ошибочно акцентирующей «культурную дистанцию между наблюдателем и наблюдаю-

¹ См. обмен мнениями между James Smith Allen и Dominick la Capra (*American Historical Review*. Vol. 88. 1983. P. 805–807) по поводу работы: *La Capra. Madame Bovary on Trial*. Ithaca, N. Y., 1982.

даемым». Продуктом такой истории является «эрудиция», а не истинная, как нам дают понять, серьезность «проблемно-ориентированной истории, которая строит свои данные только на основе концептуально выводимых вопросов»¹.

Все же в своей неопозитивистской склонности к универсализируемой (или, по крайней мере, сопоставимой) истории, которая заменит существующее «разрастание истории путем новообразований»², Фюре скрывает тот факт, что в дорогих его сердцу «концептуальных» основаниях истории объяснение не может быть автономно. Более того, подобно многим сторонникам позитивистской традиции, он забыл, что объяснительные теории, которые, как он хочет, должны разворачивать историки, предполагают специфические интерпретирующие точки зрения, которые эти теории сами по себе не проясняют. Дескрипции (а также и объяснения) всегда предлагаются, исходя из определенной позиции и определенного мотива. Интерпретирующее измерение, таким образом, неизбежно. Первые слова «Средиземного моря и Средиземноморского мира» в этом отношении весьма выразительны: «Я всегда страстно любил Средиземное море»³. Слова Броделя столь же «эмоциональны», как что бы то ни было у Кобба, а его история настолько же «эрудированная». Эти факты могли бы быть восприняты как исключаяющие «Средиземноморье» из настоящих рядов дисциплинарной истории. В рецензии

¹ *Furet*. In the Workshop of History. Introduction. P. 13–20. Последняя цитата взята из версии Фюре к введению в работу «По ту сторону Анналов» (*Beyond the Annales // Journal of Modern History*. Vol. 55. 1983. P. 389–410, кавычки на стр. 409). В своей книге Фюре весьма рекомендовал «интеллектуалистскую историю, которая творит». (P. 20.)

² *Furet*. In the Workshop of History. P. 16.

³ *Braudel*. Mediterranean and the Mediterranean World. Vol. 1. P. 17; русск. изд.: *Ф Бродель. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II*. Ч. I. М., 2002. С. 15.

1953 года Бернард Бэйлин критиковал книгу Броделя за то, что это был, по его мнению, «изнуряющий механический труд», загубленный тем, что «не было никакой центральной проблемы, которую Бродель хотел исследовать»; за болезненное отсутствие «собственно исторических вопросов»¹. Но дело именно в том, что же составляет «надлежащий исторический вопрос»². Сосредоточиться только на объяснении – значит исключить эту проблему, и все же она постоянно возвращается.

Сказать, что объяснение предполагает описание, значит сказать, что оно предполагает наличие элементов нарратива. Но историография – это коллективное предприятие, и отдельный историк вполне может воздерживаться, в большей или меньшей степени, от пересказывания нарратива, который уже в значительной степени известен. Действительно, такое воздержание часто бывает необходимо, если историческое знание нуждается в развитии. В той степени, в какой базовый нарратив не пересказывается, но предполагается, элементы нарратива будут иметь тенденцию существовать в фоновом режиме. В этих случаях наблюдается подлинный отход от нарративной истории. Таким образом, отрицая противопоставление нарратива и анализа, я не делаю пустого жеста объявления всей истории историей нарративной.

¹ *Bailyn. Braudel's Geohistory – A Reconsideration*. P. 279, 281.

² См.: *Bernard Bailyn. The Challenge of Modern Historiography // American Historical Review*. Vol. 87. 1982. P. 1–24, особенно с. 5: «Броделевское “Средиземноморье”... должно быть известно... своей исторической структурой, которая лишает историю жизни. Ведь суть и драма истории именно в бурлящих и непрерывных отношениях между *основными условиями* (курсив мой. – А. М.), которые устанавливают границы человеческого существования, и повседневными проблемами, с которыми люди сознательно борются». Откуда Бэйлин *знает*, что именно в этом «сущность и драма» истории? И как он может знать, какие условия являются *основными*?

Историк, который наиболее прозрачен в этом вопросе – Алексис де Токвиль. Возьмем начало работы «Старый порядок и революция»: «Эта книга не является историей [*histoire*] Французской Революции, чья история (*story*) [*histoire*] оказалась для меня настолько потрясающе рассказанной, что я не могу и помыслить рассказать ее вновь. Это – только изучение Революции»¹. Токвиль верен своему слову. Снова и снова в «Старом порядке и революции» он обращается к историческим событиям и данностям, не пересказывая их в деталях, полагаясь вместо этого на знание читателя о них. Его относительное пренебрежение пересказом дает ему свободу продвигаться вперед по трем остающимся фронтам. Во всеоружии он приступил к вопросу объяснительного характера «Что стало причиной революции?»². Особенно явно он выступал против той репрезентации революции, которая рассматривала ее, по сути, как атаку на религиозную и политическую власть. Так же точно он высказался об интерпретирующем аспекте своей книги и о социальной критике, которую она предлагает. Как он отмечал, «я никогда полностью не терял из виду наше современное общество». Таким образом, среди прочего, он стремился выдвинуть на первый план «те мужские

¹ *Alexis de Tocqueville. The Old Regime and the Revolution.* / Ed. François Furet, Françoise Mélonio. Trans. Alan S. Kahan. 2 vols. Chicago, 1998–2001. Vol. 1. P. 83 (Preface); *Tocqueville. L'ancien Régime et la Révolution* / Ed. Françoise Mélonio. Paris, 1988. P. 87; русск. изд.: *Токвиль А. де. Старый порядок и революция.* М., 1997.

² См. его утверждение в предисловии о том, что «целью его книги» было понять, «почему эта великая революция... разразилась во Франции» и «почему она была столь естественным продуктом того общества, которое она собиралась уничтожить». Обратите также внимание на его последнюю главу «Как Революция произошла естественным путем из того, что ей предшествовало». (*Tocqueville. The Old Régime and the Revolution.* P. 85, 241–247.

доблести, которые более всего необходимы в наши времена и которые почти исчезли»¹.

* * *

Интеллектуальный историк, ассоциируемый с поворотом поздних 1980-х к «новой культурной истории» (см. главу VII настоящего издания), однажды предположил, что интеллектуальная история «должна обратиться к проблеме объяснения того, почему некоторые значения возникают, сохраняются и разрушаются в конкретные времена и в определенных социокультурных ситуациях»¹. Конечно, это специфическое упражнение в объяснении, как и объяснение вообще, является неотъемлемой частью того, что делают интеллектуальные историки. Это предположение значимо только тогда, когда исследователь понимает, что объяснение – всего лишь *одна* из задач исторического исследования и историописания. Иногда на первый план выдвигается объяснение; иногда описание; иногда работа над аргументацией и обоснованием, с помощью которой историки стремятся разъяснить, каким образом они узнали то, что они утверждают о прошлом; а иногда и задача интерпретации, с помощью которой они стремятся размышлять о значении прошлого для людей сегодня и в будущем.

¹ *Tocqueville. The Old Régime and the Revolution*. P. 86. См. весьма проницательный анализ книги Токвиля, предпринятый Фюре: François Furet. *De Tocqueville and the Problem of the French Revolution // Furet. Interpreting the French Revolution / Trans. Elborg Forster. Cambridge, 1981. P. 132–163*. Характерно, что Фюре пытается противопоставить интерпретационной стратегии проекта Токвиля, рассматривающего «значения его собственного времени», задачу артикуляции «объяснительной теории» (P. 132–133, 159–160). Но, как я сказал, это два разных (хотя и соотносимых) проекта.

² *John E. Toews. Intellectual History after the Linguistic Turn: The Autonomy of Meaning and the Irreducibility of Experience // American Historical Review. Vol. 92. 1987. P. 879–907, quote at 882; cp.: David Harlan. Intellectual History and the Return of Literature // American Historical Review. Vol. 94. 1989. P. 581–609.*

Для того чтобы предоставить приоритет объяснительной задаче истории, необходимо в фоновом режиме иметь в виду структуру допущений, которую предполагает каждый объяснительный проект. Эти допущения исходят из собственных традиций историка, его обязательств, интересов и опыта, который, в конце концов, не может быть историзирован, не может быть подчинен авторитарной репрезентации «истории как целого». Консервативные критики историографии правы: история (отчасти) есть история о ценностях. Историки *qua*- историки, учитывая в значительной степени нерелексивный характер их дисциплины, не кажутся особенно хорошо подготовленными к тому, чтобы иметь дело с этим фактом. Тем не менее историки могут, по крайней мере, знать, что они делают, когда они способствуют росту знания. Они не просто объясняют. Напротив, они прежде всего описывают, в восхищении или очаровании, в ужасе или в смирении. После описаний, возникают объяснения¹.Descriptions и объяснения предполагают интерпретирующую перспективу, и в лучших историях они изменяют и обогащают такую перспективу. Артикуляция перспектив является вкладом в познание, что историки слишком часто упускают из виду или на что смотрят с неудовольствием.

К этим задачам аргументация и обоснование – и историческая эпистемология, которую они предполагают, – относятся как *sine qua non*. Нельзя согласиться с максимой «все сгодится!». Скорее нужно придерживаться критического плюрализма, следуя оценочным стандартам, которые соответствуют формам искомого знания.

¹ *Herodotus*. The History / Trans. David Grene. Chicago, 1987; *Thucydides*. History of the Peloponnesian War / Trans. Rex Warner. Harmondsworth, England, 1954; русск. изд.: *Геродот*. История: В 9-и т. М., 1993; *Фукидид*. История // Историки Греции. М., 1976. Геродот был более склонен подпадать под обаяние того, что он рассказывает, в то время как Фукидид больше старался объяснить то, что он рассказывает. Но оба историка и рассказывали, и объясняли.

Глава III

ФРАГМЕНТАЦИЯ

§ 1. Фрагментация и будущее историографии: размышления о работе Питера Новика «Эта благородная мечта: “вопрос объективности” и американская историческая профессия»

В этой главе моя цель – указать на некоторые значения работы Питера Новика «Эта благородная мечта: “вопрос объективности” и американская историческая профессия»¹. В частности, давайте поразмышляем о четвертой, т. е. последней, части книги Новика, озаглавленной «Объективность в кризисе». Эта часть включает в себя четыре параграфа, имеющих следующие дескриптивные названия: «Коллапс учтивости», «Каждая группа сама себе историк»; «Центр не удерживает» и «Не было никакого короля в Израиле».

Большинство профессиональных историков, читая эти заголовки и исследования, к которым они приложены, будут склонны считать, что Новик описывает абсолютно негативную в ее основных значениях ситуацию. Например, в обширном обзоре «Этой благородной мечты» Джеймс Клоппенберг утверждал, что «в своих выводах Новик сожалеет, что к 1980-м годам “не было никакого короля в Израиле” и в результате “любой человек действовал так,

¹ *Peter Novick. That Noble Dream: The «Objectivity Question» and the American Historical Profession. New York, 1988.*

как он считал правильным в своих собственных глазах»¹. Проект ответа Клоппенбергу Новик прислал мне в феврале 1990 года в ответ на мою просьбу выслать список самых последних рецензий на «Эту благородную мечту»; в нем Новик признал, что в цитировании Книги Судей (21, 25) он совершил «серьезную риторическую оплошность», что на самом деле его реальная оценка ситуации в профессиональной историографии не была «апокалиптической», и при этом он не хотел утверждать, что современная профессиональная историография находилась в ситуации «индивидуалистической анархии»². И в самом деле, если фраза «не было никакого короля в Израиле» весьма точно характеризовала состояние исторической дисциплины в то время, когда Новик писал свою работу, то фраза «любой человек считал, что он прав в своих собственных глазах» таковой не была. Внимательное прочтение книги Новика не обнаруживает, что у него был какой-то апокалиптический взгляд на фрагментированное состояние историографии, или что он «оплакивал» это состояние. Оплакивал, скорее, не Новик, а Клоппенберг.

Я весьма подозрительно отношусь к попыткам преодолеть дисциплинарную фрагментацию. В наиболее мягкой форме эти попытки обычно сводятся к желанию продвинуть то или иное видение исторического синтеза. Вера в то, что синтез – это достоинство, а фрагментация – недостаток, глубоко укоренилась в культуре академических историков. Каждые несколько лет выдвигаются предложения того или другого нового синтеза. Давайте, однако, быть начеку: все призывы к синтезу – это попытки навязать интерпретацию.

¹ *James T. Kloppenberg*. Objectivity and Historicism: A Century of American Historical Writing // *American Historical Review*. Vol. 94. 1989. P. 1011–1030, особенно P. 1029; *Novick*. That Noble Dream. P. 628.

² Novick возвращается к этому в работе: *My Correct Views on Everything*. 1991. P. 699–703, особенно P. 702.

Вполне законно приводить доводы в пользу какой-то отдельной интерпретации *как* интерпретации. Но это не относится к презентации определенной интерпретации в качестве волшебной нити синтезирования. Я не нахожу никаких оправданий – и, определенно, никаких ясно сформулированных оправданий – тому, чтобы воспринимать «фрагментацию» как термин осуждающий, а «синтез» – как восхваляющий. Мы можем надеяться прояснить данный вопрос только в том случае, если будем рассматривать эти термины как нейтральные.

Власть академического профессионализма такова, что даже в тех областях, которые больше всего внесли вклад в фрагментацию, на словах продолжают отдавать дань идеалу единства. Например, в комментарии на подборку пяти статей по «истории женщин», опубликованных в одном из выпусков «American Historical Review», Кэтрин Киш Склар указывает на «известные активы», которые появились вместе с ростом истории женщин, и затем замечает: «Мы должны тем не менее признать, что в нашей текущей ситуации заключены все недостатки, связанные с быстрым ростом, и особенно неадекватная интеграция». Но является ли «неадекватная интеграция» недостатком, если понимание развивается другими способами? Не удивительно обнаружить, что в своем наблюдении Склар следует за ее собственной «парадигмой» понимания женских движений в различных странах¹. Способ, используемый Склар для объяснения появления и развития женских движений, может неплохо послужить «интеграции» (можно с таким же успехом сказать – «синтезированию») различных пониманий этих движений. Но «синтез» и «интеграция» *никогда* не вбирают в себя все возможно существенные исторические феномены: это – не тот способ, которым мир сущест-

Kathryn Kish Sklar. A Call for Comparisons // American Historical Review. № 95. 1990. P. 1109–1114, особенно: P. 1111.

вует; или, говоря более точно, мы не имеем никакой адекватной причины полагать, что это и есть тот способ, которым мир существует. И, наверное, были проблемы, которые синтез, предложенный Склар, не сумел охватить. Другие историки могут быть озабочены и другими проблемами. Соответственно, вопросы, которые можно адресовать их работам, таковы: насколько интересны эти проблемы? насколько адекватно с ними обращаются? Суждения о качестве работ отчасти выводятся из ответов на эти критические вопросы, но не зависят полностью от близости (или нет) рассматриваемых работ к парадигме, в которой работает Склар, или к любой другой «парадигме»¹.

В одной из комментируемых Склар статей, в которой обсуждаются проблемы социальных работников 1920-х годов, Дэниел Валковитц предполагает, что «для того чтобы рассказать полную историю поиска идентичности социальными работниками двадцатого века, историки должны изучить литературу о потреблении, производстве и профессионализации, так как развитие социальной работы как профессии было обусловлено культурными конвенциями и ограниченно материальными реалиями дома и рабочего

¹ Термин «парадигма» в любом случае нуждается в осторожном употреблении. Слишком часто он определяется свободно, что обычно подразумевает незаметный отход от понятия «объяснительная теория» к понятию, намного более широкому, «интерпретативная перспектива». Термин принадлежит Томасу С. Куну, который сформулировал его в работе «Структура научных революций» (Chicago, 1962). В статье «Природа парадигмы» (*Imre Lakatos, Alan Musgrave, eds. Criticism and the Growth of Knowledge. Cambridge, 1970. P. 59–89*). Маргарет Мастерман выявила множественные значения этого термина в исследованиях Куна. Не удивительно, что Кун вернулся к этим вопросам во втором издании «Структуры». Кун заменил термин «парадигма» на более широкое понятие «дисциплинарной матрицы» (*Thomas S. Kuhn. Postface–1969 // Kuhn. The Structure of Scientific Revolutions. 2d edn., enlarged. Chicago, 1970. P. 174–210, особенно: P. 183–187*).

места»¹. Валковитц понимает, какие именно элементы историки безусловно хотели бы найти в исследовании «поиска идентичности социальными работниками». Но на чем основано утверждение, что эти элементы привели бы нас к «полной истории» этого поиска? Обоснование, я полагаю, глубоко укоренено в профессиональной идентичности историков. Использование Валковитцем выражения «полная история» является, конечно, почти наверняка небрежным, но небрежность делает использование им этой фразы тем более значимым, тем более важным маркером специфического предубеждения, широко разделяемого историками.

Это предубеждение должно быть оспорено. Замечательная книга Новика помогает нам это сделать, так как его всестороннее, ироническое, беспристрастное и действительно, в некотором смысле этого термина, *объективное* исследование американской исторической профессии проблематизирует именно те понятия объективности, которые скрыты в идее существования «полной истории».

Наиболее искушенные обозреватели историографической сцены достаточно хорошо понимают случайность положений, которые консолидируют профессиональную историографию. Вместе со случайностью возникает возможная угроза фрагментации. Мудрый ответ на возможную угрозу есть прагматическое, в духе Пирса, обращение к «сообществу компетентных»². Но это не вполне подходит.

¹ *Daniel J. Walkowitz. The Making of a Feminine Professional Identity: Social Workers in the 1920s // American Historical Review. Vol. 95. 1990. P. 1051–1075, особенно: P. 1074.*

² Этот ответ наиболее тесно ассоциируется с идеей Томаса Хаскелла. (*Thomas Haskell. Professionalism versus Capitalism: R. H. Tawney, Emile Durkheim and C. S. Peirce on the Disinterestedness of Professional Communities // Haskell, ed. The Authority of Experts. Bloomington, IN, 1984. P. 180–225, особенно: P. 207.* По существу, ту же самую позицию

Существует дисциплинарная слепота, которая преобладает в модернистском академическом сообществе, и не только среди историков. Это – слепота историков, если они спорят только с другими историками, философы – только с другими философами, экономисты – только с другими экономистами, и т. д. Когда круг аргументации ограничен таким образом – и дисциплинарная структура университета, конечно, поощряет такое ограничение – легко вообразить: каждый знает, что такое компетентность.

Однако нет никакой отдельно взятой компетенции, и среди тех, кто предположительно компетентен, разделяемого всеми согласия даже еще меньше. Аргумент, считающийся приемлемым на основе консенсуса компетентных историков, может считаться недопустимым в соответствии с консенсусом компетентных философов или экономистов – и наоборот. Многие историки фактически никогда не вступали в серьезные дискуссии с экономистами или философами, или литературными теоретиками, или специалистами по риторике (обратное тоже верно: практикующие представители других дисциплин редко имеют дело с аргументами историков). Следовательно, не учитывается многообразие компетенции. То, что аргумент «сообщества компетентных» принят всерьез, есть одна из примет нерушимости дисциплинарного разделения в на-

можно найти в работах множества других историков, кто так же апеллирует к дисциплинарному консенсусу, способному преодолеть конфликтующие точки зрения. Например, см.: *David Hollinger*. T. S. Kuhn's Theory of Science and Its Implications for History // *Paradigms and Revolutions: Appraisals and Applications of Thomas Kuhn's Philosophy of Science*. Ed. Gary Gutting. (Notre Dame, IN, 1980. P. 195–222, особенно: P. 212–213, 216–217; *Kloppenborg*. Objectivity and Historicism. 1029; см.: *That Noble Dream*. P. 570–572, 625–628.

ших институтах высшего образования¹. Рассмотрение Новиком бушующих среди историков споров, а также теперь уже отвергнутых допущений более ранних поколений историков, должно быть помещено в этот более широкий социо-интеллектуальный контекст.

И все же профессиональная идентичность всегда была важна для развития исторического знания. В одной из частей своего весьма длинного рассказа Новик показывает, что отказ в послевоенный период от релятивистской критики объективности, предложенной Чарльзом Бирдом и Карлом Беккером в 1930-х годах, был тесно связан с концепцией истории как «автономной профессии»². «Автономия», как и «синтез», – это еще одно из тех слов, которым большинство профессиональных историков, без должного основания, приписывают положительную ценность. Так, например, когда Новик пишет, что для наиболее увлеченных исследователей истории женщин «феминистское сообщество было, по крайней мере, столь же существенной референтной группой, как и сама профессия»³, он, вероятно, будет прочитан как автор, сказавший что-то плохое о женской истории. Но такое прочтение Новика кажется мне в корне неправильным. Новик ни одобряет, ни не одобряет «автономию». Напротив, здесь и в других местах он, как мне кажется, целенаправленно нейтрален в этом вопросе. Если же он не нейтрален, то он должен быть нейтральным,

¹ Не хочу быть понятым неправильно: я не выступаю за междисциплинарную унификацию. Чем больше знаешь (по совместным дискуссиям) о том, как представители других дисциплин аргументируют свои позиции, тем меньше вероятности полагать, что различные способы аргументации достаточно совместимы, чтобы один человек мог практиковать их одновременно. Таким образом, я глубоко сомневаюсь в возможности конвергенции между различными дисциплинами.

² Novick. *That Noble Dream*. P. 361–411.

³ Ibid. P. 496.

поскольку ничего в «этой благородной мечте» не свидетельствует в поддержку придания автономии статуса ни положительной, ни отрицательной ценности.

Возможно, одна история (story) поможет связать вместе эти проблемы синтеза и автономии. В этой истории (story) заключена в свернутом виде история (history) всего предприятия профессиональной историографии. Это не единственный рассказ, в котором может скрываться эта история, но, я думаю, весьма важный. В более широком смысле я веду речь о том, что история профессиональной историографии тесно связана с различающимися установками по отношению к тому, что мы могли бы назвать «проектом большого нарратива». Под «большим нарративом» я имею в виду рассказ, который мог бы сообщить мир, если бы мир мог рассказать свою историю¹.

«Вначале» – я имею в виду, конечно, то архаичное время, когда профессиональной историографии не существовало – европейские интеллектуалы полагали, что большой нарратив существует и его возможно рассказать. Говоря более точно, было возможно *пересказать* нарратив, т. к. он был историей (story), предлагаемой в иудео-христианском Священном Писании. Профессиональные историки, с их требованием *подтверждения* нарратива, были не нужны.

Несколько позже вера в библейский большой нарратив ослабла. Профессиональные историки начали ходить по земле. В раннем периоде профессиональной историографии доминирующим было представление о том, что большой нарратив существует, но в данный момент рассказать

¹ Я заимствую термин «большой нарратив» у Лиотара, хотя и даю ему свою дефиницию. *Jean-François Lyotard. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge / Trans. Geoff Bennington, Brian Massumi. Minneapolis. 1984. P. XXIII–XXIV; руск. изд.: Лиотар Ж-Ф. Состояние постмодерна. СПб., 1998. Гл. 6. Прагматика нарративного знания. С. 51–62.*

его нельзя: его можно будет рассказать только в будущем, после того как будет выполнено «дальнейшее исследование». Таков был взгляд Ранке, по крайней мере, в большинстве случаев. Как указал поздний Леонард Кригер, в этом взгляде сохранялась хорошо известная озабоченность Ранке исторической индивидуальностью, фиксируемой в границах большей структуры универсальной истории¹. Таков был также взгляд лорда Актона и Дж. Бьюри. Таков был взгляд, я полагаю, и того огромного большинства историков, кто никогда не размышляли над универсальной историей, но тем не менее писали, исходя из фундаментальной веры в обоснованность западной культуры, как они ее понимали.

В более позднем периоде профессиональной историографии, после Первой мировой войны, все же произошло изменение. Теперь историки стали больше дистанцироваться от своей приверженности к большому нарративу. Они продолжали считать, что он существует, но это уже был специфический большой нарратив – абсолютно идеальный нарратив; нарратив, который на самом деле никогда не будет рассказан. В связи с освобождением от указанной приверженности, «автономия» и «синтез» остались важными ценностями – положительными терминами в словаре профессионального историка; но любой особый синтез мог получить одобрение не всех представителей этой профессии, а лишь какой-то ее части.

Сегодня есть признаки появления четвертого периода или установки. Книга Новика одновременно и описывает предваряющие обстоятельства новой установки, и частично иллюстрирует ее. Остается понаблюдать, достигнет ли

¹ *Leonard Krieger. Ranke: The Meaning of History. Chicago, 1977. P. 100–104, 130–131, 160–163, 226–228.*

она своего полного расцвета. В четвертом, «постпрофессиональном» периоде доминирующая точка зрения могла бы полностью отклонить большой нарратив, но только иронически (поскольку неироническое отклонение большого нарратива закончилось бы его воссозданием в его допрофессиональной форме). Я представляю себе историков, которые больше не рассматривали бы термины «синтез», «парадигма» и «автономия» как обладающие положительной ценностью (но эти термины не будут обладать также и отрицательной ценностью). Я представляю себе историков, которые не думали бы в каждом случае, что они рассказывают «полную историю». Я представляю себе историков, которые могли бы трансформировать себя в экономистов, или философов, или литературных критиков и которые могли бы легко перемещаться туда и обратно между этими конфликтующими областями исследований (они и в самом деле конфликтующие). Я представляю себе историков, которые, в то же время, были бы интеллектуалами, со знанием дела рассуждающими как в границах историографической области исследований, так и вне ее. И я также представляю себе историков, которые все-таки эпистемологически ответственны за свое историописание, а не небрежны или преднамеренно тенденциозны.

Как любой исследователь, кто более чем в одном контексте видел эрозию прежде неоспоримого консенсуса, я нахожу, что фрагментация в некоторых отношениях глубоко разрушительна. Все же, если социологическая трансформация академического сообщества продолжится (а я склонен думать, что так и будет), то для выживания консенсуса старого типа настанут трудные времена. В такой ситуации единство на субстантивном уровне – единство, обеспеченное сообщением одной единственной истории (story) – может быть только исключением. Точно так же, когда дисциплины становятся фрагментированными и когда пересечения между ними начинают жить своей собст-

венной жизнью, на широком методологическом уровне единство исчезает. Возможно, в конце концов, единственным способом совместить то, что когда-то рассматривалось (в некотором заблуждении) как унитарное предприятие, будет поддержание внимания к истории, социологии, риторике и нормативным обязательствам исторического исследования, т. е. тщательное изучение именно тех разнообразностей, которые сопровождали историографию с самого начала, и их лояльный, но также и критический, анализ. Короче говоря, единство доступно только на рефлексивном уровне – если доступно вообще.

В четвертом периоде существования историографии работы, подобные труду Новика и входящие в границы профессионально-презираемой до сих пор области историографии или «историологии», взяли бы на себя важную интегративную роль. Можно вспомнить также и другие работы, выполненные в рефлексивном ключе такими авторами, как Р. Коллингвуд, Л. Минк, М. де Серто, Х. Уайт, П. Вейн и Ф. Анкерсмит, каждый из которых предложил свой критический анализ проекта историков. Помните, однако, о самом характере интеграции, – ведь в принципе историков могло бы объединить только общее признание невозможности их союза (хотя в особых случаях историки могли бы временно объединиться на более существенных основаниях). Глубокий урок мудрой и продуманной книги Новика заключается в том выводе, что интеграция возможна только через насилие или через забывчивость, и поэтому нежелательна.

§ 2. «Большой нарратив» и дисциплина истории

Представляя собрание эссе «Новые перспективы в историописании» британский историк Питер Берк замечает, что «в последнем поколении, так сказать, вселенная историков расширилась до головокружительных размеров»¹. В своей работе я хочу очертить некоторые пределы этого заявленного расширения.

Задолго до взлета различных видов «новых» историй, которые быстро разрастались в XX веке, существовала некая область мифологии исторической дисциплины, относящаяся к «поглощающей» способности историографии, к тому, что она способна охватить все предметы и открыта любым эффективным методам и подходам, которые находит в других областях знания². Но при всем эклектизме историографии, поглощающая способность и открытость этой дисциплины строго ограничены. Только специфическое допущение – онтологическое в своей основе – формирует и придает силу вере в поглощающую способность истории. Наиболее кратко это допущение могло бы быть охарактеризовано как предположение о возможности существования окончательного мирового единства. Такое предположение формируется на основе больших исторических нарративов, которые преобладали в западной историографии³. В этом эссе я рассматриваю различные модификации концепции великого нарратива, которые проявились в тра-

¹ *Peter Burke. Overture: The New History, its Past and its Future // New Perspectives on Historical Writing, ed. Peter Burke Cambridge, 1991. P. 1.*

² См., например, обсуждение: *History the Great Catch-All // Jacques Barzun and Henry F. Graff, The Modern Researcher 4th ed. San Diego, 1985. P. 8–13.*

³ Я заимствую, трансформируя, термин «большой нарратив» у: *Люотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна // Jean-François Lyotard. The Post-*

диции современной западной профессиональной историографии. Я делаю это с целью пролить некоторый свет на сегодняшнюю ситуацию в историографии, – ситуацию, которая имеет одновременно и диахронический аспект, связанный с этой продолжающейся традицией, и синхронический аспект, связанный со специфическими условиями современной жизни и культуры.

Моя цель состоит в том, чтобы предложить исследование глубоких интеллектуальных оснований дисциплинаризации или фрагментации историографии. Все дисциплины, включая историю, имеют свои границы. Те ученые, которые жестко находятся в пределах своей дисциплины, часто не думают о ее границах. Вместо этого они воспринимают ее ограничения как естественные ограничения науки в целом.

Этому существуют и институциональные причины: дело в сообществе и в способах социализации. Кроме отдельных случаев в некоторых мультидисциплинарных областях (например, в «женских» исследованиях, культурологических исследованиях, науковедении) представителям какой-либо одной дисциплины из гуманитарных и социальных наук обычно недостает серьезного взаимодействия с представителями других дисциплин. Хотя они могут при случае заимствовать что-то из других дисциплин, они не имеют опыта оперирования способами аргументации этих дисциплин. В самом деле, нередко бывает так, что чем больше

modern Condition: A Report on Knowledge. 1979. Trans. Geoff Bennington, Brian Massumi. Minneapolis, 1984. P. XXIII. Русск. изд.: *Лиотар Ж.-Ф.* Состояние постмодерна. М., 1998. Термин может быть понят как обозначение всеобъемлющей истории, построенной в порядке «начало–середина–конец», в наиболее очевидном значении нарратива, обозначенном еще Аристотелем. Не отрекаясь от взгляда Аристотеля, я понимаю термин шире, чтобы указать на достаточно широкое понимание когерентности истории, позволяющее поддерживать претензии на объективность.

или престижнее академическое учреждение, тем выше эти барьеры. Такие учреждения весьма часто основываются в соответствии с жестким дисциплинарным критерием, и таким же образом организован весь большой академический мир. Факультетский семинар историков работает в изоляции от всех других семинаров гуманитарных и социальных наук, и каждый из них также работает в изоляции друг от друга. (Кроме того, факультетский семинар часто сам по себе четко фрагментирован, призывая к участию в нем только узких специалистов. Хотя развитие познания и требует специализации, она приводит в результате к определенной ограниченности, которую можно было бы исправить большим вниманием к теории.)

В этой главе я намеренно рассуждаю на высоком уровне обобщения. Я признаю, что можно предложить размышления об исторической дисциплине на других уровнях дискурса, имея в виду гораздо более сложные и специфические взгляды¹. Я рассуждаю на этом «высоком» уровне потому, что преследую цель участвовать в некоем *Grundlagenreflexion* о допущениях и общем характере исторической дисциплины. Я заранее прошу прощения за некоторую абстракцию как следствие этого опыта концептуальной истории. Размышления, которые я попытаюсь здесь изложить, хотя и могут найти понимание только у небольшой части историков, являются все же необходимыми, ибо

¹ См. например: *Horst Walter Blanke. Historiographiegeschichte als Historik. Stuttgart-Bad Cannstatt, 1991.* В этой книге на 809 страницах дана оценка немецкой традиции историографии после 1750 г. Более недавние исследования по современной западной историографии, различающиеся по своему масштабу и деталям и полемически направленные против постмодернизма: *Georg G. Iggers. Historiography in the Twentieth Century: From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge. Hanover, NH, 1997; Michael Bentley. Modern Historiography: An Introduction. London, 1999; Donald R. Kelley. Fortunes of History: Historical Inquiry from Herder to Huizinga. New Haven, CT, 2003.*

проливают свет на то, что иначе осталось бы непроверенным предубеждением.

Такие размышления, короче говоря, имеют теоретическое значение. Кроме того, я убежден, что обсуждение предложенных проблем имеет также и практическое значение для исследования и написания истории. Например, в историографических дискуссиях недавно появились проблемы синтеза¹. Так же как и проблемы литературной формы, — например, функциональности и когерентности нарратива. Оба вида этих проблем могут быть хорошо поняты в свете той схемы, которую я здесь предложу.

Очевидно, что важной проблемой, возможно критической, здесь является проблема когерентности. Невозможно исчерпывающе ее рассмотреть в одной работе, но, по крайней мере, можно сделать некоторые важные замечания. Плодотворно понимание когерентности как реализации четырех различных уровней концептуализации. Это следующие уровни: 1) *собственно нарратив*; 2) *мастер-нарратив* или синтез, претендующий на статус авторитетного сообщения об определенных сегментах истории; 3) *большой нарратив*, претендующий на статус авторитетного сообщения об истории вообще; и 4) *метанарратив* (наиболее часто понимаемый как вера в Бога или в рациональность, имманентную миру), который служит для того, чтобы оправдать большой нарратив. В данном эссе я сосредоточусь только на уровне большого нарратива. Я делаю так потому, что это позволит развить ту структуру, которая,

¹ *Thomas Bender*. Wholes and Parts: The Need for Synthesis in American History. *Journal of American History*. 1986. Vol. 73. P. 120–136; ответы Nell Irvin Painter, Richard Wightman Fox and Roy Rosenzweig и ответы на эти ответы Т. Бендера были опубликованы в: *A Round Table: Synthesis in American History*. *Journal of American History*. 1987. Vol. 74. P. 107–130: см. также о «мастер-нарративе» в немецкой истории: *Michael Geyer, Konrad H. Jarausch*. The Future of the German Past: Transatlantic Reflections for the 1990s. *Central European History*. 1989. Vol. 22. P. 229–259, особенно: P. 234–247.

как я думаю, поможет нам понять смысл более специфических проблем и того факта, что они возникли как проблемы именно в настоящий момент. В сущности, меня интересует заявка со стороны «профессиональной», или «дисциплинарной», историографии на свою особую авторитетную роль в понимании прошлого, а именно – ее претензия на «объективность» в самом широком смысле этого слова¹.

Четыре идеально-типические установки по отношению к полной когерентности истории

До самых недавних пор обозреватели и ученые, принадлежащие к традиции западной профессиональной историографии, в целом полагали, что любое отдельное историческое исследование должно быть ориентировано на историю вообще, т. е. на некую единственную историю, которую я буду здесь обозначать как Историю (с большой буквы)². Можно безошибочно рассмотреть эту традицию

¹ Аналогичное рассуждение на более специальном уровне см. в важной и интересной книге Питера Новика: *Peter Novick. That Noble Dream: The «Objectivity Question» and the American Historical Profession*. New York, 1988. Настоящее эссе может быть рассмотрено как попытка придать большую фундаментальность размышлениям Новика.

² Самым удивительным исключением среди историков, которых можно было бы назвать «профессионалами», является швейцарский историк Якоб Буркхардт. В начале своей работы «Культура Возрождения в Италии: опыт исследования» (1860) Буркхардт писал, что «исследования, сделанные нами для этого сочинения, в других руках могли бы получить не только иное употребление, но и привели бы к совершенно иным заключениям». В этом поразительном заявлении о (своего рода) «неавторитетности» Буркхардт фактически отверг понятие Истории. Этим самым он позволил «диалектической» или «объектно-ориентируемой» объективности знатока искусства одержать победу над «абсолютной» объективностью. (*Burckhardt. The Civilization of the Renaissance in Italy*. Trans. S. G. C. Middlemore, с новым «Введением» Берка и «Замечаниями» П. Мюррея. Harmondsworth, UK, 1990. Part I. Introduction. 19; русское изд.: *Буркхардт Я. Культура Возрождения в Италии*. М., 1996. С. 14.

как устанавливающую связь историописания с Историей четырьмя разными способами, в которых проявляются четыре «установки» по отношению к Истории. Эти установки могут быть организованы в хронологическом порядке, а также как сосуществующие, и я полагаю, что в хорошей профессиональной историографии можно найти по меньшей мере следы всех этих четырех установок. Они являются концептуальными типами. Во-первых, можно верить в отдельный «большой нарратив», утверждающий, что он передает смысл истории в целом. Суть «установки № 1» в том, что существует некая единственная связная История и она может быть рассказана (или пересказана) здесь и сейчас. «Установка № 2» также исходит из существования некой единственной связной Истории, но она отсрочивает ее сообщение к более поздней дате, после того, как будут произведены «дальнейшие исследования». «Установка № 3» предполагает, что единственная когерентная История существует, но она никогда не может быть рассказана. Очевидно, что если вы размышляете в терминах нарративизма, то вы обнаружите здесь парадокс, потому, что если большой нарратив не может быть рассказан, то он вообще не обладает *формой* нарратива. Вместо этого он проявляется в приверженности историков автономному статусу их дисциплины, в обязательстве поддерживать чистоту и когерентность дисциплины в отсутствии какой-либо единственной Истории, к которой она стремится. «Установка № 4» ставит даже эту форму когерентности под вопрос.

Для историков большей частью оставалось незамеченным то, что профессиональная историография предполагает наличие, хотя и не обязательно открыто выраженное, идеи когерентности. Конечно, историки в целом хорошо знают проблему когерентности на более частных уровнях, является ли это вопросом конструирования отдельного (по определению – когерентного) нарратива, или вопросом ад-

ресования неявного или явного «мастер-нарратива» некоторой определенной исторической области. Проблема здесь, однако, заключается в когерентности на «мировом» уровне. Поскольку артикуляция концептуальных предположений есть скорее теоретическая, чем историографическая задача, постольку историки редко ясно их формулируют. Кроме того, среди исследователей, включая историков историографии, существует тенденция не обращать внимания именно на те особенности ситуации, которые являются для них наиболее «естественными».

Однако *некоторые* историки историографии, хорошо информированные в области внедисциплинарных исследований, увидели то, о чем здесь идет речь. Рейнхарт Козеллек, занимавшийся *Begriffsgeschichte*, отметил, что в Германии конца XVIII века термин «Geschichte» начинает использоваться в единственном числе (он назвал это употребление «коллективно-сингулярным»). Козеллек считал, что для его авторов «история в коллективном сингулярном задает условия всех возможных индивидуальных историй»¹. Опираясь на теорию литературы, Роберт Ф. Беркхофер-младший увидел в особом интересе профессиональ-

¹ Козеллек сформулировал этот аргумент в «Die Entstehung des Kollektivsingulars» (section V. 1.a. of «Geschichte») // *Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland* // ed. Otto Brunner, Werner Conze, and Reinhart Koselleck. 8 vols. Stuttgart, 1972–1997. V. 2. P. 647–653, quote at 652. На англ. яз. см.: *Koselleck. On the Disposability of History, // Futures Past: On the Semantics of Historical Time* / trans. Keith Tribe. Cambridge: MIT Press, 1985. P. 198–212, at 200–202. Козеллек развил точку зрения своего учителя Карла Левита, который отметил контраст между «субстантивно-сингулярным» характером немецкой *die Geschichte* и отсутствием сколько-нибудь эквивалентного греческого термина (*Karl Löwith. Mensch und Geschichte. 1960 // Löwith. Der Mensch inmitten der Geschichte: Philo-sophische Bilanz des 20. Jahrhunderts*, ed. Bernd Lutz. Stuttgart, 1990. P. 228).

ных историков к контексту допущение того, что прошлое является «сложным, но унифицированным потоком событий», «Большой Историей»¹. Философ Луис Минк выявил, что понятие «универсальной истории», относящееся к XVIII веку, продолжает жить в историографии XX века². Наконец, работающий в кантианском ключе Леонард Кригер, подчеркнул постоянный поиск профессиональной историографией когерентности в построении нарративов³.

Мнение Кригера особенно красноречиво. Кригер показал, что, когда у историков нет единой точки зрения о характере человеческой истории, когерентность историографической работы попадает под угрозу – и наоборот. Развивая точку зрения Кригера с современных позиций, можно увидеть, что профессиональная историография, какой она появилась в XIX столетии, была удивительно консолидированной в ее установке по отношению к человеческой истории. Безотносительно к различным национальным и идеологическим точкам зрения, почти все профессиональ-

¹ *Robert F. Berkhofer, Jr.* The Challenge of Poetics to (Normal) Historical Practice // *Paul Hernadi, ed.* The Rhetoric of Interpretation and the Interpretation of Rhetoric. Durham, NC, 1989. P. 188–189. Как можно перейти от заинтересованности в контексте к представлению о том, что существует только один *единственный* контекст? На практике легко шагнуть от наблюдения, что исторический труд является «контекстуально богатым», к заключению, что «каждое значимое место, или личность, или решение объяснены и интегрированы» той историей, которая в нем рассказывается. См.: *Michael Kammen.* Historical Knowledge and Understanding // *Selvages and Biases: The Fabric of History in American Culture.* Ithaca, 1987. P. 37.

² *Louis O. Mink* Narrative Form as a Cognitive Instrument // *Mink.* Historical Understanding, ed. Brian Fay, Eugene O. Golob and Richard T. Vann. Ithaca, 1987. P. 194–195.

³ *Leonard Krieger.* Time's Reasons: Philosophies of History Old and New. Chicago, 1989. P. XI и далее.; *Krieger.* Ranke: The Meaning of History. Chicago, 1977.

ные историки были согласны в том, что история есть история политическая, европейская и мужская. Но в недавние годы профессиональная историография ввергла себя в безбрежный плюрализм. Это разбило надежду на то, что может быть достигнута унифицированная репрезентация прошлого, и именно потому, что этот плюрализм бросает вызов прежней однородности историографии. Он подрывает представление о том, что историография может и должна быть автономной по отношению к другим дисциплинам. Кригер был профессиональным историком, глубоко верящим в автономию своей дисциплины. Он считал, что историк, хотя и заимствует некоторые исследовательские результаты из смежных дисциплин, должен тем не менее функционировать как «чистый историк» (т. е. как историк, не затронутый способами мышления других дисциплин), поскольку когерентность «именно исторического познания» подтверждает «когерентность прошлого»¹. И все же собственное представление Кригера о соотношении субъективного и объективного аспектов истории ставит под сомнение перспективы согласованного дисциплинарного взгляда в любое время социального разобщения.

Установка №1: существует единственная История, и мы уже знаем, какова она.

Эта установка воплощена в традиции «универсальной истории». Проблема универсальной истории релевантна проблеме дисциплинарных границ, потому что в своей секуляризированной форме она имела огромное воздействие на профессиональную историографию. Хотя корни универсальной истории могут быть найдены уже в периоде патристики, впервые как продолжающаяся традиция исследования и обучения она обозначилась в университетах протестантской Германии. Это произошло после того, как в середине XVI столетия гуманист эпохи Реформации Филипп Меланхтон прочитал курс лекций по этому предмету в уни-

¹ *Krieger. Time's Reasons. P. 170.*

верситете Виттенберга. Во времена, когда, в отличие от Франции и Британии, в Германии не сложилось национальное государство, универсальная история давала немецким протестантам предвидение единства и величия своей страны, чего им так не хватало¹.

Христианская универсальная история взяла за образец историю евреев, почерпнув ее хронологию и периодизацию из Библии. В ходе раннего периода новой истории концентрация на библейской истории постепенно все более ослабевала и, в конечном счете, сошла на нет. Но подрыв христианской универсальной истории не уничтожил саму идею всеобщей истории человечества, которая продолжилась в секуляризированной (т. е. небиблейской) форме. В Германии эта идея, конечно, была поддержана существованием посвященных ей университетских кафедр.

Секуляризированная традиция всеобщей истории дает действительное начало той истории, о которой я здесь рассказываю. Хотя секуляризированная традиция не предоставила никакой особой привилегии Библии, основная идея ранней, основанной на Библии концепции, сохранилась, а именно идея о том, что единственная история, единство которой гарантируется Богом, в конечном итоге существует. Концептуально новая проблема оформилась в ходе движения от универсальной истории, основанной на Святом

¹ Стандартное понимание всеобщей истории в раннем периоде новой истории см.: *Adalbert Klempt. Die Säkularisierung der universalhistorischen: Zum Wandel des Geschichtsdenkens im 16. und 17. Jahrhundert, Göttinger Bausteine zur Geschichtswissenschaft. Vol. 31. Göttingen, 1960; см. также дискуссию: Universal History: A Troubled Tradition // in: Ernst Breisach. Historiography: Ancient, Medieval, and Modern. Chicago, 1983. P. 177–185. Всеобщая история возрождена в ином, квазитеологическом контексте Фрэнсисом Фукуямой: Francis Fukuyama. The End of History and the Last Man. New York, 1992; особенно 5: An Idea for a Universal History. P. 55–70; русск изд.: Фукуяма Ф. Конец истории // Вопросы философии. 1990. № 3. С. 134–148.*

Писании, к такой, которая хотя и санкционировалась теизмом, но не предоставляла никакой специальной привилегии Святому Писанию. В первом случае можно представить большой нарратив здесь и сейчас, потому что это фактически *пересказ*, в то время как во втором случае повествование не имеет никакой предсуществовавшей ему модели. Как же теперь понять, что такое большой нарратив, если он больше не предписан Библией? Можно ли в действительности *узнать* большой нарратив? До какой степени и какими средствами?

Один ответ предложил Иммануил Кант. Его эссе «Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане» (1784) явным образом развивало традицию всеобщей истории, и Кант вновь вернулся к этому вопросу в работе «Старый вопрос, поднятый вновь: постоянно ли прогрессирует род человеческий?»¹ (1795). В первой работе Кант предположил, что «философская история» человечества может быть написана. Философская история должна была показать, что очевидно хаотические проявления индивидуальной свобо-

¹ *Immanuel Kant. Idea for a Universal History from a Cosmopolitan Point of View* // Trans. H. B. Nisbet, in Kant, *Political Writings*, ed. Hans Reiss. Cambridge, 1991. P. 41–53; русск. изд.: *Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане*. М., 1966. (Философ. наследие). Т. 6. 1966. 743 с. С. 5–23; *Kant. An Old Question Raised Again: Is the Human Race Constantly Progressing* / Trans. H. B. Nisbet, in Kant, *Political Writings*, ed. Hans Reiss. Cambridge, 1991. P. 177–190 (Сочинение И. Канта «Спор факультетов» состоит из трех разделов: «Спор философского факультета с богословским», «Спор философского факультета с юридическим» и «Спор философского факультета с медицинским». Эссе «Старый вопрос, поднятый вновь: постоянно ли прогрессирует род человеческий?» входит во вторую часть работы «Спор философского факультета с юридическим» и к существу обсуждаемых Кантом проблем имеет косвенное отношение. В русском издании: *Кант И. Собрание сочинений*: В 8-и т. М., 1994. Т. 7 (или в предыдущем, 6-томном, – Т. 6) – дан перевод лишь первого раздела.

ды, если они рассматриваются «с точки зрения человечества в целом», могут быть поняты как вклад «в устойчивую и прогрессивную, хотя медленную эволюцию», цель которой – «всеобщее всемирно-гражданское состояние». Действительно, написание такой истории помогло бы достичь желаемой цели¹. Но Кант знал, что такая история не могла быть подтверждена опытным путем, и не признавал какое-либо желание философией «заменить разработку чисто эмпирически составляемой истории в собственном смысле слова»².

В эссе 1795 года Кант снова подчеркнул, что «проблема прогресса не решаема непосредственно через опыт»; хотя все же он признал: что-то в опыте должно, по крайней мере, *указать* на «расположение и способность человечества быть причиной его собственного движения к лучшему»³.

Анализируя собственную эпоху, Кант увидел такой эмпирический индикатор в «способах мышления очевидцев» величайшего события своего времени – Французской революции. Наблюдатели, которые не могли извлечь никакой пользы из Революции, с энтузиазмом приветствовали ее даже в Пруссии, где такой энтузиазм был опасен. Их симпатии к Революции, считал Кант, могли быть вызваны только «моральным предрасположением» рода человеческого, наличие которого дает основание для веры в то, что человеческая история является прогрессивной⁴. Гегель так-

¹ *Kant I. Idea for a Universal History*. P. 11, 23–36; Русск. изд.: *Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане*. М.: Мысль, 1966. (Философ. наследие). Т. 6. 1966. С. 20

² *Ibid.* P. 25; Там же. Т. 6. С. 22.

³ *Kant I. An Old Question Raised Again*. P. 141–142.

⁴ *Ibid.* P. 143–145. О позиции Канта относительно Французской революции см.: *Leonard Krieger. The German Idea of Freedom*. Boston, 1957. P. 104–105.

же утверждал, что он знает и может рассказать сущностную форму истории, которую он полагал как прогрессивную реализацию свободы: сначала свободен один человек, потом несколько и наконец все¹.

Все же конструирование большого нарратива дело рискованное, поскольку будущие события могут отклоняться от предложенной линии истории. Например, в мае 1789 года Фридрих Шиллер прочитал свою вступительную лекцию в качестве профессора истории в Йенском университете. Вдохновленный кантовой «Идеей всеобщей истории», он рассуждал на тему «Что такое всеобщая история и почему мы ее изучаем?». Шиллер рассмотрел движение человечества от варварства, все еще имеющего место у примитивных народов, к цивилизации Европы XVIII века, где истина, мораль и свобода приобрели большее значение, чем когда-либо. По его мнению, «европейское сообщество государств, кажется, превратилось в большое семейство», члены которого могли «все еще выказывать вражду друг к другу, но больше не рвать друг друга на части»². Шиллер, как известно, никогда так и не прокомментировал несоответствие между его умиротворенным взглядом на европейскую историю, продемонстрированным во вступительной лекции, и разрушительными событиями, происшедшими во Франции всего двумя месяцами позже³.

¹ *G. W. F. Hegel. Elements of the Philosophy of Right* // ed. Allen W. Wood, trans. H. B. Nisbet. Cambridge, 1991. Sections 341–360. P. 372–380; русск. изд.: Гегель Г. В. Ф. Философия права. М.: АН СССР, Институт философии, 1990. Разд. 341–360. О роли «христианской теологии в истории» у Гегеля см.: *Laurence Dickey. Hegel: Religion, Economics, and the Politics of Spirit, 1770–1807*. Cambridge, 1987. P. 149.

² *Friedrich von Schiller. Was heisst und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?* (Что такое всеобщая история и почему ее надо изучать?) // Wolfgang Hardtwig, ed. *Über das Studium der Geschichte*. Munich, 1990. S. 18–36, особенно: S. 27.

³ Как это понял Минк в «Narrative Form», p. 189.

Сходная проблема касается и уровня деталей, включаемых в большой нарратив. Йоганн Готфрид Гердер критиковал Августа Вильгельма фон Шлоссера за то, что в обзоре 1772 года «Universal-Historie» тот не реализовал план всеобщей истории, предложенной в книге Гердера. Отвечая Гердеру, Шлоссер согласился с его замечанием, что легче что-то предложить, чем сделать (*dass sich etwas leichter sagen als thun lasse*), но заметил, что «если речь идет о мировой истории... то, прежде чем это осуществить, следует что-то *предложить* (*gesagt*)... нужно составить некий план, теорию, идеал этой науки»¹. Другими словами, Шлоссер предположил, что общий очерк истории можно составить хоть прямо сейчас, но ее *полное* описание необходимо отсрочить. Шлоссер, должно быть, представлял это окончательное полное описание как простое расширение сжатого очерка. Но можно спросить: что, если это последующее описание будет связано, скорее, не с расширением, а с коррекцией? В таком случае нельзя было бы сказать, что мы знаем, какова эта единственная История.

Установка № 2: единственная История существует, но мы можем узнать то, чем она является, только после того, как будут проведены окончательные исследования.

Установка № 2 отсрочивает сообщение истории. Сформулированная историками как ответ на перипетии революционных и наполеоновских войн, установка № 2 была тесно связана с появлением профессиональной историографии. Канонический основатель дисциплины Леопольд фон Ранке был критически настроен к таким всеобщим истори-

¹ Johann Gottfried Herder. «A. L. Schölzers Vorstellung seiner Universal-Historie // Herder. Sämmtliche Werke, ed. Bernhard Suphan. 33 vols. Berlin, 1877–1913). V. 5. S. 436–440, особенно S. 438; August Wilhelm von Schölzer. Vorstellung seiner Universal-Historie. 2 vols. Göttingen, 1772, 1773. Vol. 2. Vorbericht; закавычено: Reill. The German Enlightenment and the Rise of Historicism. P. 47, 232–233, сноска 59.

кам, как Гаттерер, Йоханнес Мюллер и Фридрих Кристоф Шлоссер¹. Но даже еще более критичен он был к таким философам, как Гегель, который попытался *априорно* устанавливать ход человеческой истории. Но он не был против всеобщей истории как таковой; напротив, она всегда оставалась его главным занятием².

Рассмотрим следующий пассаж из фрагмента, который Ранке написал в 1860-х годах:

«Исследование особенного всегда имеет отношение к вмещающему его контексту. Локальная история соотносится с историей страны; биография соотносится с каким-то крупным событием в государстве и Церкви, с эпохой национальной или общей истории. Но все эти эпохи, как мы сказали, сами по себе есть часть большего целого (*Ganzen*), который мы называем всеобщей историей. Большой масштаб ее исследования имеет соответственно большую ценность. Окончательной целью, все еще не достигнутой, будет всегда оставаться концепция и композиция истории человечества... Постигание целого, и притом с учетом требований исследования, будет, конечно, всегда оставаться идеалом. Это предполагает фундированное понимание всей тотальности человеческой истории»³.

¹ *Leopold von Ranke* Die Universalgeschichtsschreibung seit dem 16 Jahrhundert. Приложение к его курсу в весеннем семестре 1848 года: *Erster Teil der Weltgeschichte oder Geschichte der alten Welt* // *Aus Werk und Nachlass*. Ed. Walther Peter Fuchs and Theodor Schieder. 4 vols. Vienna, 1964–1975. Vol. 4. Vorlesungseinleitungen. Ed. Volker Dotterweich, Walther Peter Fuchs. S. 208–210.

² *Krieger Ranke*. S. 103, 107, 112–115, 124, 151–152.

³ *Leopold von Ranke*. Die Notwendigkeit universalgeschichtlicher Betrachtung // *Aus Werk und Nachlass*. Vol. 4. S. 296–298, особенно: S. 297–298; переведено: *W. A. Iggers*. «The Role of the Particular and the General in the Study of Universal History (A Manuscript of the 1860s)» // *Ranke. The Theory and Practice of History*. Ed. Georg G. Iggers, Konrad von Moltke, with new translations by Wilma A. Iggers and Konrad von Moltke. New York, 1983. P. 57–59, особенно: P. 58–59.

Ранке здесь предусмотрел три различных уровня исторического исследования. Первый – «исследование особенного, даже единичного», напоминает то, что историки называют сегодня микроисторией. Вторым, который показывает, что особенное – это часть «большого контекста», также представлен в современной историографии. Третий уровень, касающийся «всей тотальности» – «постижения целого», – скрыт, но *идея* его нам знакома: это идея большого нарратива; единой истории человечества.

В ссылке на «окончательную цель... пока еще не достигнутую», Ранке подтвердил отсроченность сообщения такой истории. Подобные утверждения могут быть найдены и в других его трудах; например, в рукописи лекции 1867 года он написал, что «наука истории является еще недостаточно зрелой, чтобы реконструировать всеобщую историю на новом фундаменте»¹. Действительно, акцентировать отсроченность написания большого нарратива было необходимо для появления истории как научной дисциплины. Кант, Шиллер и Гегель полагали, что они уже познали основную схему человеческой истории – или, во всяком случае, что они узнали, какую линию человеческой истории лучше всего можно расценить как истинную. Их убеждение лишило историческое исследование его рациональной основы, поскольку в этом случае оставалось бы «стремиться только узнать, до какой степени философский принцип может быть продемонстрирован в истории... вообще не было никакого интереса вникать в события, которые произошли... или хотеть узнать, как жили и думали люди в определенное время». К тому же, «будь эта процедура (конструирования “целого истории” на *априорном*

¹ *Leopold von Ranke. Neuere Geschichte seit dem Anfang des 17 Jahrhunderts (28 Oktober 1867 – 10 März 1868). Einleitung // in: Aus Werk und Nachlass. Vol. 4. S. 411–432, особенно: S. 411.*

основании) корректной, история (*Historie*) потеряла бы всю автономность (*Selbständigkeit*)»¹. Если посредством Святого Писания, или через знание человеческой истории, или некоторым другим способом мы можем сейчас же рассказать историю, то тогда для чего нужны предположительно специальные методы профессионального исторического исследования?²

Оправданием стойкой веры Ранке в реальность единственной Истории, даже в отсутствии ее современного подтверждения, была религия. Бог создал мир и наблюдает за всем в этом мире, – один Бог, создающий одну Историю. Следы этого взгляда можно обнаружить в работе Ранке «Идея всеобщей истории», где, касаясь «концепции тотальности» (*Auffassung der Totalität*) как одной из характерных черт всеобщей истории, он утверждает, что невозможно полностью постичь всеобщую историю: «Только Бог знает мировую историю»³. Но связь между идеей Бога и идеей единства Истории, возможно, наиболее ясно была заявлена в письме, которое молодой Ранке написал своему брату в 1820 году: «Бог существует, живет, и может быть узнан во всей истории. Каждое действие свидетельствует

¹ *Leopold von Ranke. Idee der Universalhistorie: lecture script of 1831–1832* // in: *Ranke. Aus Werk und Nachlass*. Vol. 4. S. 72–89, at 74–75; переведено частично: *Wilma A. Iggers. On the Character of Historical Science (A Manuscript of the 1830s)* // *Ranke. The Theory and Practice of History*, 36; русск. изд.: *Ранке Л., фон. Об эпохах новой истории. Лекции, читанные баварскому королю Максимилиану II. М., 1898.*

² Р. Козеллек полагает, что термин *die Geschichte* появился в конце XVIII века: «Только с 1780 года можно говорить об истории в целом, истории в себе и для себя, истории чистой и простой, отличной от истории X или истории Y» (*Reinhart Koselleck. On the Disposability of History* // *Koselleck. Futures Past*. P. 200. Можно предположить, что растущее значение в XIX веке «коллективно-сингулярного» понятия истории компенсировало то, что написание большого нарратива откладывалось на будущее.

³ *Leopold Ranke. Idee der Universalhistorie* // *Ranke. Aus Werk und Nachlass*. Vol. 4. S. 82–83; см.: *Ranke. On the Character of Historical Science*. P. 44.

о Нем, каждый миг проповедует Его имя, но больше всего, как мне кажется, связность истории в целом. Это (связность) подобно священному иероглифу... Может быть мы, с нашей стороны, расшифровываем этот святой иероглиф! Даже в этом случае мы служим Богу. Даже в этом случае мы священники. Даже в этом мы учителя»¹. Есть, таким образом, очевидная преемственность между Ранке и более ранними христианскими концепциями всеобщей истории. Приверженность понятию большого нарратива отнюдь не требовала религиозной веры, поскольку ему могли служить и формы светской веры. Возьмем инаугурационную лекцию 1902 года Дж. Б. Бьюри как профессора кафедры современной истории в Кембридже, озаглавленную «Наука истории». Бьюри предположил, что «идея относительно будущего развития человека... дает... оправдание большой исторической работе, которая была сделана и делается сегодня. Сбор материалов о местных событиях, сопоставление манускриптов и регистрация их небольших вариаций, терпеливая тяжелая работа в государственных и муниципальных архивах, все микроскопические исследования, выполняемые армиями трудящихся исследователей... Эта работа по рубке дров и переноске воды должна быть сделана в вере – в вере, что полное собрание мельчайших фактов человеческой истории в конце концов заговорит. Этот труд выполняется для потомства – для отдаленного потомства»².

Основания веры Бьюри лежат в глобальном расширении западной цивилизации в конце XIX века и в идеалах науки и сотрудничества, которые, как думал Бьюри, сделали это расширение возможным. Позиция Бьюри, несмотря на ее светскость, структурно была идентична ранкеанской.

¹ Leopold Ranke to Heinrich Ranke, letter of March 1820 // *Leopold von Ranke. Das Briefwerk* / Ed. Walther Peter Fuchs. Hamburg, 1949. S. 18.

² J. B. Bury. *The Science of History* // Fritz Stern ed. *The Varieties of History from Voltaire to the Present*. 2nd ed. New York, 1972. P. 219.

Подобно Ранке, Бьюри твердо придерживался установки № 2, откладывая на будущее написание большого нарратива. Оппонентом Бьюри был явный сторонник установки № 1 Томас Арнольд, который в своей вступительной лекции 1841 года в качестве профессора кафедры современной истории в Оксфорде предположил, что «современная эпоха» совпала с «последним шагом» в истории человека, что она несет отметины «завершенности времени, как будто не будет никакой будущей истории после нее»¹. Бьюри возражал, но не потому, что он был против идеи единственной Истории *per se*. Он полагал, что нельзя так быстро узнать форму истории, а не потому, что нет никакой единственной формы, которую можно познать.

Можно предположить, что отсрочивание познания этой формы драматично сводит на нет релевантность веры в единственную Историю в историописании. Но вся ее релевантность остается, поскольку вера во всеобщую историю (хотя всеобщая история пока еще не поддается написанию) имеет важное эпистемологическое следствие. Эта вера позволяет историкам утверждать, что историческое исследование есть объективная репрезентация, связанная с сущностью самой Истории. Как отметил Кригер, ранкеанская «убежденность в объективности историка» была основана на вере в «единый процесс», соединяющий прошлое и настоящее»². В «Науке истории» Бьюри сделал точно такой же вывод. Он начал с того, что настойчиво подчеркнул: история является наукой — «не меньше и не больше»³. «Наука» для Бьюри, означала вполне объективную репрезентацию: ею «нельзя просто управлять или при этом ру-

¹ J. B. Bury. The Science of History. P. 217. Закавычено: Thomas Arnold.

² Krieger. Ranke. P. 242

³ J. B. Bury. The Science of History. P. 210.

ководствоваться субъективным интересом»¹. Отрицая отношение к своему собственному времени и месту, историк утверждает, что связал себя с историческим процессом в целом. «Принципы единства и непрерывности существуют в пределах истории», – утверждал Бьюри². Эти принципы предлагают идею будущего развития человека, которая работает как «ограничивающая и контролирующая концепция», сообщающая историку, что следует оставить в историческом исследовании, а что должно быть из него исключено³.

Установка № 3: единственная История существует. Однако она никогда не сможет быть рассказана.

Она существует только идеально, как недостижимая цель автономной дисциплины. Когерентность теперь располагается не в рассказанной или ожидаемой Истории, а в унифицированном способе дисциплинарного мышления.

Установка № 3 отказывается от тезиса о том, что единственная История будет когда-либо рассказана, но не отрицает представление о том, что существует «единственная История», т. е. единственный полномочный способ исследования прошлого. Историк и теоретик историографии Йоганн Густав Дройзен, читавший с 1857-го по 1883 годы лекции по теории и методологии истории, вплотную приблизился к формулировке этой позиции. Дройзен в своих лекциях подчеркивал, что большой нарратив никогда не сможет быть создан, по крайней мере, не на основе исторического исследования. «Высшая цель», утверждал он, «есть

¹ Сравните известное утверждение Ранке: «Я хотел исключить... самого себя и рассказывать только о тех вещах, которым позволили появиться могучие силы, которые возникали в течение столетий и усиливались совместно и посредством друг друга». *Ranke. Englische Geschichte, vornehmlich im Siebzehnten Jahrhundert, Fünftes Buch, «Einleitung»* // In: *Sämtliche Werke*. P. 2.

² *Bury. The Science of History*. P. 213, 216

³ *Ibid.* P. 219

та, которую нельзя эмпирически исследовать»¹. Как предполагается самим упоминанием «высшей цели», Дройзен верил, что когерентная История существует. Но если Ранке и Бьюри полагали, что историк может обнаружить эту когерентность в объективном историческом процессе, то Дройзен переместил внимание к субъективной сфере. Не отрицая существования объективной когерентности, он хотел «определить не законы истории, а законы исторического исследования и познания»². Дройзеновская позиция подразумевает, что сама историография когерентна – иначе откуда было бы взяться *законам* исторического исследования и познания? Далее, «историческое исследование и познание» могут воплощать законы, гарантирующие когерентность, только если из историографии исключены конкурирующие версии. Впоследствии Дройзен настаивал на автономии историографии; и действительно, уже Хейден Уайт подчеркнул, что Дройзен предложил «наиболее продуманную и систематическую защиту автономии исторической мысли из тех, что когда-либо были предприняты»³.

В то время как Ранке также подчеркивал автономию истории, защищая ее от тех, кто приближался к ней с уже го-

¹ *Johann Gustav Droysen. Outline of the Principles of History* / Trans. E. Benjamin Andrews (translation of Droysen, *Grundriß der Historik*, 3rd, rev. ed. [1882]). Boston, 1893. § 81. P. 47; *Johann Gustav Droysen. Historik* / Ed. Peter Leyh. 3 vols. Stuttgart, 1977; русск. изд.: *Й. Г. Дройзен. Очерк истории* // СПб.: Историки, 2004. С. 491.

² *Johann Gustav Droysen. Outline of the Principles of History. Appendix II. «Art and Method»*. P. 118; русск. изд.: *Й. Г. Дройзен. Искусство и метод* // СПб.: Историки, 2004. С. 573; *Cf. Droysen. Historik*. P. 69: «...с тех пор нашей науке предъявляют требование совсем другого рода... история является не внешней и реальной, а может быть опосредованно исследована и знаема (*Betrachtung*)»; русск. изд.: *Й. Г. Дройзен. Искусство и метод*. С. 567.

³ *Hayden White. Droysen's Historik: Historical Writing as a Bourgeois Science* // *Hayden White. The Content of Form* Baltimore, 1987. P. 83–103, особенно P. 99; см. также: *Jörn Rüsen. Begriffene Geschichte: Genesis und Begründung der Geschichtstheorie* J. G. Droysens Paderborn, 1969. S. 119.

товым большим нарративом, заимствованным из философии, акцентирование Дройзенем автономии истории играло дополнительную роль: оно защищало историографию не только от первого, до-профессионального убеждения в том, что история уже известна, но также и от другой угрозы, а именно от многообразия и фрагментации. Для историка середины XIX века Дройзен (пруссский националист либерального толка) был замечательно чувствителен к идее о том, что историческая реальность может быть описана, объяснена и интерпретирована весьма различными способами. По разным причинам, он, кажется, признавал, что конкурирующие идентичности могли бы претендовать на законность своих историй точно так же, как он требовал легитимности для прусской истории¹. Ранке, с другой стороны, был далек от столкновения с такими проблемами в связи с его убеждением в том, что Европа составляет единую политическую систему, и задача историографии состоит в том, чтобы писать историю этой (европейской) системы². Более тесно связано с конфликтом интересов и

¹ Обратите внимание на утверждение Дройзена в первой части «Очерков истории»: «Наблюдение за настоящим учит нас, как по-разному, в зависимости от точки зрения, воспринимается, рассказывается, сопоставляется любой факт, как любое действие – в частной жизни не реже, чем в общественной – истолковывается всякий раз по-другому. Человек, осторожный в своих суждениях, будет стараться получить из массы таких различных данных картину происшедшего, желаемого, лишь до некоторой степени точную и достоверную». См. также, на эту тему, рукопись его лекций: Droysen's lectures, *Historik*. P. 113–114, 236–238; русск. изд.: *Й. Г. Дройзен. Очерк истории // СПб.: Историка, 2004. С. 456.*

² *Ranke. The Great Powers (1833) // Trans. Hildegard Hunt Von Laue. // Ranke. The Theory and Practice of History. P. 65–101, особенно: P. 99–101. Об универсализме Ранке см.: Krieger. Elements of Early Historicism: Experience, Theory, and History in Ranke // History and Theory. Vol. 14. 1975. P. 1–14, особенно: P. 9–14. On Droysen's rejection of the concept of a European system of the great powers; см.: Georg G. Iggers. The German Conception of History: The National Tradition of Historical Thought from*

идентичностей то, что Дройзен был больше способен понять многообразие истории как *проблему*; он признавал это многообразие законным, но в то же время настаивал на его ограничении¹.

Установка № 3 отказывается от надежды когда-либо ясно сформулировать объективный большой нарратив (то есть авторитетное исследование истории как целого), но сохраняет обязательства по отношению к фактору когерентности истории на уровне самого исторического предприятия, которое полагается объединенным на основе приверженности общим методам и целям. Установка № 3 – идеализированная версия той позиции, которая станет доминирующей в исторической профессии в двадцатом столетии – с 1914-го по 1991 годы². После бойни Первой ми-

Herder to the Present, rev. ed. Middletown. CT, 1983. P. 106–107. Об исследовании Дройзеном немецкой исторической традиции см.: *Michael J. MacLean. Johann Gustav Droysen and the Development of Historical Hermeneutics // History and Theory. Vol. 21. 1982. P. 364–365.*

¹ *Droysen. Outline of the Principles of History. Sect. 73. P. 44:* «И самые близкие отношения между людьми, их устремления и повседневные занятия и т. д. имеют свое развитие, историю для тех, кого это касается (история семьи, определенного места, специальности»; русск. изд.: *Й. Г. Дройзен. Очерк истории // СПб.: Историка, 2004. С. 489.*

² *Novick. That Noble Dream...* В общем поддерживает мое утверждение, что профессиональные историки XX века (по крайней мере, американские профессиональные историки) в значительной степени принимали установку № 3. Можно было бы написать на эту тему интересное эссе, но обратим внимание на следующие пункты: 1) Новик установил, что подчеркивание автономии было широко распространено в исторической профессии (Р. 361–411). 2) Он установил, что среди историков распространено противоречивое представление о «конвергенции» в исторической интерпретации (Р. 206–207, 320–321, 438, 457–458, 465 и *passim*). Желание обладать единственным авторитетным нарративом, вкуче с постоянными провалами в его реализации, составляет характерную черту установки № 3. 3) Он установил, что фрагментация была широко признана как негативное явление (Р. 577–591). Это подразумевает, что некий единственный авторитетный нарратив – явление позитивное, но даже он недостижим. 4) Новик установил долговременное существование

ровой войны, возникшей, как казалось, из ничего, большинство профессиональных историков больше не рассматривали свою задачу как расшифровку священного иероглифа или как написание великой истории прогресса. Даже если многие продолжали верить в то, что история была фундаментально бесконфликтной, они больше не рассматривали изображение этой бесконфликтности как задачу историка¹. Преимущество установки № 3 состоит в том, что она позволяет сохранять приверженность идеалу единой Истории, и не требовать, чтобы этот идеал был воплощен в определенном историческом содержании.

Все же установка № 3 глубоко парадоксальна и перегружена проблемами, поскольку рядом с требованием единого, когерентного историописания неизбежно сохраняется призрак надежды на объективный большой нарратив, хотя он и не может быть рассказан. Поскольку Дройзен, который учился по Гегелю, был под глубоким влиянием немецкой идеалистической философии и продолжал верить в «нравственный мир... движимый многими целями и, в конце концов, ... целью целей»², мы не можем в конце кон-

«идеи и идеала объективности» (р. 1), хотя историки легко соглашались с тем, что его нельзя реализовать. И снова большой нарратив отнесен к уровню идеального.

¹ H. G. Wells. *The Outline of History, Being a Plain History of Life and Mankind*. 2 vols. Orig. edn., 1920; New York, 1921. Особенно гл. 41: *The Possible Unification of the World into One Community of Knowledge and Will*. V. 2. P. 579–589.

² Droysen. *Outline of the Principles of History*. Sect. 15. P. 15; русск. изд.: *Й. Г. Дройзен. Искусство и метод* // СПб.: Историка, 2004. С. 465. См. также: *Johann Gustav Droysen. Vorlesung über das Zeitalter der Freiheitskriege*, 1, 2 (Gotha, 1886) 4: «Наша вера дает нам утешение в том, что божественная рука поддерживает нас, что она направляет судьбы больших и малых. И наука истории не имеет никакой более высокой задачи, чем оправдать эту веру: только таким образом она есть наука. Она ищет и находит в этом хаотическом океане [wüsten Wellengang] направление, цель, план...» Рюзен в *Begriffene Geschichte* особенно подчеркивает приверженность Дройзена гегелевскому великому нарративу свободы (P. 126–130).

цов рассматривать его как воплощение установки № 3 в той ее форме, которая четко отличается от установок № 1 и № 2¹. Среди теоретиков историографии Р. Коллингвуд лучше всего иллюстрирует установку № 3, и таким образом лучше всего показывает свойственные ей противоречия. По общему признанию, можно также обратиться к Вильгельму Дильтею или Майклу Оукшотту, которые, подобно Дройзену и Коллингвуду, сфокусировали внимание на субъективном измерении, то есть на *мышлении* историков². Но Коллингвуд – наиболее ясный мыслитель из всех, и его ясность показывает то, что в других случаях остается скрытым³.

¹ See: *Wilhelm Dilthey*. Introduction to the Human Sciences. Trans. Michael Neville, ed. Rudolf A. Makkreel and Frithjof Rodi orig. German ed., 1883; Princeton, 1989, 50; русск. изд.: *Дильтей В.* Введение в науки о духе: Опыт полагания основ для изучения истории и общества // *Дильтей В.* Собр. соч.: В 6-и т. Пер. с нем. М., 2000. Т. 1; *Michael Oakeshott*. Experience and Its Modes. Cambridge, 1933. особенно: Р. 92–96; *Oakeshott*. The Activity of Being an Historian // *Oakeshott*. Rationalism in Politics and Other Essays. New York, 1962. Р. 137–167, 166–167; русск. изд.: *Оукшотт М.* Деятельность историка // *Оукшотт М.* Рационализм в политике. М., 2002.

² Философия Коллингвуда вообще, и его теория историографии в частности, задают много интересных теоретических и экзегетических загадок, которые здесь не могут быть рассмотрены. См. в частности, следующих комментаторов Коллингвуда: *Louis O. Mink*. Mind, History, and Dialectic: The Philosophy of R. G. Collingwood Bloomington. IN, 1969; *W. J. van der Dussen*. History as a Science: The Philosophy of R. G. Collingwood. The Hague, 1981; and History and Theory, Beiheft 29 (1990), «Reassessing Collingwood» James Patrick, James Connelly, W. Jan Van Der Dussen, Leon J. Goldstein, Michael A. Kissell and G. S. Couse.

³ Множество страниц из «Эпилогеменов» к «Идее истории» имеют целью подчеркнуть эту точку зрения R. G. Collingwood, The Idea of History (1946), rev. edition with Lectures 1926–1928, ed. Введение W. J. van der Dussen, Oxford, 1993, Р. 205–334, особенно Р. 266–302. *R. G. Collingwood*. An Autobiography Oxford. Oxford University Press, 1939, chap. 10: History as the Self-Knowledge of Mind. Р. 107–119; русск изд.: *Коллингвуд Р. Дж.* Идея истории // *Коллингвуд Р. Дж.* Идея истории. Автобиография М., 1980. С. 220–288, особенно раздел 4 в главе «История как воспроизведение прошлого опыта» (*Коллингвуд Р. Дж.* Автобиография. Гл. 10. История как самопознание духа // Там же. С. 384–391).

Коллингвуд сформулировал два важных критических требования, которые третья установка предъявляет к историографии. Профессиональные историки с готовностью восприняли эти требования, поскольку они соответствуют тому, как историки XX века «уже готовы» понимать суть своей работы.

Во-первых, Коллингвуд утверждал, что связность историографии имеет свои корни в мышлении историка. В общем смысле, позиция Коллингвуда по этой проблеме была кантианской. Кант воспринял утверждение Д. Юма о том, что мы не можем чувствовать каузальность (хотя мы можем чувствовать пространственную смежность, временную последовательность и постоянное соединение, которое обычно ассоциируют с каузальностью). Взгляд Юма спровоцировал угрозу тотального скептицизма, на которую ответил Кант, утверждая, что причинная обусловленность не есть нечто, поддающееся обнаружению опытным путем, но организующий принцип в мышлении. Когда Коллингвуд в «Идее истории» замечательно критиковал пассивную историю «ножниц и клея» и подчеркивал, что тот историк, который зависит от документов, никогда не сможет обеспечить связность исторического повествования, он до конца выполнял импликации кантианской «коперниканской революции» в философии¹.

Во-вторых, Коллингвуд неоднократно подчеркивал «автономию» истории². Защищая эту автономию, он апеллировал к двум различным понятиям. Во-первых, ему было важно подчеркнуть, что историк должен обладать автономией в отношении «источников», в большей степени составляя собственное мнение о прошлом, чем полагаясь на

¹ *Collingwood. The Idea of History. P. 209, 236, 256 (Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Ч. V. Эпилегомены. Доказательство в исторической науке. С. 245–248)*

² *Ibid. P. 109, 136, 156.*

авторитет «источников». Этот первый акцент – просто иной способ сказать, что когерентность коренится в мышлении историка. Но «автономия», по Коллингвуду, относится и к другому требованию, а именно к тому, что историки должны обладать автономией относительно других дисциплин. Смысл аргументации Коллингвуда состоит в том, что историография является независимой дисциплиной, с собственными правилами (отличными от правил других дисциплин), которые были разработаны в течение долгого времени посредством проб и ошибок¹. Понятно, почему он хотел подчеркнуть автономию истории относительно других дисциплин: ведь только если считать историографию четко очерченной областью исследования с собственным специфическим набором правил, то можно ожидать, что историческое мышление обеспечит когерентность. Другими словами, субъективизация когерентности, т. е. ее перевод в мышление историка, придает особое значение утверждению об автономии историографии.

Все же в ряде пунктов Коллингвуд ставил под сомнение и даже отрицал представление об автономии историографии в только что отмеченном смысле. Например, в своей «Автобиографии» он утверждал, что вся его профессиональная жизнь, как он ее видел на 50-м году жизни, была в основном попыткой «добиться сближения между философией и историей»². Философские оппоненты Коллингвуда того времени делали резкое различие между историческими вопросами (например, что такое была аристотелева теория долженствования?) и философскими вопросами (например, что такое истина?), и считали, что только

¹ *Collingwood. The Idea of History.* P. 210, 231; *Коллингвуд Р. Дж. Идея истории.* Ч. V. Эпилегомены. Доказательство в исторической науке. С. 246, 261.

² *Collingwood. An Autobiography.* Oxford, 1939. P. 77; *Коллингвуд Р. Дж. Автобиография.* С. 388–389.

философские вопросы являются важными¹. Коллингвуд выступал против разделения этих двух направлений деятельности. Более того, он заявлял, что «главная задача философии двадцатого века – отдать должное истории двадцатого века», утверждение, которое связано с другой его программой *сближения*, а именно – между теорией и практикой². Его позиция заключалась не только в том, что философия должна стать исторической, но также и в том, что история должна стать философской и что обе они должны исходить из глубокого беспокойства о проблемах настоящего, так как, утверждал он, события XX века не позволили ему и дальше занимать «позицию изолированного профессионального ученого» и заставили его быть более ответственным за свое время³.

В «Идее истории» коллингвудово умаление автономии историографии менее очевидно⁴. Но это умаление все же

¹ *Collingwood. An Autobiography*. P. 59; Коллингвуд Р. Дж. Автобиография. С. 366.

² *Ibid.* P. 79, 147–167; там же. С. 337, 407–417.

³ *Ibid.* P. 167. В этой главе Коллингвуд выделил в себе трех «человек»: понимающего ложность деления людей на профессионалов-теоретиков и профессионалов-практиков; признающего такое деление нормальным; и человека, в котором стерлось различие между теорией и практикой (мыслителем и деятелем) (*Коллингвуд Р. Дж. Автобиография*. С. 409–411).

⁴ Историки обычно не обращают внимание на «Автобиографию» Коллингвуда из-за предубеждения к установке № 3. Это может объяснить, почему опровержения Коллингвудом историографической автономии так часто пропускались. Например, методология истории политической мысли, ассоциируемая с Квентином Скиннером, Дж. Пококом и несколькими другими историками, была частично вдохновлена «автономистским» прочтением Коллингвуда; see Skinner, «Meaning and Understanding in the History of Ideas», *History and Theory*, 8 (1969). P. 3–53. Но когда Покок, например, писал, что общение между историей и теорией порождает псевдоисторию, и потому, подобно сове и орлу им следует «оставаться вне полетных траекторий друг друга» (или, в другом

присутствует. Это проявляется, например, в его иначе весьма озадачивающем утверждении, что история является «пере-думыванием опыта прошлого»¹, формулировка, которая, кажется, предназначена для того, чтобы особенно подчеркнуть активность историка, отличить ее от обычного «про-думывания» прошлого. Точно так же его утверждение, что «каждое настоящее имеет его собственное прошлое, и любая образная реконструкция прошлого стремится к реконструкции прошлого *этого* настоящего», имеет негативные значения, которые потенциально разрушают его более консервативное утверждение, что «всякая история должна быть непротиворечивой»².

Установка № 4: Предположение, что единственная История существует, не может быть поддержано, ни субъективно, как научное предприятие, ни объективно, как действительный большой нарратив, который можно рассказать сейчас или в будущем. Таким образом, ответственная историография поставит допущение существования единственной Истории под вопрос. Тем не менее установки № 1, № 2 и № 3, которые признают единственную Историю, могут все еще приниматься: регулятивно – в случае установки № 1; эвристически или иронически – в случаях установок № 2 и № 3. Установка № 4 включает в себя все остальные и критически осмысливает их.

поразительном сравнении, о том, что история и теория подобны проходящим ночью судам, которые могут обмениваться информацией, но идут радикально различными курсами), то он ясно артикулировал свою резкую оппозицию Коллингвуду. *Россовск. Political Theory, History and Myth: A Salute to John Gunnell. Annals of Scholarship*. V. I. 1980. P. 23, 24.

¹ *Collingwood. The Idea of History*. P. 282–302; Коллингвуд Р. Дж. Эпигломены. Идея истории. Ч. V. История как воспроизведение прошлого опыта. С. 268–288.

² *Ibid.* P. 247 (курсив мой. – А. М.). P. 246; Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Ч. V. Эпигломены. Историческое воображение. С. 234.

Установку № 4 можно лучше всего объяснить на идее близости каждой из установок друг к другу.

Четыре установки историографии по отношению к единственной Истории

Установка № 1: Существует единственная История, и мы ее сейчас знаем.	Установка № 3: Существует единственная История, а именно автономная и когерентная дисциплина истории.
Установка № 2: Существует единственная История, которую можно познать только после дополнительных исследований	Установка № 4: Единственная История не имеет обоснования, но ее можно попытаться написать. Пересечение границ и методологические нарушения <i>могут</i> иметь оправдание

Как идеальные типы, эти четыре установки отличны друг от друга. В действительности же они незаметно переходят одна в другую; они могут также сосуществовать друг с другом, причем «более поздние» взгляды принимают во внимание «более ранние». Так, достаточно высказать только небольшой скептицизм в отношении возможности рассказывать Историю сегодня, как сразу установка № 1 незаметно перейдет в установку № 2, как это показывает обмен мнениями между Гердером и Шлоссером¹.

Достаточно высказать только небольшой скептицизм в отношении возможности рассказывать историю в будущем, как установка № 2 незаметно перейдет в установку № 3: вспомним Ранке, который в одном и том же фрагменте писал, что рассказывание истории есть «окончательная цель, хотя еще и не достигнутая», и что «постижение целого... всегда остается идеалом»². Точно так же, коллингвудов-

¹ Schlözer. Universal-Historie, 11, «Vorbericht.»

² Ranke. [Die Notwendigkeit universalgeschichtlicher Betrachtung]. P. 297.

ский акцент на автономии историографии, которая сохраняет субъективную когерентность даже перед лицом постоянной невозможности написать объективный большой нарратив, опрокидывается при столкновении с его же тезисом о том, что время, в какое осуществляется историческое мышление, столь же важно, как и время прошлого, – до такой степени, что прошлое время в каждый момент реконфигурируется в зависимости от точки зрения настоящего. Короче говоря, существует концептуальная неустойчивость, в результате которой один тип историографии проникает в другой тип или в другие типы.

Говоря более точно, концептуальная неустойчивость лежит за *пространством установки № 1*. Установка № 1 – единственная абсолютно логически последовательная позиция. Простекая из исторически локализованного и освященного Писанием монотеизма (иудаизм, христианство, ислам), она не имеет никакой причины для саморазрушения, пока сохраняется прочным ее религиозное обоснование. Но не таковы другие установки. Установка № 2 колеблется между возможностью того, что «дальнейшее исследование» *никогда* не подтвердит существование объективной всеобщей истории, и эвристическим или догматическим представлением о том, что она уже познана, по крайней мере ее схема. Установка № 3 заключена между гордостью историка за познавательные процедуры исторической дисциплины и беспокойством относительно того, что эти процедуры никогда не обнаружат объективную всеобщую историю. Что касается установки № 4, то она занимает сложную позицию пирронова или монтенева скептицизма, который стремится быть скептическим также по своему собственному адресу. С точки зрения установки № 3, установка № 4 противоречит когерентному мышлению, т. е. легитимной историографии. С другой стороны, с точки зрения установки № 4, нельзя исключать любой спо-

соб понимания прошлого на *априорных* основаниях, как методологических, так и онтологических. Таким образом, установка №4 – это не аргумент против (например) установки № 3, кроме того случая, когда установка № 3 стремится отклонить установку № 4. Все же установка № 4 постоянно находится в опасности впасть в одну или другую версию догматизма: либо через догматическую приверженность представлению о том, что «нет единственной Истории» (что само по себе есть утверждение о всеобщем характере истории), либо через догматическое отрицание дисциплинарных стандартов и конвенций.

Фокус моих рассуждений в этом эссе, конечно, сосредоточен на концептуальных предположениях. Исследования институциональных основ исторической дисциплины показали бы более разнообразную картину. *Grosso modo*, однако, мой центральный аргумент кажется оправданным и на институциональном уровне. Институциональные структуры интеллектуальной жизни включают, помимо прочего, профессиональные организации, журналы по различным научным дисциплинам и организацию университетов по факультетам – и все это находит интеллектуальное оправдание в предположении о том, что историки задействованы в некоем едином проекте. Мой аргумент заключается в том, что в сегодняшней ситуации и институциональные структуры, и оправдывающие их предположения должны рассматриваться не только как средства производства знания, которыми они очевидно являются, но также и как их ограничения; и далее необходимо серьезно рассмотреть характер этих ограничений.

Предположение, что, в конечном счете, историография является единым проектом, имеет следствием пристрастие к работам, исходящим из идеи о том, что существует единственный, автономный, исторический способ мышления – некий подход, даже метод, который стремится к «унификации» в «истории и исторической профессии», несмотря на

очевидное отсутствие единства на уровне как субъектов, так и объектов исследования. (Я вспоминаю здесь тему ежегодной встречи Американской Исторической Ассоциации в декабре 1992 года¹.) Цель заключается в «историзации» объектов истории – т. е. в подчинении их методам особого исторического мышления. Предположение о единстве приводит к предубеждению против работы, которая размышляет над прошлым способами, относящимися к другим типам понимания, а не только автономно историческим. Постольку, поскольку так практикуемая история касается других способов понимания, она делает это посредством их «присвоения». Я не отвергаю такую работу, поскольку это противоречило бы моему отрицанию *априорных* методологических критериев для оценки академической работы. Скорее, мое предложение состоит в том, что, поскольку мы так долго работали с точки зрения «автономии» историографии (установки № 2 и № 3), то мы должны принять во внимание снижение результативности и учитывать, что становится трудно произвести новое и неожиданное знание. Это – *предположение*, а не твердое утверждение, поскольку будущее любой науки непредсказуемо по своей природе.

Есть также и другие аргументы, которые можно было бы выдвинуть для частичной де-дисциплинаризации истории. Одни аргументы уже в основном развиты, иногда в подробностях, хотя наиболее часто в контекстах, к которым историки не проявляют внимание. Специально рассматривая историографию, ее историк и теоретик Ф. Анкерсмит указывает на то, что он называет «современное перепроизводство в нашей дисциплине... Все мы знакомы с тем фактом, что... ежегодно издается огромное количество книг и статей, что делает практически невозможным все-

¹ American Historical Association, Program of the One Hundred Seventh Annual Meeting. December 27–30, 1992. Washington, DC, 40.

стороннее представление о них»¹. Результатом, говорит Анкерсмит, стало движение от «эссенциалистской традиции в западной историографии», которая сосредоточивала внимание на «стволе дерева». Вместо этого можно теперь увидеть ветви дерева, что проявляется в формах историографии, которые больше не сосредоточивают внимание на «значении» (по-французски, это *sens*, что означает также «направление»), но вместо этого адресуются к тем аспектам прошлого (таким, как ментальности, гендер и т. п.), которые прежде расценивались как простые «упоминания», не имеющие значения для генеральной сюжетной линии истории².

За пределами историографии существует философская линия аргументации, замечательно представленная в некоторых аспектах ранних работ Жака Деррида, которые очевидно имеют отношение к требованиям единства дисциплин вообще (в особенности я имею в виду понятие *différance* у Деррида, которое мы можем взять как часть доводов против конвергенции наук)³. Философ-аналитик

¹ F. R. Ankersmit. *Historiography and Postmodernism* // *History and Theory*. Vol. 28. 1989. P. 137–153, at 137; русск. изд.: Анкерсмит Ф. Историография и постмодернизм // Анкерсмит Ф. История и топология: взлет и падение метафоры. М., 2003. С. 315.

² Ibid. P. 149; русск. изд.: Там же. С. 336–337; The Reality Effect in the Writing of History: The Dynamics of Historiographical Topology. Amsterdam, 1989; русск. изд.: Анкерсмит Ф. Эффект реальности в историописании. Динамика историографической топологии // Анкерсмит Ф. История и топология: взлет и падение метафоры. М., 2003. О концепте *notation* см.: Roland Barthes. *The Reality Effect*. Fr. orig. 1974; *The Rustle of Language* / trans. Richard Howard. New York, 1984. P. 141–142; русск. изд.: Барт Р. Эффект реальности // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1994.

³ Jacques Derrida. *Différance* // Jacques Derrida. *Margins of Philosophy* / Trans. Alan Bass. 1982. P. 1–27; русск. изд.: Жак Деррида. *Différance* / Перевод в кн.: Гурко Е. Тексты деконструкции. Томск, 1999.

Николас Решер, приводя доводы в пользу законности «ориентационного плюрализма» в философии, выдвигает это понятие, которое кажется столь же применимым к проблемам синтеза в историографии, как и к проблеме согласия в философии¹. Политологи Маттел Доган и Роберт Пара утверждают, опираясь на эмпирические исследования, что «гибридизация» дисциплин, а не специализация внутри них или объединение между ними, является в настоящее время наиболее надежным маршрутом к новому знанию. Аргументы Догана и Пара подразумевают сосуществование смешанных или гибридных направлений с традиционными².

Все эти аргументы указывают на нечто гораздо более широкое, чем историография, или даже чем гуманитарные науки вообще. Они указывают на культурные условия, которые могут быть идентифицированы как «постмодерн». Здесь не место для обзора огромного корпуса литературы, которая появилась в попытке точно объяснить, что означает термин и реальность «постмодерна»³. Сам термин, совершенно очевидно, является неудовлетворительным, но все же – по крайней мере в данный момент – необходимым. Глобальное определение не представляется возможным (можно предположить, что общее определение означало бы отказ от термина). Тем не менее одна особенность текущей социокультурной ситуации кажется существенной в отно-

¹ *Nicholas Rescher* The Strife of Systems // An Essay on the Grounds and Implications of Philosophical Diversity. Pittsburgh, 1985. XI. P. 276–277.

² *Mattei Dogan, Robert Pahre*. Creative Marginality: Innovation at the Intersections of Social Sciences. Boulder, CO, 1990; см. также: *Clifford Geertz*. Blurred Genres: The Refiguration of Social Thought. 1980. Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology. New York, 1983. P. 19–35.

³ *Jean-François Lyotard*. The Postmodern Condition (*Луомар*. Состояние постмодерна); *Allan Megill*. What Does the Term «“Postmodern” Mean?» // *Annals of Scholarship*. Vol. 6. 1989. P. 129–151.

шении того, о чем обычно думают как о «постмодерне». Этой особенностью является сопоставление различий – конкурирующих идентичностей. Не то чтобы социокультурная ситуация стала более «разнородной», чем была прежде; скорее, благодаря современным способам коммуникации эти *различия* были приведены в более тесное соприкосновение, так что возникает общее ощущение (по меньшей мере, в тех обществах, где эти разнообразности не идут войной друг на друга) поразительного разнообразия и альтернативности.

Кажется невозможным и в любом случае нежелательным пытаться гомогенизировать или синтезировать разнообразие. Самое большее, чего можно здесь достигнуть – это синкретизм, но даже синкретизм не является способом решения «проблемы» разнообразия в (американской) академии, в этнических государствах или в мире вообще. «Состояние постмодерна» – манифест в классной комнате, населенной консерваторами университетского городка и либералами, членами бисексуального, гомосексуального и лесбийского союзов, несколькими вариантами христианской активности, азиатами, европейцами и афро-американцами и множеством их смешений; людьми, чьи родные языки испанский, китайский, немецкий и английский, не забывая людей, чьи вкусы находятся в широком диапазоне музыкальных пристрастий – от панк-культуры до классики. В обучающем контексте вызов постмодернизма должен так или иначе скрепить эту смесь, без исключений или взрывов.

Существует тесная параллель между сопоставленными социальными расхождениями и сопоставленными дисциплинами. В обоих случаях мы имеем дело с границами, причем такими, которые нельзя, как бы ни хотелось, убрать. Скептицизм по отношению к требованию дисциплины автономии (поскольку именно к этому приводит, в конце

концов, недоверие к «большому нарративу») означает сомнение в правильности границ, а не их отрицание. Короче говоря, моя позиция заключается не в призыве к междисциплинарной унификации, не в аргументации в пользу «синтеза» на более высоком уровне, чем в историографии. В конце концов, есть пределы «открытости». Многие представители других дисциплин на основе своего опыта не согласятся с тем, что одинаковые способы аргументации подходят любому человеку и в любое время¹. И все же эти другие способы аргументации, когда они хорошо сделаны, также вносят свой вклад в познание. Я выступаю, скорее, за *пересечение* границ между дисциплинами, за временное обитание в разных областях знания, за попытки говорить на другом языке (или, по крайней мере, понимать его, что отличается от перевода) и за признание необходимости таких проектов *в пределах* исторической дисциплины. Необходимо заменить ошибочные представления об удивительной поглощающей способности профессиональной историографии и о единстве исторического метода². Это также аргумент в пользу создания, рядом с уже существующими, гибридных государств, – возможно, временных Андорр.

¹ См., например, комментарии университетского администратора, обеспокоенного вопросами расписания и учебного плана: «Мы редко признаем, что “мультикультурные” трения можно обнаружить не только в межэтнических и межрасовых отношениях, но также между нашими дисциплинами... Я был поражен тем, насколько крайне различным может быть мировоззрение у представителей разных факультетов». (Raymond J. Rodrigues. *Rethinking the Cultures of Disciplines* // *Chronicle of Higher Education*. 29 April, 1992. P. B1–B2.

² Sharon Traweek. *Border Crossings: Narrative Strategies in Science Studies and among Physicists in Tsukuba Science City, Japan* // Andrew Pickering, ed. *Science as Practice and Culture*. Chicago, 1992. P. 429–465; Sandra Harding. *After the Neutrality Ideal: Science, Politics, and ‘Strong Objectivity’* // *Social Research*. Vol. 59. 1992. P. 567–587, esp.: P. 577–585.

Четыре постулата, предложенных в ходе предшествующих рассуждений

Так как история, предлагаемая здесь, заканчивается не в прошлом, даже недавнем, а в настоящем и будущем, то она неизбежно приобретает предписывающее измерение. Безусловно, единственный действительно удовлетворительный ответ на вопрос «как сегодня должны быть организованы наука и исследование?» есть их реальная организация, поскольку ответ – это всегда риск. Но несколько предписывающих постулатов, мне кажется, следуют из этой истории. Они тоже, в большей или меньшей степени, вписаны в существующую ситуацию (хотя моей целью не является четкая формулировка исчерпывающих описаний сегодняшней ситуации, в любом случае – это невозможная задача).

А. Постулат множественности: никогда не предполагайте, что существует единственный полномочный исторический метод или предмет.

Феноменом историографической установки № 3 в ее наиболее интеллектуально неотразимой форме стал призыв к «тотальной» истории – призыв, который чаще всего тесно связывается с именем Фернана Броделя. Бродель рассматривал свой труд «Средиземноморье и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II» как «попытку написать» именно такую историю¹. Но стремление к «тотальной» истории неизбежно порождает ее противоположность². Величай-

¹ *Fernand Braudel. The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II (2/1966) / Trans. Siân Reynolds. 2 vols. New York, 1973. II, 1238; русск. изд.: Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. Ч. 1. Роль среды. М., 2002.*

² То же делает и превозносимая третьей установкой автономия. Ведь если автономия истории – это ценность, почему бы не быть «автономии

ший памятник этой неудаче в поисках единства – журнал «Annales: Экономии, Общества, Цивилизации». Можно вспомнить и сам «Средиземноморье и средиземноморский мир», труд, который, в конечном счете, скрепляется масштабным литературным замыслом¹. Можно подумать также о более поздней работе Броделя «Цивилизация и капитализм», обширном собрании свободно связанных несоизмеримостей². Не удивительно, что теперь для обозревателей историографической сцены стало общим местом указывать на «мультипликацию» или «пролиферацию» истории, ее трансформацию из «истории» во множество «историй»³.

Мультипликация нарастала частично из-за социологических изменений, приведших в профессию историка людей, склонных считать интересными те предметы, которыми до настоящего времени пренебрегали в исследовательском поле истории. Например, в Соединенных Штатах появление социальной истории было различными способами

интеллектуальной истории» (*Leonard Krieger. The Autonomy of Intellectual History // Journal of the History of Ideas. Vol. 34. 1973. P. 499–516?* А если ценностью является автономия интеллектуальной истории, почему бы не признать автономию всех других историй; например, истории Франции раннего Нового времени или американской истории более позднего периода?

¹ *Hans Kellner. Disorderly Conduct: Braudel's Mediterranean Satire // Hans Kellner. Language and Historical Representation: Getting the Story Crooked* Madison, WI, 1989. P. 153–187.

² *Fernand Braudel. Civilization and Capitalism: 15th–18th Century // Trans. Siân Reynolds. 3 vols. New York, 1981–1984; русск. изд.: Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика, капитализм, XV–XVIII вв.: В 3-х т. М., 1986–1992.*

³ *Paul Veyne. Writing History: Essay on Epistemology // trans. Mina Moore-Rinvolucri Middletown, CT, 1984. P. 26; русск. изд.: Поль Вен. Как пишут историю: Опыт эпистемологии. М., 2003; François Furet. Introduction // Furet, In the Workshop of History. Trans. Jonathan Mandelbaum. Chicago, 1982. P. 13–20, at: P. 16.*

инспирировано вхождением в профессию выходцев из этнических групп, отстраненных от политической власти и направлявших свою энергию на то, чтобы ассимилироваться и добиться успеха в американском обществе. Появление женской истории имело очевидную связь с вхождением в профессию большого количества женщин (многое можно сказать о фундаментально мужском характере профессиональной традиции: по крайней мере, в Соединенных Штатах дисциплинаризация академических областей за поколение или два после 1920 года коррелируется со снижением в пропорции женщин-академиков)¹. Прежде исключенные или нежелательные группы были способны найти новые предметы исследования, интересные отчасти потому, что личный и семейный опыт новых исследователей сделал их восприимчивыми к таким предметам, в то время как, по подобным же причинам, интересы более ранних поколений историков концентрировались в относительно небольшом диапазоне привилегированных политических деятелей.

В распоряжении исследователей есть несколько релевантных стратегий для того, чтобы справиться с тем фактом, что они профессионально имеют дело с предметами, «очевидным» способом связанными с их собственными социальными интересами и опытом (более ранние связи в общем не были «очевидными» из-за меньшей степени социального разнообразия). Одна стратегия – это ассимиляция. Подрубая «стандарт автономии» установки № 3, историки могут действительно признавать свои социальные обязательства, и одновременно утверждать, что в историографии господствуют «объективность» и профессионализм. Здесь не изменяется ничего, по крайней мере явно.

¹ О женщинах и историописании см.: *Bonnie G. Smith. The Gender of History: Men, Women, and Historical Practice. Cambridge, MA, 1980.*

Более смелый вариант продолжает твердо придерживаться профессионализма, но стремится изменять и совершенствовать «большой» или, по крайней мере, «мастер-нарратив», включая в него то, что прежде было исключено; например, гендер. Теперь может быть даже сделана заявка на то, что, в конце концов, будет создан авторитетный рассказ о прошлом, «полная история». Здесь также мы находимся в границах установки № 3. Если придерживаться примера гендера, то можно сказать, что дальнейшая траектория движения такова: от «женской истории» к «феминистской истории», где заявленная авторитетность скорее непрофессиональная, чем профессиональная. Движение к феминистской истории может привести к принятию полученной догмы, как в установках № 1 и № 2; или к диалектическому отношению к прошлому и своей собственной позиции. В последнем случае, можно попытаться увидеть это как воплощение установки № 4.

В. Постулат гибридизации: всегда формируйте исследовательские поля вне своей дисциплины.

По определению (и читатели должны признать, что многое из моих аргументов здесь *per definitionem*), история от установки № 3, защищающей автономию дисциплины, *практически не* признает существования иных, чем ее собственные, законных форм аргументации о человеческом мире. В установке № 3 другие дисциплины рассматриваются как, самое большее, «вспомогательные» области. Так, в 1950-х и 1960-х годах связи, установившиеся между историей и политической наукой, привели к введению в историю статистических методов изучения человеческого поведения, а в 1970-х подобные связи, налаженные между историей и антропологией, привели к возникновению новых, культурологически ориентированных способов рас-

смотрения обществ прошлого¹. В обоих случаях дисциплинарные границы, ограждающие историографию, остались бесспорными, невзирая на открытия, произведенные этими междисциплинарными набегами². В установке № 3 другие дисциплины рассматриваются как источники методов и результатов, импортируемых в историографию без каких-либо фундаментальных изменений в ней, а не как самостоятельные формы аргументации, которые, благодаря самому своему отличию от исторического мышления, могли бы обнаружить вещи, какие историческое мышление упускает из виду.

По контрасту, история установки № 4 отвечает на фрагментацию дисциплины и ее предмета организацией частных или временных исследовательских областей в других интеллектуальных сообществах. Появляются кросс-дисциплинарные гибриды, скрепляемые некоторой комбинацией теории и опыта. Часто эти сообщества *ad hoc* и локальны, они зависят от обстоятельств характера, географии и интеллектуальной культуры; им препятствуют дисциплинарные барьеры и иерархия и способствуют общительность и эгалитаризм. Но они участвуют в создании временного моста между различными дисциплинами в виде некоторого общего подхода или объекта изучения. В пределах каждой такой группы появляется новая «языковая игра», вырабатывается *lingua franca*, язык, отличный от языковых игр дисциплин, из которых приходит каждый участник (так как участие в дисциплине все еще является предварительным условием для вступления в мультидисциплинар-

¹ Об истории и политологии см.: William O. Aydelotte, Allan G. Bogue, Robert William Fogel, eds. *The Dimensions of Quantitative Research in History* Princeton. 1972. Introduction, особенно: P. 3–14. Об истории и антропологии см.: Lynn Hunt, ed. *The New Cultural History* Berkeley. 1989. Introduction, особенно: P. 1–12.

² Peter Novick. *That Noble Dream*. P. 591, сноска 20.

ную языковую игру)¹. Работа нового типа происходит в каждом «гибридном» поле, отличаясь от той, которая делается в смежных дисциплинах.

В настоящее время мультидисциплинарное взаимодействие поддающегося трансформации вида – редкое явление в гуманитарных науках. Возможно, оно более характерно для физических и биологических наук, где дисциплинарные границы несколько более подвижны и весьма часто изменяются в ответ на появление новых исследовательских проблем². Не случайно хорошо известный пример установки № 4 в историографии относится к истории науки: «Структуры научных революций» Томаса С. Куна³. Написанная физиком, ставшим историком науки, она интересна важными проблемами из области философии науки. Нарушив дисциплинарные границы, эта работа потеряла выгоды дисциплинарной уверенности; она смело проникла в проблемные области. Отчасти поэтому она имела важный результат: в самом деле, никакая другая работа историка в XX столетии не сделала так много для формулировки новых проблем и предложения новых подходов к решению старых⁴.

¹ Lyotard. *The Postmodern Condition*. Ch. 13: Postmodern Science as the Search for Instabilities. P. 53–60; русск. изд.: *Лиотар*. Состояние постмодерна. Гл. 13: Постмодернистская наука как поиск нестабильности. С. 130–144.

² См.: Novick. *That Noble Dream*. P. 585, сноска 13, где Новик комментирует скольжение границ между физическим и биологическим факультетами Университета Чикаго. См. также: *Gérard Noiriel*. Foucault and History: The Lessons of a Disenchantment // *Journal of Modern History*. Vol. 66. 1994. P. 547–568, особенно: P. 567–568.

³ T. S. Kuhn. *The Structure of Scientific Revolutions* // 2nd rev. enl. ed. Orig. edn., 1962; Chicago, 1970; русск. изд.: *Кун Т.* Структура научных революций. М., 1977; см. также: *Geoffrey Hawthorn*. Plausible Worlds: Possibility and Understanding in History and the Social Sciences. Cambridge, 1991.

⁴ «Структура научных революций» была издана и распродана гигантским тиражом, а индекс цитирования указывает на то, что многие ученые-историки ее действительно прочитали хотя бы частично.

С. Постулат фикционализма: всегда выявляйте фикциональность, неявно присутствующую во всех работах по истории.

Коллингвуд утверждал в «Идее истории», что «существует всего лишь один исторический мир», «чисто воображаемые миры не могут вступать в противоречие и не обязаны согласовываться друг с другом, поскольку каждый из них – мир в себе»¹. В общем-то говоря, это утверждение Коллингвуда об историческом мире некорректно (так как один исторический мир предполагает бесконечное множество контрфактических), но это в значительной степени правильно как наблюдение в отношении историографической установки № 3, в которой приверженность к одному способу мышления имеет тенденцию производить один вид исторического объекта и устанавливать ограничения на иные виды объяснения, с ним связанные. Утверждение Коллингвуда подразумевает, далее, что чем дальше расстояние между историками и самой историей, тем больше «вымышленных» аспектов появляется в их работах.

Я касаюсь здесь проблем, которые, как я думаю, не могут быть решены ни в теории, ни в практике; но эти проблемы необходимо поставить. Дуализм история/беллетристика – один из многих, имеющих ограниченную аналитическую ценность: его особенно склонны полемически утрировать и те, кто воображает, что «все сгодится», и те, кто пришел бы в ужас от этого утверждения. Часто плодотворный научный метод, с которым подходят к таким примерам дуализма, начинает их усложнять. Даже на первый взгляд становится ясно, что в пределах общей территории «фикциональности» существует, по крайней мере, необходимость различать между тем, что я назвал бы, соответственно, «литературным» и «фиктивным». Под «литературным» я подразумеваю все те приемы литературного ре-

¹ *Collingwood. The Idea of History. P. 246; Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Ч. V. Эпилегомены. Историческое воображение. С. 234.*

месла, которые обычно попадают в поле нашего внимания, когда мы читаем беллетристику, но что мы часто расцениваем как аномальное и подозрительное в историографии, которая в качестве своей профессиональной специфики склонна культивировать нейтральный стиль. Под «фиктивным» я имею в виду все те измерения, в которых работы по истории отклоняются от истины в смысле соответствия эмпирической действительности. Весь каузальный анализ в этом смысле фиктивен, потому что он предполагает контрафактическое моделирование. Аналогичным образом фиктивна типологизация, потому что типы – это всегда идеализации реальности. На самом деле, принимая во внимание всю сложность реальности, само определение также рискует в этом смысле быть фиктивным.

О литературном измерении историографии много писали такие ее теоретики, как Хейден Уайт, Стивен Банн, Ханс Келлнер, Филипп Каррард и Ф. Анкерсмит¹. Можно также вспомнить о небольшом корпусе стилистически «экспериментальных» работ по истории, написанных начиная с начала 1970-х, которые намеренно или невольно попали на

¹ *Hayden White, Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe* Baltimore. 1973; русск. изд.: *Хейден Уайт. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века.* Екатеринбург, 2002; *Stephen Bann. The Clothing of Clio: A Study of the Representation of History in Nineteenth-Century Britain and France.* Cambridge, 1984; *Hayden White. The Content of the Form; Kellner. Language and Historical Representation; Philippe Carrard. Poetics of the New History: French Historical Discourse from Braudel to Chartier.* Baltimore, 1992; *F. R. Ankersmit. The Dilemma of Contemporary Anglo-Saxon Philosophy of History // History and Theory. Vol. 25. 1986. P. 1–27; Ankersmit. The Use of Language in the Writing of History // Hywell Coleman, ed. Working with Language: A Multidisciplinary Consideration of Language Use in Work Contexts.* Berlin, 1989. S. 57–81; русск. изд.: *Анкерсмит Ф. Дилемма современной англосаксонской философии истории // Анкерсмит Ф. История и тропология: взлет и падение метафоры.* М., 2003; *Анкерсмит Ф. Использование языка в историописании // Там же.*

почву установки № 4¹. «Голос» стал важной проблемой во многих экспериментальных работах; другие проблемы включают в себя отказ от согласия относительно последовательно развертывающегося нарратива и тенденцию историка явным образом вторгаться в историческое повествование. Такие литературные эксперименты предполагают более глубокую, онтологическую позицию: сам исторический объект есть «фиктивное» создание, нечто конституированное *как объект* сознанием историка и его или ее читателей. Это – не утверждение, что *там* ничего нет»; это утверждение, что историк сам создает (но не из ничего) специфические исторические объекты, представленные в его или ее работе.

Д. Постулат теоретический теории: всегда теоретизуйте.

В мире, который больше не верит в единственную Историю, историки могут пробуждать всеобщий интерес только потому, что их работа поднимает теоретические проблемы. Например, в Америке, которая больше не рассматривает свою историю как непосредственно вытекающую из политической и конституционной истории Великобритании, события «Порохового заговора 1605 года» могут представлять интерес только постольку, поскольку они поднимают проблемы теоретического характера, независимые от конкретных событий 1605 года. Но в то же время, так как преобразование «истории» во «множество историй» проблематизирует границы между историей и беллетристикой, то это также проблематизирует границы между ис-

¹ Jonathan D. Spence. *The Death of Woman Wang*. New York, 1978; Natalie Zemon Davis. *The Return of Martin Guerre* Cambridge, MA, 1983; русск. изд.: Н. Земон Дэвис. *Возвращение Мартина Герра*. М., 1990; Natalie Zemon Davis. *Fiction in the Archives: Pardon Tales and Their Tellers in Sixteenth-Century France*. Stanford, 1987; Robert A. Rosenstone. *Mirror in the Shrine // American Encounters with Meiji Japan* Cambridge, MA, 1988; David Farber. *Chicago '68*. Chicago, 1988.

торией и теорией. Вспомним надежду Коллингвуда на то, что философия могла бы стать исторической и что, взаимно, история станет философской. В существующем положении вещей, когда господствуют множественность и разобщение, никакой подобный счастливый синтез, никакой средний путь не представляются возможными. Вместо этого связи между историей и теорией становятся более локальными и ограниченными.

Соответственно, формируется предположение, что (1) историография способна оказать (ограниченную) помощь теории, внося серьезный вклад в обсуждение теоретических проблем¹. Очевидно, что в зависимости от различных теоретических посылок, будут созданы *различные* истории. Формируется мнение (2) о растущем интересе историков к теории; конечно, существуют различные теории и различные способы проявления к ним интереса. Возникает (3) более ироничный по отношению к самому себе (чем ныне существующий) историографический стиль, обладающий большей самокритичностью и рефлексивностью, с пристальным вниманием к собственным предположениям, свидетельствам, аргументам и заключениям. В этом отношении он находит свое начало скорее в Геродоте, чем в Фукидиде. Рассказывая о совете Солона Крезу, Геродот выдвинул принцип для своей собственной и, возможно, нашей истории, а именно – с уверенностью говорить о познании истории можно только после того, как она закончится, когда не будет больше истории, которую надо познавать². Наконец, ввиду обширного, не поддающегося обработке корпуса произведенной *основной* историографии,

¹ Kuhn. The Structure of Scientific Revolutions. «История, если ее рассматривать не просто как хранилище анекдотов или фактов, могла бы стать основой для решительной перестройки тех представлений о науке, которые сложились у нас к настоящему времени» (русс. изд.: Кун Т. Структура научных революций. М., 1977. С. 17).

² Herodotus. The History / trans. David Grene. Chicago, 1987. 1.32. P. 47–48; 1.91. P. 76–77; 1.5. P. 35; русск. изд.: Геродот. История // Историки Греции. М, 1976. 1.32. С. 38–39; 1.91. С. 61; 1.5. С. 28.

предполагается, что (4) историография, больше в манере размышления или комментария, в духе Монтеня и в форме эссе, теперь могла бы комментировать для нас значение этого корпуса историографии. В своем медитативном модусе историография с установкой № 4 могла бы не участвовать в добывании новых фактов, — т. е. не участвовать в историческом исследовании, как оно обычно понимается, — но вместо этого занялась бы философской задачей размышления над значением фактов в некотором смысле уже «известных».

Перефразируя наиболее выдающегося британского историка его времени Томаса Бабингтона Макалея, Ранке однажды написал: «История начинается с хроники и заканчивается эссе, то есть размышлением над историческими событиями, которые находят там особый резонанс»¹. Как предполагает наблюдение Ранке, четыре историографические установки, которые в западной традиции чередой располагаются от до-профессиональной хроники (полагающейся на когерентность всеобщей истории, предположительно уже познанной) к пост-профессиональному эссе — сегодня все представлены в дисциплинарной традиции. Читая традицию специфическим способом, чувствуя ее противоречия, мы можем увидеть подавляемые ею сомнения в самой себе. В этом смысле мы просто развиваем что-то, что зародилось уже там, в прошлом. Но конкретная социальная ситуация нашего собственного времени — на Западе и вне его — побуждает нас действовать и предоставляет полномочия для такого прочтения.

¹ *Ranke*. *Neuere Geschichte seit dem Anfang des 17. Jahrhunderts* (28. Oktober 1867–10. März 1868) // [Einleitung] // *Ranke*. *Aus Werk und Nachlass*. Vol. 4. S. 412: «Geschichte beginnt mit Chronik und endigt mit Essay, ...das ist, in der Reflexion über die historischen Ereignisse, die dort besonders Anklang findet». («История начинается с хроники и заканчивается эссе, то есть рефлексией над историческими событиями, в которой они находят особый резонанс»). Ранке слегка неправильно процитировал Макалея, который писал, что история «начинается в романе и заканчивается в эссе» (*Thomas Babington Macaulay*. *History and Literature*. 1828 // *Varieties of History*. 73. Stern, ed.).

Глава IV

СВЯЗНОСТЬ

§ 1. Связность и не-связность в исторических исследованиях: от школы «Анналов» до новой культурной истории

Встречая ученых, занимающихся проблемой дисциплинарной когерентности и тем, как ее можно осуществить, мы ощущаем потребность более пристально взглянуть на дискурс связности, который в результате этого возникает. Такие дискурсы отмечены тем, что я называю «предложения связности». Предложения связности легко опознать, поскольку они включают в себя общее базовое утверждение: «Теперь мы все должны объединиться вокруг *X*». Сам *X*, а также те эпистемологические, даже онтологические допущения, которые поддерживают *X*, могут меняться от поколения к поколению, даже от десятилетия к десятилетию. Но в «продвинутых» секторах исторической дисциплины за последние восемьдесят лет, или около этого, существовала большая степень преемственности в отношении того, каким образом когерентность трактовалась как явление. Предложения связности «продвинутых» историков прошлых восьмидесяти лет соответствуют – хотя и не эквивалентны – тому, что в настоящее время является ведущей и господствующей фракцией дисциплины, так называемой «новой культурной истории»; направление, которое возникло в 1980-х годах, одновременно как расширение

социальной истории и как восстание против ее господства¹. Ученые делают заявления о связности тогда, когда они заинтересованы в профессиональном продвижении и институциональном доминировании. Короче говоря, когда мы наблюдаем развернутые заявления о связности, мы должны оглянуться вокруг, чтобы увидеть, кто осуществляет захват власти в академическом сообществе, кто кого пытается вытеснить и объявить второстепенным. И все же это не единственное, что нужно сделать; существуют также собственно теоретические проблемы, связанные с когерентностью, – проблемы, имеющие отношение к дисциплинарным целям, методам, результатам и аудитории так же, как к объекту исторического исследования, историческому прошлому в его многочисленных проявлениях. Таким образом, я утверждаю, что заявления о связности должны быть рассмотрены и как захват власти, и как попытки обозначить подлинную проблему.

Сегодня в исторической дисциплине на самом деле существует проблема связности. Она не всегда имела место, поскольку когерентность долгое время рассматривалась не как проблема, но как легко достижимая цель. В конце XIX и в начале XX столетия думающие люди полагали, что тогдашняя, относительно новая академическая дисциплина была устроена так, чтобы осуществить идею написания всеобщей истории человечества, или, по крайней мере, той части человечества, где события заслуживали записи.

¹ См.: The New Cultural History / Ed. Lynn Hunt Berkeley. 1989; Beyond the Cultural Turn: New Directions in the Study of Society and Culture / Ed. Victoria Bonnell, Lynn Hunt Berkeley. 1999, – особенно, введение редакторов. «Beyond the Cultural Turn» – это тридцать четвертая в серии книг «Studies on the History of Society and Culture», которую редактируют Боннелл и Хант. Список заглавий изданных книг, предшествующий титульному листу, хорошо иллюстрирует диапазон и типы тем, охваченных новой культурной историей.

Отчитываясь в 1896 году перед членами магистрата издательства Кембриджского университета о работе над «Cambridge Modern History», которую он взялся редактировать, лорд Актон признал, что «в этом поколении мы не можем получить окончательную историю», допуская, таким образом, что когда-нибудь такая история все же может быть написана. И преемник Актона на посту профессора кафедры современной истории в Кембридже, Дж. Бьюри, ясно заявил в своей инаугурационной лекции 1902 года, что историки должны работать, исходя из перспективы создания универсальной истории мира, и что такая история действительно будет написана¹. Короче говоря, Актон и Бьюри были преданы понятию «большой нарратив», если использовать удачный термин Ж.-Ф. Лиотара². Важность этой дисциплинарной цели, единой истории человечества, признавалась многими другими историками – теми, кто даже

¹ The Cambridge Modern History: Its Origins, Authorship and Production, Cambridge, 1907, закомичено E. H. Carr. What is History? New York, 1962. P. 3; J. B. Bury. The Science of History // The Varieties of History from Voltaire to the Present. Избранное. Ed. Fritz Stern. 2d ed. New York, 1973, P. 209–223, особенно: P. 219–20. Lord Acton. Letter to the Contributors to the Cambridge Modern History. Письмо от 1898 года. P. 247–249.

² Jean-François Lyotard. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. 1979 / Trans. Geoff Bennington, Brian Massumi. Minneapolis, 1984; русск. изд.: Ж.-Ф. Лиотар. Состояние постмодерна. М., 1998. Обсуждения того, каким образом понятие большого нарратива (часто называемого «всеобщей историей») с самого начала создавало проблемы в истории как научной дисциплине см гл. III, §2. наст. издания. Наиболее эрудированное и аналитическое обсуждение роли связности в западном историописании дано в работе: Leonard Krieger. Time's Reasons: Philosophies of History Old and New. Chicago, 1989. Идея книги Кригера – разрушение концепции исторической связности, которая сложилась в самом начале XX столетия; ее мотивов, потребности взаимодействовать с академическим и политическим радикализмом, которые, по мнению Кригера, проникли в дисциплину в конце 1970-х и в начале 1980-х, когда книга была, по существу, закончена.

если четко и не формулировал ее как цель, но преподавал и писал историю так, как будто эта цель не требовала доказательств.

В начале XXI века вещи видятся совсем по-другому. Сегодня очевидно, что историческая дисциплина не объединилась, а, наоборот, распалась на множество различных направлений. Едва ли удивительно, что так и должно быть. Во времена Актона и Бьюри сфера истории была уже, чем теперь. Большинство историков того времени сосредоточивалось на исследовании национального государства и на том, каким образом оно возникло как главная политическая форма. Такие исследования, как история повседневности, ментальностей и сексуальности, не существовали в границах дисциплины. Не было ничего, что могло бы рассматриваться как история любых не-западных народов: те истории не-западных регионов, которые все же имелись, фактически были историями европейских завоеваний, оккупации и управления. Было широко распространено представление о том, что киплинговские «мелкие породы людей без закона» не имели также и своей истории; в самом деле, события происшедшие в их прошлом, не возвышались до уровня *исторического*. Гегель полагал, что ни один народ, не имеющий письменности и государственного устройства, не может иметь историю, и в этом историки были с ним согласны¹. Сегодня, напротив, историки пишут о более широком диапазоне мест и времен, и в более широком охвате областей жизни человека, чем делали их коллеги столетия назад.

Все же едва ли можно сказать, что история имеет концептуальные инструменты или интерпретирующие пер-

¹ О письменности как предусловии истории: *G. W. F. Hegel. Lectures on the Philosophy of World History: Introduction: Reason in History* / Trans. H. B. Nisbet. Cambridge, 1975. P. 13; О государстве как предусловии истории: *G. W. F. Hegel. The Philosophy of History* / Trans. J. Sibree. Ed. C. J. Friedrich. New York, 1956. P. 111; русск. изд.: *Гегель Г. В. Ф. Философия истории. Введение*. СПб., 1993. С. 57–158)

спективы, которые позволили бы сегодняшнему обширному потоку исторических направлений соединиться вместе в единую связную картину. Около 1900 года история, рассказываемая или представляемая, была движением человечества к непроблематично определяемой либеральной свободе. Сегодня нет такого общего нарратива: и либеральная история, и ее марксистский вариант были маргинализированы, и никакой убедительной замены им не появилось. Большинство читателей исторических книг, конечно, не замечают тщетности попыток выстроить полученные в них результаты в одну историю. Если бы они и заметили их, то едва ли озаботились бы этим, потому что большинство людей читают работы по истории, желая изучить определенную тему, – например, Третий рейх, или Отцов-основателей, или Гражданскую войну, – а не с какой-то более крупной целью. Со своей стороны, большинство историков, хотя и осознают все возрастающее разнообразие истории, не слишком задумываются об этом и бывают обеспокоены этим только тогда, когда перед ними поставлена задача преподавания курсов с требующим невозможного названием «Мировая история». Нам здесь, однако, важно то интересное меньшинство историков, которое предложило лекарство или, по крайней мере, противоядие от этой множественности в форме предложений о создании того или иного историографического единого фронта.

* * *

Центральный вопрос, встающий перед всеми сторонниками исторической связности, таков: какую форму может принять когерентность, если исследования и работы историков расходятся в многообразие различных направлений? Этот вопрос связан с одной из наиболее влиятельных ориентаций в исторических исследованиях и исторических

работах в XX столетии, школой «Анналов» (названной так по названию своего журнала), и хотя это часто остается незамеченным, но она все еще продолжает участвовать в соревнованиях за гегемонию среди различных «парадигм» в исторической дисциплине¹. Надо сказать, что термин *школа* вводит в заблуждение: «Анналы» были больше ориентацией, чем школой, и когда в 1975 году в границах общей территории гуманитарных наук появилась «École des Hautes Études en Sciences Sociales», ее едва ли можно было *идентифицировать* с «Анналами». Нужно также обратить внимание на то, что первоначальный объединительный импульс «Анналов» становился все более фрагментарным по мере смены поколений. Сегодня сам термин «школа «Анналов»» звучит как устаревший: школа «Анналов» уходит. Но она остается в качестве наиболее важного референта, который мы имеем для исследования проблемы связности. С одной стороны, первых два поколения анналистов предприняли самую обоснованную и амбициозную попытку XX столетия – достигнуть связности в историописании. Это осталось бы верным даже в том случае, если бы «Анналы» не стали бы влиятельны. Но они на самом деле были влиятельны. Несмотря на то что школа «Анналов» – дело прошлого, импульс, заданный «Анналами», все еще остается будоражающим – прямо и косвенно. В частности, новая культурная история имеет глубокие корни в традиции «Анналов», но даже там, где такие связи не существуют, остается сущностное и ситуационное сходство между первоначальной программой школы «Анналов» и программой культурной истории сегодня.

¹ Относительно краткое исследование школы «Анналов» дано в работе: Peter Burke. The French Historical Revolution: The Annales School: 1929–1989. Cambridge, 1990.

История «Анналов» отслеживается от 1929 года, когда два историка в университете Страсбурга, Люсьен Февр (1878–1956) и Марк Блок (1886–1944), основали «*Annales d'histoire économique et sociale*»¹. Февр был во многом вдохновителем проекта «Анналов», и его роль еще более возросла, когда Вторая мировая война оборвала жизнь Блока². Существенными для проекта «Анналов» были настойчивые заявления Февра о «необходимости синтезировать все знание в рамках истории». Он хотел «отменить барьеры между гуманитарными науками и социальными науками... [Он] не мог принять барьеры между дисциплинами; он верил в единство знания»³. Цель обнаружения и демонстрации единства знания в форме *единой* гуманитарной науки одновременно вдохновляла и издание журнала, и интеллектуальную и академическую деятельность Февра в целом.

Будучи студентом *École Normale Supérieure* с 1899 по 1902 годы, и затем в ходе подготовки, начиная с 1905 года, докторской диссертации «*Филип II и Франш-Конте: исследование политической, религиозной, и социальной истории*» (защищенной в 1911-м и изданной в 1912 году), Февр принимал участие в спорах того времени об отношениях между социальной наукой и историей. Одна позиция в этих спорах было ярко представлена Эмилем Дюркгеймом,

¹ Название журнала несколько изменилось с момента его основания. Теперь он называется «Анналы. История и социальные науки».

² Хотя Блоку было уже за пятьдесят, он в 1939 году добровольно поступил на службу в армию. В ходе разгрома Франции он бежал в Англию из Дюнкерка и затем возвратился домой через Бретань. Но его еврейское происхождение привело к его отстранению от преподавательской деятельности согласно антисемитским законам режима Виши. Позже, в 1943 году, он становится лидером Сопротивления в Лионе, за что и был расстрелян немцами в июне 1944 года.

³ *Ubiratan D'Ambrosio*. Febvre, Lucien // *Encyclopedia of Historians and Historical Writing* / Ed. Kelly Boyd. 2 vols. London, 1999. Vol. 1. P. 379.

который в тот период был занят созданием социологии и предложил, чтобы социология, с ее анализом и концептуальным каркасом, стала бы ключевой дисциплиной, а история была бы только поставщиком материала. Точно так же экономисты доказывали, что экономическая теория должна господствовать над экономической историей. Февру было слишком интересно исследование прошлого, чтобы заняться подобным подчинением истории теории. Для Февра когерентность не была чем-то таким, что может появиться из совокупности теоретических концепций. Чрезвычайно важная для Февра модель исторических исследований была предложена его старшим *normalien* и неутомимым академическим деятелем Анри Берром, который в 1900 году основал журнал «*Revue de synthese historique*», цель которого, как следовало из названия, состояла в достижении исторического синтеза¹. Берр был критиком доминирующего в то время способа историописания, *histoire historisante* (его термин), который он трактовал как узкую сосредоточенность на политических событиях, не предлагающую широкую картины человеческого общества. В диссертации Февр не ограничил свое исследование волнующими политическими событиями конца XVI столетия (когда Филипп II Испанский управлял Франш-Конте и боролся с восстанием Нидерландов против испанского владычества), но также обратился к исторической географии и социально-экономической истории. Он включил в свое исследование статистические таблицы, иллюстрирующие доход благородных сословий, и также исследовал взгляды и образ жизни знати и бюргеров. Следующей книгой Февра, одобренной Бер-

¹ О Бепре см.: William R. Keylor. *Academy and Community: The Foundation of the French Historical Profession* Cambridge. Mass., 1975. Chap. 8. Henri Berr and the «Terrible Craving for Synthesis».

ром, стала «География и развитие человечества» (1922). Эта книга была задумана, с одной стороны, как атака на географический детерминизм таких исследователей, как немецкий географ Фридрих Ратцель. С другой стороны, она имела целью побудить историков принимать во внимание географические факторы в исследовании прошлого. Короче говоря, Февр выступил одновременно и против чрезмерного детерминизма, и против чрезмерной привязанности к представлению том, что люди (или, скорее, группа людей, обладающих политическими правами) достаточно свободны для того, чтобы быть понятыми в отрыве от их окружения.

Где же во всем этом когерентность? Позвольте посмотреть на вопрос шире. В первых двух поколениях школы «Анналов» поиск связности проходил на двух различных уровнях. Более очевидным был уровень исторической репрезентации. Историки «Анналов» надеялись осуществить всестороннее описание специфических исторических реалий, которые они выбрали в качестве объекта исследования. Именно к этому стремлению к связности обычно применялся термин «тотальная история», который стал модным словечком среди анналистов. Мы можем увидеть это стремление уже в том месте работы «Филип II и Франш-Конте: исследование политической, религиозной и социальной истории», где видно явное намерение предложить что-то типа всесторонней картины исторической действительности Франш-Конте второй половины XVI столетия (то, что это была родная область Февра, без сомнения, вдохновляло его в этом стремлении). Однако репрезентационный аспект поиска анналистами связности более известен по другой книге, которая может считаться образцом историографии «Анналов» – речь идет о монументальном труде «Средиземное море и средиземноморский мир в эпо-

ху Филипа II» (1949; повт. изд. 1966), написанном человеком, который стал *главой* второго поколения школы «Анналов», – Фернаном Броделем (1902–1985)¹. В этой книге (которую, правду сказать, не многие пролистали с начала до конца) Бродель пытается дать полную картину средиземноморского мира времен Филиппа II. Он делит этот мир на три уровня: «структуру», «конъюнктуру» и «событие». По-другому книгу Броделя можно трактовать как описание действия трех отдельных, хотя и пересекающихся, темпоральностей – большой длительности (структура) [*la longue durée*], средней длительности (конъюнктура) и короткой длительности (событие). На базовом, географическом, уровне время едва ли движется вообще; на уровне конъюнктуры оно движется по циклам, которые могут длиться много лет (по модели определенных видов экономических циклов); в то же время на уровне событий (охватывающем, в основном, политику и войны) время движется быстро, но поверхностно.

Необходимо сделать два замечания о броделевском способе концептуализации его проекта. Первое: рассматриваемая тотальная история на самом деле не тотальна и не может быть таковой. Не учтены обширные категории человеческой жизни, и они *должны* быть пропущены, для того чтобы «тотальная история» не стала еще более нечитабельной, чем она есть. Второе замечание состоит в том, что попытка предложить полную репрезентацию прошлой исторической действительности гарантирует, в сущности, выдвижение на первый план исторической *несвязности*, несмотря на тот факт, что сам Бродель настаивал на «един-

¹ *Fernand Braudel. The Mediterranean and the Mediterranean World in the Age of Philip II / Trans. Siân Reynolds. 2 vols. New York, 1973; русск. изд.: Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. Ч. 1. Роль среды. М., 2002.*

стве и связности средиземноморского региона»¹. Печально, но известным фактом является то, например, что броделевская «тотальная» картина средиземноморского мира просто не складывается вместе: совершенно очевидно, что три его временных уровня (воплощенные в трех отдельных частях книги) весьма слабо взаимосвязаны².

По всей видимости, в самом начале, задолго до Броделя, Февр понял трудность достижения связности на уровне репрезентации. Этот отправной пункт становится очевидным только тогда, когда предпринимается попытка написать всеобъемлющую историю. Ведь одной из главных особенностей исторического исследования является как раз неразрешимость его диалектики – неразрешимость, которая, возможно, наиболее ясно видна в возложенной на историков обязанности изучать людей как одновременно зависимых и свободных; но также очевидна она и в их обязанности исследовать и частности (типа Монтаяю в XIII столетии или французской нации) и «универсалии» (типа средневекового сельского сообщества или государства). Сам Февр отмечал, совершенно прозрачно, что одна из задач истории заключается «в установлении отношения Институционального к Случайному», – задача, которую он считал сопоставимой с задачей в других науках

¹ Braudel. The Mediterranean. Vol. 1. P. 14; русск. изд.: Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. Ч. 1. Роль среды. М., 2002.

² Два наиболее проницательных читателя «Средиземноморья» Дж. Хекстер и Ханс Келлнер подчеркнули несвязанность его работы: Hexter. Fernand Braudel and the Monde braudellien... // Journal of Modern History. Vol. 44. 1972. P. 480–539; Kellner. Disorderly Conduct: Braudel's Mediterranean Satire (A Review of Reviews) // History and Theory. Vol. 18. 1979. P. 197–222; переиздание: Kellner. Language and Historical Representation: Getting the Story Crooked Madison. WI, 1989. P. 153–187.

устанавливать «отношение Логического и Эмпирического [*le Réel*]»¹.

Поэтому не удивительно, что Февр концептуализировал когерентность как то, что должно быть найдено, прежде всего, в *самой практике исторического исследования*. Говоря точнее, он концептуализировал когерентность как то, что должно быть создано не только объединенной историей, но и объединенной социальной наукой, причем социальной наукой, объединенной, скорее, историей, чем дисциплиной, внешней по отношению к истории. Так Февр превратился в пылкого защитника единства науки. В начале 1930-х годов, как главный редактор новой, поддержанной правительством «*Encyclopédie française*», он так написал географу, который задал вопрос, где должна, по его плану энциклопедии, находиться география: «Я не издаю Энциклопедию наук». Напротив, он утверждал, что эта работа должна была стать энциклопедией науки в единственном числе, в которой отдельные дисциплины (география, этика, логика, метафизика, право, эстетика...) были бы растворены. Она должна была быть сфокусирована на «единстве человеческого духа, единстве тревоги перед лицом неизвестного»; ее авторами должны быть «ученые, которые мыслят свою дисциплину в структуре Науки»².

Февр был вовсе не единственным человеком своего времени и поколения, кто прокладывал дорогу понятию един-

¹ *Febvre*. De 1892 à 1933: Examen de conscience d'une histoire et d'un historien: Leçon d'ouverture au Collège de France, 13 décembre 1933 // *Combats pour l'histoire*. Paris, 1992 [orig. edn. 1953]. P. 16; *Февр*. С 1892 по 1933: Суд совести истории и историка: Инаугурационная лекция в качестве профессора Коллеж де Франс. 13 декабря 1933 // *Бои за историю*. Париж, 1992. Ориг. изд. 1953; русск. изд.: *Л. Февр*. Бои за историю. М., 1991.

² *Lucien Febvre*. Contre l'esprit de spécialité: Une lettre de 1933 // *Febvre*. *Combats*. P. 104–106.

ства науки – «l'Unité vivante de la Science», как он это называл¹. В тех же 1930-х годах международная группа философов, логических эмпиристов, состоящая из Отто Нейрата, Рудольфа Карнапа, Герберта Фейгля, Ганса Рейхенбаха и других, развивала даже еще более амбициозную идею заложить основы единой науки (включая социальную науку) в другой энциклопедии, которую собирались издать как серию монографий, но она не была закончена (на самом деле, только начата); речь идет о «Международной энциклопедии объединенной науки»². Различие между проектом Февра и проектом логического эмпиризма заключалось в том, что если проект Февра помещал в центр единой социальной науки историю, то логический эмпиризм ее полностью исключил. Они сделали так потому, что, подобно Дюркгейму и многим его предшественникам, полагали: наука должна быть «номотетичной», т. е. сосредоточенной на четкой формулировке законов и теорий. История же, напротив, является «идиографической», занимающейся описанием отдельных реалий. В структуре логического эмпиризма история может служить в качестве источника сырого материала для конструирования теории, но сама по себе не является научной.

Заняв противоположную точку зрения, Февр ожидал получить такое исследование мира людей, которое было бы

¹ *Febvre. Leçon d'ouverture* // in: Combats. P. 16; *Февр*. Вступительная (инаугурационная) лекция; *Февр Л.* Суд совести истории и история // *Февр Л.* Бои за историю. М., 1991. С. 20, 22.

² Список редакторов и советников «International Encyclopedia of Unified Science» дается на обороте титульного листа работы: *Томас С. Кун*. Структура научных революций (*Thomas S. Kuhn. The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago, 1962), которая сначала рассматривалась в качестве второго тома энциклопедии. (О наличии работы Куна в «Энциклопедии» также сообщалось в некоторых других изданиях книги [Chicago, 1970].) Конечно, работа Куна полностью разрушила идею единой, универсальной основы всех наук.

когерентным и включало полное рассмотрение исторической сложности и различия. Февр был против попытки социологов получить когерентность за счет игнорирования того, что было живым и жизненно необходимым в роде человеческом. Не один раз Февр утверждал, что история есть «наука о человеке»: *«Histoire science de l'Homme, science du passé humain»*, – так заявил он в своей инаугурационной лекции 1933 года в Коллеж-де-Франс¹. В 1941 году – в лекции в *École Normale Supérieure* – он акцентировал этот же самый момент, говоря слушателям о том, что история есть «научный способ познания различных сторон деятельности людей прошлого и их различных достижений, рассматриваемых в соответствии с определенной эпохой [*à leur date*], в рамках крайне разнообразных и все-таки сравнимых между собой обществ (это аксиома социологии), заполняющих поверхность Земли и последовательность веков»².

Снова и снова Февр упорно утверждал, что такое изучение должно быть единым предприятием: «экономической и социальной истории не существует»; скорее, «существует история как таковая во всей ее целостности *tout court*», – сказал он в своей лекции в ENS³. Февр и Блок акцентировали внимание на этом же моменте еще в 1929 году в предисловии к первому тому «Анналов», где они сожалели о барьерах, которые отделяют друг от друга историков,

¹ Leçon d'ouverture // Combats. P. 12. История – наука о человеке, о прошлом человечества; Февр Л. Суд совести истории и историка // Февр Л. Бои за историю. М., 1991. С. 19.– Прим. перев.

² Lucien Febvre. Vivre l'histoire: Propos d'initiation (École Normale Supérieure, 1941) // Combats. P. 20. Люсьен Февр. Жить историей: попытка приобщения / Перевод А. А. Бобовича, М. А. Бобовича, Ю. Н. Стефанова. Лекция называется: Как жить историей?; Лекция в Эколь Нормаль. 1941; Февр. Как жить историей? // Февр. Бои за историю. С. 25–26.

³ Febvre. Vivre l'histoire. P. 20; Февр. Как жить историей? // Февр. Бои за историю. С. 25.

изучающих Древность, Средние века и Новое время, как и исследователей, имеющих дело с «так называемыми цивилизованными обществами», — от тех, кто занимается так называемыми «примитивными» или «экзотическими» обществами и т. д.¹ Февр был также весьма прозрачен в вопросе о том, что, по его мнению, подкрепляет единство исторического исследования Человека: это единство самого Человека.

Конечно, одно дело объявить, что есть когерентность, которая существует на базовом онтологическом уровне, и совсем другое — организовать производство множества действительно связанных исторических исследований, имеющих дело с огромным многообразием предметов. Постоянная настойчивость Февра на единстве истории фактически сопровождалась ясным и точным признанием того, что исследования, которые скапливались в «Анналах», едва ли вообще согласовывались как *результаты*. Он отменил с презрением представление Бьюри о том, что армии выполняющих свои работы аспирантов произведут кирпичи объективных, хорошо проверенных фактов, которые в конечном счете будут использованы для конструирования великого корпуса исторического знания². Согласно Февру, нельзя пассивно ждать появления связности: за нее нужно бороться. Как часть этих усилий, а также как расширение влияния анналистской истории в академическом мире, Февр — и Блок, до тех пор, пока он мог участвовать в работе — осуществлял руководство коллективными научно-исследовательскими проектами, в которых команды иссле-

¹ *Marc Bloch, Lucien Febvre. À nos lecteurs // Annales d'histoire économique et sociale. Vol. 1. 1929. P. 1.*

² *Bury. The Science of History. Особенно 219–220. Не указывая конкретно Бьюри, Февр подверг критике его идеи в: Leçon d'ouverture // Combats. P. 8; Февр Л. Суд совести истории и историка // Февр Л. Бои за историю. М., 1991. С. 10–23.*

дователей (часто любители, живущие в провинции) изучали аспекты французской истории и общества (такие как французские сельские жилища)¹. И все же симптоматично, что эти большие проекты обычно имели результатом немного законченных, опубликованных исследований, не говоря уже о когерентном знании. Процесс научной кооперации мог стать только суррогатом подлинной связности, которая так и не была достигнута. Где же тогда следовало искать желанную когерентность?

Нам нет нужды гадать о взглядах Февра по этому вопросу, поскольку он ясно сформулировал их во множестве эссе начала 1930-х и позже. Возможно, наиболее интересное эссе, озаглавленное «Vers une autre histoire», появилось в 1949 году в известном интеллектуальном журнале «Revue de métaphysique et de morale» и было переиздано в 1953 году как завершающее эссе его «Combats pour l'histoire»². Анализ опубликованной посмертно (и не законченной) книги Блока «Ремесло историка», подтверждает, что она также была описанием и защитой того проекта, в котором вместе участвовали Февр и Блок.

Наиболее важная вещь, на которую стоит обратить внимание, – это указание Февра на несогласованность историографического производства во Франции, где еще не существовало единого представления об историческом ис-

¹ Эти коллективные инициативы исследовала: *Kelly Ann Mulroney*. Team Research and Interdisciplinarity in French Social Science, 1925–1952. Ph. D. Dissertation. University of Virginia. 2000. Важная идея принадлежит Л. Февру: «Pour une histoire dirigée: Les recherches collectives et l'avenir de l'histoire». *Revue de synthèse*, 1936. Rpt. in: *Combats*. P. 55–60. Эссе «Коллективные исследования и будущее науки» опубликовано в «Ревю де синтез» в 1936 году. Русск. изд.: *Февр Л.* Коллективные исследования и будущее науки // *Бои за историю*. М., 1991. С. 48–53.

² См.: *Combats*. P. 419–438 // English as «A New Kind of History»; // *Febvre*. A New Kind of History and Other Essays. / Ed. Peter Burke. Trans K. Folca. New York, 1973. P. 27–43.

следовании. Февр предполагает, что во Франции каждый год издается по «четыре или пять оригинальных работ по истории», которые «являются относительно новыми в концептуальном отношении» и составляют определенное интеллектуальное достижение. Можно было бы ожидать, что Февр будет доволен, по крайней мере, этими четырьмя или пятью работами. Но это не так, потому что эти четыре или пять работ имеют дело с предметами, которые далеко удалены друг от друга во времени и пространстве...

Эти работы пробуждают любопытство. Они заставляют нас говорить об их авторах «как они изобретательны», а об их результатах – «как они новы». Таким образом, они занимают умы продвинутых читателей, которые обладают довольно редким преимуществом – им советуют некоторые по-новому мыслящие историки: «прочитайте это, мой друг, а также еще и это». Но это и все, что значат такие работы¹.

Но что же тогда следовало делать? Февр призвал к созданию «нового типа истории», который будет продуктом скоординированного исторического исследования. Это исследование он представлял себе так: каждый год или два сменяющие друг друга дюжина или около того хорошо организованных исследований, объекты и предметы которых, казалось бы без сомнения, чрезвычайно важны в организации каких-либо дел, в принятии политических или культурных решений, а также в жизни вообще, координируют исследования и общее направление размышлений в истории. «Эти исследования заданы таким образом, чтобы любой значимый феномен ... мог бы быть изучен *в одном и том же смысле* как в цивилизациях, далеко отстоящих друг от друга во времени, так и в цивилизациях, разделенных большими расстояниями в пространстве»².

¹ *Febvre. Combats*. P. 434; *A New Kind of History*. P. 434/38–39

² Там же.

Как поясняет Февр в работе «Новый вид истории» (как и во многих других своих работах), он здесь предлагает «проблемно-ориентированную» историю (*histoire-probleme*), где историк, находясь в своем настоящем, приближается к прошлому с целью решения проблем, релевантных этому настоящему. Цель состояла в том, чтобы достигнуть одной связной картины человеческого прошлого, или хотя бы некоторой части этого прошлого. Февр, историографический модернист (если вообще, конечно, такой феномен когда-либо существовал), хотел уйти от обременяющего и искажающего давления прошлого. Он имел невысокое мнение о том, что считал практиками «традиционных» обществ. Такие общества, полагал он, «создают какой-то образ своей сегодняшней жизни, своих коллективных целей и достоинств, необходимых для достижения этих целей», и затем, оглядываясь в прошлое, они «проецируют» «некий прообраз этой же самой действительности, упрощенный, но до определенной степени преувеличенный и приукрашенный величием и несравнимой властью традиции»¹. В таких мифических проекциях когерентность существует, но Февр отвергал когерентность такого типа. Концепция истории Февра подразумевает скорее *разрыв* с прошлым, поскольку как может возникнуть связная репрезентация прошлого из множества различных вопросов, предъявленных этому прошлому следующим друг за другом настоящим? На самом деле Февр полагал, что история есть *освобождение* от прошлого: «История есть способ организовать прошлое таким образом, чтобы оно не слишком тяжело давило на плечи людей»².

В нашем собственном времени имеет место нарастающая тенденция приравнять историю к памяти. Февр, напро-

¹ Febvre. Combats. P. 436; A New Kind of History. P. 40.

² То же. P. 41.

тив, считал, что «для групп людей и для обществ важно уметь забывать, если они хотят выжить. Мы должны жить. Мы не можем позволить себе быть раздавленными накопленным огромным, жестоким весом всего того, что мы унаследовали от прошлого»¹.

Но этот почти ницшеанский прагматизм не означает, что Февр отказался от понятия историографической связности. Вместо этого он *переместил* когерентность, расположив ее в коллективной координации исторического исследования, о чем было сказано выше, – в «скоординированных исследованиях», в «организованной и согласованной групповой работе», в исторических исследовательских проектах, выполненных «в одном и том же духе»². В этом предложении просматривается явная пропагандистская идея. Так, например, Февр предполагал, что только если историческое исследование будет скоординировано указанным образом, «средний человек» сможет понять «роль, значение и компетенцию истории»³. Но, кажется, ясно, что когерентность на уровне самого исследования, привнесенная сознательными усилиями по координации, служит также и для убеждения самого Февра в научном характере выполняемой им работы.

Хотя было бы утомительно обсуждать этот вопрос во всей его полноте, все же примечательно, что преемник Февра Бродель выдвинул, по существу, тот же самый аргумент касательно связности. В «Средиземноморье и средиземноморском мире» Бродель стремился к репрезентационной связности, но так никогда и не достиг ее. Уильям МакНил предположил, что техника Броделя в первом издании (1949 года) «напоминает приемы работы худож-

¹ *Febvre. Combats*. P. 436; *A New Kind of History*. P. 40.

² *Febvre. Combats*. P. 434, 436; *A New Kind of History*. P. 39, 40.

³ *Febvre. Combats*. P. 435; *A New Kind of History*. P. 39.

ников-пуантилистов... которые использовали бесчисленные отдельные точечные мазки кисти, чтобы изобразить повседневные сцены, полагаясь на глаз наблюдателя, который должен соединить их вместе в постижимое целое». Бродель тогда потратил годы, пытаясь улучшить свою работу. Это включало в себя, помимо прочего, усилия сделать ее более связной. МакНил выдвигает предположение, что Бродель таким образом двигался к тому, чтобы в издании 1966 года втиснуть свой «великолепный, многоцветный портрет» в «научную смиренную рубашку»¹.

После «Средиземноморья» Бродель продолжил писать большую историю, в которой стремился связать вместе огромные, обширные аспекты исторической действительности. Но как и у Февра, размышления Броделя о связности фокусировались не на проблеме репрезентации, а на проекте артикуляции единой гуманитарной науки. Кроме того, Бродель пожинал институциональный результат неустанных усилий Февра в области пропаганды и взаимных политических уступок. После «Освобождения», Февр был вовлечен в основание «Шестой Секции» (Социальные и экономические науки) – *École Pratique des Hautes Études* – и работал президентом «Шестой Секции» с 1948-го по 1956 годы. Бродель сменил Февра на этом посту и был президентом с 1956-го по 1972 годы. Бродель оказался даже лучшим организатором и исполнителем, чем Февр. Как чрезвычайно деятельный редактор журнала, полное название которого теперь было «*Annales: Économies, Sociétés, Civilisations*», он поощрял проведение и публикацию множества исследований в самом широком диапазоне тем. Он был серьезно вовлечен в создание научной библиотеки и исследовательского института, *Maison des Sciences de*

¹ *William H. McNeill. Ferdinand Braudel, Historian // Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial. Braudel Papers no. 22. <www.braudel.org.br/paping22.htm>. Copyright date 2003, accessed March 2004.*

l'Homme, директором которого он стал, и он заложил фундамент для основания École des Hautes Études en Sciences Sociales.

В результате Бродель, гораздо в большей мере, чем Февр, имел в своем распоряжении институциональную структуру, в рамках которой скоординированные исследования социальных наук могли (по крайней мере, в принципе) иметь место. Конечно, делая собственную работу, осуществляя контроль над научными институтами, в которых различные дисциплины с самыми разными исследовательскими интересами боролись за ресурсы, редактируя журнал, тома которого напоминали попури на разные темы, он прекрасно осознавал, что достигнуть когерентности интеллектуальных результатов тяжелее, чем когерентности принципов проведения той интеллектуальной работы, которая и производит эти результаты. Когерентность оставалась декларируемой целью, но уже все более в форме когерентности общей социальной науки, единства которой, считал Бродель, нужно было добиться. Так, в статье 1958 года «История и социология» Бродель предположил, что эти две дисциплины составляют «одно предприятие разума», и продолжал говорить о том, что без внутренней согласованности не может существовать никакая социальная наука того вида, который меня интересует... Расположить социальные науки одну против другой достаточно легко, но все эти противопоставления кажутся весьма устаревшими¹.

В другой статье – «История и социальные науки: *La longue durée*», – также впервые изданной в 1958 году, Бродель

¹ *Fernand Braudel. Histoire et sociologie // Braudel. Ecrits sur l'histoire. Paris, 1969. P. 105; Бродель. История и социология // Заметки об истории. Париж, 1969. P. 105; в английской версии: Броделевские заметки // On History. Trans. Sarah Matthews. Chicago, 1980.*

предложил, чтобы обществоведы прекратили спорить о том, где пролегают границы различных дисциплин, или о том, что представляет собой социальная наука. Вместо этого они должны попытаться выявить, через свои исследования, те элементы (если эти элементы существуют), которые могли бы ориентировать наше коллективное исследование, те темы, которые позволят нам достичь предварительной конвергенции. «Что до меня, то я полагаю, что эти элементы таковы: математизация, локализация, *longue durée*. Но мне было бы любопытно знать то, что предлагают другие специалисты»¹.

Озабоченность Броделя «конвергенцией» – вероятно, наряду с приверженностью идее единого исследования Человека – сопровождала его до конца жизни. Разумеется, он не питал никаких иллюзий о трудностях такой конвергенции. Без сомнения, именно поэтому в 1958 году он говорил только о «предварительной» конвергенции. И, возможно, существенно, что в своем последнем интервью он призывал не к междисциплинарности, которая была тогда модной в некоторых кругах, но к чему-то еще – к «унитарной *интернауке* ... позвольте нам смешать вместе все науки, включая традиционные философию, филологию и т. д.»². Когерентность истории, казалось, должна была стать когерентностью того, что великий, возможно последний, приверженец Броделя Иммануил Валлерстайн в речи 1999 года назвал «по-настоящему единой, единственной социальной наукой»³. Но, в представлении позднего Броделя, эта наука

¹ Braudel. Histoire et sciences sociales: La longue durée // Écrits sur l'histoire. P. 83.

² «Une vie pour l'histoire» – Жизнь для истории: Interview conducted by François Ewald et Jean-Jacques Brochier // Magazine littéraire. № 212. Nov. 1984. P. 22.

³ Immanuel Wallerstein. Braudel and Interscience: A Preacher to Empty Pews? // Paper for the Vth Journées Braudeliennes. Binghamton University. Oct. 1–2, 1999. <www.fbc.binghamton.edu/iwjb.htm> Copyright date 1999, accessed Sept. 2003.

должна была включать в себя (*каким именно образом* – никогда не определялось) также и традиционные гуманитарные дисциплины.

* * *

Прошло два десятилетия после смерти Броделя. Третье поколение историков, испытывающих влияние «Анналов» – Эммануэль Ле Руа Ладюри и его современники, – уступили дорогу четвертому и последующим поколениям. В этом длительном интервале заметна череда постоянных неудач в создании единой социальной науки, даже только единой истории. В речи 1999 года Валлерстайн охарактеризовал проект Броделя как попытку соединить «великий эпистемологический спор» между номотетическими дисциплинами и «более гуманистическими или герменевтическими эпистемологиями», которые подчеркивают «разнообразие, а не сходства, в социальном поведении людей». Он должен был признать, однако, что «сегодня заметны немногие драгоценные признаки броделевского страстного желания создать действительно единую, единственную социальную науку»¹.

Это суждение, несомненно, верно. Действительно, как отметил один проницательный и скептический комментатор Жерар Нуарьель, заявления Броделя об обязательствах по отношению к единству гуманитарных наук должны сопоставляться с другими его настойчивыми заявлениями – о проблеме «фрагментации истории», о распаде дисциплины на множество не сводимых друг к другу практик. И все же Бродель продолжал не только подтверждать «единство истории», но также и заявлять, что история занимает привилегированное, центральное положение среди гуманитарных наук в целом. Нуарьель определяет предлагаемое Броделем теоретическое обоснование предоставления истории этой центральной – и объединяющей – позиции. Объектом гуманитарных наук являются «люди, рассмотренные во

¹ Wallerstein. Braudel and Interscience.

времени»; только две дисциплины, история и социология, имеют «призвание обобщать»; таким образом, история и социология являются привилегированными по отношению ко всем другим дисциплинам, как науки, имеющие дело со «всеми, что имеет отношение к человечеству»; из этих двух дисциплин только история специально исследует время; поэтому история и историки призваны объединить гуманитарные науки и выработать для них «общий язык»¹.

Логика заявлений Броделя оставляет желать много лучшего. Но на самом деле ни заявления Броделя, ни предыдущие аналогичные утверждения Февра не следует рассматривать как руководствующиеся прежде всего логикой. Возьмем Февра. Он неоднократно утверждал, что история должна избегать духа специализации, что в ней не должно быть «отсеков» [*cloisonnements*], что барьеры между социальными и гуманитарными науками должны быть преодолены, что существует «живое Единство Науки» и так далее. Но все эти утверждения были выдвинуты в контексте *combat pour l'histoire*, которые были, говоря точно, боями за специфический *вид* истории – февровский вид. Когда Февр говорил о коллективном исследовании, которое должно быть выполнено в режиме «*histoire dirigée*», нет сомнения в том, что это действительно была бы «направленная» история и что Февр и его союзники были бы теми, кто ее направляет¹. Такие же соображения можно высказать и относительно Броделя. Как замечает Нуарьель, утверждения, цитированные выше, нужно поместить в контекст «очевидных амбиций» Броделя, желающего возвысить историю до роли центральной и объединяющей дисциплины среди всех гуманитарных наук³.

¹ *Gérard Noiriel*. Sur la «crise» de l'histoire. Paris, 1996. Особенно 94–96. О фрагментации см.: *François Dosse*. L'histoire en miettes: Des «Annales» à la «nouvelle histoire». Paris, 1987. Esp. 161–247.

² *Febvre*. Pour une histoire dirigée // *Combats*. P. 55–60; *Февр Л.* Коллективные исследования и будущее науки // *Февр Л.* Бои за историю. М., 1991.

³ *Noiriel*. Sur la «crise». P. 92–100; quote at: P. 97; *Нуарьель*. О кризисе. С. 92–100.

Фактически школа «Анналов» в двух первых ее поколениях всегда была в состоянии войны против своих врагов. Среди этих врагов были конкурирующие социальные науки – экономика, география и социология. Первейшим врагом, однако, было господствующее течение среди французских историков – «традиционные» историки, преданные *«histoire historisante»*, с которыми полемизировал Анри Берр еще в 1911 году. Определяющими характеристиками *histoire historisante*, в глазах Берра, была ее сосредоточенность на *отдельных* исторических фактах и ее допущение о том, что как только историк описал и проанализировал изучаемую реальность, он закончил свою работу. Основываясь на идеях Берра, Февр, напротив, придерживался того мнения, что история должна быть открытой для общих тем. Ей необходимо быть способной участвовать в сравнительном анализе, добывая подробные сведения о данном месте и времени и пытаясь с их помощью прояснить подобные же, но свойственные другому месту и времени, – так же, как и состояния «Человека» вообще. Ей следует обращать внимание на неподвижный или малоподвижный субстрат «истории событий» (изучаемый, например, географами), который *historiens historisants* отклоняли как нерелевантный. История должна, кроме того, понять необходимость «гипотез, планов исследований, теории»¹. Хотя, с назначением Февра в Коллеж-де-Франс в 1933 году и Блока в Сорбонну в 1936 году, анналистскую ориентацию уже вряд ли можно было назвать маргинальной, до

¹ Я использую здесь: Sur une forme d'histoire qui n'est pas la nôtre: L'histoire historisante // Combats. P. 114–118; О чуждой для нас форме истории. Историзирующая история // Бои за историю. С. 114–118; руск. изд.: Февр Л. Историзирующая истории // Бои за историю М., 1991. С. 69. О взглядах Бепа см.: Henri Berr. L'histoire traditionnelle et la synthèse historique. Paris, 1921. (Анри Берр. Традиционная история и исторический синтез. Париж, 1921.)

самого конца 1960-х годов Февр и его преемники продолжали полемизировать с отсталым, но все-таки считавшимся доминирующим историческим течением¹. Программа *histoire totale*, которая могла бы каким-то образом сделать историю когерентной, и *histoire-problème*, привносящая в исследование прошлого проблемы, связанные с настоящим, были двумя главными орудиями в пропагандистской войне анналистов против их оппонентов.

Сегодня, конечно, больше нет противостояния исторической школы «Анналов» с различными противниками. Прежде всего, больше нет такой вещи, как «школа Анналов». Информативный краткий обзор «взлета и падения анналистской парадигмы» был предпринят влиятельным американским историком Линн Хант в статье 1986 года². Так как работа Хант весьма емка и конкретна, я едва ли могу сделать что-либо лучше, чем воспроизвести некоторые ее ключевые положения. Она утверждает, что «анналистская парадигма начала распадаться в самый момент ее триумфа», который Хант определяет как 1970-е годы. В 1970 году под руководством Броделя «Шестая Секция» переехала в новое здание в стиле модерн на бульваре Распай и стала независимым институтом EHESP. Но «Анналы» объединяло больше, чем просто здание, полагает Хант. Казалось, что действительно существовала «парадигма», включенная в анналистскую историю. Образец этой пара-

¹ Когда в 1969–1970 годах два анналиста третьего поколения, Пьер Губер и Робер Мандру, посетили Университет Торонто, конфликт «Анналов» с их предположительно оборонеспособными традиционалистскими противниками был одной из тем бесед. Имелись некоторые сомнения там, в Торонто, в том, что «Анналы» были так уж маргинальны во французской исторической профессии, как они об этом заявляли. (Личное воспоминание.) Это сомнение было вполне оправдано.

² Lynn Hunt. French History in the Last Twenty Years: The Rise and Fall of the Annales Paradigm // Journal of Contemporary History. Vol. 21. 1986. P. 209–224, 567.

дигмы был задан «Средиземноморьем» Броделя, с его «трехуровневой» моделью истории. Как показывает Хант, эта модель, которая выстраивалась от биологии, географии и климата – в своем основании, к «политическим и культурным выражениям определенных групп или индивидов» – на вершине, была «широко воспринята во французской исторической профессии в 1960-е и в начале 1970-х годов»; и в самом деле, даже некоторые историки, сожалевшие по поводу такого подхода, признавали его влияние.

Хант также обращает внимание на то, что уже в конце 1970-х годов разные историки внутри «Анналов» начинали замечать признаки распада школы. Например, в статье 1978 года «Анналы: континуальность и дисконтинуальность», которая появилась в первом томе броделианского журнала Валлерстайна «Review», молодой представитель «Анналов» четвертого поколения Жак Ревель (затем, в 1990-е годы, он станет президентом EHESS) говорил, что «идентификация устойчивых систем находится в самом сердце» анналистского предприятия и что оно испытывает недостаток взаимодействия «с теорией социальных трансформаций или перехода от одной исторической модели (к) следующей за ней». Ревель также считал, что корпус общего социально-научного знания «быстро распадается, начиная с начала 1960-х. Исследовательское поле в социальных науках расщепляется. Человек, центральная фигура предшествующего способа анализа, перестал быть основным референтом особой модели научного дискурса и стал переходящим и устаревшим объектом».

Ревель предположил, что приблизительно с 1978 года «Анналы» стали делать упор скорее на «экспериментирование и расследование», чем на унифицированный подход. Он также отметил, что «Анналы» стали отдавать больше места «анализу культурных систем» после периода доминирования экономической и социальной истории, и он по-

считал, что это приводит не столько к «своего рода третьему уровню знания», сколько к «постановке новой совокупности вопросов»¹.

В свою очередь, видный анналист третьего поколения Франсуа Фюре (бывший президентом EHESS с 1977 по 1985 годы) опубликовал в 1983 году статью, которую теперь следовало бы трактовать как выход «за границы “Анналов”». Он отрицал факт того, что историки «Анналов» придерживались «общей и единой концепции дисциплины»; скорее, они работали «в направлениях, которые были слишком разнообразны, чтобы быть собранными под одним интеллектуальным знаменем». Возможно, единственная общая черта историков поколения Фюре заключалась в том, что они видели «почти в безграничном диапазоне тем и методов», который санкционировали «Анналы», «посланный небесами оазис на тропинке прочь от сталинско-марксистского историцизма». Однако в концепции истории, которая вдохновляла его поколение, он различал согласованную программу, воплощенную в двух требованиях: во-первых, история должна добавить к своим объектам и методам другие, заимствуя их из соседних дисциплин и даже временно снимая барьеры между дисциплинами; во-вторых, она должна тем не менее оставаться всеобъемлющей и экуменической дисциплиной, соответствующей тем условиям, которые необходимы для самого полного понимания социальных феноменов»².

¹ *Jacques Revel*. The Annales: Continuities and Discontinuities // Review. 1: 3/4. Winter/Spring. 1978. P. 16, 17, 18. Отмечая поворот от «Человека» как единого объекта анализа, Ревель вспоминает известное положение Мишеля Фуко о «смерти человека».

² *François Furet*. Beyond the Annales // Journal of Modern History. Vol. 55. 1983. P. 389–410, at 390–392. (Я следую за Линн Хант, сосредоточивая внимание на статьях Ревеля и Фюре. Статья Фюре представляет собой краткий вариант введения к его книге: *Furet*. In the Workshop of History. Tran. Jonathan Mandelbaum. Chicago, 1984.)

В ретроспективе статья Фюре 1983 года репрезентирует что-то вроде последнего вздоха классического подхода «Анналов» к исторической – или, скорее, к историографической – связности. Ведь уже произошел сдвиг, в результате которого резко изменились условия обсуждения; тот сдвиг, который Линн Хант в 1986 году идентифицировала как поворот от социальной истории к истории культурной¹. Безусловно, Хант только привлекла внимание англоязычной аудитории к изменению, которое уже было прокомментировано Ревелем и Фюре. О ссылке Ревеля на анализ культуры уже упоминалось выше. В свою очередь, Фюре в 1983 году также отметил возрастающий интерес к исследованию культуры среди анналистов. Но Фюре, в отличие от Ревеля, был скептически, даже враждебно, настроен в отношении этого поворота. Фюре одобрял «проблемно-ориентированную», а также концептуализированную форму истории; ему был близок интерес обществоведов к «детерминантам и границам действия», изучение «изолированных констант, если не законов» и их предпочтения в исследовании «объективного поведения, независимо от обдуманых намерений акторов»². На его взгляд, *histoire des mentalités* (то есть анналистская версия культурной истории) страдала от трех недостатков. Во-первых, полагал он, она слишком близко подошла к «эмоциональным моментам», а именно – к чувству ностальгии, которое было порождено во Франции невиданным экономическим прогрессом двух предшествующих десятилетий. Во-вторых, Фюре считал, что она нивелировала «классическую дистинкцию» между объективным поведением и субъективным восприятием этого поведения, и таким образом породила иллюзию того, что она якобы способна схватить одновременно и материальную инфраструктуру, и сущест-

¹ Hunt. Rise and Fall of the Annales Paradigm. P. 215–218.

² Furet. Beyond the Annales. P. 397.

вующую только в понятиях суперструктуру общества. Наконец, он утверждал, что *histoire des mentalités*, скорее всего, порождает непоследовательность, так как ее «недостаточная определенность... ведет к бесконечной погоне за новыми темами исследования, возникающими из жизненных случайностей и не имеющими никакого другого основания, кроме преходящей интуиции или эфемерной моды»¹.

* * *

Так вновь заявляет о себе проблема связности. Вспомним, что столетие назад основанием для связности истории считали возможность построения, в конечном счете, единственного, авторитетного нарратива человеческой истории. Когда эта надежда потерпела неудачу, это основание было обнаружено в общем методе. Среди «традиционных» историков, включая *historiens historisants*, существовала приверженность к методу, который понимался как *собственно историографический*². Среди анналистов, от Февра до Фурие, существовала приверженность не к специфическому методу истории, а, скорее, к исследовательскому процессу, который рассматривался в широком смысле, как метод социальных наук: среди этих историков всегда существовала приверженность к науке (или «интернауке»), которая добывает авторитетное, хотя, возможно, условное, знание.

Поразительно, до какой степени устарела версия связности, сформулированная Февром, Броделем, Фурие. Ведь признанное основание связности истории снова трансфор-

¹ Furet. Beyond the Annales. P. 404–405.

² Версии этой позиции: Ernst Bernheim. Lehrbuch der Historischen Methode. Munich, 1889; Charles-Victor Langlois, Charles Seignobos. Introduction to the Study of History. Trans. G. C. Berry. New York, 1904 [1898]; и общеизвестная работа: R. G. Collingwood. The Idea of History. Rev. edition, with Lectures 1926–1928. Ed. W. J. van der Dussen. Oxford, 1993 [1946].

мировалось. Его больше не искали в чуткой к истории социальной науке. Скорее, когерентность теперь рассматривалась как *решительная приверженность* к той или другой «парадигме» исторического исследования. А понятие парадигмы характеризуется тем, что оно включает в себя явно выраженную немалую степень произвольности – произвольности, которая, более того, часто (хотя далеко не всегда) признается как таковая.

В самых высокопрофессиональных кругах дисциплины в последние двадцать лет засвидетельствованы сражения между двумя конкурирующими «парадигмами» исследования истории и историописания: между социальной историей и культурной историей (или, скорее, *новой* культурной историей, поскольку существует также и *старая* культурная история)¹. Это сложный вопрос, который в данной работе может быть лишь затронут. Появление новой культурной истории формально было объявлено в 1989 году в коллективной монографии «Новая культурная история», вышедшей под редакцией Линн Хант². Однако ее корни восходят к различным событиям начала 1970-х и даже ранее. Одним из источников новой культурной истории была история ментальностей школы «Анналов». Другой стимул исходил из работ антрополога Клиффорда Гирца, чье понятие интерпретации культур – и акцент на «насыщенном описании» – имело большой резонанс среди многих историков³. Влияние на нее оказал и Мишель Фуко, который в

¹ Вкратце, «старая» культурная история придерживалась представления о том, что можно писать историю культурных объектов и практик, рассматриваемых как имеющие некоторую эстетическую, моральную или интеллектуальную ценность, *превосходящую* социально-исторические условия, при которых они возникли. См. об этом: *Jacques Barzun*. Cultural History: A Synthesis // The Varieties of History. P. 387–402; обзор см.: *Donald R. Kelley*. The Old Cultural History // History of the Human Sciences. № 9. 1996. P. 101–126.

² The New Cultural History. Ed. L. Hunt.

³ *Clifford Geertz*. The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York, 1973; русск. изд.: *Гирц К.* Интерпретация культур. М., 2004.

различных историко-философских работах затронул такие темы, как «труд, язык, жизнь, безумие, мастурбация, медицина, военное дело, Ницше, тюрьма, психиатрия, Дон-Кихот, садизм и секс» (цитирую список, предложенный философом Йаном Хакингом в 1981 году)¹. Многие из этих тем были подхвачены новой культурной историей, как и циничное, до некоторой степени, отношение Фуко к конвенциональным понятиям науки и объективности. Другой импульс поступил от социологии культуры, предложенной Пьером Бурдьё, особенно от его понятий *habitus* и культурного капитала². Наконец, существовал так называемый «новый историцизм» в литературной критике; он разрабатывался Стивеном Гринблаттом и другими и имел тенденцию стирать границы между литературным и историческим анализом³.

Нет нужды рассматривать развитие культурной истории с начала 1980-х годов. Достаточно сказать, что уже к 1999 году стало возможным для Виктории Боннелл и Линн Хант издать новую антологию «По ту сторону культурного поворота», которая была гораздо более фундирована, чем ранняя работа Хант «Новая культурная история»⁴. «По ту сторону культурного поворота» – памятник триумфа (но также и некоторых проблем) культурной

¹ Ian Hacking. *The Archaeology of Foucault* // *Foucault. A Critical Reader*. Ed. David C. Hoy. Oxford, 1986. P. 27; на нее ссылается: Patricia O'Brien. Michel Foucault's History of Culture // *The New Cultural History*. P 45.

² Pierre Bourdieu. *Outline of a Theory of Practice*. Trans. Richard Nice. Cambridge, 1977 (orig. French ed., 1972); *Bourdieu. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. Trans. Richard Nice. Cambridge, MA, 1984 (orig. French edn., 1979).

³ Краткий обзор см.: *The New Historicism Reader*. Ed. H. Aram Veeseer. New York, 1994.

⁴ *Beyond the Cultural Turn*. Ed. Bonnell and Hunt.

истории в ее новом виде. Один из наиболее проницательных авторов антологии, Ричард Бернацки, безусловно прав, утверждая, что «новая культурная история несколько лет назад преуспела в придании исключительного превосходства своей тематике»¹.

Но каков характер этого превосходства, и каков характер той связности, которую она приносит в историю? Как отмечает Бернацки, новые культурные историки намеревались принять в своей работе принцип фундаментального онтологического единства, так как они «следовали за социальными историками в построении объяснений, опирающихся на апелляцию к «реальному» и нередуцируемому фундаменту истории, хотя эта опора теперь, скорее, культурная и лингвистическая, чем (или настолько же как) социально-экономическая».

Бернацки предполагает, что в этом допущении об основании истории историки следовали за некоторыми недостаточно обоснованными положениями, касающимися исследования культуры Гирцем в его работе «Интерпретации культур», где Гирц замечательно показал, что культура не есть власть, нечто, к чему каузально могут быть приписаны социальные события, поведение, институты или процессы; это – некий контекст, в границах которого они могут быть интеллигибельно, т. е. полно, описаны².

Бернацки показывает, что влиятельные культурные историки – среди них Роберт Дарнтон, Линн Хант и Роже Шартье – приняли гирцево понятие культуры как «обоснование реальности», как то, что является «скорее общей и необходимой истиной, чем... полезной конструкцией». Не

¹ *Richard Biernacki. Method and Metaphor after the New Cultural History // Beyond the Cultural Turn. P. 62.*

² *Geertz. The Interpretation of Cultures. P. 14. Ссылка по: Biernacki. P. 63–64; русск. изд.: Гирц К. Интерпретация культур. М., 2004.*

отрицая того, в чем он видит революционный, новаторский, обогащающий характер таких работ, как «Великое кошачье побоище» Дарнтон и «Политика, язык, и класс во Французской революции» Хант, Бернацки полагает, что «мы, возможно, достигли точки, в которой эссенциализация семиотического измерения или “культуры” как естественно данного измерения анализа отключает рефлекссию и выводит из строя предположительно разъясняющие интерпретации истории»¹.

Наиболее релевантны моей аргументации два момента рассуждений Бернацки. Он показывает, во-первых, что новая культурная история опирается на принятое онтологическое утверждение, а именно на то, что *действительно* реальным является культура. «Культура» определена здесь гиртцевским способом, как «сети значений», которые пронизывают жизнь человеческого общества. Таким образом, «значение» (в гиртцевском культурном смысле) принято как фундаментальное в онтологическом смысле. Во-вторых, Бернацки показывает, что претензия новых культурных историков на обнаружение «фундамента реальности» общества и истории необоснованна. Необходимо добавить, что также не было никакого обоснования и для того онтологического представления, которое лежало в основе социальной истории (явным образом в марксизме или у *марксистствующих* историков, неявно – в других случаях), а именно

¹ *Robert Darnton. The Great Cat Massacre and Other Episodes in French Cultural History. New York, 1984; русск. изд.: Дарнтон Р. Великое кошачье побоище и другие эпизоды из истории французской культуры. М.: НЛО, 2002; Lynn Hunt. Politics, Language and Class in the French Revolution. Berkeley, 1984.* Более ранним комментатором, указавшим на всеобъемлющий, и потому бессодержательный, характер явно онтологического обращения новых культурных историков к «культуре», была Мэрилин Стратерн: *Marilyn Strathern. Ubiquities* (рецензия на книгу: *The New Cultural History*) // *Annals of Scholarship*. Vol. 9. 1992. P. 199–208.

тот факт, что истинным фундаментом реальности истории является социально-экономическое измерение общества.

Из недостаточности доказательной базы следует, что работа новой культурной истории (так же, как и старой социальной истории) ведется на основе того, что является, в сущности, только и исключительно исследовательским выбором. И фактически произвольность решения «за» или «против» культурной или социальной истории признается наиболее самокритичными из наших продвинутых историков. Возьмите Хант и Боннелл. В их введении к работе «По ту сторону культурного поворота» говорится о том, что «начиная со Второй мировой войны в социальных науках возникали, быстро сменяя друг друга, *новые интеллектуальные моды* [курсив мой. – А. М.]... в общем они укладывались в две широкие категории: исследовательские парадигмы... и... подходы, которые принадлежали интерпретирующей и герменевтической традиции». Хант и Боннелл также пришли к выводу, что существуют разногласия по поводу того, «какую парадигму *следует выбрать* [курсив мой. – А. М.], чтобы организовать научное исследование в области социальных наук».

Действительно, сама терминология «парадигмы» подчеркивает присутствие элемента постулирования. Понятие парадигмы, введенное Томасом Куном в работе «Структура научных революций», имеет значительный флер произвольности и необоснованности. Это охотно подтвердил и сам Кун в своем афинском интервью 1995 года, где он утверждает, что «парадигма – это то, что вы используете тогда, когда нет теории»¹. Говоря иначе: если бы это что-то

¹ Thomas S. Kuhn. The Structure of Scientific Revolutions. 2d. ed. Chicago, 1970 [1962]; русск. изд.: Кун Т. Структура научных революций. М., 1977; Aristides Baltas, Kostas Gavroglu, Vassiliki Kindi. A Discussion with Thomas S. Kuhn // Kuhn. The Road Since Structure: Philosophical Essays, 1970–1993, with an Autobiographical Interview. Ed. James Conant, John Haugeland. Chicago, 2000. P. 300.

было доказано, то это уже была бы не парадигма. Идея, которую можно вычленить из рассуждений Хант и Боннелл, заключается в том, что на самом деле для оправдания какого-нибудь особого способа писать историю *не нужно никакого* онтологического основания. Другая идея, наоборот, состоит в том, что никакой способ писать историю не может установить, что является онтологически основополагающим, – если вообще что-нибудь может быть таковым. Последняя идея в том, что никакой подход не может доказательно заявлять о своем приоритете над другим. Каждый выбирает, а затем действует на основе того выбора, который был им сделан.

Удивляет та степень энтузиазма, с которой историки с начала 1970-х годов восприняли терминологию «парадигмы» и применили ее к своей собственной дисциплине. Обращение историков к Куну было в свое время отмечено Дэвидом Холлингером в широко цитируемой статье 1973 года «Теория науки Т. С. Куна и ее значение для истории»¹. С 1973 года обыкновение использовать понятие парадигмы неизмеримо возросло. В частности, куновское понятие парадигмы и революции в науке неоднократно применялись к характеристике школы «Анналов», как в книге Траяна Стояновича 1976 года «Французский исторический метод: парадигма “Анналов”», так и в исследовании Питера Берка 1990 года «Французская историческая революция: школа “Анналов”, 1929–1989», не говоря уже о статье Хант 1986 года, объявляющей о закате парадигмы «Анналов»².

¹ *David Hollinger*. T. S. Kuhn's Theory of Science and Its Implications for History // *Paradigms and Revolutions: Appraisals and Applications of Thomas Kuhn's Philosophy of Science*. Ed. Gary Gutting. Notre Dame, IN, 1980. P. 117–136. Впервые статья появилась в *American Historical Review*.

² *Traian Stoianovich*. French Historical Method: The Annales Paradigm, with a foreword by Fernand Braudel Ithaca, NY, 1976; *Peter Burke*. The French Historical Revolution: The Annales School, 1929–1989. Можно привести много и других примеров.

Понятие Куна также обычно применяется к конфликту между социальной историей и (новой) культурной историей.

Понятие парадигмы должно быть тщательно осмыслено и рассмотрено, поскольку оно предполагает важное проникновение в суть историографической когерентности. Основной вопрос, который должен быть поставлен, таков: применимо ли *вообще* понятие парадигмы к историческим исследованиям или к социальной науке? Из частого использования ими этого термина (и, предположительно, самого понятия) можно заключить, что многие историки и теоретики истории полагают, что оно не только применимо к истории, но что наличие парадигмы обязательно, если мы хотим, чтобы историческое исследование было выполнено надлежащим образом¹. Кун с этим не согласился бы. Напротив, в «Структуре научных революций» он упорно утверждал, что понятие парадигмы не применимо к социальным наукам. Согласно Куну, «обычно члены сложившегося научного сообщества работают исходя из единой парадигмы или из ряда тесно связанных между собой парадигм». Но не так обстоит дело в социальных науках, полагал Кун, потому что социальные науки – и, по-видимому, также история – не отличаются «беспримерной изоляцией зрелых научных сообществ от запросов непрофессионалов и требований повседневной жизни... Именно потому, что он работает только для аудитории коллег, аудитории, которая разделяет его собственные ценности и убеждения, уче-

¹ Один недавний случай среди исторических теоретиков см.: *Miguel A. Cabrera. On Language, Culture and Social Action // History and Theory 40: 4. 2001. P. 82–102.* Кабрера полагает, что история «в настоящее время переживает новое изменение парадигмы». Это означает, конечно, что «историки *должны* принять [курсив мой. – А. М.] новую программу исторического исследования» (Р. 100). Далее он выявляет, какой *должна* быть эта программа.

ный может принимать без доказательств единую систему стандартов»¹.

Без сомнения, как отмечали многие комментаторы, Кун слишком подчеркнул степень дистанцирования естествознания от социального мира, в котором оно находится. Но эта критика в адрес Куна никоим образом не влияет на акценты, которые я здесь расставляю; наоборот, это их усиливает. Ведь это утверждение тогда состояло бы в том, что *даже в естественных науках* знание не способно полностью отделить себя от вненаучных соображений – соображений, которые служат для прокладывания кратчайших путей через то, что иначе осталось бы непорочной чистотой их научной преданности парадигме. По мнению Куна, парадигмы не могут быть теоретически обоснованными, не говоря уже об онтологическом обосновании. Скорее, они могут находить подтверждение лишь на *прагматических* основаниях – и то только слабое. В теории Куна парадигма имеет огромное преимущество порождать разрешимые загадки и выяснять – без особой необходимости в сомнениях, – в чем они состоят. Согласно теории, ученый, работающий в парадигме, может «...концентрировать внимание исключительно на тончайших и самых эзотерических явлениях, которые его интересуют»; он может «концентрировать свое внимание на проблемах, относительно которых имеет все основания верить, что способен их решить», вместо необходимости сосредоточиваться на общественных проблемах, которые «срочно нуждаются в решении», но инструменты, способствующие их эффективному решению, отсутствуют².

¹ Kuhn. Structure. P. 162, 164; русск. изд.: Кун Т. Структура научных революций. М., 1977. С. 213, 215.

² Там же. С. 215.

Несомненно, есть некоторые историки, откликнувшиеся на исследования Куна касательно естествознания и предпочитающие парадигматическое единство, потому что они полагают, что такое единство способствует решению связанного комплекса исторических проблем, – и одновременно повышает престиж истории, делая ее более похожей на «настоящую» науку. Есть, конечно, и другие историки, которые понимают историю как осуществление политики иными средствами, и для кого обязательство по отношению к парадигме тесно связано с тем или иным политическим обязательством. В самом деле, иногда кажется, что политические обязательства служат заменой интеллектуальных дебатов о различных жанрах, подходах и программах исследования, а также о действительных достоинствах или недостатках отдельных работ¹ Эта последняя, полити-

¹ Уравнивание знания с властью, предпринятое Фуко, предлагает оправдание – на мой взгляд, бесцельное – для оценки историков скорее согласно предполагаемой аутентичности или не-аутентичности их политических обязательств, чем на основании методологической ценности их исследований и способности к творческой работе. То, что такой политический способ оценки фактически *применяется* в современной американской исторической профессии, подтверждается некоторыми недавними, печально известными случаями. Наиболее известный – прием, оказанный работе Майкла Беллесайлса (*Michael A. Bellesiles. Arming America: The Origins of a National Gun Culture. New York, 2000*). Работа Беллесайлса получила главные премии, и ему была предоставлена стажировка в престижном университете Эмори. Он получил эти отличия в большой мере потому, что первые читатели его работы, считавшиеся экспертами, пришли в бешеный восторг от его утверждения о том, что частная собственность на оружие в Соединенных Штатах до Гражданской войны была редкостью; – утверждение, которое могло рассматриваться как поддержка кампании за контроль над оружием. Возможно, что из-за своей страстной политической солидарности с Беллесайлсом эти читатели не сумели заметить то, что должно было быть для них очевидно: свидетельства Беллесайлса не подтверждают его утверждение. Зачем заботиться о свидетельстве, когда обслуживается хороший политический заказ?

зирующая тенденция, которая равнозначна наложению на историю искусственной политической когерентности, поражает меня заложенной в ней опасностью, и не в малой степени потому, что она легко может быть использована теми силами вне университета, которые вряд ли захотят поощрять работу, представляющую собой, в любом смысле, критику существующей политической действительности. Прежняя, сциентистская тенденция несколько меньше

Но в конечном счете неудобная правда вышла на свет. Стажировка Беллесайлса в Эмори была отменена, как и Bancroft Prize, присужденный университетом Колумбии, который был предоставлен ему как написавшему лучшую работу по американской истории, из работ, опубликованных в 2000 году. Также и его издатель Нопф изъясил книгу из обращения. Это были почти беспрецедентные и достойные действия со стороны вовлеченных в это дело институтов. Обсуждения случая с Беллесайлсом см.: Newsletter of the Organization of American Historians for February 2003 (available on the Web at www.oah.org/pubs/nl/2003feb); статью «Columbia University Rescinds Bancroft Prize», излагающую ключевые факты; и лучшую публикацию по этому поводу «Report of the Investigative Committee in the matter of Professor Michael Bellesiles» от 10 July 2002, by Stanley Katz (chair), Hanna H. Gray и Laurel Thatcher Ulrich, которая заканчивается утверждением: «лучшее (курсив мой. — А. М.), что можно сказать в отношении работы Беллесайлса, это то, что она является “непрофессиональной и вводящей в заблуждение” и “глубоко ошибочной”». (Сообщение доступно по: www.emory.edu/central/NEWS/Releases/Final_Report.pdf; quotations at 18–19.)

Реакция Организации американских историков (ОАИ) на случай Беллесайлса была настораживающе двусмысленной. В том же самом выпуске Newsletter была напечатана статья профессора Джона Винера (John Wiener) «Доклад Университета Эмори о Беллесайлсе: случай узости точки зрения». Статья, казалось, была написана в соответствии с принципом, что каждая левая перспектива, независимо от того, как плохо она обоснована, заслуживает поддержки. Также, по моим сведениям, ОАИ еще не отменила Binkley-Stephenson Prize за лучшую статью, опубликованную в Journal of American History за 1996 год, который был отдан статье Беллесайлса (предшествующей его книге) «Происхождение культуры оружия в Соединенных Штатах, 1760–1865 годы» // Journal of American History. Vol. 83. 1996. P. 425–455. См. об этом: Google® searches or via www.hnn.us.

уводит в неправильном направлении, особенно когда понятие парадигмы трактуется не в широком смысле, а узко – как субдисциплинарная исследовательская программа. При таком понимании внимание к общей совокупности проблем исследования может способствовать его большей продуктивности, облегчая для представителей данной дисциплины (особенно для еще несформировавшихся молодых исследователей, например аспирантов) выбор темы исследования.

И все же даже здесь нужно быть восприимчивым к ограничениям и неудобствам историографической связности, которая предложена таким образом. Конечно, важно, что я больше обращался к *историографической*, чем к *исторической* связности. Так, одно утверждение, сделанное Леонардом Кригером в его книге «Доводы времени: старая и новая философия истории», продолжает быть абсолютно актуальным. Рассматривая историописание от Геродота до Фуко, Кригер выделил постоянную «проблему слабой исторической когерентности» и заключил, что «нет такого простого прошлого, историк которого может быть чистым историком»¹. Это означает, что если вообще существует какая-то когерентность, то это должна быть когерентность, *которая предлагается историками* – но не «исторической реальностью». Кроме того, очевидно, что выбор историком парадигмы может быть меньше связан с его решением относительно того, какой комплекс проблем наиболее богат решаемыми загадками, чем с приоритетами собственного жизненного мира историка. В свете этих фактов два вопроса приобретают особое звучание: насколько серьезно мы должны принимать эту генерированную историком когерентность? и что еще, помимо связности, должны предлагать историки?

¹ Krieger. *Time's Reasons*. P. 166–167.

* * *

Эти вопросы, которые тесно взаимосвязаны, в настоящей работе могут быть только затронуты (всесторонний ответ на второй вопрос потребовал бы отдельного исследования). Но отправной пункт моих рассуждений прост: ошибочно рассматривать историю как предприятие, которое должно быть сосредоточено на поиске связности. Напротив, часть функции исторического исследования заключается в перетасовывании карт, в демонстрации тех разнообразных состояний, в которых прошлое действительно некогерентно самому себе и нашим ожиданиям, и в которых изучение прошлого полагается на противоречивые способы понимания и доказательства¹. В то время как программы исследования, даже «парадигмы», могут быть приемлемыми в качестве добровольно взятых на себя обязательств, представление о том, что об историках следует судить в соответствии со степенью соответствия их работы доминирующей в текущее время парадигме, — глупая идея, в буквальном смысле контрпродуктивная. Например, метод «высокой» интеллектуальной истории, в которой я специализируюсь, не вполне связывается с парадигмой как социальной, так и культурной истории. Я никогда не считал эту разъединенность помехой, и я склонен полагать, что плодотворности исследований части коллег моего поколения вредило то, что они придавали слишком большое значение дисциплинарным парадигмам, которые недостаточно соответствовали их интересам и талантам. Короче говоря,

¹ См. в этом отношении работу: *John Higham. Beyond Consensus: The Historian as Moral Critic // American Historical Review. Vol. 67. 1962. P. 609–625.* Хайем предложил, чтобы историки исследовали дистинкции «каузальная история» и «моральная история», представляющие обеих как «эквивалентные способы понимания, каждый из которых страдает от пренебрежения другим» (Р. 622). Я вижу отзвуки такой позиции в сегодняшних душеспасительных разговорах об историографических парадигмах.

поиски историографической связности могут снизить продуктивность исследования так же, как и увеличить ее.

Но, в любом случае, являются ли поиски связности первейшей задачей историков? Я так не думаю, поскольку историки предложили и продолжают предлагать много других вещей, помимо связности. В самом деле, если бы когерентность была их главным продуктом, они были бы мифотворцами и баснописцами, а вовсе не историками. Одна из наиболее важных вещей, которую историки предлагают или должны предлагать, – это критический взгляд на прошлое, на настоящее и на наше использование прошлого в настоящем. Критика здесь означает обнаружение разломов и противоречий – в прошлом, в репрезентациях историками прошлого, в допущениях историков относительно репрезентации прошлого, а также в доминирующих и, возможно, также в не-доминирующих в настоящем представлениях относительно будущего, настоящего и прошлого.

Другая вещь, которую предлагают, или должны предлагать, историки, – это моделирование высоких эпистемологических стандартов. Поскольку историки – по крайней мере, многих из них – имеют дело с материями «давно прошедшими» и потому поддающимися до некоторой степени беспристрастной экспертизе, у них есть особая благоприятная возможность проявлять предельную осторожность в обработке свидетельств и в артикуляции аргументов, которые поддерживают их утверждения. В этом смысле положение историков позволяет им быть более эпистемологически ответственными, чем те ученые-обществоведы, чьи исследования касаются актуальных проблем сегодняшнего дня. Только если историки смогут быть эпистемологически ответственными, можно *начинать* ожидать такой же ответственности от наших политиков, разведывательных служб, журналистов, деловых людей, врачей, духовенства, адвокатов, судей и всех остальных. То, как оп-

равдывалась властями перед американцами и остальным миром иракская война 2003 года, должно заставить нас задуматься.

Наконец, кроме возможности быть «чистыми» историками, способствующими артикуляции (теперь, по общему признанию, произвольной) дисциплинарной парадигмы, историки также имеют возможность быть и «гибридными» историками или «полу-историками». Они передают исторические знания и исторические перспективы другим людям – не профессиональным историкам. Все еще оставаясь историками согласно своему интересу к прошлому и соблюдению выдержавших испытание временем правил работы со свидетельствами и доказательствами, такие историки могут казаться «чистым» историкам, которые больше, чем необходимо, сосредоточены на предмете исследования своих ученых коллег, едва ли не чужаками в дисциплине истории.

Глава V

ОБЪЕКТИВНОСТЬ И РАССУЖДЕНИЯ

§ 1. Объективность для историков

Устарела ли объективность? Широко известный специалист по истории современной Германии Джефф Эли в своем недавнем эссе предположил, что история должна раскрыть себя в «не-дисциплинарной» области культурных исследований с весьма размытыми границами (включая такие области знания, как исследования женщин, афро-американские исследования, этнические исследования, исследования сексуальных меньшинств, исследования кино и пр.). По мнению Эли, модусы анти-, интер- и кросс-дисциплинарности означают «нарушение, ...неповиновение, ...нарушение правил, ...перелом, пересмотр, экспериментирование, идейное новаторство, риск»; и также они направлены на то, чтобы «изменять наши привычные представления и традиции в сфере познания, для того чтобы избавляться от значений, а не накапливать их». Постулируемое Эли «избавление от значений», видимо, направлено на продвижение тех передовых политических идей, которым так благоволят «недисциплинарные» историки. Рецензируя книгу, в которой появилось эссе Эли, другой историк, Томас Хаскелл, отметил, что Эли много сказал «о политических перспективах, которые выпускникам уни-

верситета хотелось бы принять», и «практически ничего... о тех ограничениях, которые накладывает на историка объективность»¹. «Избавление от значений»... Но каким образом мы отдаем предпочтение *тому или иному* значению? Не является ли этот выбор во многом произвольным? И почему эти значения имеют власть над нами?

Один из выводов книги заключается в том, что невозможно серьезно воспринимать самонадеянную уверенность историков (и не только историков) в способности постичь истинную суть вещей. Другой, связанный с этим, вывод сводится к неоправданности дисциплинарного изоляционизма, который является следствием этой уверенности. В итоге историки оказываются лишенными доступа к авторитетному нарративу, который установил бы корректные рамки для понимания общего основания и направленности истории. Прав был Ницше, утверждая в работе «К генеалогии морали», что во всем мире «существует только перспективное зрение, только перспективное «познавание»². Соответственно, нам следует задать вопрос: как историки должны осуществлять выбор между разными точками зрения?

Этот выбор трудно сделать и еще сложнее его объяснить. Одни полагают, что выбирать нужно на тех основаниях, которые мы можем в широком смысле считать политическими. Т. е. выбираемые нами точки зрения должны привносить что-то в прогрессивное изменение действи-

¹ *Geoff Eley. Between Social History and Cultural Studies: Interdisciplinarity and the Practice of the Historian at the End of the Twentieth Century // Joep Leerssen, Ann Rigney, eds. Historians and Social Values. Amsterdam, 2000. P. 93–109, особенно: P. 94, 97, 99, 104; Thomas Haskell. Objectivity: Perspective as Problem and Solution // Review of: Historians and Social Values, History and Theory. № 43. 2004. P. 341–359, особенно: P. 358.*

² *Friedrich Nietzsche. On the Genealogy of Morality: A Polemic / Trans. Maudemarie Clark, Alan J. Swensen. Indianapolis, 1998. Third Treatise. Section 12. P. 85; русск. изд.: Ф. Ницше. К генеалогии морали / Ф. Ницше. Сочин.: В 2-х т. Т. 2. М., 1990. С. 28.*

тельности настоящего. Недвусмысленный намек на это содержится в размышлениях Эли об «историках и социальных ценностях» и в некоторых других его работах¹. Однако, хотя Эли и благосклонен ко всякого рода неповиновению, переломам и пересмотрам – к тому, что, казалось бы, способствует прогрессивным переменам в контексте дисциплины истории, которую он считает «наиболее консервативной», – он также подчиняется (как свидетельствуют его слова и показывает его работа) тому, что он называет «нормальными правилами и протоколами доказательства и аргументации»². В действительности, наиболее выдающимся сторонником того, чтобы поставить гуманитарные науки на службу идеологии, был французский историк и философ Мишель Фуко, а не Эли и другие представители политически ангажированной «новой» культурной истории. В жизни Фуко демонстрировал и более крайние убеждения, артикулируя их двумя способами. Он создавал исторические или квазиисторические произведения, такие как «История безумия в классическую эпоху» и «Дисциплина и наказание: рождение тюрьмы», которые прежде всего были направлены на изменение существующих мнений и установленных порядков; а также предлагал в своих интервью, коротких эссе и в «Археологии знания» методологические (точнее – *анти*-методологические) размышления, недвусмысленно высказываясь за подчинение объективности (объективности в его понимании) политическим убеждениям³.

¹ См.: *Geoff Eley. Forging Democracy: The History of the Left in Europe, 1850-2000.* New York: Oxford University Press, 2000.

² *Eley. Between Social History and Cultural Studies.* P. 108.

³ *Michel Foucault. Histoire de la folie à l'âge classique.* Paris, 1961; *Foucault. Discipline and Punish: Birth of the Prison / Trans. Alan Sheridan.* New York, 1977; orig. French edn., 1975; русск. изд.: *М. Фуко. История безумия в классическую эпоху и Дисциплина и наказание: рождение тюрьмы.* СПб., 1997. Об исторических идеях Фуко см.: *Allan Megill. Prophets of Extremity: Nietzsche, Heidegger, Foucault, Derrida.* Berkeley, 1985. P. 227–247.

Я полагаю, что позиция Фуко ошибочна. Она предлагает установки, которые формируют скорее субъективное и поверхностное знакомство с прошлым, чем серьезное историческое исследование. Нет смысла отрицать гениальность большинства работ Фуко. В особенности его мастерство проявилось в создании потрясающих образов и метафор. Можно, например, вспомнить его обращение к образу «корабля дураков», который якобы плавал по водам Европы в средние века. Он использовал этот образ для иллюстрации своего утверждения о том, что в позднем средневековье душевнобольных не то что не изолировали в «сумасшедших домах», а, напротив, позволяли им свободно скитаться по свету. Можно также вспомнить ужасающую сцену, с которой начинается «Дисциплина и наказание» – сцену казни Дамьена, предполагаемого цареубийцы (1757 год). Даже наиболее теоретическая работа Фуко – «Слова и вещи: археология гуманитарных наук» – оживлена замечательными образами: от удивительно алогичной «Китайской энциклопедии», описание которой приводится в начале книги, до исчезающего образа человека в ее конце¹.

Но почему именно объективность является предметом нападок Фуко и предметом почитания для других историков? Хотя было сделано немало разнообразных предположений, реальное содержание понятия «объективность» остается загадкой. Зачастую гораздо проще сказать, чем объективность *не является*. Например, Хаскелл озаглавил свою критическую статью, посвященную книге Питера Новика «Эта благородная мечта» (см. гл. III наст. изд.), сле-

¹ *Foucault. Madness and Civilization. P. 8–13; Foucault. Discipline and Punish. P. 3–6; Michel Foucault. The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences. New York, 1970; orig. French edn. 1966. Vol. XV. P. 387; русск. изд.: М. Фуко. История безумия в классическую эпоху и Дисциплина и наказание: рождение тюрьмы. СПб., 1997; М. Фуко. Слова и вещи: археология гуманитарных наук. М., 1977.*

дующим образом: «Объективность – это не нейтральность»¹.

Здесь Хаскелл дистанцируется от понимания объективности через достижение такой точки зрения, которая была бы совершенно независима от мира человеческих желаний и пристрастий (ниже я обозначу такой взгляд на объективность как «абсолютную» объективность). Выдвигая на первый план идею о том, что объективность и нейтральность не должны отождествляться, Хаскелл подразумевает, что приверженность к объективности не исключает приверженности к политической или любой другой позиции. Напротив, по мнению Хаскелла, объективность скорее всего наиболее различима именно в тех случаях, когда историк имеет «твердые политические убеждения». Основная проблема для историков состоит в том, чтобы в поисках адекватного понимания прошлого определить для себя меру отрешенности от своих собственных взглядов. Такое понимание предполагает, что мы «стремимся смотреть на вещи беспристрастно», освобождая себя от «наиболее соблазнительных жизненных иллюзий», а именно от того убеждения, что «мир замыкается на мне (или на том, с кем я себя идентифицирую)»².

К приведенным здесь утверждениям Хаскелла можно многое добавить, но я ограничусь только двумя важными замечаниями. Во-первых, рассматривая объективность как нечто, сосуществующее с политическими убеждениями, а не как нечто, стремящееся освободиться от них, Хаскелл указывает на тот аспект исторического мышления, который упомянут мной во «Введении» (на его «нерешительный» характер).

¹ *Thomas Haskell. Objectivity Is Not Neutrality: Rhetoric versus Practice in Peter Novick's That Noble Dream // Haskell. Objectivity Is Not Neutrality: Explanatory Schemes in History. Baltimore, 1998. P. 145–173.*

² *Ibid. P. 149–151.*

Во-вторых, он освещает принципиальную разницу между тем, к чему стремится историк (хороший историк) и тем, что мы находим в работах о прошлом у теоретиков и социологов. Поэтому «отрешение от своих собственных взглядов» означает также и отказ от попыток доказать истинность той или иной общественной теории. Социологи часто ошибочно ищут *неопровержимость* в работах историков, хотя понятие *неопровержимости* абсолютно несовместимо с самим проектом историописания. Они неоправданно полагают, что историк обязательно должен занимать некую позицию, которую он пытается продвинуть. Но задача историка не в том, чтобы показать истинность конкретной теории, а, скорее, в том, чтобы осветить прошлое.

Объективность, таким образом, не есть нейтральность — хотя она и предполагает отрешенность от личных убеждений. Другая вещь, которой объективность не является, — «взвешенность», несмотря на то что в современном дискурсе *объективность* и *взвешенность* часто понимаются как тесно связанные, если не равнозначные, понятия. Приведем в качестве примера два слогана, эксплуатируемые телевизионным каналом Fox Television News (США): «Честность и взвешенность» и «Мы рассказываем, вы решаете»¹. Идея здесь заключается в том, что «объективный» канал новостей приводит разные точки зрения и высказывания по поводу события, и далее предлагает зрителю самому

¹ Поиск в Google® 1 марта 2005 года по ключевым словам «Fox News Channel» и «fair and balanced» выдал 57.700 результатов. О претензиях на объективность со стороны канала Fox News см.: *Seth Ackerman. The Most Biased Name in News: Fox News Channel's extraordinary right-wing tilt. Extra! July/August, 2001; Fairness and Accuracy in Reporting. Site: <http://www.fair.org/index.php?page=1067> (1 March, 2005).* Он осуждает «Fox News» не столько за пристрастность, сколько за нежелание признать то, что они отражают «консервативную точку зрения».

делать выводы. В общем, *объективность* приравнивается к *нейтральности* в оценке разных точек зрения. Согласно такому подходу будет «объективным», например, выделить в средней школе одинаковое количество часов для изучения эволюционной и неэволюционной теорий биологии.

Взгляд на объективность как *взвешенность* предполагает, что объективность может быть достигнута тогда, когда все точки зрения приняты во внимание и все они нашли своего выразителя. Согласно этому взгляду, ни одно из множества описаний реальности не может быть рассмотрено как объективное. Напротив, объективность асимптоматично нарастает *внутри самой ситуации в целом* по мере того, как высказывается все большее количество мнений. Эта позиция отстаивается Ницше в работе «К генеалогии морали», где он пишет, что «чем *большему* количеству аффектов предоставим мы слово в обсуждении какого-либо предмета, чем *больше* глаз, различных глаз, сумеем мы мобилизовать для его узрения, тем полнее окажется наше [понятие] об этом предмете, наша “объективность”»¹.

Это довольно странная концепция объективности; отчасти потому, что она не говорит ничего о возможной глупости конкурирующих точек зрения; отчасти потому, что ни в одной из конкретных работ эта концепция не применяется. Неудивительно, что Ричард Рорти, разъясняя свое видение ницшеанских постулатов, утверждал, что нам вообще не нужна концепция объективности – такая объективность полностью редуцируется к социальной солидарности². Это есть логическое развитие взгляда Ницше, при-

¹ *Friedrich Nietzsche. On the Genealogy of Morality: A Polemic / Trans. Maudemarie Clark, Alan J. Swensen. Indianapolis, 1998; русск. изд.: Ницше Ф. К генеалогии морали // Ницше Ф. Соч.: В 2-х т. Т. 2. М., 1990. С. 28.*

² *Richard Rorty. Solidarity or Objectivity? and Science as Solidarity.// Rorty. Objectivity, Relativism and Truth (Philosophical Papers. Vol. 1). Cambridge, 1991. P. 21–34, 35–45.*

веденного выше, но оно так же не принимает во внимание возможную глупость, не говоря уже о заведомой ложности конкурирующих точек зрения. Оно так же безразлично к той идее, что даже сотня каналов Fox News, каждый на свой лад защищающий свою собственную «точку зрения», не смогут приблизить нас к «истине» и «объективности» больше, чем один канал Fox News. «Равновесие» между одной глупой политической позицией и другой, не менее глупой, совсем не является *объективностью*, равно как не является *объективностью* равновесие в преподавании научных теорий (например, теории эволюции и естественного отбора) и религиозных идей (например, о том, что Бог создал все живые существа такими, какие они есть).

Тем не менее *взвешенность* может быть понята в другом ключе, который не сводится к пропорциональному изложению конкурирующих воззрений. Хаскелл отчетливо показал это в рецензии на книгу «Historians and Social Values» (ed. Leerssen and Rigney), в которой мы находим вышеупомянутые рассуждения профессора Эли. В ней Хаскелл утверждает, что *взвешенность*, к которой следует стремиться историкам, означает «акт балансирования». Более точно – это балансирование между идеалом исключения из познания ценностных суждений и представлением о том, что единственное имеющее значение – отказ от собственных ценностей. Другими словами, речь идет не о балансе между разными убеждениями (равновесие, которое, конечно, включает личную позицию или позиции историка). Это задача, от которой захватывает дух: на самом деле, как может человек балансировать между потенциально бесконечным множеством конкурирующих установок: либеральными, консервативными, анархистскими, синдикалистскими, радикальными, коммунистическими, социалистическими, монархическими, католическими, протестантскими, мусульманскими, буддистскими, индуистскими и

так далее, и так далее? Это, скорее, балансирование между приверженностью к (дисциплинарной) ценности объективности и приверженностью к одной или нескольким внедисциплинарным позициям. Фактически настоящий историк должен ориентироваться и на объективность, и на убеждения, так как «умение проникать в разнообразные точки зрения есть непереносимое условие для понимания человеческих действий», и, следовательно, «есть предпосылка к достижению надежного исторического знания». Хаскелл справедливо отмечает, что «это поддерживает историка в подвешенном состоянии, под перекрестным огнем субъективности и объективности, без какого-либо ясного плана действий». «Подвешенное состояние», о котором говорит Хаскелл, отсылает к одному из аспектов «нерешительной диалектики», которая является частью – и в некоторой мере даже спецификой – исторического знания. Хаскелл совершенно верно говорит о том, что тем, кого могут устроить только алгоритмические решения в истории, следует поискать другое занятие¹. Пусть они становятся математиками, аналитическими философами или политологами.

Взгляд на проблему объективности через призму «акта балансирования» Хаскелла вполне сочетается с его более ранними заявлениями о том, что объективность не есть нейтральность. Объективность – не нейтральность потому, что, если мы хотим взглянуть на исторический объект как на целое (оттого гендерные вопросы в истории не поднимались до тех пор, пока некоторые историки не начали развивать феминистические идеи), нам необходима определенная мера убежденности. Я хотел бы лишь подчеркнуть, что поиск историком правильного баланса не требует выдвижения умеренных, ориентированных на консенсус, «половинчатых» взглядов. Напротив, «угловатость» пози-

¹ *Haskell*. Objectivity: Perspective as Problem and Solution. P. 359.

ции может обнаружить те аспекты исторической реальности, которые остались бы непонятными с более умеренных, «половинчатых» точек зрения. Уместно сравнить историописание с работой фотографа, который, изменив угол освещения, может, выделить те особенности поверхности, которые в противном случае были бы незаметны. «Угловатые» подходы не являются ни нейтральными, ни «уравновешенными» в смысле принятия «сбалансированного» взгляда на вещи. Однако такие подходы прекрасно приложимы к тем проектам, которые ставят своей задачей обнаружение истины о прошлом. Феминистские убеждения Натали Дэвис помогли ей погрузиться в атмосферу жизни крестьянки XVI века, что гораздо сложнее было бы сделать, не имея она этих убеждений (см.: «Введение» настоящего издания).

* * *

Конечно, у нас пока нет четкой дефиниции *объективности*, поскольку мы, пока пришли к не совсем логичному взгляду на объективность как на «акт балансирования» между объективностью и убеждениями. Но трудность здесь не только в определении самого термина *объективность*. Фактически, объективность – это не единый концепт, а множество концептов, которые не могут быть полностью сведены к одному базовому. В последнее время многие исследователи приходят к выводу, что значение *объективности* может меняться. Например, историк Перес Загорин полагает, что в современном дискурсе *объективности* «придается три базовых значения, связанных между собой в смысле разделяемого семейного сходства». (По Витгенштейну, два разных человека могут не иметь между собой общих черт и при этом все равно признаваться членами одной семьи благодаря тем чертам, которые они разделяют с другими членами семьи, а не друг с другом.) Другой со-

временный специалист в этой области, философ Хизер Дуглас, утверждает, что на самом деле существует восемь «различных допустимых рабочих определений объективности». Она добавляет, что, «хотя между этими определениями и существует связь, ни одно из них не может быть сведено к другому». Следовательно, мы вынуждены бороться с тем, что она обозначила как «нередуцируемую сложность» объективности¹.

Сколько же в действительности существует концепций объективности? Или, по крайней мере, сколько существует концепций объективности, применимых к историческому знанию? Здесь возможны разные способы типологизации, и предложенная мной типология вовсе не претендует на то, чтобы дезавуировать остальные. Она лишь должна способствовать более ясному пониманию вопросов, связанных с объективностью. Ведь зачастую, апеллируя в полемике к *объективности*, над смыслом самого слова даже не задумываются. В полемике основная задача – одержать победу в споре. Здесь же цель заключается не в том, чтобы выиграть спор, а в том, чтобы лучше разобраться в проблеме и, возможно, тем самым все-таки выиграть.

Требование объективности, как мы его понимаем, является *претензией на обладание когнитивной или эпистемологической значимостью*. Обратите внимание на то, как данная характеристика сужает область нашего поиска. Например, художник, композитор или любой человек, чье творчество связано с модернистской эстетикой освобождения, наверняка хотел бы придать своим работам некую особую значимость. Наверняка они хотели бы объявить свою работу невероятно важной, на шаг опережающей все предыдущие достижения, блестяще исполненной, эстетически яркой и т. д. Это – претензии на значимость, но они

¹ *Perez Zagorin*. Francis Bacon's Concept of Objectivity and the Idols of the Mind // *British Journal for the History of Science*. Vol. 34. 2001. P. 379–393, особенно: P. 379; *Heather Douglas*. The Irreducible Complexity of Objectivity // *Synthèse*. № 138. Jan.-Feb. 2004. P. 453–473, особенно: P. 453.

не связаны с объективностью в очерченном нами смысле, поскольку речь здесь идет, как правило, не о когнитивной, и уж тем более не об эпистемологической значимости.

Художники чаще всего претендуют на истинность *некоторых* описаний, но до тех пор, пока их искусство не стремится подражать науке, мы будем склонны говорить скорее об его эстетической, личностной, экзистенциальной истинности и т. д. Другими словами, требования истинности в данном случае относятся к иной категории, чем требования истинности в естественных и социальных науках, где важна установка на то, чтобы эти требования были приняты другими исследователями, которые должны будут следовать согласованной процедуре оценки для определения истинности и уменьшения вероятности заблуждений.

Говоря о требовании объективности как о претензии на когнитивную значимость, целесообразно было бы выделить четыре основных типа объективности. На практике они пересекаются, однако концептуализировать их возможно, а иногда даже необходимо. Во-первых, мы выделяем философский, или *абсолютный* тип объективности. Этот тип имеет своими корнями традиции современной философии, начиная с Декарта; он тесно связан (хотя и не идентифицируется) с идеей того, что познающие субъекты обязаны (говоря словами Рорти) «представлять вещи такими, как они есть на самом деле»¹. Приверженцы идеи абсолютной объективности стремятся к такому знанию, которое бы полностью отражало действительность и не испытывало ни предвзятости, ни пристрастий, ни искажений. Кроме этого, они полагают, что все добросовестные исследователи неизбежно должны прийти к одному набору репрезентаций, и там, где это не происходит, они склонны подозревать присутствие некомпетентности или лжи (или и

¹ *Richard Rorty. Philosophy and the Mirror of Nature. Princeton, 1979. P. 334.; русск. изд.: Рорти Р. Философия и зеркало природы. Новосибирск, 1991. С. 144.*

того и другого). Второй тип – *дисциплинарная* объективность – уже не предполагает тотальной конвергенции, но берет за стандарт объективности консенсус в конкретном исследовательском сообществе. Третий тип – *интеракционный*, или *диалектический*. Он исходит из того, что объекты *становятся* объектами в ходе взаимодействия между субъектом и объектом; следовательно, в отличие от абсолютного и дисциплинарного типов, диалектический оставляет место для субъективности познающего. Наконец, *процедурный* тип объективности ориентируется на практику имперсонального метода исследования. Здесь настороженность в отношении субъективности, характерная для абсолютного и дисциплинарного типов, абстрагируется от убеждения в том, что исключение субъективности с неизбежностью приводит к достижению истины. Стоит отметить, что процедурный тип объективности не существует в виде устойчивой ориентации в историческом исследовании и историописании. Хорошие историки стараются быть крайне осмотрительными в выборе методики, отталкиваясь от надежных первоисточников, осторожно обращаясь с исследовательской литературой, аккуратно делая выводы о причинно-следственных связях, четко артикулируя отношение между источниками и производимыми выводами, четко указывая степень достоверности или спекулятивности данных выводов и т. д. Но при этом они никогда не поднимаются до того уровня имперсональности, который предполагает четвертый, процедурный, тип объективности.

В теории и на практике эти четыре типа зачастую сливаются. Теоретически они сливаются потому, что по отдельности они не имеют никакого смысла. Например, без обязательств по отношению к идеалу истины (который при этом на практике труднодостижим), к цели выяснения реальной сущности исследуемого объекта и к обоснованной методике исследования, дисциплинарная объективность будет представлять собой лишь очередную «политически

корректную» ортодоксальность. Дисциплинарная, диалектическая и процедурная объективность не существует в чистой форме в реальности, а абсолютная объективность, которая предполагает божественный уровень понимания и отстраненности, видится нами, скорее, как некий идеал, лежащий за пределами человеческих возможностей. Вероятно, в определенных сферах и в определенные периоды наблюдались *почти* чистые примеры дисциплинарной, диалектической и процедурной объективности. Но, в основном, эти примеры не относятся к области исторического исследования и историописания, что свидетельствует в пользу противоречивого, неоднородного, сложного и толерантного характера истории.

Четыре понимания объективности

<p>Абсолютная объективность. «Всевидящее око», Взгляд из ниоткуда, Аперспективная перспектива, Божественный нейтралитет.</p> <p>Стремится <i>увидеть</i> объект таким, каков он есть. Приоритет – имперсональность.</p> <p>Пытается <i>исключить</i> любую субъективность, кроме объективной субъективности Бога.</p>	<p>Диалектическая объективность. Связана с экспертным знанием (индивидуальная экспертиза определенного типа объектов; например, фламандской живописи Возрождения).</p> <p>Стремится <i>взаимодействовать</i> с объектом, и, в идеале, к коммуникации с ним (или с его создателями).</p> <p>Пытается <i>использовать</i> субъективность, превратив ее в позитивную силу для обнаружения и продвижения знания.</p>
<p>Дисциплинарная объективность. Дисциплинарный консенсус как мера истины. Враждебна к внепарадигмальным и вообще к нецентрированным точкам зрения.</p> <p>Приоритет – имперсональность.</p> <p>Пытается <i>ограничить</i> субъективность: принимает только (неподтвержденную) субъективность самой дисциплины (субполя, сетевые проекты и пр.)</p>	<p>Процедурная объективность. Приоритет – абсолютно имперсональные операции, с целью исключить все субъективные источники ошибок. Ценит исключение ошибок так же высоко, как и обнаружение истины.</p> <p>Пытается <i>исключить любую</i> субъективность.</p>

Абсолютная объективность

Философов давно начали интересоваться вопросы объективности. Ключевой фигурой здесь является Иммануил Кант, чья «Критика чистого разума» (1781, 1787 годы) сыграла важную роль в появлении самого термина и его концептуализации. На самом деле, еще задолго до Канта существовали различные концепции объективности – не употреблялся лишь сам термин «объективность». Понятие «объективность» (французское *objectivité*, немецкое *Objektivität*) в его философском наполнении стало широко использоваться только в XIX веке, во многом именно под влиянием Канта¹. До этого в схоластической философии определения «объективное» и «субъективное» использовали для обозначения соответственно объектов сознания и вещей в себе, т. е. в понимании, совершенно противоположном сегодняшнему².

Абсолютная объективность – это, скорее, не какая-то единая идея, а набор свободно связанных между собой представлений; фактически значительная часть истории современной философии связана именно с таким понима-

¹ По поводу *объективности* у Канта см.: Henry E. Allison. Kant's Transcendental Idealism: An Interpretation and Defense. New Haven, 1983. Chap. 7. Objective Validity and Objective Reality: The Transcendental Deduction of the Categories. P. 133–172. Об изменениях в трактовке объективности в XIX веке см.: Lorraine Daston. Baconian Facts, Academic Civility and the Prehistory of Objectivity // Allan Megill, ed. Rethinking Objectivity. Durham, 1994. P. 37–63; Peter Dear. From Truth to Disinterestedness in the Seventeenth Century // Social Studies of Science. Vol. 22. November, 1992. P. 619–631.

² Daston. Objectivity and the Escape from Perspective. P. 597–598; Daston. Baconian Facts. Тем не менее существует определенное сходство между схоластическим пониманием объективности и диалектической объективностью, поскольку и первое и вторая включают конструирование ментальных объектов.

нием абсолютной объективности. Прежде всего, следует отметить два измерения проекта «репрезентации вещей такими, какие они есть на самом деле» – онтологическое (вещи «как они есть на самом деле») и эпистемологическое (поскольку мы стремимся «репрезентировать» вещи и ничего не можем поделать без этой репрезентации). Можно также выделить нормативное и методологическое измерения абсолютной объективности¹. Кроме того, как показал Томас Нагель, представление об абсолютно объективном знании довольно запутанно, поскольку абсолютно объективное знание по определению избегает ограничений, накладываемых субъективностью и пристрастностью, – хотя если абсолютно объективный взгляд предполагает всеохватность, он должен включать отдельные субъективные взгляды на реальность, которые имеют место и соответственно *также* являются частью реальности. В идеале объективные и субъективные стороны объективности сочетаются друг с другом. Но это лишь *в идеале*; фактически же абсолютное понимание субъективности восстает против бесконечного регресса, отмеченного Нагелем. Поэтому доведенная до своей крайности абсолютная объективность предлагает «взгляд ниоткуда»: это взгляд, который мы не можем представить, т. к., чтобы быть полностью всеобъемлющим, ему необходимо давать оценки своим собственным оценкам, и т. д. *ad infinitum*².

Однако неправильным было бы ограничиваться проблемой «взгляда ниоткуда». В большинстве философских дискуссий XX века под объективностью понимался не столько вопрос «репрезентации вещей такими, какие они

¹ R. W. Newell отмечает все четыре измерения в: *Newell. Objectivity, Empiricism and Truth*. London, 1986. Chap. 2. The Two Faces of Objectivity. P. 16–38.

² *Thomas Nagel. The View from Nowhere*. New York, 1986. P. 3–5, 18.

есть на самом деле», сколько вопрос формулирования критериев для таких репрезентаций. Эти критерии могли бы помочь в продвижении к знанию, достаточно надежному, чтобы ни один здравомыслящий человек не смог поставить его под сомнение. Сами эти критерии также должны пройти аналогичную процедуру согласования. Произведенное знание могло бы, по крайней мере, *продвинуть нас в направлении* к картезианской (и бэконовской) «абсолютной концепции реальности»¹. Конечно, мы можем никогда не *достичь* этого понимания, но, как мыслящие существа, должны стремиться приблизиться к нему. Таким образом, абсолютная объективность является абсолютной не в смысле безошибочности или непогрешимости, а, скорее, в плане того влияния, которое она должна иметь на нас как на рационально мыслящих существ.

До 1960-х годов ключевой посылкой философии науки было допущение, что рациональное принятие или отрицание предполагает обращение к логической состоятельности конкретных теоретических утверждений. Это относится в равной степени и к Карлу Попперу, и к его последователям (утверждавшим, что научные законы не могут быть верифицированы, а только фальсифицированы), и к таким «непопперианцам», как Рудольф Карнап и Карл Гемпель. Данная модель предполагала, что можно судить о единичных высказываниях, оставляя в стороне вопрос эпистемологической обоснованности как таковой. В дальнейшем под

¹ Понятие «абсолютное понимание реальности» взято из: *Williams Descartes: The Project of Pure Enquiry*. Atlantic Highlands, N. J., 1978. Размышления Бэкона об «идолах» – это, естественно, *locus classicus* его концепции объективности (*Francis Bacon. The New Organon* / Ed. Lisa Jardine, Michael Silverthorne. Cambridge, 2000. Book I. Aphorisms... XXXIX–XLIV. P. 40–42; русск. изд.: *Бэкон Ф. Новый органон* // Собр. соч. Т. 2. Л., 1974.

сомнение была поставлена как эта логическая модель, так и возможность верификации (фальсификации). Все это вызвало активные дискуссии в философии. Приблизительно после 1970 года дискуссии разворачивались, скорее, вокруг «реализма», а не «объективности», хотя диапазон охватываемых проблем был примерно тем же¹. Ричард Рорти и Хилари Патнэм были наиболее видными участниками этой дискуссии, хотя кроме них было и немало других известных лиц².

Здесь нас прежде всего интересует внефилософское обсуждение объективности. Впрочем, философский аспект важен и для многих внефилософских дискуссий, причем некоторые из них начинаются именно как спор с философами или среди них. В частности, философские дебаты по поводу «рациональности» и «релятивизма» определенным образом повлияли на более широкую дискуссию вокруг проблем объективности, начавшуюся в 70-е годы. Два пункта этих дебатов представляют особый интерес. Первый, связанный с вопросом научной рациональности, был

¹ The Philosopher's Index (Bowling Green, OH, 1967) предлагает удобный способ отслеживания изменений философской терминологии. Я подсчитал случаи использования терминов «объективность» и «реализм» в названиях статей, приведенных в The Philosopher's Index за период с 1967-го по 1990 годы. При сравнении брались 1969–1971 и 1988–1990 годы. В течение этого периода число случаев использования слова «объективность» возросло в 2,8 раз; слова «реализм» – в 7,2 раза.

² Hilary Putnam. *Realism with a Human Face* / Ed. James Conant. Cambridge, 1990; особенно: «The Craving for Objectivity» и «Objectivity and the Science/Ethics Distinction». P. 120–131, 163–178; Richard Rorty. *Objectivity, Relativism, and Truth*. Особенно: «Solidarity or Objectivity?» и «Science as Solidarity». P. 21–34, 35–45. См. также: Helen E. Longino. *Science as Social Knowledge: Values and Objectivity in Scientific Inquiry*. Princeton, 1990. Особенно: Chap. 4. Values and Objectivity. P. 62–82. (Автор рассматривает данную дискуссию через призму гендерных проблем в науке.) Еще одна примечательная работа: Richard J. Bernstein. *Beyond Objectivism and Relativism: Science, Hermeneutics, and Praxis*. Philadelphia, 1983.

инспирирован выходом в 1962 году книги «Структуры научных революций» Томаса Куна. Другой, затрагивающий проблему культурного релятивизма, был вызван к жизни процессом деколонизации, который шел рука об руку с растущим влиянием социологии и антропологии. В обоих случаях философы смогли сделать интересные выводы отчасти именно под воздействием внешних обстоятельств: под воздействием истории науки в первом случае и социологии и антропологии – во втором.

«Структура научных революций» Куна встревожила многих философов. Особенно это касается взгляда Куна на то, как научное сообщество переходит от приверженности одной «парадигме», или набору теорий и проблем, к приверженности к последующей «парадигме». Поскольку, как полагал Кун, разные парадигмы «несоизмеримы», аргументы, приводимые защитниками новой парадигмы, не имеют значения для приверженцев доминирующей в данной момент парадигмы. Поэтому, считает Кун, переход от одной парадигмы к другой сродни опыту обращения в другую веру¹. Следовательно, этот переход во многом является иррациональным. Далее, если мы серьезно воспримем идею Куна об опыте обращения, мы можем с уверенностью называть его эпистемологическим релятивистом, по крайней мере в том, что касается перекрестных оценок парадигм. Т. е. он может быть рассмотрен как последователь типично релятивистского убеждения в том, что невозможно сделать нейтральный выбор между (двумя или более) наборами базовых принципов и стандартов оценки для измерения (установления) истинности конкурирующих утверждений, т. е. что универсальная нейтральная точка зрения никогда не может быть найдена². Поэтому нет ничего удивительно-

¹ Кун Т. Структура научных революций. М., 1977. С. 142

² Здесь я привожу сжатое определение эпистемологического релятивизма, предложенного Харви Сиджелом в: *Relativism Refuted: A Critique of Contemporary Epistemological Relativism*. Dordrecht, 1987. P. 6.

го в том, что многие философы обвинили Куна в иррационализме и релятивизме. Эти обвинения тесно связаны между собой, и оба они упираются в признание невозможности объективной оценки научного знания. Те, кто обвиняли Куна в иррационализме и релятивизме, обвиняли его в отказе от объективности именно в абсолютном, философском смысле¹.

Дискуссии вокруг релятивизма, имевшие место в контексте проблемы «других культур», также связаны с дискуссиями об объективности в конце XX века. Здесь следует упомянуть две полезные антологии, которые могут ввести читателя в курс дела: «Рациональность» Брайана Уильямса и «Рациональность и релятивизм» Мартина Холлиса и Стивена Люкеса². Представленные в этих двух антологиях философы, социологи и антропологи пытались прийти к единому мнению по вопросам, связанным с языческими культурами, магией и отношением между традиционной африканской мыслью и западной наукой. Так, выходя за пределы чисто *теоретического* любопытства современной философии, они предвосхитили то направление, в котором стала развиваться дискуссия вокруг объективности в последние десятилетия XX века. И все же они не сосредоточивались на объективности *per se*, поскольку их главной задачей не был поиск критериев, которые позволили бы нам судить о правильности конкурирующих убеждений или комплексов убеждений. Скорее, их задача состояла в

¹ По этому вопросу см.: *Israel Scheffler. Science and Subjectivity. Indianapolis, 1967. Особенно: P. 15–19, 74–89.*

² *Bryan Wilson, ed. Rationality. Oxford, 1970; Martin Hollis, Steven Lukes, eds. Rationality and Relativism. Oxford, 1982; см. также: Stuart C. Brown, ed. Objectivity and Cultural Divergence // Royal Institute of Philosophy Lecture Series 17. Supplement to «Philosophy» 1984. Cambridge, 1984; Clifford Geertz. Anti Anti-Relativism // American Anthropologist. Vol. 86. 1984. P. 263–278; переиздано: Michael Krausz, ed. Relativism: Interpretation and Confrontation. Notre Dame, IN, 1989. P. 12–34.*

«транс-культурном и транс-теоретическом понимании... и взаимопонимании вообще»¹. Эта проблема «транс-»понимания тесно связана с появлением понятия дисциплинарной объективности.

Дисциплинарная объективность

Дисциплинарная объективность делает акцент не на универсальный критерий оценки, а на частный, хотя и не менее авторитарный, дисциплинарный критерий. Ее интересует не возможная добровольная конвергенция всех добросовестных исследователей, а непосредственная конвергенция исследователей, приписанных к данному полю². В общем-то, неправильным было бы проводить резкую границу между абсолютной и дисциплинарной объективностью. На практике существуют удобные альтернативы между этими крайностями, и, поскольку это так, границы между ними остаются открытыми³. Но этой размытости границ на теоретическом уровне противостоит институциональное разделение. Существуют дисциплины (субдисциплины, исследовательские поля и т. д.). Определенная институционально, дисциплинарная объективность сводится к претензии представителей конкретной дисциплины (субдисциплины, исследовательского поля и т. д.) на обладание полной властью над сферой своей компетенции. Такие претензии приобретают разные формы, в разной степени открытые и артикулированные. Основания могут

¹ Steven Lukes. *Relativism in its Place* // Hollis, Lukes, eds. *Rationality and Relativism*. P. 261–305, особенно: P. 261.

² Говорить о такой позиции, как о «дисциплинарной», не совсем верно, однако, учитывая двойственное значение самого слова «дисциплинарность», мы допускаем его использование в этой главе.

³ См.: Longino. *Science as Social Knowledge*. Особенно раздел «Objectivity by Degrees». P. 76–81. В своем рассуждении о научных практиках Лонгино сближается с диалектическим пониманием объективности.

меняться от дисциплины к дисциплине и от области к области; они изменяются также и во времени. На самом элементарном и невнятном уровне дисциплинарные претензии на объективность проявляются, например: в твердом убеждении историков, что историки, в отличие от социологов, способны добраться до истинного прошлого; в твердом убеждении философов, что они, в отличие от историков, способны установить саму природу истины; в твердом убеждении литературоведов, что они, в отличие от поэтов, способны добраться до истинной сути литературы; и в твердом убеждении физиков, что именно они, а не химики, способны представить истинную картину физической Вселенной.

Дисциплинарная объективность связана с динамикой современного научного знания, которое резко разделено на дисциплины и области и расколото на части конкурирующими претензиями на власть (вот почему споры о «границах» наук, хотя и не всегда идентифицированные как таковые, так часто возникают в современном интеллектуальном сообществе). Конечно, можно представить себе некоторые интеллектуальные сферы, в которых люди воздерживались бы от претензий на дисциплинарную объективность. Они могли бы воздерживаться от подобных претензий, если бы пришли к некой общей, разделяемой всеми авторитетной точке зрения: в этом случае, требование дисциплинарной объективности потеряло бы смысл. Или люди могли бы воздержаться от подобных требований, полагая, что смогли развить особую, индивидуальную чувствительность к объекту своего исследования; например, биолог Барбара Макклиток утверждала, что у нее есть некое «ощущение организма», а историки искусства и критики часто стремились культивировать в себе подобное же восприятие произведе-

ний искусства¹. Здесь уже речь идет скорее о диалектической объективности, которая связана со взаимодействием между исследователем и объектом; в таком случае искусствоведение вполне могло бы овладеть имперсональностью, которая требует абсолютного и дисциплинарного понимания объективности. Наконец, можно представить исследователей, настолько уверенных в своей персональной точке зрения, или, наоборот, настолько скромных в оценке своих познавательных способностей, что не делается ничего даже отдаленно напоминающего заявку на дисциплинарную объективность. Э. Гиббон в «Истории упадка и разрушения Римской империи» мог бы служить иллюстрацией для первого случая, а Мишель де Монтень в его «Опытах» – для второго.

Показательно, что я здесь использую в качестве примера двух «неакадемических» авторов – авторов, которые не считали себя участниками коллективного, совместного поиска знания. Требования дисциплинарной объективности могут возникнуть только там, где имеет место подобный коллективный проект, так как они являются своеобразным способом обеспечения единства знания, по крайней мере, в некоторой ограниченной области. Но дисциплинарные требования объективности являются *также* и результатом эпистемологической ненадежности. Они, как правило, формируются только тогда, когда вера в единую неделимую истину, которую сопровождает абсолютную объективность, кажется нежизнеспособной и когда есть сомнения относительно надежности персонального видения.

Эпистемологическая неуверенность среди обществоведов и гуманитариев помогает объяснить то огромное воз-

¹ Evelyn Fox Keller. *A Feeling for the Organism: The Life and Work of Barbara McClintock*. New York, 1983. P. 197–198. См. также: Ernest Samuels. *Bernard Berenson: The Making of a Connoisseur*. Cambridge, MA, 1979.

действие, которое куновская «Структура научных революций» оказала за пределами своего поля – на историю, философию и социологию естествознания. Как известно, Кун всячески старался показать, что его взгляд на развитие естествознания неприменим к социальным наукам, не говоря уже о гуманитарных¹. Тем не менее уже к началу 1970-х годов знакомство со «Структурой научных революций» было *нормой этикета* в социальных науках, и постепенно становилось таковой и в гуманитарных науках². Историк Дэвид Холлинджер в «*American Historical Review*» в 1973 году определил ключевую причину популярности книги Куна: по словам Холлинджера, она предложила представителям социальных наук (в том числе и историкам) «чувство достоверности, или объективности»³.

Оценка работы Куна, данная Холлинджером, покажется некоторым читателям странной, поскольку, как отметил он сам, многие философы настаивают на том, что Кун вообще не имел «никаких представлений о стандартах достоверности»: он «настолько релятивизировал даже естествен-

¹ *Thomas S. Kuhn. The Structure of Scientific Revolutions. 2d ed. Chicago, 1970 [1962]; Кун Т. Структура научных революций. М., 1977. С. 112.*

² Это утверждение могло бы быть доказано через библиометрический анализ. Поскольку таковой не проводился, приведем лишь цифры продаж: со дня публикации «Структуры научных революций» (5 мая 1962 года) до января 1991 года было продано 768.774 книги, что совершенно невероятно для академической работы. 22.500 книг было продано в 1968–1969 годах, а начиная с 1970-го продавалось до 40.000 книг ежегодно. К началу 1990-х эта цифра снизилась до 25.000 книг в год (данные взяты у Дугласа Митчелла, редактора University of Chicago Press).

³ *David Hollinger. T. S. Kuhn's Theory of Science and Its Implications for History // Hollinger. In the American Province: Studies in the History and Historiography of Ideas. Bloomington, 1985. P. 105–129.* Кроме того, по этому вопросу см.: *Douglas Lee Eckberg, Lester Hill, Jr. The Paradigm Concept and Sociology: A Critical Review // Gary Gutting, ed. Paradigms and Revolutions: Appraisals and Applications of Thomas Kuhn's Philosophy of Science. Notre Dame, IN, 1980. P. 117–136.*

ные науки, что вовсе отказывал им в объективности»¹. Очевидно, что в моей терминологии Кун отрицал идею *абсолютной* объективности, и в этом смысле его наиболее ярые критики от философии были правы. Однако они заблуждались, утверждая, что отрицание абсолютной объективности означает отрицание объективности вообще. Парадигма, объединяющая членов «зрелого научного сообщества»², создает определенную апелляционную инстанцию для рассмотрения исков об объективности: не высший апелляционный суд, но тот, который будет работать в определенном сообществе в определенное время. Тем, кто привержен абсолютной объективности, позиция Куна может показаться лишь законченным и нелепым релятивизмом. Как отмечает Холлинджер, хотя историки уже давно отказались от «притязаний на *научную историю*», они продолжают «называть хорошие исследования *объективными*». Основанием для этих неугасающих претензий на объективность, по мнению Холлинджера, является фундаментальное intersubjective соглашение между историками в отношении критериев успешной исторической работы³. Куновский образ «нормального» научного сообщества, объединенного парадигмой, является всего лишь более консолидированной формой профессионального соглашения такого рода⁴.

¹ Hollinger. T. S. Kuhn's Theory of Science. P. 116–117.

² Kuhn. Structure; русск. изд.: Кун Т. Структура научных революций. М., 1977. С. 214.

³ Hollinger. T. S. Kuhn's Theory of Science. P. 116. Для детального знакомства с проблемой объективности см.: Peter Novick. That Noble Dream: The «Objectivity Question» and the American Historical Profession. New York, 1988.

⁴ Ibid. P. 117–119. Вообще, следует различать *парадигму* как разделяемую всеми точку зрения и *парадигму* как пример научной практики, доказавшей свою способность успешно решать проблемы. Если говорить о первом значении, то Кун может быть увязан с диалектической объективностью. Но как раз это меньше всего интересовало представителей социальных наук.

Вопросы дисциплинарной объективности имеют в настоящее время первостепенную важность для институтов, производящих знание. Это полицентричная система, в которой критерии академической компетентности постоянно обсуждаются и пересматриваются. В отсутствие нейтральной точки зрения именно дисциплинарная объективность превращается в очень важную форму академического авторитета. В конце концов, каждый должен быть готов ответить на извечный вопрос: по какому праву Вы утверждаете что-то? Требования дисциплинарной объективности, так же как и требования абсолютной объективности, содержат в себе ответ на этот вопрос.

Диалектическая объективность

Диалектическая объективность предлагает иной ответ. Наиболее характерная черта абсолютной и дисциплинарной объективности заключается в резко негативном отношении к субъективности. Абсолютная объективность стремится исключить субъективность, а дисциплинарная объективность стремится ограничить ее. Однако эта принятая оппозиция объективности и субъективности сложилась исторически. В работе о концепциях объективности XVII века историк науки Питер Дир отметил исчезновение в начале Нового времени использования термина *объективность* применительно к ментальным объектам (т. е. применительно к истинностным репрезентациям), и тот факт, что этот термин стали соотносить усилиями, направленными на удаление из проекта науки всех свойств, которые считались несоответствующими истинному знанию. Все эти «несоответствующие» свойства имели отношение к субъективности¹. Исследуя концепции научной объективности XIX века, Дастон и Гэлисон также обратили внимание на

¹ Dear. From Truth to Disinterestedness. P. 619–621.

«негативный характер» этих концепций¹. Такие фразы как «аперспективная объективность» и «взгляд ниоткуда» действительно привлекают внимание к этой негативности². Напротив, диалектическая объективность положительно относится к субъективности. Особенность диалектической объективности в том, что субъективность здесь считается необходимой при конституировании объектов. С этой особенностью связано предпочтение, отдаваемое «действию» перед «наблюдением».

Ориентация на «действие» охватывает ряд различных философских школ и направлений, и поэтому неудивительно, что понятие диалектической объективности возникло в разных контекстах. Представление о ней можно найти уже в работе Ф. Ницше «О пользе и вреде истории для жизни» (1874). Сокрушаясь по поводу того, что его коллеги не имеют совершенно никакой сопричастности к греческой культуре, которую они изучают, Ницше доказывал, что, пока историк не впустил прошлое внутрь себя, он не сможет увидеть его. Другими словами, *субъективность* необходима для *объективности*; или, как выразился сам Ницше, «объективность требуется, но как положительное качество»³. Исследуя ту же проблему, Мартин Хайдеггер в

¹ Daston, Galison. The Image of Objectivity. P. 82.

² Фраза «аперспективная объективность» принадлежит Л. Дастону («Objectivity and the Escape from Perspective»). Кроме того, Дир предположил, что негативный характер [абсолютной] объективности хорошо укладывается в концепцию «третьего мира» Поппера, поскольку этот «третий мир» а) трудно локализовать и б) идеи в нем «не обязательно являются... истиной». По словам Дири, «объективное знание характеризуется своей *несубъективностью*... Вопрос о том, является ли это истиной, иррелевантен» (Dear. From Truth to Disinterestedness. P. 619–620; Karl Popper. Objective Knowledge: An Evolutionary Approach. Oxford, 1972. Гл. 4. On the Theory of Objective Mind. P. 153–190).

³ Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни // Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни. Сумерки кумиров, или как философствовать молотом. М.: АСТ, 2005. С. 56.

«Бытии и времени» (1927) утверждал, что объекты познаются нами, в первую очередь, через наши действия в мире, а не в ходе теоретического размышления. Подобные концепции выдвигались и многими другими мыслителями, часто связанными с прагматическим, экзистенциальным и феноменологическим направлениями в философии¹.

Для понимания того, как диалектическая объективность рассматривалась в смежной с историей дисциплине – антропологии, следует, прежде всего, обратиться к исследованию антрополога Й. Фабиана². Первый раз Фабиан заинтересовался проблемой объективности в статье 1971 года «История, язык и антропология»³. Она была направлена против двух сложившихся к тому времени взглядов на объективность в этнографии. Первый состоял в том, что критериями для оценки объективности этнографического исследования является «научная логика»⁴. Этот взгляд, который мы можем назвать версией «абсолютной» объективности, пришел в антропологию из логического эмпиризма (или логического позитивизма, см. главу IV). Второй взгляд, вдохновленный куновской «Структурой научных революций», заключался в том, что действительно объективное знание возможно только в пределах парадигмы.

¹ См., например: *Maurice Merleau-Ponty. Phenomenology of Perception*. London, 1962 [1945]; *John Dewey, Arthur F. Bentley. Knowing and the Known*. Boston, 1949; *Michael Polanyi. Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy*. Chicago, 1958; *Marjorie Grene. The Knower and the Known*. New York, 1966.

² *Johannes Fabian. Ethnographic Objectivity Revisited: From Rigor to Vigor* // *Allan Megill, ed. Rethinking Objectivity*. P. 81–108.

³ *Johannes Fabian. History, Language and Anthropology* // *Philosophy of the Social Sciences*. Vol. 1. 1971. P. 19–47.

⁴ *Ibid.* P. 81. Фабиан основал свою идею на работе: *J. A. Barnes. Three Styles in the Study of Kinship*. Berkeley, 1971.

Антропологи, придерживавшиеся этого представления, сожалели о том, что антропология была «до-парадигматической»¹. Это не беспокоило Фабиана; напротив, в статье 1971 года он объявил, что Кун «создал фетиш профессионализма»². Выступая против этих двух взглядов – особенно против позитивистского, – Фабиан доказывал, что объективность в антропологии должна основываться на человеческой интерсубъективности и что такая объективность может быть достигнута только через коммуникативное взаимодействие, которое происходит в языке³.

Мы уже можем определить позицию Фабиана как диалектическую, так как она делает акцент на понятии интеракции. Конечно, историки, в отличие от антропологов, имеют дело, в основном, с мертвыми, а не с живыми, и поэтому не совсем ясно, каким образом историческое исследование и историописание может быть диалектическим. Тем не менее диалектическое взаимодействие, о котором говорит Фабиан, сосредоточено на проблеме, имеющей близкий аналог в историческом исследовании: способ, каким антропологи трансформируют свой опыт другой культуры в объекты антропологического исследования и рефлексии. Короче говоря, Фабиана интересует объективность как «создание объектов» – как «объективация»⁴. Именно этим и занимаются настоящие историки – они создают исторические объекты. Например, величайшим достижением

¹ Как, например: *Barnes. Three Styles*. P. XXI. Конечно, мы можем распознать здесь пример «дисциплинарной» объективности.

² *Fabian. History, Language and Anthropology*. P. 19. Другими словами, Кун полагал, что любой поиск научного знания должен следовать *одному* набору методов и приходить к *одному* взгляду.

³ *Ibid.* P. 25, 27.

⁴ Фабиан использует слово «объективация» в нейтральном, эпистемологическом, а не в уничижительном значении, для обозначения того, как «люди» превращаются в «объекты».

Фернана Броделя было то, что он превратил так любимое им Средиземноморье в исторический объект.

Интерес к объективации у Фабиана появился еще во время его полевых исследований религиозного движения Джамаа в Катанге. Проблема состояла в том, что Джамаа не имела практически ни одной характеристики, обычной для религиозного движения. Оно не имело ни «ритуальных атрибутов,.. ни знаков отличия, ни особых одеяний, ни общинных зданий и т. д., типичных для многих африканских религиозных движений»; его социальная деятельность была локализована и не особенно проявлялась; его участники были разобщены; формальная организация отсутствовала; основатель и наиболее последовательные сторонники отрицали, что они имеют отношение к началу движения¹. В этой ситуации Фабиан находил бесполезной позитивистскую идею о том, что объективность является продуктом правильного метода; в итоге он заключил, что позитивистский подход умалчивает обо всем наиболее важном, связанном с объективностью. Позитивизм ошибочно полагал, что социально-научное знание базируется на фактах, которые просто находятся «там»; как следствие, он игнорировал проблему того, каким образом конституируются объекты антропологического исследования, – например, почему мы начинаем рассматривать некий набор явлений как «религиозное движение».

На первый взгляд, диалектическая объективность может казаться антитезой абсолютной объективности. Но обратимся к Канту, чья «Критика чистого разума» предлагает взгляд на то, как разум, через приписывание категорий понимания (единство, множество, целое, причинная связь и т. п.) сложному многообразию субъективных ощущений, придает этим ощущениям объективность. Эту интерпрета-

¹ *Fabian. History, Language and Anthropology*. P. 22.

цию можно понимать двояко. Тот, кто акцентирует *универсальность* категорий – их разделяемость всеми мыслящими существами, – будет рассматривать Канта как теоретика абсолютной объективности, отрицающей все личное и особенное. Тот же, кто акцентирует *активный характер* познающего субъекта, увидит в Канте теоретика диалектической объективности¹. Таким образом, налицо странный и впечатляющий симбиоз абсолютной и диалектической объективности. Действительно, можно рассматривать абсолютную объективность даже как специфический случай диалектической объективности, требующий конструирования особого *типа* познающего субъекта, а именно – субъекта, абсолютно авторитетного.

Процедурная объективность

Процедурная объективность также имеет сложные отношения с остальными видами объективности. Ее можно рассматривать как модификацию абсолютной объективности, которая фокусируется на имперсональности процедур (методов), абстрагируясь от желанной цели достижения истины, и, следовательно, увеличивает расстояние между *объективностью* и *истиной*, о чем уже говорилось в разделе об абсолютной объективности. Процедурная объективность также может быть рассмотрена как особый случай диалектической объективности, в котором ограниченная строгими правилами деятельность требует соответствующего субъекта – субъекта, способного жить по этим правилам. Однако, в отличие от абсолютной объективности, здесь главная метафора не является визуальной. Также здесь не делается акцент на действие, в отличие от диалектической объективности. Скорее, главная метафора процедурной объективности является осязательной, в негатив-

¹ О данной дискуссии см.: *Greene. The Knower and the Known. Chap. 5. Kant: The Knower as Agent. P. 120–156.*

ном смысле – «руки прочь!». Ее девизом также вполне могло бы быть «руками не трогать».

Дополняя эти весьма абстрактные утверждения, полезно вспомнить работу о бюрократической и научной стандартизации историка науки Теодора М. Портера¹. Портер – один из представителей группы талантливых историков науки, которые в 1980–1990-х годах поставили своей целью написать историю – или, возможно, даже *истории* – объективности². Исследуя современный бюрократический аппарат, Портер показывает, что объективность в бюрократической сфере может быть с успехом рассмотрена как набор правил для сведения к минимуму роли субъективности. Эти правила ограничивают вторжение личных суждений в бюрократические решения. (Правила будут тем строже, чем меньшим уважением и доверием пользуются в данном обществе бюрократы. Аналогичная ситуация – с общественным мнением в отношении судей.) Правила полностью заменяют личные суждения, не обращаясь ни к трансцендентальной ценности (как в абсолютной объективности), ни к стандартам сообщества (как в дисциплинарной объективности). В ситуации, где имеется конфликт ценностей и консенсус невозможен, такие правила вполне могут стать

¹ *Theodore M. Porter. Objectivity as Standardization: The Rhetoric of Impersonality in Measurement, Statistics, and Cost-Benefit Analysis // in: A. Megill, ed. Rethinking Objectivity. P. 197–237; и более позднее издание: Porter. Trust in Numbers: The Pursuit of Objectivity in Science and Public Life. Princeton, 1995.*

² См.: *Peter Dear. Totius in verba: Rhetoric and Authority in the Early Royal Society // Isis. Vol. 76. 1985. P. 145–161; Dear. Jesuit Mathematical Science and the Reconstitution of Experience in the Early Seventeenth Century // Studies in the History and Philosophy of Science. № 18. 1987. P. 133–175.* Кроме этого можно обратиться к работам других историков науки: *Shapin, Schaffer. Leviathan and the Air-Pump: Hobbes, Boyle, and the Experimental Life. Princeton, 1985; Shapin. The House of Experiment in Seventeenth-Century England // Isis. Vol. 79. 1988. P. 373–404; см. также главу: Numbers Rule the World // Gerd Gigerenzer et al. The Empire of Chance: How Probability Changed Science and Everyday Life. New York, 1989. P. 235–270.*

единственным способом обеспечить согласованную общественную деятельность.

Исторически рост значения имперсональности в научной практике шел параллельно прогрессу стандартизации (система мер, категорий и т. д.) и даже способствовал ему. С одной стороны, стандартизация имеет *объективную* сторону: категории навязываются миру объектов так же, как в унификации мер и статистических классификаций, искусственно выделяющих гомогенные классы людей. Менее очевидно то, что имела место и стандартизация *субъектов* – через наложение ограничений с целью минимизировать проявление персональных суждений. Например, правила статистического вывода и жестких протоколов интервью разработаны с таким расчетом, чтобы сделать знание настолько независимым от людей, вовлеченных в его продуцирование, насколько это возможно. Здесь исследование Портера соприкасается с проблематикой, разрабатываемой Дастоном и Гэлисоном. Они показали, что настороженность в отношении некоторых аспектов субъективности, а именно «интерпретации, селективности, мастерства, и оценочного суждения», стала в XIX столетии ключевой характеристикой научной объективности¹.

Портер блестяще показывает, как объективность в бюрократической сфере заменяет «истинное» или «лучшее» «*беспристрастным*». Можно найти аналогичные примеры в науке, те случаи, где «истинное» заменяется на «процедурно корректное». Например, исследователи часто подчеркивают, что они следовали безличным процедурам (например, логически выведенной статистике в экспериментальной психологии) без претензии на то, что эти процедуры гарантируют истинность их выводов. Нужно обратить внимание на пересечение с дисциплинарной объективностью, которое имеет здесь место, поскольку опре-

¹ Daston, Galison. The Image of Objectivity; Daston. Objectivity and the Escape from Perspective. Цитируется по: The Image of Objectivity. P. 98.

деление «правильной» процедуры часто является дисциплинарным, т. е. является результатом соглашения, достигнутого в рамках определенной сферы исследования (например, когда статистики говорят о «статистически значимых» результатах). Кроме того, процедурная объективность пытается следовать букве абсолютной объективности, отрицая при этом сам ее дух – используя имперсональные средства, рекомендованные абсолютной объективностью, но скептически относясь к возможности достижения конечной истины. Наконец, процедурная объективность имеет сходство с диалектической объективностью в том, что стандартизация объектов приносит с собой и стандартизацию субъектов.

* * *

Таким образом, здесь мы выделяем четыре понимания объективности: абсолютное, дисциплинарное, диалектическое и процедурное. Каждое имеет свою внутреннюю логику; другими словами, они появляются в данном исследовании не случайно. Напомним при этом, что они предстают лишь *концептуальными типами*, и на практике они переплетаются. Кроме этого, напомним: моя идея заключается в том, что использование этих концептуальных типов может помочь историкам более ясно представить те вызовы и ограничения, с которыми они сталкиваются, занимаясь историческим описанием, историческим объяснением, обоснованием и интерпретацией. Я не претендую на то, что предложенная типология станет «решением» «проблемы объективности». Те, кто ищет такое решение, либо не осознают теоретических сложностей, связанных с «проблемой объективности», либо излишне надеются на возможности теории.

Рано или поздно историки должны перейти от теоретических и квазитеоретических заявлений к тяжелому труду собственно исторического исследования. Они должны будут сосредоточиться на конкретных случаях и сделать из них те выводы, какие смогут. Именно об этом пойдет речь в следующей главе.

*Стивен Шепард,
Филипп Хоненбергер,
Аллан Мегилл*

§ 2. Проблема исторической эпистемологии: что соседи знали о Томасе Джефферсоне и Салли Хемингс?

В «Очерках Историки» – почти забытой сегодня работе, которую в определенной мере можно считать трудом по исторической эпистемологии – историк XIX века Иоганн Густав Дройзен (1808–1884) утверждал, что исторической науке необходимо прояснить для себя «свои цели, средства и основания»¹. Среди множества интересовавших Дройзена вопросов был, в том числе, и вопрос взаимоотношений между критическим и конструктивным измерениями исторического исследования и историописания. На взгляд Дройзена, задача историка заключается не просто в критическом исследовании источников (*Kritik*). Критика источников дает только «разрозненные эмпирические факты». История должна идти дальше такого негативного и фрагментарного знания, поскольку она стремится воссоздать «устойчивые коллективные выражения, с помощью которых люди, объединенные в... разнообразные этические сообщества... проявляли свои совместные рациональные действия в истории»².

¹ *Johann Gustav Droysen. Outline of the Principles of History* / Trans. E. Benjamin Andrews (translation of Droysen. *Grundriss der Historik*. 3rd, rev. ed. [1882]) Boston, 1893. P. 4–5; русск. изд.: *Й. Г. Дройзен. Очерк историки* // *Историка*. СПб., 2004.

² Цит. по: *MacLean. Johann Gustav Droysen and the Development of Historical Hermeneutics* // *History and Theory*. Vol. 21. 1982. P. 347–365, особенно: P. 354–356.

Дройзен жил в мире, который коренным образом отличался от сегодняшнего – в мире немецкого идеализма. Мы уже не можем разделять его взгляд на проблему продвижения от фрагментарного источникового материала к широкой исторической перспективе. Однако тот вопрос, который он озвучил с поразительной ясностью, по-прежнему стоит перед нами. Это – один из ключевых моментов его книги. Дройзен утверждал, что историки *должны* теоретизировать. В противном случае мы получаем не историю, а простое собрание фактов. Соответственно, вопрос не в том, *должны ли* историки теоретизировать, а, скорее, в том, *как* они должны теоретизировать. Наше мнение, возможно наивное в своей простоте и уж точно простое в своей наивности, таково: они должны теоретизировать честно и разумно. Мы убеждены, что, в конце концов, гораздо разумнее быть честным, чем заниматься обманом или (что хуже) самообманом. В данной главе мы сосредоточимся на том, как разумно теоретизировать; вопросы об этике в работе историка мы оставим для следующей работы.

Предмет спора

Первого сентября 1802 года журналист и не состоявшийся карьерист Джеймс Каллендер опубликовал в *Richmond Recorder* заявление о том, что президент США Томас Джефферсон был вовлечен в сексуальную связь со своей рабыней по имени Салли. Два последующих столетия вопрос о правдивости этих заявлений был предметом дискуссии. Каллендер так и не пояснил, какую именно девушку он называет «распутной девкой Салли», но это могла быть только Салли Хемингс (1773–1835), домашняя рабыня. Вполне возможно, что она была единокровной сестрой Марты Уэйлс Джефферсон (1748–1782), покойной супруги президента, чей отец, Джон Уэйлс, в свою очередь, имел продолжительную сексуальную связь со своей рабыней Элизабет Хе-

мингс (в принципе, большинство историков, которые занимались этим вопросом, уверены, что Салли Хемингс действительно была единокровной сестрой Марты Джефферсон).

Среди потомков Салли Хемингс до сих пор бытует мнение, что у нее была долгая интимная связь с Джефферсоном и что она родила от него детей. Однако до недавнего времени почти все историки отрицали факт подобной связи. Их аргументы *contra* сводятся к следующему.

Каллендер не был просто безучастным наблюдателем и, в принципе, был настроен против Джефферсона; свидетельства бывших рабов из поместья Джефферсона являются, в сущности, простыми сплетнями, к тому же не из первых уст; сексуальные отношения с рабыней, не одобряемые обществом, сложно приписать такому высокоморальному человеку, как Джефферсон; в конце концов, сам Джефферсон был слишком последовательным приверженцем расовой дискриминации, чтобы вступить в сексуальные отношения с девушкой африканского происхождения.

Споры о предполагаемой связи Джефферсона и Хемингс разгорелись с новой силой в ноябре 1998 года, когда получили огласку результаты ДНК-теста 19-и мужчин, которые являются прямыми потомками Салли Хемингс, и Филда Джефферсона, дяди президента (тесты были организованы патологом Юджином Фостером на базе лабораторий в Англии и Нидерландах). С высокой степенью вероятности тесты показали, что отцом последнего сына Салли Хемингс, Истона Хемингса, был кто-то из представителей рода Джефферсонов. Отца (или отцов) остальных детей Салли Хемингс установить не удалось, т. к. неперенным условием ДНК-теста является наличие непрерывной мужской линии¹. Почти за год до того, как были представлены

¹ Eugene A. Foster, M. A. Jobling, P. G. Taylor. Jefferson fathered slave's last child // Nature. November 5, 1998. P. 27–28. Фостер «с 99-ю %

результаты тестов, профессор права Аннет Гордон-Рид опубликовала книгу, в которой она проанализировала исторические свидетельства «за» и «против» связи Хемингс и Джефферсона, и пришла к выводу, что доказательств этой связи значительно больше, чем принято считать. Неудивительно, что публикация результатов ДНК-тестов повлекла за собой научную конференцию (организованную Питером Онафом в Университете Виржинии) для обсуждения уже достоверно установленной любовной связи между Хемингс и Джефферсоном¹.

вероятностью» утверждает, что отцом Истона Хемингса был Джефферсон или один из родственников Джефферсона по мужской линии. Надо отметить, что название статьи Фостера и др., которое было выбрано, скорее, редакторами «Nature», чем самими авторами, не совсем точно. Сам по себе тест ДНК показал лишь, что некий мужчина в роду Джефферсона был отцом кого-то из рода Истона Хемингса, а вовсе не то, что сам Джефферсон был его отцом. Тем не менее доступная сегодня информация позволяет говорить о том, что отцом Истона все же был, скорее всего, Джефферсон.

¹ Необходимо привести краткую библиографию. Скот Френч и Эдвард Айерс (Scot A. French and Edward L. Ayers) предлагают обзор дискуссий по поводу отношений Хемингс и Джефферсона в статье «The Strange Career of Thomas Jefferson: Race and Slavery in American Memory, 1943–1993» (Peter S. Onuf, ed. *Jeffersonian Legacies*. Charlottesville, VA, 1993. P. 418–456. Кроме того, анализ источников по этому вопросу содержится в: *Annette Gordon-Reed. Thomas Jefferson and Sally Hemings: An American Controversy*. Charlottesville, VA, 1997. Доклады с конференции марта 1999 года были опубликованы в: *Jan Ellen Lewis, Peter S. Onuf, eds. Sally Hemings and Thomas Jefferson: History, Memory, and Civic Culture*. Charlottesville, VA, 1999. Тексты некоторых источников по данному вопросу можно найти также в сборнике Онафа–Льюиса: заявления Каллендэра от 1 сентября и 20 октября 1802; воспоминания 1873 года Мэдисона Хемингса, одного из детей Салли. Заметки Джефферсона о характере «черных» (из его книги 1787 года «Notes on the State of Virginia»); его размышления в письме 1815 года о том, как много надо «белой» крови, для того чтобы из мулате получился белый человек. Эти проблемы обсуждались, в том числе, и в: «Forum: Thomas Jefferson and Sally Hemings Redux. William and Mary Quarterly. 3rd Series. Vol. 57. 2000.

Данная глава задумывалась именно как ответ Шепарда на доклад, который был представлен Джошуа Ротманом в рамках этой конференции. В своем докладе Ротман утверждал, что признание связи между Хемингс и Джефферсоном обязывает нас относиться с большим доверием к заявлениям Джеймса Каллендера. Особенно Ротман подчеркивал, что мы должны принимать на веру утверждение Каллендера (сделанное им в «Richmond Recorder» 1 сентября 1802 года) о том, что «в окрестностях Шарлоттесвилля нет ни одного человека, который не верил бы в эту историю, а многие о ней хорошо осведомлены»¹. Фактически, Ротман идет дальше Каллендера, декларируя, что «некоторые люди в Вирджинии» знали об этой любовной связи уже в 1790 году, когда Джефферсон со своим окружением возвратился из Франции, где он занимал должность посланника². Используя критерий «предположения для

P. 121–210. Участники дискуссии: Jan Lewis, Joseph J. Ellis, Lucia Stanton, Peter S. Onuf, Annette Gordon-Reed, Andrew Burstein, Fraser D. Neiman). См. также: www.monticello.org (искать: Thomas Jefferson and Sally Hemings).

Существует веб-сайт, редактируемый И. Р. Коутсом (Eyer Robert Coates, Sr.), который посвящен, в основном, обсуждению сексуальных отношений между Джефферсоном и Хемингс (<http://www.geocities.com/Athens/7842/jeffersonians/index.html>). Коутс также является редактором книги: *The Jefferson–Hemings Myth: An American Travesty // Charlottesville*. Thomas Jefferson Heritage Society. 2001. Обзор конференции 1999 года см.: *Nicholas Wade*. Taking New Measurements for Jefferson's Pedestal // *New York Times Sunday*, March 7, 1999. Section 1. P. 20.

¹ Цитируется по: *Lewis, Onuf, eds.* Sally Hemings and Thomas Jefferson. Appendix B. P. 259.

² *Joshua D. Rothman*. James Callender and Social Knowledge of Interracial Sex in Antebellum Virginia // *Lewis, Onuf, eds.* Sally Hemings and Thomas Jefferson. P. 98, 103, 104; см. также: *Notorious in the Neighborhood: Sex and Families across the Color Line in Virginia, 1787–1861*. Charlottesville, VA, 2003. Chap. 1. Thomas Jefferson, Sally Hemings, James Callender, and Sex across the Color Line under Slavery. P. 32–33, 35.

наилучшего объяснения» (который хорошо знаком философам и совершенно неизвестен историкам), в данной главе мы попытаемся обосновать мысль, что историки должны скептически относиться к утверждению, будто соседи действительно знали об отношениях Джефферсона и Хемингс, так как исторических документов недостаточно, чтобы показать, что интерпретация Ротманом свидетельств, очевидно, является наилучшей¹.

Мы стали не так скептически относиться к заявлениям Ротмана, прочитав его монографию «Notorious in the Neighborhood», вышедшую в 2003 году. Книга включает, в том числе, и главу о Джефферсоне и Хемингс. Обилие доказательств фактов межрасового секса в Вирджинии, которые приводит в своей работе Ротман, в некоторой степени компенсирует явный недостаток свидетельств, подтверждающих распространение слухов о связи между Хемингс и Джефферсоном. Но и в статье 1999 года, и в главе монографии 2003 года Ротман не просто констатирует, что в довоенной, т. е. до гражданской войны, Вирджинии общество уже имело определенные представления о межрасовом сексе; но он также утверждает, что «еще задолго до того, как история Джефферсона и Хемингс появилась в прессе, она уже получила общественную огласку в округе Альбемарль и среди джентри Вирджинии». Здесь у нас были и остаются серьезные сомнения по поводу эпистемологической позиции Ротмана.

¹ Процесс написания главы был следующим. Шепард и Мегилл скептически относились к доказательствам Ротмана. Ротман любезно согласился предоставить Шепарду письменную версию своего выступления на конференции. Затем Шепард сделал несколько набросков, проясняющих эпистемологическую позицию Ротмана, после чего с помощью Хоненбергерга и Мегилла они были обработаны для включения в эту книгу.

Предположение для наилучшего объяснения

Предположим, что Томас и Салли действительно имели сексуальные отношения. Знали ли соседи об этих отношениях? Мы полагаем, что ответ на этот вопрос должен быть истолкован как попытка осмыслить исторический документ, и мы должны склониться к тому ответу, который раскрывает смысл исторического документа наилучшим образом. Ниже мы отстаиваем точку зрения, согласно которой историки обязаны доносить до читателя все свои сомнения по поводу того, как лучше интерпретировать то или иное свидетельство. На наш взгляд, все историки обязаны искать *наилучший способ объяснения тотальности исторических фактов*, которые установлены, или могут быть установлены, и являются существенными для данного исследования; а также обязаны передавать читателю некоторое представление о границах такого свидетельства.

Некоторые гиперкритически настроенные исследователи настаивают на том, что любое знание должно быть *достоверным*. Следуя философам, они разделяют достоверное знание на две категории: с одной стороны, непосредственное знание, почерпнутое из личного опыта; с другой стороны, логическое знание, выведенное с помощью дедуктивных процедур. Но ни одна из этих форм тем не менее не может быть приложена к историческому знанию. Никто не может получить абсолютно точное (в указанных смыслах) знание о том, существовал ли Наполеон Бонапарт в действительности. Наполеона уже не существует, он больше не доступен нашему непосредственному опыту; в то же время, нет такой логической процедуры, которая достоверно могла бы установить существование Наполеона. Как следст-

вие, появляются люди, отказывающие историкам в способности действительно *знать* что-либо о прошлом.

Мы согласны с ними в том, что наши представления об историческом прошлом не могут быть уложены в традиционную философскую концепцию достоверности. Соответственно, мы утверждаем, что достоверность в этом смысле должна быть навсегда отвергнута в качестве критерия исторического знания. Вместо этого, поскольку речь идет именно об историческом знании, мы предпочитаем говорить о степенях достоверности. Степень достоверности, присущая определенной совокупности представлений о прошлом соответствует *степени, в которой принятие этих представлений может обеспечить объяснение тотальности исторических источников* (с некоторыми оговорками, о которых речь пойдет ниже). Хотя история не может достичь ни «прямой опытной», ни «дедуктивной» достоверности, правильность исторических объяснений может быть установлена на основе того, насколько хорошо они отвечают тотальности исторических свидетельств по сравнению с альтернативными объяснениями.

Там, где имеет место высокая степень достоверности (т. е. там, где данное объяснение намного лучше альтернативных объяснений в плане соответствия тотальности исторических фактов), историк имеет полное право утверждать, что такое-то событие *имело место*. «Цезарь пересек Рубикон» – это утверждение столь лучше утверждения, отрицающего данный факт («Цезарь не пересекал Рубикон»), что можно свободно назвать его *истинным*, хотя оно никогда не может быть «установлено» опытно или логически. В ситуациях, когда возможны два или более объяснений, серьезный историк должен четко показать, что вопрос является спорным. Примером такой ситуации, на наш взгляд, является и вопрос о том, что знали соседи о Салли Хемингс и Томасе Джефферсоне. Конечно, здесь всегда

будет много «белых пятен». Критерии для оценки качества объяснений тем не менее могут быть определены, хотя по поводу их практического применения иногда возникают споры. Хороший историк ищет наилучшее объяснение для доступных свидетельств; он не спешит делать выводы на основе своих личных убеждений и не претендует на знание того, о чем в действительности не имеет четкого представления.

Методики ранжирования исторических объяснений на лучшие и худшие использовались историками веками. Вместе с тем эти методики могут быть артикулированы совершенно разными способами. В настоящей главе мы хотели бы предположить (и продемонстрировать!), что исторические объяснения могут быть оценены на основе того, что некоторые философы и компьютерщики называют «абдукцией», «абдуктивным предположением», или «предположением для наилучшего объяснения» (в этой главе мы будем использовать эти термины как равнозначные). В соответствии с такой формой умозаключения, на основе того, что данная гипотеза лучше других соотносится с источниками, можно заключить, что эта гипотеза верна¹.

Такая форма умозаключения часто используется в естественных науках. В «Происхождении видов путем естественного отбора» (1859) Чарльз Дарвин аргументировал свою теорию эволюции с помощью предположения к наилучшему объяснению: т. е. он утверждал, что его теория объясняет гораздо больше биологически значимых фактов,

¹ См.: *Gilbert Harman*. Inference to the Best Explanation // *Philosophical Review*. Vol. 74. 1965. P. 88–95. Можно также назвать это «размышлением от следствия к наиболее вероятной причине».

Еще одно замечание, касающееся терминологии: значение слова *объяснение*, как оно используется в литературе по «выводам для правильного объяснения» не всегда абсолютно конгруэнтно значению этого слова, используемому для получения ответа на вопрос «Почему?» (когда хотят сказать «Что явилось причиной этого?». Конечно, об использовании слова *объяснение* для обозначения получения ответа на

чем креационизм, и делает это гораздо проще¹. Таким же образом французский философ-натуралист А. Лавуазье защищал свою кислородную теорию, утверждая, что с ее помощью «все явления объясняются с поразительной простотой»².

Американский философ Чарльз Пирс назвал такой способ доказательства «абдукцией», подразумевая при этом, что он должен быть добавлен к дедукции и индукции как базовая категория логики. В своих поздних работах Пирс так обрисовал эту форму рассуждения:

- 1) наблюдается удивительный факт F ;
 - 2) если бы H было истинным, F было бы чем-то самим собой разумеющимся; следовательно:
 - 3) есть основание полагать, что H является истинным³.
- Здесь Пирс понимает абдукцию как исследовательский метод, как логику открытия, которая не может служить для

вопрос «Почему?» много говорится в гл. II, § 2 настоящей книги. В нашей терминологии «выводы для правильного объяснения» лучше называть «выводами для лучшей оценки», т. к., хотя лучшие объяснения являются объяснениями в нашем понимании, некоторые из них лучше назвать описаниями или толкованиями. Однако разные философы, разумеется, не должны использовать одно и то же слово строго только в одном его значении, если это значение не вызывает сомнения в данном конкретном случае. (Чтобы познакомиться с нашей терминологией и различиями, подтверждающими это см. II, §2. Мы также вернемся к этому вопросу далее в настоящей главе.)

¹ См.: Заключение к «Происхождению видов путем естественного отбора» (Дарвин Ч. Происхождению видов путем естественного отбора. М., 2001. С. 267.

² Цитируется по: *Paul Thagard. The Best Explanation: Criteria for Theory Choice // Journal of Philosophy. Vol. 75. 1978. P. 76–92.*

³ Цитируется по: *K. T. Fann. Peirce's Theory of Abduction. The Hague, 1970. P. 8.* Сама цитата взята из неопубликованной работы Пирса (1903 год). Поскольку мы не ставим своей целью реконструкцию идей Пирса, а лишь используем их для освещения некоторых вопросов теоретизирования и аргументации в истории, мы допускаем здесь использование трактовки Пирса, предложенной Фанном.

оценки истинных теорий. Абдукция предлагает теорию, дедукция делает выводы из теории, а индукция опытным путем верифицирует (или не верифицирует) сделанные выводы. Короче говоря, в этом смысле абдукция имеет исключительно *предварительный* статус в структуре науки.

В запутанном мире историографии абдукция тем не менее выполняет более важную функцию, чем функцию логики открытий. В историографии абдукция не просто формулирует гипотезы для последующей проверки. Пирс недвусмысленно указал на эту роль абдукции: она заключается в установлении исторических фактов. В частности, он писал:

«Бесчисленные источники говорят о завоевателе по имени Наполеон Бонапарт. Мы не видели этого человека, тем не менее мы не можем объяснить то, что мы видели, а именно все эти документы и исторические памятники, без допущения того, что он (Наполеон) действительно существовал»¹.

Поясним эту цитату. Мы не можем дедуктивно заключить, что Наполеон существовал (или, например, что Первая мировая война началась в 1914 году). Не можем мы установить этот факт и индуктивно, поскольку он не наблюдается эмпирически. Его можно установить лишь абдуктивно, наблюдая факты современного нам мира (например, многочисленные исторические документы о Наполеоне) и затем размышляя о причинах (в данном случае, о существовании Наполеона), которые могли бы объяснить данные факты. Другими словами, «наилучшим объяснением» наличия многочисленных источников о Наполеоне и его деятельности является то, что он действительно существовал и действовал.

¹ Цитируется по: K. T. Fann. Peirce's Theory of Abduction, 21 // в: Charles Sanders Peirce. Collected Papers, ed. Charles Hartshorne and Paul Weiss: 6 vols. Cambridge, Mass., 1931–1935. Vol. 2. Раздел 2.625. Пирс вообще часто обращался к образу Наполеона в своих рассуждениях об абдукции (см.: Там же. Т. 5. Раздел 589).

Джон Р. Джозефсон, специалист по вычислительным системам, связывает абдукцию с «предположением к наилучшему объяснению». Схематично он изобразил его следующим образом:

D есть совокупность информации (фактов, наблюдений, данных);

H объясняет *D* (объяснила бы *D*, если бы была правильной);

нет других гипотез, объясняющих *D* лучше, чем *H*;
следовательно, *H* скорее всего является правильной¹.

Конечно, *H* может содержать заведомо ложные утверждения, и в таком случае *H* является плохой гипотезой. Однако не следует отвергать гипотезу, противоречащую устоявшимся взглядам, – даже, напротив, следует отвергнуть эти старые взгляды. Отказ от устоявшихся взглядов, в связи с большей убедительностью новой гипотезы, совершенно нормально для человеческой жизни и человеческой истории. Наиболее ярким примером такого рода может служить отказ Галилея от устоявшегося геоцентрического взгляда на Вселенную в пользу новой, гелиоцентрической гипотезы Коперника.

В тех случаях, когда имеют место несколько приемлемых гипотез, конкурирующих по некоторым параметрам, не стоит делать выбор в пользу одной, полностью отрицая остальные. Вполне возможно придерживаться двух или более несовместимых гипотез, отдавая при этом себе отчет в их несовместимости (такой подход весьма распространен в интеллектуальной среде, в том числе в историографии). Мы полагаем, что историк должен воздерживаться от суждений об ошибочности той или иной гипотезы, пока в рам-

¹ John R. Josephson, Michael C. Tanner. Conceptual Analysis of Abduction // в: John R. Josephson, Susan G. Josephson, eds. Abductive Inference: Computation, Philosophy, Technology/ New York, 1994. P. 5.

ках некоего исследования проблема не снимается окончательно – если в данном случае вообще *возможно* полное снятие проблемы.

Применяя логику «предположения для наилучшего объяснения» к историческому исследованию, нам следует быть очень осторожными в отношении самого термина *объяснение*.

В широком и весьма неопределенном понимании, объяснить некий набор данных означает «выяснить его смысл». Здесь *объяснению* более-менее синонимично *прояснение* и *разъяснение*. Поскольку мы проясняем и разъясняем что-либо *для самих себя*, то в этом смысле «объяснение» сродни интерпретации, как она определена в предыдущих главах (т. е. как вопрос «Какое значение имеет для нас сейчас *X*?»). Однако, чтобы «объяснить» историческое событие или данность, историк должен сделать нечто большее, чем предложить гипотезу, которая отвечала бы всем наличествующим источникам; он должен предложить гипотезу, объясняющую причину появления этих источников, что обычно означает необходимость объяснения того, что вызвало конкретную ситуацию в прошлом¹.

Значение понятия «объяснение» в понятии «предположение для наилучшего объяснения» должно пониматься как ответ на вопрос «Что вызвало *X*?», помня при этом, что объяснение и доказательство (обоснование) есть разные

¹ См. гл. II, §2, где «объяснение» четко отделено от других трех задач исторического исследования и историописания. Некоторые моменты этой главы, несмотря на их новизну, могут быть обнаружены в позитивистской философской традиции. См., например: *Carl Hempel. The Function of General Laws in History // Journal of Philosophy. Vol. 39. № 2; January 15, 1942. P. 35–48*; также в: *Patrick Gardiner, ed. Theories of History. Glencoe, Ill., 1965. P. 344–356*; русск. изд.: *Карл Г. Гемпель. Функции общих законов в истории // Карл Гемпель. Логика объяснения. М., 1998.*

вещи. Эта дистинкция позволяет историкам и читателям различать *предложение некоей версии объяснения и претензию на его истинность*. В данной главе мы концентрируем внимание на объяснении в смысле предположения о причинах того или иного события или реалии прошлого. Что же касается «предположения для наилучшего объяснения», то мы понимаем его как форму обоснования (хотя и слабого по сравнению с дедукцией или с эмпирической достоверностью)¹.

Весьма непросто установить адекватные критерии для определения того, почему то или иное объяснение является наилучшим. Теория «предположения для наилучшего объяснения» – это не магическая формула и не универсальный ключ, открывающий любые двери. Тем не менее мы уверены, что эта теория способна многое предложить историку. Она обеспечивает понимание процессов объяснения и аргументации; процессов, которые являются центральными в практике исторического исследования и к которым интуитивно прибегают многие квалифицированные историки. «Лучшее объяснение» – это лучшее понимание причин, вызвавших то-то и то-то в прошлом. Другими словами, «лучшее объяснение» предлагает лучший ответ на вопрос «Что стало причиной появления именно данной совокупности источников?».

¹ См. книгу: Aviezer Tucker. *Our Knowledge of the Past: A Philosophy of Historiography*. New York, 2004. Книга Такера была опубликована после того, как я закончил работу над этой главой. В ней Такер исследует то, как историки «объясняют свидетельство», и апеллирует к понятию «предположения для наилучшего объяснения». Может показаться избыточным рассматривать историка «объясняющим» свидетельство, а не просто ищущим его. Но с эпистемологической точки зрения эти две операции эквивалентны. Когда историки предлагают взвешенную оценку прошлого, они также придают значение и даже «объясняют» свидетельство. Так Дарвин своей теорией естественного отбора «объяснил» (придал значение) свидетельства в своей области знания. То же самое сделал Лавуазье в химии.

Три критерия Таггарда

Представитель философии науки Пол Таггард предложил три критерия для определения наилучшего объяснения (или *типа* объяснения) для каждого конкретного случая: совпадение (чем больше фактов получают объяснение, тем лучше); простота (чем меньше «вспомогательных» гипотез требует то или иное объяснение, тем лучше); аналогичность (чем больше данное объяснение схоже с другими объяснениями, истинность которых установлена, тем лучше)¹. Стоит отметить, что последний критерий – аналогичность – в некоторой степени уступает двум предыдущим, и поэтому в историческом исследовании и историописании его следует применять с большой осторожностью. Например, на основе того факта, что многие современники Джефферсона ели на завтрак маисовый хлеб, можно предположить, что Джефферсон делал то же самое; однако такое допущение может предложить лишь крайне невысокую степень достоверности. Любое свидетельство в пользу противоположного разбило бы эту гипотезу вдребезги, и поэтому хороший историк всегда будет скептически относиться к любым утверждениям, чьим единственным основанием является аналогичность.

Критерий совпадения полезен тогда, когда есть необходимость сравнить теорию, объясняющую *A*, *B* и *C* с другой теорией, объясняющей *A*, *B*, *C* и *D* (вторая теория, при всех прочих равных, была бы лучше). Тем не менее этот критерий оказывается бессильным, когда две конкурирующие теории пытаются осмыслить различные диапазоны инфор-

¹ Таггардовское определение критериев простоты и совпадения гораздо более скрупулезно, чем наше. Однако в данной книге философские аргументы будут задействованы лишь в той мере, в какой они могут осветить проблемы историописания и исторического исследования.

мации. Например, если мы допустим, что Джефферсон был отцом Истона Хемингса, это объяснит нам, почему потомки Истона имеют хромосому Y Джефферсона, тогда как если мы допустим, что отцом Истона был племянник Джефферсона, подтвердится версия Эдмунда Бэкона (дворецкого Джефферсона) и Т. Дж. Рандольфа (внука Джефферсона), отрицавших факт сексуальных отношений между Джефферсоном и Хемингс. Сравнение конкурирующих теорий – вопрос того, какое из свидетельств является более значимым, и ответ на этот вопрос не может опираться только на количественное сравнение.

Критерий простоты наиболее удобен для теорий, которые для объяснения чего-либо нуждаются в минимальном количестве вспомогательных гипотез. Вспомогательные гипотезы нужны там, где в целях построения теории утверждаются некоторые факты об определенных событиях или объектах прошлого, без убедительных доказательств их существования. Простейшие теории обычно не требуют вспомогательных гипотез. Например, в своих мемуарах 1873 года Мэдисон Хемингс утверждал, что у него была старшая сестра по имени Харриет. Наилучшим объяснением такого утверждения является следующее: Мэдисон Хемингс *верил*, что у него есть старшая сестра по имени Харриет¹. То, что мы знаем о жизненных обстоятельствах Мэдисона Хемингса, позволяет нам приписать ему эту веру: согласно хозяйственной книге имени Джефферсона и другим источникам, в 1801 году Салли Хемингс родила

¹ Здесь мы исходим из того, что мемуары, опубликованные в 1873 году Ф. Ветмором точно отражают высказывания Мэдисона Хемингса. По этому вопросу см.: *Gordon-Reed. An American Controversy*. Р. 7–58. Кстати, Гордон-Рид в своих размышлениях часто привлекает разграничение между «нисходящим» и «восходящим» объяснением (правда, не называя их своими именами).

дочь, названную впоследствии Харриет¹. В данном простом примере действие Мэдисона (его заявление) и жизненные обстоятельства Мэдисона четко указывают нам на его позицию. Таким образом, привлечение вспомогательных гипотез для *объяснения* этой части свидетельства здесь не требуется.

Мемуары Мэдисона Хемингса также говорят о Джефферсоне как о человеке, «мало понимающем в сельском хозяйстве», но вместе с тем из других источников мы знаем, что Джефферсон проявлял к сельскому хозяйству огромный интерес. Поэтому историк, намеревающийся установить достоверность мемуаров Мэдисона, должен предоставить вспомогательные гипотезы (т. е. такие гипотезы, для верификации которых мы не имеем объективных оснований) – с целью сопоставления того, что Мэдисон говорит о Джефферсоне, с достоверной информацией о Джефферсоне, которой мы обладаем. Гордон-Рид предполагает, что Мэдисон Хемингс, возможно, имеет в виду тот период, когда он (Хемингс) был ребенком и жил в Монтичелло.

В 1819 году Мэдисону было четырнадцать лет, его только что отдали в ученичество его дяде, и, в общем, «он уже был достаточно взрослым, чтобы делать подобные выводы». К этому времени сам Джефферсон «был очень занят, но вовсе не своим хозяйством, а строительством своего университета» (Гордон-Рид, с. 22). Гордон-Рид не располагает письменными свидетельствами, подтверждающими, что Хемингс имел в виду лишь свои юношеские годы; она делает это предположение исключительно с целью преодолеть противоречия между утверждениями о Джеф-

¹ Чтобы не создавать читателю дополнительных сложностей, мы не рассматриваем некоторые возможные гипотезы, – например, такую, по которой наилучшим объяснением появления записи в хозяйственной книге было то, что Харриет Хемингс действительно существовала, и пр.

ферсоне, содержащимися в мемуарах Мэдисона Хемингса, и тем, что нам достоверно известно о Джефферсоне. Здесь Гордон-Рид прибегает к вспомогательной гипотезе. В основу доводов она кладет историческую реалию (умонастроение Мэдисона), которая не может быть верифицирована на основе доступных исторических документов. Если бы существовало некое другое объяснение заявлений Мэдисона, покрывающее тот же массив информации без привлечения вспомогательных гипотез, то, при всех прочих равных, это второе объяснение было бы предпочтительным. Поскольку такого объяснения в данном случае не существует, мы можем принять теорию Гордон-Рид как наилучшее объяснение, хотя она весьма далека от абсолютной достоверности.

Третий критерий Таггарда для определения качества того или иного объяснения – аналогичность – малоубедителен, но иногда все же полезен. Например, заявляя о наличии сексуальных отношений между Томасом Джефферсоном и Салли Хемингс, мы невольно пытаемся провести параллель между Джефферсоном и сотнями его «белых» современников, которые имели сексуальные отношения со своими рабынями. Однако, хотя такая аналогия и может помочь нам *понять* отношения между Джефферсоном и Хемингс (т. е. увидеть их в более широком контексте довоенной жизни Вирджинии, что, кроме всего прочего, сделает их существование более правдоподобным), она бессильна *объяснить* эти отношения и не может определить их причину. Но, прежде всего, она не способна выйти за рамки простого предположения и уверенно констатировать, что эти отношения действительно существовали. К тому же нельзя забывать, что здесь мы имеем дело с поведением своеобразного исторического персонажа (или, самое большее, двух персонажей). Поэтому, чтобы использовать принцип аналогии для объяснения действий Джефферсона,

нам необходимо признать, что Джефферсон в своем поведении с Салли Хемингс (если мы в рабочих целях предположим, что между ними действительно была сексуальная связь) уподоблялся большинству «белых» мужчин Вирджинии, имевших сексуальные отношения со своими рабынями. Частичное совпадение категорий «белые мужчины, владеющие рабами» и «белые мужчины, занимающиеся сексом со своими рабынями» само по себе не устанавливает причинной связи, – по крайней мере, не больше, чем частичное совпадение категорий «белые мужчины, чьи фамилии начинаются на J» и «белые мужчины, говорящие по-французски». Таким образом, аналогичность – достаточно ненадежный критерий для установления наилучшего объяснения. Вместе с тем он является неотъемлемым и иногда даже полезным элементом исторического мышления.

Четвертый критерий

К объективным критериям совпадения и простоты и более сомнительному критерию аналогичности мы добавляем четвертый. Поскольку люди гораздо более склонны к установлению причин, чем к прогнозированию – особенно, когда речь идет о человеческой мотивации, – мы можем предположить, что история основана, прежде всего, на поиске причин свершившихся событий, а не на логическом установлении последствий определенной серии событий *in abstracto*. Представьте себе человека, который пытается установить, что произойдет в 1938 году на основе своих знаний о событиях 1937 года и предшествующих лет. Такой исследователь вряд ли достигнет каких-либо существенных результатов, учитывая роль случайности в человеческой истории. С другой стороны, историк, отвечая на вопрос «Что явилось причинами такого-то события, происшедшего в 1938 году?», может рассчитывать на привлечение исторических документов. Историк занимается ис-

торией, в то время как его воображаемый соперник занимается футуристическими спекуляциями.

Как следует из нашего понимания вспомогательных гипотез, нет ничего плохого в постулировании существования тех исторических объектов, насчет которых мы не можем быть абсолютно уверены, — объектов, не подтвержденных свидетельствами. На наш взгляд, историк всегда должен обозначать те места, по поводу которых он только что-то предполагает. Там, где историк не имеет стопроцентных доказательств точности своих предположений, мы считаем, что, согласно четвертому критерию, гораздо более предпочтительными являются предположения в отношении *причин*, чем в отношении *следствий*. Историческое объяснение, которое начинается с известного исторического факта (пусть это будет факт существования мемуаров Мэдисона Хемингса) и затем уже ищет его причины (правда ли то, о чем говорил Мэдисон? если нет, откуда он так много знал о домашних делах Джефферсона?), должно быть предпочтено объяснению, которое начинается с известного исторического факта и затем пытается установить его возможные последствия (например, как в утверждении «Джефферсон не мог иметь сексуальной связи с Салли Хемингс, т. к. он был явным сторонником расистских взглядов»). Как мы уже неоднократно показывали, дедуктивная логика историков вовсе не так надежна, как они полагают. Поэтому нам кажется, что историкам следует скорее не *дедुцировать* (утверждать о следствиях на основе причин), а *абдуцировать* (утверждать о причинах на основе следствий). Назовем этот тип предположений «гипотезой от следствия к причине», а противоположный ему — «гипотезой от причины к следствию». Первая методика направлена на предложение объяснений, тогда как вторая напоминает предсказания будущего. Первая методика предпочтительней, так как она заставляет историков ориентироваться на объективные исторические свидетельства, и, когда эта ме-

тодика сознательно используется историком, он отчетливо видит те места своей аргументации, которые являются наименее убедительными.

Итак, наш четвертый критерий сводится к следующему: при оценке исторических построений мы должны помнить, что те объяснения, в которых аргументация идет от следствия к причине, предпочтительнее тех объяснений, в которых аргументация идет от причины к следствию.

Казуальность в истории – очень коварная вещь. Обратите внимание на разницу между тремя типами исторических реальностей, которые могут быть заняты в объясняющих аспектах исторического документа: 1) действия исторических персонажей; 2) мысли исторических персонажей; 3) исторические обстоятельства. Все они крайне важны для историка в деле изложения прошлого. Например, перед нами письмо, предположительно написанное Джефферсоном. Предполагая, что Джефферсон действительно был автором данного письма, мы, фактически, подразумеваем что-то (либо все) из следующего.

Причина, связанная с действием: появление письма было вызвано определенным действием Джефферсона (актом написания письма). Здесь мы должны провести почерковедческую экспертизу, проследить происхождение письма и т. д., чтобы установить, что это письмо действительно было написано Джефферсоном и никем другим, т. е. не является фальсификацией.

Причина, связанная с намерениями: причиной появления письма стали убеждения и желания Джефферсона¹.

¹ Коллингвуд подробно обсуждает первых два типа причин в «Эссе по метафизике» (*R. G. Collingwood. An Essay on Metaphysics. Oxford, 1940. P. 285–295.*) Однако типология Коллингвуда неприменима к проблемам исторического объяснения. В своих размышлениях он прежде всего имеет в виду историю, которая фокусируется на действии, особенно на действиях индивидуумов (как в традиционной политической истории, где акцент делается на действиях конкретных государственных дея-

Чтобы установить, что письмо действительно было продуктом мысли Джефферсона, а никого другого, мы должны доказать, что письмо содержит информацию, которая была известна только Джефферсону, либо аргументы, которые мог выдвинуть только Джефферсон.

Причина, связанная с обстоятельствами: мысли Джефферсона, спровоцировавшие появление письма, были вызваны, в свою очередь, определенными историческими обстоятельствами. Здесь мы могли бы связать скудный урожай в Монтичелло с письмом, содержащим просьбу об отсрочке выплат по кредиту¹.

Самый простой и быстрый способ определить взаимодействие этих трех типов исторических реальностей состоит в следующем: *действия* объясняют, *что* произошло; *мысли* объясняют, *почему* это произошло (в данном случае «почему» берется как вопрос в отношении целей и намерений); обращение к *историческим обстоятельствам* помогает объяснить, почему мы полагаем истинными те или иные объяснения действий или мыслей. Если историк рассматривает историческую личность как *агента* или *действующее лицо* на исторической сцене (т. е. как активного «пер-

деятелей и политиков) или на их намерениях. Формулируя свою теорию историографии (см. гл. «Эпилегомены» в «Идее истории»), Коллингвуд практически не уделяет внимания истории, описывающей и интерпретирующей структуры, значения, ментальности и т. п., – т. е. такой истории, которая имеет место в работе Буркхардта «Культура Италии в эпоху Возрождения» (1860) или Броделя «Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II» (1949). См.: R. G. Collingwood. *The Idea of History* (1946), rev. edition with Lectures 1926–1928, ed. W. J. van der Dussen. Oxford, 1993. P. 231–315; русск. изд.: Коллингвуд Р. Дж. *Идея истории* // Коллингвуд Р. Дж. *Идея истории*. Автобиография. М., 1980. «Эпилегомены».

¹ В повседневной речи мы часто используем прямую причинную связь между обстоятельствами и действием: «Он ограбил магазин, потому что он был беден». Надеемся, в данной главе нам удалось показать, что это может быть довольно опасным эллиптическим типом доказательства.

сонажа»), а не как результат одной или нескольких детерминант, — он обязан описывать, какие цели преследовала историческая личность, и делать это придется с помощью обращения к убеждениям и желаниям этого агента, которые имели место в момент совершения действия. Хотя данная глава фокусируется на эпистемологии, связанной с объяснением того, *что* произошло (имел ли Джефферсон сексуальные отношения с Хемингс? знали ли об этом соседи?), установление истинности этих описаний отчасти зависит и от объяснений того, почему данные исторические персонажи поступали подобным образом. Мы полагаем, что данное наблюдение может перерасти в эмпирическое правило, сводящееся к тому, что описание прошлого в целом может считаться более обоснованным, если оно включает в себя объяснение мыслей исторических акторов.

Например, Эдмунд Бэкон утверждал, что по распоряжению Джефферсона он передал Харриет Хемингс (младшей дочери Салли Хемингс) 50 долларов и помог ей бежать из Монтичелло (Гордон-Рид, с. 27). Если бы мы допустили, что Бэкон заслуживает доверия, мы могли бы объяснить приказы Джефферсона через предположение, что он (Джефферсон) чувствовал привязанность к Харриет или считал себя обязанным ее матери, а также знал о желании Харриет покинуть Монтичелло. Это было бы объяснение, которое идет от следствия (приказы Джефферсона) к наиболее вероятной причине (убеждения и желания Джефферсона). Объяснение «от причины к следствию», с другой стороны, положило бы в основу доводов умонастроение Джефферсона, о котором можно судить исходя и из действий Джефферсона (например, по его жестким расистским утверждениям в «Заметках о штате Вирджиния», или по его презрительному отношению к освобожденным рабам, особенно женщинам), и исходя из обстоятельств, в которых он существовал (например, его растущие финансовые

затруднения). Далее объяснение привело бы к выводу о том, что показания Бэкона неверны, так как Джефферсон никогда не смог бы поступить таким образом. Это является умозаключением от *предполагаемой причины* (постулирующей убеждения и желания плюс обстоятельства) к *ненаблюдаемому следствию* (которое сводится к тому, что Джефферсон не отдавал распоряжений, и Бэкон, по некоей неизвестной причине, солгал). Объяснения от причины к следствию менее убедительны, чем объяснения от следствия к причине, по тем же соображениям, по каким и наши прогнозы в отношении поступков других людей менее точны, чем наше понимание их намерений после свершившегося. Бывает крайне сложно понять, что конкретный человек думает, чувствует и хочет в данный момент. Во многих случаях мы не можем предугадать даже поведение наших лучших друзей, тем более поступки давно ушедших исторических персонажей.

Наш четвертый критерий следующим образом работает в сфере того, что мы называли причинами, связанными с намерениями: объяснения, утверждающие об определенных убеждениях и желаниях, которые могут быть с большой вероятностью приписаны конкретным историческим персонажам на основе исторических источников, как правило, лучше тех объяснений, которые пытаются предугадать незафиксированные действия исторических персонажей на основе их убеждений и желаний. Мы будем обращаться к этим двум противоположным типам объяснения, которые станут более понятными, когда мы рассмотрим их в контексте дела «Джефферсон–Хемингс» – как к восходящему и нисходящему. Мы утверждаем, что, при всех прочих равных условиях, восходящие объяснения (которые идут от известного следствия к предполагаемой причине) в большинстве случаев превосходят нисходящие объяснения (которые идут от предположительно известной причины к

предполагаемому следствию). Поскольку мы гораздо лучше понимаем действия людей в прошлом, чем предсказываем их поведение в будущем, хорошее историческое объяснение будет стремиться к опоре на информацию, – то есть будет ориентироваться на достоверно известные убеждения и желания исторических личностей как основу для объяснения зафиксированных в источниках действий, а не постулировать незафиксированные действия, которые, как допускается, были вызваны предполагаемыми убеждениями и желаниями исторического актора. Другими словами, объяснению поведения исторических личностей лучше быть восходящим (начинающим с того, что мы надежно знаем о предмете и далее устанавливающим возможные причины), чем нисходящим (идушим от общего утверждения к предполагаемому последующему результату)¹.

**Свидетельства «за» и «против» любовной связи
[Мы, три автора не знаем, была ли эта связь, но
думаем, что была]**

В книге «Томас Джефферсон и Салли Хэмингс: американская коллизия» Аннет Гордон-Рид выложила исчерпывающие свидетельства, касающиеся Мэдисона Хемингса, Джеймса Каллендера, Т. Дж. Рандольфа, который заявлял, что племянник Джефферсона, Питер Карп (1770–1815), был отцом детей Салли Хемингс (Гордон-Рид, с. 254–561), и, наконец, самих Томаса Джефферсона и Салли Хемингс. Хотя Гордон-Рид в своей книге не говорит ничего о «предположении к наилучшему объяснению», ее анализ может быть рассмотрен как расширенное доказательство именно этого типа. Опираясь на доступные источники, она кладет

¹ После того как я рассмотрел дистинкцию вверх/вниз и вниз/вверх, я обнаружил что то же самое исследовал Бихан МакКуллах: *C. Behan McCullagh. The Logic of History: Putting Postmodernism in Perspective.* London, 2004. P. 119.

в основу доводов убеждения и желания каждого из перечисленных персонажей и затем делает вывод о том, что взгляд на происшедшее, подразумевающий наличие отношений между Джефферсоном и Хемингс, очевидно предпочтительней взгляда, допускающего отношения между Карром и Хемингс (между Хемингс и Питером Карром, или его братом Самюэлем). Еще раз отметим, что Гордон-Рид пришла к этому выводу до обнародования результатов ДНК-экспертизы, которые с очень высокой степенью вероятности показали, что ни один из братьев Карр не мог быть отцом Истона Хемингса, поскольку они не входили в мужскую линию родословной Джефферсона.

Гордон-Рид показала, что объяснение, опирающееся на связь Джефферсон–Хемингс более согласовано (т. е. объясняет большее число фактов), чем объяснение через связь Карр–Хемингс. Объяснение с опорой на связь Джефферсон–Хемингс делает понятными такие вещи, как благосклонное отношение Джефферсона к детям Хемингс (а также их освобождение), внешнее сходство детей Салли и Джефферсона, заявление Мэдисона Хемингса о том, что Томас Джефферсон – его отец, и тот факт, что зачатие Салли Хемингс совпало по времени с пребыванием Джефферсона в Монтичелло¹.

¹ По данному вопросу см. прежде всего: «Items Supporting the Assertion that Thomas Jefferson Fathered Sally Hemings's Children». (*Gordon Reed. An American Controversy*. P. 211–223). Аналогичная тема разрабатывалась в: *Fraser D. Neiman. Coincidence or Causal Connection? The Relationship between Thomas Jefferson's Visits to Monticello and Sally Hemings's Conceptions. William and Mary Quarterly 3rd Series. Vol. 57. 2000. P. 198–210*. Основываясь на статистических данных, Нейман с 99%-й вероятностью заключает, что Джефферсон был отцом детей Салли Хемингс. Однако он не проясняет многих моментов, на которых строится его умозаключение; – например, то допущение, что все дети Салли имели одного отца. Поэтому серьезно воспринимать его выводы мы не можем. Тем не менее удивительно и, возможно, показательно, что все шестеро зарегистрированных детей Салли Хемингс действительно были зачаты в то время, когда Джефферсон находился в Монтичелло.

Кроме того, Гордон-Рид убедительно доказывает, что объяснение через связь Джефферсон–Хемингс, является более простым (т. е. требующим меньшего привлечения вспомогательных гипотез) по сравнению с объяснением через связь Карр–Хемингс. Объяснение через связь Карр–Хемингс должно подразумевать, что Мэдисон Хемингс и Израэль Джефферсон (слуга Томаса Джефферсона, родственных связей с ним не имел) лгали, рассказывая С. Ф. Уэтланду (издателю-аболиционисту, интервьюировавшему их в 1873 году) об имевших место отношениях между Хемингс и Джефферсоном; либо они просто позволили приписать им эти слова. Объяснение «Джефферсон–Хемингс», с другой стороны, должно подразумевать, что Эдмунд Бэкон и Т. Дж. Рандольф ошибались, отрицая любовные отношения между Джефферсоном и Хемингс. Гордон-Рид показала, что эта вторая гипотеза гораздо предпочтительнее первой, поскольку ей удалось поставить под вопрос достоверность свидетельства Бэкона (который был в Монтичелло спустя пять лет после отрицаемых им событий) и усомниться в надежности Рандольфа (который два раза менял показания по поводу того, как он узнал о причастности к этой истории братьев Карр). К тому же она отметила, что оба этих человека были явно заинтересованы в том, чтобы сберечь репутацию Джефферсона, тогда как ни Израэль Джефферсон, ни Мэдисон Хемингс не извлекли бы для себя особой выгоды, предав огласке вымышленную историю.

Наконец, в своем фундаментальном исследовании Гордон-Рид показала слабость нисходящего объяснения, сводящегося к тому, что характер Джефферсона не позволил бы ему вступить в связь с Хемингс (с. 107–157, 228–234). Как и Гордон-Рид, мы склоняемся к тому, чтобы свести проблемы, связанные с «доказательством через характер», к двум моментам. Во-первых, те, кто прибегают к доказа-

тельству такого рода, апеллируют к абсолютно не поддающимся наблюдению вещам, а именно к некоему «внутреннему я» Джефферсона, которому они приписывают определенные характеристики. Подобные характеристики могут исходить из оснований, в высшей степени субъективных (следовательно, они подвержены сознательному или несознательному влиянию личных неаргументированных политических предпочтений историка). Во-вторых, сторонники таких доказательств предполагают, что упомянутый склад характера не мог бы позволить Джефферсону совершить те или иные действия; в нашем случае – вступить в сексуальную связь с рабыней. Предположение, что действия Джефферсона должны были быть последовательными, игнорирует или, по крайней мере, не придает большого значения весьма ощутимой доле противоречивости в поведении людей.

В работе «Американская коллизия» Гордон-Рид не претендует на то, чтобы установить факт интимных отношений между Томасом Джефферсоном и Салли Хемингс. Скорее, ее идея состояла в том, что «свидетельства, поддерживающие утверждение [о том, что Джефферсон и Хемингс действительно имели сексуальную связь] явно недооцениваются». Она также пришла к выводу, что свидетельства в пользу доминирующей альтернативной теории (апеллирующей к участию в истории братьев Карр) «были переоценены» (Гордон-Рид, с. 210). (Еще раз напомним, что ее книга была закончена задолго до ДНК-анализа, исключившего возможность того, что один из братьев Карр мог быть отцом Истона Хемингса.) В терминологии «предположения для наилучшего объяснения» Гордон-Рид обнаружила, что объяснение «Джефферсон–Хемингс» не было достаточно хорошим, чтобы принять его безоговорочно в качестве истинного. Однако она преуспела в доказательстве того, что объяснение «Карр–Хемингс» очевидно *не* является лучшим.

**Предположим, что о любовной связи
было известно.**

**Мы, три автора, полагаем, что, возможно,
слухи или знание о любовных отношениях между
Джефферсоном и Хэмингс и не циркулировали
в округе Албермарль.**

Теперь применим критерий предположения для наилучшего объяснения к утверждению Джошуа Ротмана о том, что точность утверждений Дж. Каллендера по поводу событий в имении Джефферсона является «важным свидетельством того распространения, которое получило знание о случаях межрасовых сексуальных отношений в общинах Виржинии» (Ротман, 1999, с. 103; Ротман, 2003, с. 16). Иными словами, Ротман утверждает, что заявления Каллендера говорят в пользу широкого распространения информации об отношениях между Джефферсоном и Хемингс. Утверждение Ротмана, придает смысл двум типам исторических данных:

1) бесспорные свидетельства в пользу слухов о связи между Джефферсоном и Хемингс, которые имели место до 1802 года, и рассказы об этой связи;

2) смесь фактов и вымысла, содержащаяся в описаниях Каллендера. Ротман объясняет эти данные, обращаясь к убеждениям и желаниям Джеймса Каллендера и неких безымянных жителей округа Альбемарль. Теория Ротмана строится на четырех гипотезах.

Г № 1. До сентября 1802 года многие жители округа Альбемарль верили в то, что Джефферсон имел сексуальные отношения со своей рабыней Салли Хемингс и что она родила от него детей (Ротман, 1999, с. 95).

Г № 2. Эти жители также верили в такие подробности данных отношений, которые сейчас считаются вымышленными (например, в существование молодого чернокожего

«Президента Тома», – видимо, имеется в виду старший сын Джефферсона и Хемингс, родившийся, вероятно, около 1790 года)¹ (Ротман, 1999, с. 102).

Г № 3. Каллендер полагал, что утверждения № 1 и № 2 являются истинными.

Г № 4. Каллендер хотел рассказать правду и не имел намерений лгать (Ротман, 1999, с. 89, также с. 100–101; Ротман, 2003, с. 16)².

Если считать видение данной ситуации Ротманом адекватным, то мы должны понимать обозначенные выше убеждения и желания как вызванные теми историческими обстоятельствами, о которых нам достоверно известно. По Ротману, эти сведения (или предполагаемые сведения) сводятся к следующему: доказанное существование связи между Джефферсоном и Хемингс (Ротман, 1999, с. 89), публичные действия (точнее, утверждения) Джефферсона в отношении межрасовых связей; обстановка с межрасовыми связями в Монтчелло; распространенное среди «белых» жителей Альбемарля отношение к межрасовому сексу.

В данном разделе главы мы попытаемся представить собственную интерпретацию событий. Мы полагаем, что факты говорят в пользу той интерпретации слухов об отношениях Джефферсона и Хемингс до 1802 года, которая отлична от интерпретации Ротмана. Приведем центральные положения нашей альтернативной интерпретации (АИ).

¹ Документального подтверждения существования этого ребенка в записях Джефферсона нет, хотя имена и даты рождения пяти детей Салли Хемингс там присутствуют. Кроме того, Мэдисон Хемингс, сын Салли, в своих мемуарах 1873 года ничего не говорит о выжившем брате по имени Том, в то время как о ребенке, погибшем сразу после рождения в 1790 году (который, естественно, никак не мог быть «Президентом Томом») он упоминает.

² Заметьте, что гипотез могло быть гораздо больше; например «Жители Альбемарля стремились следовать установленным нормам». Мы перечислили лишь наиболее спорные гипотезы Ротмана.

АИ № 1. До сентября 1802 года практически ни у одного из жителей Альбемарля не было причин верить в то, что Джефферсон является отцом детей Хемингс или же просто имел с ней некие особенные отношения. На самом деле, очень немногие знали, кто такая Хемингс.

АИ № 2. Жители Альбемарля знали, что Джефферсон косвенно был связан с расовым кровосмешением, и поэтому они могли охотно поверить (подозревать?), что Джефферсон вовлечен в отношения со своей рабыней¹.

АИ № 3. Каллендер полагал, что у него есть основания считать Джефферсона отцом детей Хемингс.

АИ № 4. Опираясь на АИ № 2, Каллендер попытался убедить своих читателей, что Джефферсон был отцом детей Хемингс.

АИ № 5. Каллендер полагал: чтобы убедить читателей в своей правоте, ему необходимо сделать несколько утверждений, которые являлись заведомо ложными. Прежде всего, ему необходимо было преобразовать АИ № 2 в более убедительную Г № 1 и сфабриковать Г № 2.

Наша альтернативная интерпретация не объясняет, каким образом или почему Каллендер полагал, что у него есть основания верить, будто связь между Джефферсоном и Хемингс действительно имела место. Возможно, Каллендер имел некую конфиденциальную информацию, или просто *догадался*, основываясь на той косвенной информации, которую ему удалось собрать. Так или иначе, Каллендер мог иметь основания для своих подозрений, даже если такие подозрения были лишь у нескольких человек из округа Альбемарль.

Прямые свидетельства распространения слухов

Ротман приводит пять свидетельств, которые прямо поддерживают Г № 1, а именно то, что среди соседей

¹ Об этой косвенной связи см. ниже.

Джефферсона еще до публикации заявлений Каллендера в «Richmond Recorder» было широко распространено мнение о том, что Джефферсон имел сексуальную связь с «этой распутной девкой Салли».

Первое. Сам Каллендер в своих заявлениях утверждал, что «в окрестностях Шарлоттесвилля нет ни одного человека, который не верил бы в эту историю, а многие о ней хорошо осведомлены» (Ротман, 1999, с. 87). 20 октября 1802 года в «Richmond Recorder» Кэллендер ссылается на некоего «джентльмена», который пришел в районный суд Ричмонда и предложил желающим поспорить с ним на новый костюм, что история с Джефферсоном и Хемингс является чистой правдой¹. В ноябре он добавил информацию (ложную) о детях Хемингс, смягчив ее следующей фразой: «Так говорят, но на Библии мы бы не поклялись» (Ротман, 2003, с. 35, 254, ссылка 62). Наконец, в декабре он заявил, что может доказать свою правоту в суде «с дюжиной свидетелей» (Ротман, 1999, с. 99, 111, ссылка 39; Ротман, 2003, с. 4, 254, ссылка 59). Однако в этом контексте все свидетельства, появившиеся после 1 сентября 1802 года являются крайне сомнительными, так как распространение слухов об отношениях между Джефферсоном и Хемингс после первой публикации разоблачений Каллендера было неизбежным.

Второе доказательство, приведенное Ротманом в пользу того, что слухи о Джефферсоне и Хемингс начали циркулировать еще до сентября 1802 года, – это появление в июле 1802-го в газете «Port Folio», издаваемой федералистами в Филадельфии, одного примечательного памфлета. Некий воображаемый «черный» поэт предлагает Джефферсону поменяться женами – так, чтобы Джефферсон получил «черную жену», а автор стихов – «белую». Ничто в

¹ Полный текст этих статей цитируется в: *Lewis, Onuf, eds. Sally Hemings and Thomas Jefferson. Appendix B. P. 259–261.*

данном памфлете не указывает на то, что Джефферсон *уже спал* с «черной женой»¹.

Третье доказательство связано с Уильямом Риндом, редактором «*Virginia Federalist*», который, по всей видимости, указывает на «развращенность» Джефферсона в июне 1800 года (лично мы не знакомы с этим текстом, и сам Ротман цитирует его по статье Каллендера от 1 сентября 1802 года (Ротман, 2003, с. 30, 252, сноска 42); поэтому мы не стали исследовать контекст, в котором это заявление прозвучало, – впрочем, как не стал этого делать и сам Ротман).

Четвертое. После того как были опубликованы первые «разоблачения» Каллендера, в «*Gazette of the United States*» якобы появилось заявление о том, что хотя редакция и не располагает достаточным количеством фактов для опубликования своей версии истории Джефферсона и Хемингс, но «наслышана об этом вопросе, который свободно обсуждается общественностью Вирджинии» (Ротман, 1999, с. 95, 110, сноска 24; Ротман 2003, с. 30, 253, сноска 45)².

¹ «*Port Folio*», 10 июля 1802 года. Р. 216. Ротман цитирует эти стихи в Ротман 1999, с. 94–95, 110 сноска 23, и Ротман 2003, 30, 252 сноска. Вот ключевой пассаж (оригинал приводится на очень ломаном английском):

Представьте, если черный уведет
Белых женщин... вот будет весело!
Тогда Кваши (имя черного парня) имел бы белую жену,
А Джефф остался бы с черной.

² См. об этом также: *Michael Durey. With the Hammer of Truth: James Thomson Callender and America's Early National Heroes. Charlottesville. VA. 1990. P. 157–163.*

Ротман также обращается к публикации в «*Washington Federalist*» от 14 сентября 1801 года. В этом номере есть упоминание об «очень высокопоставленном человеке» (Джефферсон тогда занимал пост президента), который «имеет множество желтокожих детей и одну золотую привязанность». Там имеется также ссылка на «Мистера J». При этом в публикации допускается, что «если они (заявления) окажутся злобной фальшивкой, их необходимо будет опровергнуть». (Благодарим Люсию Стэнтон и Мэри Хэккет за помощь в поисках этих публикаций.)

Наконец, *пятое*. Генри Рэндалл, первый биограф Джефферсона, в 1856 году в личной переписке утверждал, что «Каллендеру помог кто-то из соседей Джефферсона» (Ротман, 1999, с. 99, 111, сноска 40; Ротман, 2003, с. 34, 254, сноска 60).

Доказательства Каллендера весьма сомнительны, так как он, оказалось, имел очевидный мотив сделать из нескольких источников скандальную сплетню, чтобы подкрепить свои заявления (см. наши АИ № 4 и АИ № 5). Как отмечает Ротман, Каллендер был «злобным, желчным и циничным человеком, сделавшим карьеру на обличительстве и скандалах» (Ротман, 1999, с. 88; Ротман, 2003, с. 14). Возможно, добавляет Ротман, иногда Каллендер был заинтересован в том, чтобы некоторые его утверждения оказались истинными. В конце концов, мы знаем, что некоторые из них действительно были правдой (например, в Монтичелло в самом деле жила рабыня по имени Салли; вероятно, к тому времени она действительно имела пятерых детей). Кроме того, в том случае, когда он предполагал, что информация может быть ложной, он добавлял, что «на Библии он бы не поклялся». Биограф Каллендера, Майкл Дюрей, а также Гордон-Рид заявляли, что Каллендер имел репутацию хорошего (для своего времени) репортера (еще одно подтверждение Г № 4 Ротмана, состоящее в том, что Каллендер хотел рассказать правду и не имел намерений лгать)¹.

Но вопрос в том: рассматривал ли Каллендер данные события как очередную тему для репортажа, либо он выдумал их, для того чтобы раздуть скандал и привлечь внимание читателей? В конце концов, он выдумал оскорбительное (и весьма неточное) описание Салли Хемингс, возможно, именно для того, чтобы пробудить современные

¹ Durey, *With the Hammer of Truth*, 157–160; Gordon-Reed, 62.

ему Стереотипы¹, и, вполне возможно, именно он мог выдумать двенадцатилетнего сына Хемингс, «Президента Тома», существованию которого не имеется абсолютно никаких подтверждений. Где Каллендер лишь описывает события, а где он позволяет себе преувеличение с целью возбудить читательский интерес? Свидетельства в пользу того, что слухи о сексуальных связях Джефферсона имели место еще до сентября 1802 года, неубедительны. Некоторые из них приводятся самим Каллендером и, соответственно, весьма спорны. Опубликованный в «Port Folio» памфлет также выглядит довольно слабым доказательством распространения слухов. Эти стихи в карикатурном виде изображают черного раба, который хочет «увести» белую жену у своего хозяина (жена Джефферсона умерла в 1782 году). Могло ли это стихотворение означать насмешку над рабами? Или насмешку северян над межрасовыми браками южан? Обе версии кажутся столь же правдоподобными, насколько и предположение, что шутка направлена именно на Джефферсона и намекает на его сексуальные отношения с рабыней.

Какой сатирик, имея достоверную информацию о действующем президенте, упомянул бы его лишь «между прочим», в контексте размышлений о желаниях раба²? Кроме этого, заявления Рэндалла, сделанные им в 1856 году, являются крайне сомнительными по нескольким причинам.

¹ Он говорит о Хемингс как о «шлюхе, общей, как тротуар», имеющей «пятнадцать или тридцать» любовников «всех цветов». Дети ее были «желтым пометом» и Джефферсон посылал за ней «на кухню или, возможно, в свинарник» (Ротман, 1999, с. 95; Ротман, 2003, с. 30; Гордон-Ридс. С. 61–62).

² В принципе, мы можем допустить тот факт, что сатирик имеет большую свободу осмеивать политиков, опираясь на сплетни, тогда как журналист вынужден ограничивать себя, говоря только о тех вещах, которые имеют твердое подтверждение. Поэтому было бы странным, если бы памфлет из «Port Folio» был написан в ответ на слухи о расовом кровосмешении. Однако мы не можем быть уверены в чистоте намерений автора памфлета.

Во-первых, они сделаны спустя большой отрезок времени. Во-вторых, они слишком туманны. Что он имел в виду: что соседи помогли Каллендеру узнать правду или что они помогли распространению слухов и догадок? В-третьих, Рэндалл заявлял, что один из племянников Карр был отцом детей Хемингс (Гордон-Рид, с. 80–82). Соответственно, любое утверждение, будто соседи Джефферсона могли привести Каллендера к мысли, что Джефферсон был отцом детей Хемингс, будет противоречить версии, рассказанной Рэндаллом в 1856 году. Если Рэндалл верил в собственную историю, тогда *он* не мог утверждать, будто соседи Джефферсона знали о том, что Джефферсон являлся отцом детей Хемингс (поскольку нельзя «знать» того, что является ложным).

В общем, мы полагаем: наилучшим свидетельством того, что до 1 сентября 1802 г. уже ходили слухи о сексуальной связи президента и рабыни, является публикация в «Washington Federalist» 14 сентября 1801 года, где говорится, что «очень высокопоставленный человек» «имеет множество желтокожих детей и одну золотую привязанность» (Ротман приводит это свидетельство в одной из глав своей книги 2003 года; в статье 1999 года этот момент не обсуждается). Неизвестный автор здесь делает реверанс в сторону широко признаваемого табу на распространение порочащих слухов, сопровождая свои рассуждения замечанием, что «если эти заявления окажутся злобной фальшивкой, их необходимо будет опровергнуть».

Качество описаний Каллендера

Ротман утверждает, что общеизвестность (предполагаемых) отношений между Джефферсоном и Хемингс наилучшим образом объясняет соединение фактов и вымысла в описаниях Каллендера (Г № 1 и Г № 2). В конце концов, *кто-то* действительно должен был многое передать Каллендеру: назвать имя Хемингс, рассказать о ее положении

в доме Джефферсонов, о ее поездке с Джефферсоном во Францию, о ее первой беременности (предполагаемой) и о пяти ее детях, появившихся на свет к 1802 году. Однако Каллендер также допускал ошибки, особенно в связи с вымышленным «Президентом Томом», якобы двенадцатилетним сыном Хемингс, который, по словам Каллендера, был похож на Джефферсона и жил в Монтичелло. Согласно Ротману, смесь фактов и вымысла у Каллендера является доказательством того, что он активно использовал ходившие тогда сплетни, в которых «возможность преувеличения до масштабов гиперболы деталей истории Джефферсона и Хемингс, передаваемой от человека к человеку, была огромной» (Ротман, 1999, с. 103; 2003, с. 37). Но это объяснение кажется спорным. Один человек мог заблуждаться так же, как и двадцать. Или Каллендер мог добавить *свою собственную* гиперболу.

Ротман приводит и другое утверждение Каллендера: в декабре 1802 года журналист предложил доказать свою правоту в суде с «дюжиной свидетелей». Пытаясь обнаружить подтверждение слухам среди альбемарльского джен-три, Ротман анализирует это смелое заявление: «Если [Каллендер] не шутил... то его свидетелями должны были быть “белые” – так как его “отвращение к афроамериканцам”» (Ротман, 1999, с. 99) не позволило бы ему привлекать рабов (кроме того, рабам запрещалось выступать в суде). Но единственными современниками Джефферсона и Хемингс, которые знали (или считали, что знают, или якобы знали) об их отношениях, были рабы в Монтичелло: Мэдисон Хемингс и Израэль Джефферсон. (Израэль, личный слуга Джефферсона в течение 14 лет, при этом заявлял, что «не был до конца уверен» в том, что эти отношения имели место, и говорил о них «постольку, поскольку».)

Как могли «белые» узнать подробности этих отношений? Ротман полагает, что, «учитывая отвращение Каллендера к афроамериканцам, он вряд ли мог напрямую об-

щаться с рабами в Альбермале». Аналогичное объяснение в течение многих лет применялось к самому Джефферсону: Дьюмас Мэлоун, Виржиниус Дэбни и Джон Миллер исключали возможность того, что Джефферсон имел сексуальную связь с Хемингс, апеллируя к его расистским убеждениям (Гордон-Рид, с. 133–134). Такое нисходящее объяснение совершенно бессильно доказать как то, что Джефферсон не имел сексуальной связи с Хемингс, так и то, что Каллендер не говорил с рабами. Если мы позволим себе представить, что Каллендер все же говорил с рабами, тогда мы больше не можем привлекать для интерпретации рассказов Каллендера допущение, что «белые» соседи Джефферсона также были осведомлены. В конце концов, все «белые свидетели», высказывавшие свое мнение по данному вопросу (Эдмунд Бэкон и Т. Дж. Рандольф, упомянутые выше, а также внучка Джефферсона Эллен Кулидж) в один голос заявляли, что отцом детей Хемингс был кто-то другой (Гордон-Рид, с. 28, 79). У нас нет подтверждений того, что эти «свидетели» знали правду. Возможно, Джефферсон и Хемингс действительно были очень осторожны (ведь даже Израэль Джефферсон «не был до конца уверен»), и, возможно, эти «свидетели» действительно искренне верили, что отцом был кто-то другой. Можно даже представить, что Хемингс имела связь и с Джефферсоном, и с одним из братьев Карр, или с ними обоими. Мы этого *знать* не можем.

Заявление о том, что Каллендер, «возможно, основывался на словах джентри Альбемарля и соседних округов» (Ротман, 1999, с. 99) не имеет подтверждений в словах Каллендера, поскольку он ничего не говорил о социальном статусе информировавших его людей (хотя приведенная цитата из «Gazette» и упоминает слухи среди «вирджинских джентльменов». Ротман делает предположение: «эти люди... должно быть, подслушали своих рабов, обсуждающих историю с Хемингс» (Ротман, 1999, с. 99). Ротман отмечает, что скорей всего именно «белые» посетили

Джефферсона в Монтичелло (и видели Салли Хемингс, а возможно, и ее детей) (Ротман 1999, с. 99). Однако самому старшему из выживших детей Хемингс, Беверли, в 1802 году было всего четыре года, а сама Хемингс к тому времени была горничной и, возможно, швеей Джефферсона. Нет ни одной серьезной причины считать, что она или ее маленькие дети появлялись перед «белыми» гостями, особенно в Монтичелло, где было немало светлокожих домашних рабов (Ротман, 1999, с. 87–88). Даже если их заметили, сложно себе представить, что Джефферсон каким-то образом дал понять «белым» гостям о своей связи с рабыней, особенно учитывая тот факт, что даже личный слуга Джефферсона знал об этих отношениях «постольку, поскольку». Также кажется маловероятным, что кто-нибудь из «белых», наиболее близких к Джефферсону и Хемингс, могли выдать их предполагаемый секрет, даже если допустить (хотя в источниках оснований для этого мы не находим), что они его знали.

**Обстановка в Монтичелло:
неоправданное приравнивание слухов
к знанию**

Исчерпав текстуальные свидетельства и пытаясь объяснить качество описаний Каллендера через обращение к качеству информации, циркулировавшей в Альбемарле, Ротман предлагает следующий аргумент: слухи об отношениях между Джефферсоном и Хемингс быстро распространились, так как обстановка явно способствовала этому. Говоря словами Ротмана: «Некоторые действия и разговоры Джефферсона также давали повод жителям Альбемарля поверить в историю с Хемингс» (Ротман, 1999, с. 103; Ротман, 2003, с. 38). Ротман приводит следующие обстоятельства: долгое пребывание «белых рабов» в Монтичелло; длительные отношения тестя Джефферсона с Бетти Хе-

мингс, матерью Салли; сожительство с афроамериканкой племянника Джефферсона, Самюэля Карра (о чем впервые было написано в 1874 году); факт продажи Джефферсоном сестры Салли Хемингс, Мэри, ее «белому» любовнику, полковнику Томасу Беллу, имевший место в 1792 году (по просьбе самой Мэри Хемингс).

Все эти обстоятельства привели Ротмана к заключению, что «многие из тех, кто жил по соседству с Джефферсоном, верили в историю с Хемингс, поскольку рабовладельцы Вирджинии и сам Джефферсон подготовили их к этому» (Ротман, 1999, с. 104). Здесь Ротман переходит от восходящего объяснения (от установленного следствия к возможной причине) к нисходящему (от предполагаемой причины к гипотетическому следствию). При отсутствии каких-либо записей, сделанных жителями Альбемарля, которые были бы: а) независимы от Каллендера и б) наилучшим образом объяснялись бы Г № 1 (что отношения Джефферсон–Хемингс были общеизвестным фактом), – Ротман утверждает, что именно *обстановка* в Альбемарле вызвала Г № 1:

«Допустим, что жители Вирджинии уже имели общие представления о сексе и рабстве в своем обществе; тогда *им совсем не нужно было знать подробности* отношений между Джефферсоном и Хемингс, чтобы поверить в то, что Джефферсон действительно имел с Хемингс сексуальную связь» (Ротман, 1999, с. 103. Курсив наш. – Мегилл, Шепард, Хонненберг).

Здесь Ротман вступает на скользкую почву. Как показал в своей известной статье Эдмунд Гетье, обоснованное и достоверное убеждение *не обязательно* является знанием. Напротив, знанием оно является тогда и только тогда, когда человек, делающий некое утверждение, имеет знание о реальном основании этого утверждения¹. Что, если «бе-

¹ *Edmund Gettier. Is Justified True Belief Knowledge? // Analysis. Vol. 33, № 6. June, 1963. P. 121–123.* Например, я могу сказать человеку: «Или у тебя появятся деньги в кармане, или ты завтра улетишь в Барсе-

лый» житель Альбемарля, разделяющий распространенный в Вирджинии взгляд на расовое кровосмешение, заметил бы в Монтичелло светлого раба, подмигивающего своему соседу, и сказал: «Бьюсь об заклад, где-то здесь бегают президент Том». Это мнение не является *знанием* о связи между Джефферсоном и Хемингс (Г № 1), так как оно могло появиться и без Салли Хемингс. Это то, что мы утверждаем в АИ № 2.

Здесь Ротман привлекает антропологическое понятие «социального знания». Что создает *социальное* знание? Мы понимаем социальное знание как знание о традициях конкретного общества, полученное из жизни в этом обществе. Например, даже те жители Вирджинии, которые были слабо знакомы с рабовладельческой системой, видя вокруг множество светлых рабов, не могли не заключить, что повсеместно имел место «секс по ту сторону сегрегации». Однако применение термина «социальное знание» к утверждению, что та или иная пара (которая в нашем случае должна быть очень осмотрительной) имела сексуальную связь, – будет явным злоупотреблением. Мы полагаем, что Ротман имел веское, хотя и мало подкрепленное источниками, основание для утверждений о том, что слухи об отношениях между Джефферсоном и Хемингс циркулировали в округе Альбемарль. Но, на наш взгляд, Ротман неоправданно приравнивает *слухи и мнения* к *знанию*. Вполне могло оказаться, что один из соседей Джефферсона имел информацию, которая могла бы подтвердить эти слухи. Такая информация превратила бы слухи в знание. Но Ротман не имеет ни одного доказательства существования та-

лону». Предположим, *мне показалось*, что я видел, как некий человек положил деньги ему в карман, но на самом деле это было что-то другое. Тем не менее, хотя человек и не имеет денег, совершенно случайно оказывается, что на следующий день он улетает в Барселону, где живет его богатый дядюшка (о чем мне не было известно). В этом случае мое утверждение оказывается верным. Но нельзя сказать, что я знал, что оно было верным, – оно оказалось верным случайно.

кой информации. Более того, ему известно, что подобных доказательств у него нет, однако такого подтекста своей аргументации он не признает¹.

Обобщение материала

Интересующая нас информация может быть резюмирована следующим образом.

Р № 1. В сентябре 1802 года Каллендер заявил о том, что сексуальные отношения между Томасом Джефферсоном и Салли Хемингс являются общеизвестным фактом, а также о том, что другие разделяют его мнение.

Р № 2. В «Port Folio» появилось стихотворение о «черной жене», а в «Washington Federalist» за 14 сентября 1801 года была опубликована заметка о «Мистере J.».

Р № 3. Генри Рэндалл в 1856 году заявил, что Каллендеру помогал «кто-то из соседей Джефферсона».

Р № 4. Некоторая информация Каллендера о Салли Хемингс была верна.

Р № 5. Каллендер сделал несколько ложных и преувеличенных заявлений о Салли Хемингс.

Р № 6. Иногда Каллендер был заинтересован в том, чтобы передать «истинную правду».

¹ Приводим отрывок из: Ротман, 1999, с. 103 (в сокращенном виде) (курсив наш. – Мегилл, Шепард, Хоненберг): «То, что Каллендер так много знал об отношениях между Джефферсоном и Хемингс, говорит о степени распространения в обществе Вирджинии информации о межрасовых сексуальных отношениях... Не каждый в Альбемарле мог что-то рассказать Каллендеру, так как не каждый слышал историю; но нельзя спорить с заявлением Каллендера о том, что почти все в округе верили в эту историю. Учитывая то, что жители Вирджинии уже знали о сексе и рабстве вообще, им не нужно было знать детали, чтобы верить, что Джефферсон мог иметь с Хемингс интимную связь». Эти рассуждения Ротмана крайне запутанны. Знание о том, что нечто является распространенной социальной практикой, не означает, что некий конкретный человек сделал это; также и услышать историю не означает обладать информацией.

Р № 7. Мы не имеем ни одной записи современников Каллендера, датированной до 1802 года, в которой содержалась бы информация об отношениях между Джефферсоном и Хемингс (если исключить строки в «Washington Federalist»). Некоторые заявляли (много лет спустя), будто они не верили в то, что эти отношения имели место.

Перечислим следующие косвенные данные, которые могут помочь в объяснении вышеперечисленных фактов

Р № 8. В общественном сознании Джефферсон связывался с расовым кровосмешением; в Монтичелло жили «белые» рабы; тесть Джефферсона, видимо, имел сексуальные отношения с «черной» женщиной Бетти Хемингс; один из племянников Джефферсона также мог иметь сексуальную связь с «черными» женщинами; наконец, Джефферсон продал одну из своих рабынь ее «белому» любовнику.

Р № 9. Джефферсон и Хемингс были очень осмотрительны (согласно утверждению Изразля Джефферсона и согласно Р № 7.).

Р № 10. Этические нормы «белого» населения Альбемарля запрещали открытое обсуждение проблемы расового кровосмешения.

Основания для нашей альтернативной интерпретации

Напомним стиль, в котором составлены обвинения Каллендера: «В окрестностях Шарлоттесвилля нет ни одного человека, который не верил бы в эту историю, а многие о ней хорошо осведомлены». Каллендер проводит различие между верой и знанием. Почему? Что он имел в виду, говоря о жителях Альбемарля, которые просто «верили» в существование связи, не «зная» о ней? *Знали* ли жители Альбемарля вообще что-нибудь, или они просто с готовностью верили любым услышанным сплетням?

В конце концов, за исключением утверждений Каллендера (Р № 1), у нас нет письменных свидетельств, поддер-

живающих идею Ротмана (Г № 1) о том, что отношения между Джефферсоном и Хемингс были широко известны. Памфлет в «Port Folio», заявления Ринда в «Gazette», воспоминания Генри Рэндалла и даже строки из «Washington Federalist» могут быть легко объяснены тем, что в общественном сознании Джефферсон ассоциировался с расовым кровосмешением (АИ № 2). Кроме того, *спекуляции* насчет того, что Джефферсон имел связь с рабыней, скорей всего были вызваны именно Р № 8 вкупе с Р № 9 (попытки скрыть свои отношения), чем тем, что *факт этих отношений был общеизвестен* (Г № 1).

Далее, утверждение Ротмана о том, что Каллендер стремился к изложению правды (Г № 4), не объясняет демонстрируемую Каллендером в других случаях готовность (и даже рвение) к преувеличению и вымыслу (Р № 5). Если мы представим Каллендера как человека, склонного использовать ложные утверждения в целях убеждения читателей в своей правоте (АИ № 5), это объяснит нам как Р № 1, так и Р № 5.

Наша альтернативная интерпретация могла бы также объяснить, почему подробности описываемых отношений (если они, конечно, имели место) не афишировались до 1802 года (Р>7): о них просто ничего не было известно никому, кроме узкого круга людей в Монтичелло (АИ № 1 и АИ № 2). Это – обычное восходящее объяснение: недостаток действий (Р № 7) вызван недостатком информации (АИ № 1). Ротману приходится объяснять Р № 7 (а именно, недостаток письменных источников, датируемых до 1802 года, в которых заявлялось бы о связи между Джефферсоном и Хемингс) по нисходящей: т. е. он допускает, что этические нормы в альбемарльском обществе (Р № 10) не позволяли людям открыто обсуждать личные отношения.

Как интерпретация Ротмана, так и наша интерпретация, обращаются к вспомогательным гипотезам, чтобы объяснить, каким образом информация об отношениях между

Джефферсоном и Хемингс вышла за пределы Монтичелло. Ротман предполагает, что информация в Альбемарле распространилась от рабов Монтичелло к «белому» джентри (Г № 1), и в какой-то момент она начала искажаться (Г № 2). Мы полагаем (также без серьезных доказательств), что Джеймс Каллендер, желая уязвить Джефферсона, сфабриковал идею о том, что в общественном сознании Джефферсон ассоциировался с расовым кровосмешением (АИ № 2), и здесь в его заявлениях перемешалась откровенно ложная информация о Джефферсоне и некоторые оказавшиеся правдой догадки (например, об имени Салли Хемингс)¹.

Как наши вспомогательные гипотезы соотносятся с гипотезами Ротмана? Мы полагаем, что Каллендер каким-то образом смог узнать подробности личной жизни Джефферсона, которые он использовал как основу для своей истории о Джефферсоне и «этой девке Салли». Мы не претендуем на то, чтобы выяснить, *как* он узнал эти подробности. Ротман допускает, что жители Альбемарля узнали этот интимный секрет и начали передавать его из уст в уста, при этом письменно ничего не зафиксировав. Интерпретация Ротмана представляет более простое объяснение для Р № 1; наша интерпретация лучше объясняет Р № 7. То, что мы знаем о ситуации в Альбемарле (Р № 8 и Р № 9), скорее вызвало нашу АИ № 2, чем Г № 1 Ротмана. Мы считаем, что ни одной из интерпретаций нельзя отдать предпочтение и нам следует отказаться от выяснения того, чья гипотеза (АИ № 2 или Г № 1) предлагает наиболее достоверный взгляд на общественное мнение Альбемарля.

¹ Каллендер был зол на президента за то, что ему не предоставили компенсацию за тюремное заключение, которое он отбывал по «Закону об иностранцах и антиправительственной агитации» при президенте Адамсе (Ротман, 1999, с. 92–94; см. также: *Durey. With the Hammer of Truth*. P. 143–157).

Историки и остальные читатели, конечно, вольны делать свои собственные выводы. Но если они хотят провозгласить их истинными, им необходимо предоставить доказательства их истинности. Им также необходимо точно указать границу (пусть даже она непостоянна) между фактом и предположением. Наконец, им необходимо обосновать – *в качестве* гипотезы – те предположения, которые они делают.

Историки иногда не замечают разницу между фактом и предположением, и эта невнимательность приводит к тому, что они выдают за безусловно истинные те утверждения, которые безусловно истинными не являются. Например, мы считаем ошибочным, в свете имеющихся сейчас источников, полагать за *безусловную* истину то, что Джефферсон был отцом детей Салли Хемингс (хотя авторы данной главы верят, что так оно и было). Еще более твердо мы убеждены, что ошибочно полагать, будто отношения между Джефферсоном и Хемингс (если они имели место) были общеизвестны до того, как в прессе появились статьи Каллендера.

Мы надеемся, что данная глава помогла показать релевантность «предположения для наилучшего объяснения», и вообще релевантность разумного теоретизирования в историописании, в чтении исторических текстов и в исторической рефлексии. Вполне возможно, что в профессиональной работе историков – в отличие от работ по исторической эпистемологии – теоретическим конструкциям лучше всего оставаться в тени. Но читатель и критик всегда должны ощущать, что историк четко продумал эти вопросы, даже если он ограничивается лишь намеками на концептуальные размышления. Если эти размышления отсутствуют в данной исторической конструкции, то у нас имеется не так много оснований доверять ей, какой бы интересной, захватывающей, стройной или политически полезной она ни была.

Глава VI

ПРОТИВ МОДЫ ДНЯ

§ 1. Против непосредственности (*Не слишком ли мы многого ждем от истории?*)

В цитируемом часто пассаже из предисловия к «Истории романских и германских народов» (1824 год) молодой Леопольд Ранке отмечал, что «история возложила на себя задачу судить о прошлом и давать уроки настоящему на благо грядущих веков». Ранке вступил в спор с этим убеждением: в *его* труде, говорит Ранке читателям, он «всего лишь хочет рассказать о том, что происходило на самом деле»¹. Ранке выступал против взглядов своих предшественников, которые приписывали истории роль наставника (*historia magistra vitae*), предлагающего общие правила, которыми мы могли бы руководствоваться в своих действиях². У него были все основания отрицать этот нравственно-прагматический подход к истории, который мы находим у ранних авторов. Во-первых, такая история способна производить лишь искаженные репрезентации прошлого. Во-

¹ *Leopold Ranke. Preface to the First Edition of «Histories of the Latin and Germanic Nations» // Leopold von Ranke. The Theory and Practice of History / Ed. Georg G. Iggers, Konrad von Moltke. Пер. Wilma A. Iggers, Konrad von Moltke. New York, 1983. P. 135–138, особенно: P. 137.*

² Об этой традиции см.: *George H. Nadel. Philosophy of History Before Historicism // History and Theory. Vol. 3. 1963. P. 291–315; Reinhart Koselleck. Historia Magistra Vitae: The Dissolution of the Topos into the Perspective of a Modernized Historical Process // Koselleck. Futures Past: On the Semantics of Historical Time. Пер. Keith Tribe. Cambridge, MA, 1985. P. 21–38.*

вторых, претензии давать уроки морали и благочестия оказались мошенничеством, поскольку те или иные исторические действия в прошлом оценивались как «образцовые» на основе уже сложившихся этических воззрений. Поэтому такая история была не более чем упражнением в софистике, отражавшим современные предубеждения, облаченные в одежды древности. В-третьих, такая история искажала *настоящее* не меньше, чем прошлое. Несмотря на то что политические установки Ранке и Маркса радикально отличались, последний обосновывал аналогичную точку зрения в начале своей работы «Восемнадцатое Брюмера Луи Бонапарта», обращая внимание на то, как образы, взятые из прошлого могут исказить восприятие мира в противовес тому, каков он *есть* в действительности. Будь это релевантно его аргументации, Маркс, возможно, указал бы на то, что верно также и обратное, поскольку поиск уроков в прошлом искажает и наше восприятие прошлого, каким оно в действительности *было*.

Если бы Ранке жил сегодня, что он сказал бы о тех задачах, которые ставятся перед историей в современном мире? Во времена Ранке лишь немногие, только высшая элита, обладали правом ставить эти задачи. Сегодня сцену заполнила масса: правители и народ, производители и потребители истории, — пестрая и громко галдящая толпа. Среди них есть местные законодатели, говорящие о необходимости «правильного» преподавания истории в школах и университетах своих безупречных штатов; федеральные законодатели, шокированные историческим невежеством студентов колледжей и широкой публики; щедрые меценаты, полные решимости учредить кафедру истории этого и кафедру истории того; американцы, гордящиеся своим этническим наследием или религией и желающие быть уверенными, что их славное прошлое должным образом представлено и прославлено; ветераны, требующие, чтобы их

войны были не только правильно истолкованы, но и накрепко сохранены в памяти; все те, кого лишили близких или как-то иначе заделали крупные катастрофы современности, в частности – шокирующие события 11 сентября 2001 года. По ту сторону этих лиц и групп, чей активный интерес к истории очевиден, находятся те, чьи интересы более расплывчаты и потребительски ориентированы. Я здесь имею в виду тех, кто «ценит» историю так, как можно ценить красивый узор на обоях или аккуратно подстриженную лужайку; тех, кто посещает Белый дом, осматривает поля былых сражений и другие подобные исторические места; задерживается в путешествии, чтобы рассмотреть мемориальные доски; – в общем, всех тех, кому нравятся старинные вещи. Их интерес к истории иногда заходит так далеко, что его выражают фразой: «Я всегда любил историю».

Короче говоря, Клио имеет много друзей и, возможно, нескольких любовников. Но и любовь, и дружба имеют свою цену. Многочисленные поклонники жаждут чего-то большего, чем наставлений и суждений, которые так заботили Ранке. Задачи, закрепленные сегодня за историей, можно разделить на четыре типа. Первый, и самый основной тип задач – это *формирование идентичности*: нужно создавать и поддерживать идентичности разного рода и, следовательно, приносить нам (какими бы мы ни были) чувство самоутверждения. Основой здесь является совместный акт коммеморации событий, прежде всего – трагических, связанных со страданием конкретных личностей и особенно групп, которые, таким образом, идентифицируются. Вторая задача истории – *проповедование (евангелизация)*: задача укреплять нашу гражданскую религию. Третья задача истории – *развлечение*. Наконец, последняя задача, которая приписывается истории, – *быть полезной* (там, где это возможно). Конечно, принято считать, что ис-

тория не может быть столь же полезной, как машиностроение, администрирование или скотоводство; кроме того, считается, что иногда история, особенно если она отдалена от нас во времени, пространстве или культурно, вообще не может быть полезной. Поэтому четвертая задача явно бледнеет на фоне первых трех.

Не ошибаюсь ли я, полагая, что эти задачи – особенно задачи формирования идентичности, проповедования и развлечения – ставятся перед историей сегодня? Думаю, что не ошибаюсь. Обратите внимание на рынок исторических книг, который, благодаря Интернету, стал более заметным, чем еще в недавнем прошлом. Книжная реклама, помещенная на сайтах продажи книг, содержит определенный набор повторяющихся утверждений и допущений по поводу истории.

Я внимательно изучил рекламу, которая рассылается любителям истории по электронной почте с Amazon.com (кроме этого, я просмотрел аннотации на исторические бестселлеры, которые появляются в рубрике «История» на Amazon.com). Ниже я привожу текст трех рекламных объявлений, почерпнутых из информационного бюллетеня Amazon.com, который пришел мне по электронной почте 11 мая 2001 года.

«Перл Харбор: День Позора»: иллюстрированная история Дена ван дер Вата¹. Франклин Д. Рузвельт назвал 7 декабря 1941 г. – день, когда японцы атаковали Перл Харбор, втянув Соединенные штаты во Вторую мировую войну, – «днем, который мы прожили в позоре». Эта потрясающая книга Дэна ван дер Вата представляет собой фундаментальное исследование и содержит более 250 иллюстраций, включая ранее не публиковавшиеся фотографии американ-

¹ *Dan van der Vat. Pearl Harbor: The Day of Infamy // An: Illustrated History. New York, 2001.*

ских кораблей и японских самолетов во время атаки, а также разбор всего нападения по кадрам. Кроме этого в книге Вы найдете подробную хронику событий, рассказы очевидцев и иллюстрации Тома Фримана. Отличное издание.

«*Альбом памяти*»: истории людей из «величайшего поколения» Тома Брокау¹. Книга продолжает традиции всемирно известного «Величайшего поколения», где Том Брокау воспекает испытания и победы американцев, переживших Великую депрессию и Вторую мировую войну. «Альбом памяти» – это собрание писем, написанных Тому Брокау жившими в то время людьми и, в некоторых случаях, их детьми. Книга богато иллюстрирована, что делает общее впечатление незабываемым. Чтение этих писем – чрезвычайно волнующий опыт и возможность приблизиться к истории.

«*Катастрофа Великое землетрясение и пожар 1906 года в Сан-Франциско*» Дэна Курцмана². Ровно в 5 часов утра 18 апреля 1906 года спящий Сан-Франциско содрогнулся от землетрясения силой 8,3 балла по шкале Рихтера; здания складывались, как карточные домики, взрывались газопроводы, тысячи людей оказались погребены под грудями камней, деревья и искореженного металла. Тщательно изучив воспоминая очевидцев, Дэн Курцман воссоздает картину одного из самых ужасных событий XX века. Чрезвычайно захватывающая и вместе с тем правдивая история, «Катастрофа» представляет собой мастерский рассказ о трагической гибели и удивительном воскрешении американского города.

¹ *Tom Brokaw. An Album of Memories: Personal Histories from the Greatest Generation.* New York, 2001.

² *Dan Kurzman. Disaster! The Great San Francisco Earthquake and Fire of 1906.* New York, 2001.

Естественно, я не собираюсь указывать на слабые места работ, от которых никто не требует соответствия стандартам научной истории. Я обратился к ним, поскольку они раскрывают представления об истории, широко распространенные в современной американской культуре и, возможно, в современной культуре вообще. Кроме того, я подозреваю, что эти представления проникли и в саму историческую науку, хотя в данном эссе я не смогу развить этот тезис или адекватно его обосновать.

Впрочем, мысль о том, что история должна быть этически или прагматически полезной, отсутствует в приведенных примерах. В них нет ничего даже отдаленно похожего на этически нормативную идею. В рекламе «Альбома памяти» говорится, что Том Брокау рассказывает об «испытаниях и победах» «величайшего поколения», чтобы воспеть его героизм и передать читателям «волнующий опыт». Подразумевается, что эта история дает нам возможность эмоционального сопереживания с людьми прошлого, но здесь важно, чтобы читатель смог почувствовать *дрожь* от возможности прямого соприкосновения с ними. В приведенных примерах также нет претензий и на прагматическую полезность истории. Вообще, такие претензии встречаются лишь в очень немногих исторических работах, образующих особый жанр, который ориентируется больше на политологию, чем на историю. Другие функции истории, о которых так гордо заявляется сегодня, настолько тесно переплелись в общественном сознании, что их практически невозможно различить. В большинстве случаев имеет место апелляция к американской идентичности (особенно в «Перл Харборе» и «Альбоме памяти»). Все описанные книги занимаются евангелизацией, пропагандируя что-то вроде веры в способность человека преодолеть любые жизненные трудности, даже землетрясение. Наряду с идентификацией и евангелизацией, здесь содержится еще обе-

щение замечательного развлечения и удовольствия: нам предлагают пережить нечто «потрясающее», «захватывающее» и «волнующее».

Само собой разумеется, что реклама книг, рассчитанных на широкую аудиторию, делает акцент именно на получении удовольствия от чтения. Конечно, мы не сможем *прямо* обратиться от такого рода «популярной истории» к историописанию, т. е. творчеству профессиональных историков. Тем не менее конвергенция этих двух сфер, которую мы наблюдаем в начале XXI века, позволяет говорить о «популярной истории» как о чем-то релевантном профессиональной деятельности историков. Самые очевидные точки конвергенции при этом можно обнаружить в некоторых компьютерных программах. Такие программы предлагают нечто сходное с тем, что рекламируют приведенные выше рекламные объявления. Они предлагают непосредственность – или хотя бы подобие (*simulacrum*) непосредственности. Многие из документальных фильмов, которые сегодня транслируются по телевидению, также рассчитаны именно на этот эффект (они сильно отличаются от старых документальных фильмов, таких как серия «Мир во время войны» Thames Television о Второй мировой войне), которые были куда более деперсонализированы и «объективны»¹.

Недавно мой дантист, «неравнодушный к истории», в разговоре упомянул последнюю работу Кена Бёрнса. Сегодня новые технологии, особенно Microsoft PowerPoint®, действительно могут на время лекции превратить любого историка в Кена Бёрнса. Видимо, скоро игнорирующие PowerPoint® преподаватели будут вообще вытеснены из учебных заведений. Ведь очевидно, что лектор, читающий,

¹ *The World at War* [Thames Television series], двадцатипятисерийный фильм, первая серия вышла в 1973 году, режиссеры Ted Childs and Martin Smith VII, продюсер Jeremy Isaacs (New York: Home Box Office, 2001).

например, историю средневекового Аугсбурга, привлечет гораздо больше внимания начинающей аудитории, если будет активно использовать отсканированный демонстрационный материал.

Если бы мне *пришлось* читать лекцию студентам первых курсов по некой теме, не вызывающей у них особого интереса, я бы, наверное, также прибег к помощи демонстрационного материала¹. Я вовсе не выступаю против современных технологий, а лишь пытаюсь указать на опасности, которые они в себе скрывают. Вспомните взгляды на историю как на способ формирования национальной идентичности (с ее акцентом на коммеморацию и увековечивание), как на способ создания и поддержания идеалов, и, наконец, взгляд на историю как на развлечение. Вспомните, какой сильный акцент делается (по меньшей мере, во многих колледжах и университетах) на изучение наиболее близких нам общностей (нашей собственной страны, даже области или города). Вспомните о том влиянии, которое оказывают на мышление современные технологии (например, совсем недавно я был шокирован презентацией, сделанной одним историком-любителем «продвинутых» технологий: приняв как данность, что некая дискуссионная историческая теория верна, он сосредоточил все свое внимание только на том, как наиболее эффектным образом представить ее в виде электронной презентации; при этом доказательства его совершенно не волновали). Вспомните об идеологическом давлении различных общественных групп, которое оказывается на историю. Конечно, все эти тенденции и

¹ Конечно, студенческая аудитория имеет внутренние различия, но наиболее точной ее характеристикой может быть следующее: «люди, которые не очень интересуются историей». Те из нас, кому повезло работать в вузах с любознательными и начитанными студентами, могут лишь с ужасом наблюдать за попытками тех, кто пытается искусственно создать этот интерес и вовлеченность.

ориентации нельзя отвергать полностью – в конце концов, историю ведь нельзя назвать «чистой» наукой. Тем не менее этим тенденциям надо сопротивляться.

Суть проблемы состоит именно в претензиях на историческую непосредственность. Эти претензии обнаруживаются повсюду. Приведенная выше реклама допускает, что читатель сможет вступить в непосредственный контакт с прошлым. Обратите внимание, как все эти объявления апеллируют к личному опыту. Нам говорят, что «одно из самых ужасных событий XX века» – землетрясение 1906 года в Сан-Франциско – будет «воссоздано» автором. Нам говорят, будто чтение писем, написанных телеведущему «американцами, пережившими Великую депрессию и Вторую мировую войну», – это «чрезвычайно волнующий опыт и возможность приблизиться к истории». Таким же образом сделанные в Перл Харборе фотографии американских кораблей и японских самолетов предлагают читателю возможность «виртуально» присутствовать во время нападения. Кстати, книга «Перл Харбор» вышла примерно в то же время, что и широко известный одноименный кинофильм. Связь очевидна. Фильм «Перл Харбор» (2001 год) был не документальным историческим повествованием, а всего лишь довольно посредственной любовной историей. Тем не менее, детально показывая атаку на Перл Харбор, фильм пытается создать эффект присутствия. Обратимся к другой картине – «Титанику» (1997 год), – которая также является не документальным фильмом, а блестяще экранизированной трагической любовной историей. Создатели «Титаника» сознательно стремились к максимальной исторической точности, и они сделали все возможное, чтобы копия корабля ничем не отличалась от оригинала. Здесь историческая непосредственность предстает как эстетизация истории, как попытка донести до зрителя объекты и звуки самой исторической реальности. Создатели «Титаника» были уверены (а скорее, интуитивно догадывались),

что если для широкой публики история не кажется чем-то «давно прошедшим, ненужным», то она означает именно непосредственную репрезентацию материальных предметов из прошлого¹.

Но претензия на непосредственность обнаруживается не только в популярных исторических книгах, или в основанных на реальных событиях фильмах, или в исторических эпизодах массовых развлечений. Ее также можно найти в трудах профессиональных историков и работников смежных областей (например, музееведов). Это неудивительно. В конце концов, формирующая идентичность история имеет дело только с тем, что она понимает как «нашу» идентичность; проповедующая история – с тем, что она понимает как «нашу» веру. Отсюда – попытки кураторов «Колониального Вильямсбурга» (Plimoth Plantation) и тому подобных мест воспроизвести «вид» и «ощущения» ушедших эпох. Та же тенденция наблюдается в некоторых электронных «архивах», которые составляются по принципу подборки на одной веб-странице «всего», что касается того или иного исторического времени и места, чтобы пользователь смог погрузиться в жизнь ушедших поколений или в поток событий прошлого. Оставим в стороне проблемы, лежащие в доказательной сфере, – и прежде всего то странное допущение, что все данные, способные объяснить некое событие *X*, происшедшее в определенных времени и пространстве, локализуются именно в этом времени и пространстве (тогда как фактически область *потенциально* ре-

¹ По иронии судьбы, попытка приблизиться к исторической реальности только подчеркнула «неаутентичность» «Титаника», поскольку герои фильма, их одежда, фигуры, голоса, привычки, поведение, желания, мечты – все было «подогнано» под вкусы и интересы современной аудитории. Поэтому герои фильма откровенно дисгармонировали с обстановкой.

levantных свидетельств не ограничена, ее *актуальные* границы определяются только в процессе аргументации). Куда более глубокая проблема заключается в обещании того, что никогда не сможет быть исполнено. Обратите внимание на растущее число смежных проектов, сочетающих в себе черты архива, музея и хроники. Бесспорно, становясь на место (или даже принимая номер) жертвы Холокоста, действительно можно достичь определенного уровня рефлексии и катарсиса, и здесь вполне возможно подтверждение идентичности. Но, опять же, допущение прямой идентификации оказывается эпистемологически неправомерным, в то время как на интерпретирующем уровне риски такой идентификации сохраняются в скрытом виде, а следовательно, принимаются без доказательств и возражений и потому остаются неоправданными во всех смыслах этого слова. Наконец, обратите внимание на особый вид исторической биографии, который направлен на воссоздание того, что мы можем назвать «внутренним мистером *X*» (в качестве «мистера *X*» может выступать любой исторический персонаж). При этом неважно, сохраняет ли понятие *Innerlichkeit* тот же смысл, будучи примененным к историческому «мистеру *X*», какой оно имеет в применении к «нам», «сейчас».

Я начал свои размышления с вопроса: «Не слишком ли многого мы требуем от истории?». На первый взгляд кажется, что да. В своем желании рассказать о том, «что происходило на самом деле», Ранке тем не менее не ограничивался описанием исторических событий в том виде, в каком они непосредственно переживались действующими лицами и жертвами истории. Напротив, как он ясно дает понять в своем предисловии 1824 года, его целью было «составить точный рассказ о начале современной истории». «Непосредственное ощущение читателем прошлого», о котором так заботятся многие современные историки, для такого проекта является совершенно неуместным требованием, которое Ранке вообще показалось бы бессмысленным. Поэтому, по-видимому, правильное говорить

о том, что современные историки, работающие на идентичность, *слишком мало* требуют от истории. В погоне за идентификацией, евангелизацией, развлечением и практической пользой теряется фундаментальный для истории разрыв между прошлым и настоящим. В некотором смысле история, которая близка нам, – это опасная история, и именно потому, что она *близка*. Никто не будет отрицать, что история тесно связана с современными идентичностями, но делать эти идентичности основополагающими было бы серьезной ошибкой. Вместо изучения того, как история должна создавать и поддерживать идентичности, которые в большинстве случаев вообще не нуждаются в поддержке, а в некоторых случаях (таких как религиозные или этнические конфликты) представляют реальную угрозу, историкам необходимо уделять больше внимания критической функции истории. Я не предлагаю историкам перекалиброваться на критическую теорию. Я лишь имею в виду, что им следовало бы обратить внимание на критическое измерение *самой* исторической дисциплины. Вместо того чтобы поддерживать идентичности с помощью обращений к прошлому, историки должны выдвинуть на первый план то, что разделяет прошлое и настоящее. Задача здесь в том, чтобы показать не преемственность между прошлым и настоящим, а, наоборот, показать, что в прошлом содержится разнообразный набор альтернатив, неиспользованных возможностей, невыбранных путей. В историописании заложена опасность ретроспективной иллюзии: поскольку история пошла именно по этому пути, мы склонны думать, что другого пути не было. В глобализованном обществе, где (по крайней мере, на некоторых уровнях) имеет место гомогенизация, чрезвычайно важно артикулировать такие репрезентации, которые отражали бы представления о мире, отличные от наших собственных.

§ 2. Воображаемая история: о «Виртуальной истории» Найалла Фергюсона и подобных работах

Чтобы понять, что же такое так называемая «контрфактическая» история, нам необходимо выяснить, какие теоретические вопросы ставит сама контрфактичность. Кроме того, нам надо провести несколько дистинкций. Я бы хотел начать с различия между двумя типами контрфактической истории: «умеренной» и «неограниченной».

«Умеренная» контрфактическая история занимается подробным обсуждением тех альтернативных возможностей, которые существовали в реальном прошлом, тогда как «неограниченная» контрфактическая история работает с прошлыми историческими последствиями, которые фактически никогда не возникали.

«Неограниченная» контрфактическая история радикально отличается от нормального исторического исследования и историописания. Это тот тип контрфактической истории, который пытается представить, что случилось бы: если бы Британия вмешалась в гражданскую войну в Америке? если бы законопроект об ирландской автономии прошел в британском парламенте в 1912 году? если бы Германия оккупировала Британию в 1940 году? Все перечисленные воображаемые ситуации описаны в книге под редакцией Найалла Фергюсона «Виртуальная история»¹. Вообще, этот тип контрфактической истории лучше было бы называть «виртуальной историей», подчеркивая таким образом, что она не обращается к *актуальному* прошлому.

¹ Niall Ferguson, ed. *Virtual History: Alternatives and Counterfactuals*. New York, 1999.

«Виртуальная история» создает «виртуальную реальность». Кроме этого, она создает целый мир исторических игр: например, можно вспомнить хорошо известную настольную игру *Axis & Allies* (которая сегодня имеет компьютерный аналог) – симулятор Второй мировой войны, начиная с 1942 г.¹ Такие игры позволяют участникам вернуться в некоторый выбранный момент истории и принять решения, отличные от тех, которые были приняты реальными историческими деятелями. То, к чему это приводит, зависит от случая и (что немаловажно) от тех допущений, которые заложены в игре ее разработчиками. Здесь нет претензий на переигрывание исторических событий (по крайней мере, такое переигрывание, которое взрослый человек может принимать всерьез). Это всего лишь *игра*, содержащая определенные черты исторического прошлого.

Когда профессиональные историки пишут виртуальную историю, нам следует относиться к их притязаниям на то, что «так могло быть», примерно с таким же сдержанным скептицизмом, с каким мы бы смотрели на игру пятнадцатилетних подростков во Вторую мировую войну. Конечно, можно говорить о вероятностях, но эти вероятности совсем иного рода, чем *нормальная* историческая вероятность, тесно связанная с реально существовавшим миром. Когда историки пытаются представить, что произошло бы, если бы президента Кеннеди не застрелили, или если бы СССР удалось избежать развала, они вступают на шаткую эпистемологическую почву. Историки всегда должны строить предположения, однако предположения, связанные с областью виртуальной истории, содержат гораздо больше сомнительных допущений о реальном мире, чем в тех случаях, когда действуют стандартные правила исторического метода. На самом деле, кроме имеющих место идеологиче-

¹ Обсуждение игры можно найти на: <http://www.amazon.com>

ских предпочтений историка или создателя игры, существует и набор правил, в значительной мере произвольных, без которых виртуальная история не может быть сконструирована, а игра сыграна.

Дело прояснится, если мы посмотрим на виртуальную историю в свете проблем темпоральности. «Историк-виртуалист» вмешивается в реальное прошлое в определенный момент – как правило, прямо перед тем, как один из задействованных исторических акторов принимает важное решение. «Историк-виртуалист» рассматривает такие моменты, как ситуации неопределенности, в которых *могло быть* принято иное решение и, соответственно, события *могли бы* развиваться в другом направлении. Вначале «историк-виртуалист» использует предполагаемую неопределенность, чтобы «запустить» свою контрфактическую историю. Однако эта неопределенность двойственна. Неопределенность и свобода, которые следуют из самой способности человека принимать решения, являются отправными точками виртуальной истории. Но та же неопределенность, которая делает виртуальную историю возможной, в то же время дискредитирует ее. Если мы имеем ситуацию неопределенности вначале, то мы, наверняка, столкнемся с неопределенностью и потом: перефразируя Вебера, неопределенность – это не поезд, на который можно сесть и с которого можно сойти, когда захочешь. Т. е. определить ход виртуальной истории невозможно. Точнее говоря, его можно проследить до того момента, когда возникает следующая ситуация неопределенности. Хотя «историк-виртуалист» и может с успехом претендовать на авторитет обычных историков, но, единожды пропустив очередной момент неопределенности, он или она становится, скорее, писателем-беллетристом. Это совсем не обязательно плохо, но это уже не история.

Виртуальную историю не надо путать с контрфактической историей в целом. Виртуальная история начинается с того момента в реальном прошлом, в котором события могли бы начать развиваться по другому пути, и двигается *вперед* во времени, все более дистанцируясь от того мира, который действительно существовал. «Умеренная» контрфактическая история двигается в противоположном направлении. Она начинается с некоего действительного события (такого, например, как Гражданская война в Англии) и затем оглядывается *назад* во времени, рассуждая о том, как должны были бы развиваться события, чтобы Гражданская война *не* произошла (или чтобы ее ход был совершенно иным). Работа Джона Адамсона, вошедшая в антологию Фергюсона, «Англия без Кромвеля: что если бы Карл I избежал Гражданской войны?», в значительной степени является примером такого подхода. Адамсон обсуждает целый ряд контрфактов в период, предшествующий 1642 году, и размышляет, как события могли бы развиваться иначе, чем это произошло в действительности. Такая постановка вопроса резко отличается от постулирования контрфакта в самом начале («Гитлер не вторгся в СССР») и дальнейшего представления воображаемой «новой» истории, которая следует за ним. Если «историк-виртуалист» вынужден все глубже погружаться в воображаемое, то рассуждения «умеренного» контрфактуалиста жестко привязаны к тому, что в итоге действительно произошло. Представляя, как события могли бы развиваться иначе, «умеренный» контрфактуалист пытается лучше понять то, что случилось в действительности.

Во «Введении» к «Виртуальной истории» Фергюсон всячески пытается показать, что контрфактическая история направлена против исторического детерминизма (примечательно, что в качестве представителей детерминизма здесь выступают марксисты). Согласно Фергюсону, контрфакти-

ческая история выдвигает на первый план фактор человеческой свободы. Эванс взял этот тезис в качестве главного пункта своей критики Фергюсона, утверждая, что нам все же следует уделять больше внимания определяющим структурным детерминантам, чем это делает Фергюсон. Но оба историка концентрируются на мнимой проблеме, так как вопрос «Свободны люди или нет?» – это вопрос не для историков. Историки здесь не могут предложить ничего, кроме банальностей, поскольку сама их дисциплина уже подразумевает определенную позицию, а именно: люди одновременно и детерминированы, и свободны; одновременно и подчинены внешним силам, и способны управлять ими – и материя, и дух; и ангелы, и бестии. Настоящий детерминист не может быть историком: такой человек будет скорее изучать нейрохимические, физические или другие процессы. То же самое относится и к тем, кто верит, что человек возвышается над внешними обстоятельствами как трансцендентальный медиатор: таких людей нельзя представить копающимися в архивной пыли, которую с такой жадностью обследуют историки.

Фактически, ключевым моментом в вопросе о контрфактической истории является характер исторического объяснения (я думаю, и Фергюсон, и Эванс понимают это, но в своем стремлении сразиться со своими политическими оппонентами – «левыми» детерминистами, с одной стороны, и «новыми правыми», с другой, – они предпочитают замалчивать данный момент). Под *объяснением* я понимаю попытку сказать, почему что-либо имело место быть (почему это существует или существовало, почему это случилось). Также можно сказать, что объяснение – это попытка ответить на вопрос «Что является (являлось) причиной E?». Вторая формулировка может вызвать трудности, поскольку даже сегодня многие люди – в том числе многие историки – придерживаются такого взгляда на каузальность, ко-

торый сводит ее к «регулярности», т. е. согласно которому наше утверждение, что *С* является причиной *Е*, должно подразумевать наличие определенной «устойчивой конъюнкции» (термин Юма), соединяющей *С* и *Е*. Выступая против такого взгляда на каузальность, Коллингвуд в своей «Идее истории» заявлял, что историки не занимаются (или, по крайней мере, не должны заниматься) поиском причин. Скорее всего, утверждал Коллингвуд, историческое объяснение заключается в рассказывании истории: историк говорит, что произошло то-то и то-то, и из повествования вытекает объяснение. По словам Коллингвуда, «когда историк узнает, что произошло, он уже знает, что произошло»¹. Хотя Коллингвуд и не разбирает эту проблему детально, его рассуждения недвусмысленно указывают на резкое отрицание контрфактуальности².

Как показал Карл Гемпель, с предельной ясностью, в «Функциях общих законов» (1942), историки не могут предложить объяснения, которые подчинялись бы критерию регулярности³. Не вдаваясь в подробности дискуссии, последовавшей за публикацией этой работы, позволю себе просто отметить, что единственное понимание объяснения, работающее на историков, – то, которое сосредоточивает внимание именно на контрфактуальности и позволяет

¹ R. G. Collingwood. *The Idea of History*. Rev. edition, with Lectures 1926–1928. Ed. W. J. van der Dussen. Oxford, 1993 [1946]. P. 214; русск. изд.: Коллингвуд Р. Дж. *Идея истории. Автобиография*. М., 1980. С. 204.

² См.: Collingwood. *The Idea of History*. P. 246; русск. изд.: С. 234. Здесь он декларировал, что есть только один исторический мир, и отрицал возможность существования в истории «воображаемых миров». Фергюссон корректно заметил во введении в его «*Virtual History*», p. 50, что «идеалистическая позиция» Коллингвуда и Оукшотта «ведет к контрфактуальности».

³ Carl G. Hempel. *The Function of General Laws in History* // Patrick Gardiner, ed. *Theories of History*. Glencoe, Ill., 1960. P. 344–356; русск. пер.: Гемпель К. *Функция общих законов в истории* // *Логика объяснения*. М., 1998.

отодвинуть критерий регулярности на второй план. Историки, в принципе, не могут подвести объяснение под категорию регулярности: в этом Гемпель был прав. Если историк говорит, например, что «империализм стал причиной, или, по крайней мере, способствовал началу Первой мировой войны», он или она действительно подразумевает — если, конечно, вообще подразумевает нечто разумное, — что «при прочих равных, если бы не было империализма, не было бы и Первой мировой войны». Конечно, историк, вероятно, подразумевает здесь и что-то еще, так как в истории предполагается действие множества причин на разных уровнях. Таким образом, контрфактические умозаключения, к которым здесь вынужден прибегать историк, должны быть комплексными. В последнем разделе своего «Эссе о метафизике» 1940 года сам Коллингвуд предложил такой прагматический взгляд на каузальность, который имеет мощный контрфактический резонанс: мы склонны придавать статус причины тому, что в ситуации, реально имевшей место, мы с наибольшей готовностью можем представить *по-другому*. Так, мы склонны обозначить как «причину», например, автомобильной аварии все, что мы с наибольшей охотой готовы представить как нечто, что могло быть *по-другому*. Подумайте, как много существует возможных причин: неровности дороги, превышение скорости, невнимательность водителя, опьянение водителя, недостатки конструкции автомобиля. Убирая в воображении тот или иной фактор, мы допускаем, что авария не произошла бы — и тем самым придаем каузальный характер данному фактору. Обращает на себя внимание то, что Коллингвуд не продолжил эту многообещающую линию размышлений в «Идее истории»¹.

¹ R. G. Collingwood. An Essay on Metaphysics. Oxford, 1940. P. 296–312, особенно: P. 304ff. Пример с автомобильной аварией появляется в главе «Causation in Practical Natural Science», а не в (разочаровывающей) главе «Causation in History».

По сути, историкам *необходимо* прибегать в своей работе к контрфактическим рассуждениям. Однако я с беспокойством должен отметить, что встречал (причем гораздо чаще, чем хотелось бы) историков, для которых этот факт является новостью. Но, возможно, это и не удивительно. Если историк видит свою основную цель в том, чтобы описывать и интерпретировать определенную часть прошлой реальности, и при этом не интересуется причинно-следственными отношениями, тогда действительно нет нужды в объяснительной контрфактуальности. Анналистов тоже, в общем, гораздо больше интересовало описание и сопоставление, чем анализ причин. Это верно и в отношении наиболее влиятельной сегодня историографической «парадигмы» – культурной истории. В результате, если историки, действующие в этих рамках, все же пытаются делать каузальные утверждения, они часто оказываются неспособны понять, какой именно тип аргументации необходим для подкрепления таких утверждений. Подобным же образом историки, глубоко приверженные какой-либо исторической теории, стремятся обойти контрфактуальность: тут сама теория говорит им, что то, что произошло, в значительной степени и *должно* было произойти. Также маловероятно, чтобы историки, которые считают своей задачей «просто рассказать историю», были склонны думать о том, как эта история могла бы развиваться иначе. Короче, очень многие из историков уклоняются от всякого обращения к контрфактическим рассуждениям. И некоторые из них стали довольно известными благодаря другим, лучшим, сторонам своей работы. Поэтому мы должны быть благодарны новым контрфактуалистам за то, что они заставили нас задуматься над той важной ролью, которую играет контрфактуальность в истории.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Людам, живущим в эпоху информатизации и мгновенных коммуникаций, историческая дисциплина способна передать немало ценного; возможно, наиболее существенным здесь является понятие *дистанции*. Самая коварная и в то же время часто остающаяся незамеченной особенность информационных и коммуникационных технологий, приобретающих все большее влияние в мире, заключается в том, что они способствуют формированию иллюзии, будто вся реальность может быть моментально охвачена нами, или *могла бы* быть охвачена, если бы наши технические возможности, а также наш доступ к ним, были немного совершенней. Здесь мы имеем ситуацию контекста тотальной связанности, которая фактически означает контекст без контекста, поскольку контекст становится контекстом только тогда, когда существуют другие контексты, противопоставленные ему. Сегодня мы рискуем воспитать целое поколение людей, уверенных в том, что вся реальность принципиально открыта для обзора и контроля, – если не для их собственного, то для выбранных ими политических агентов. Как отметил историк средневековой Европы Томас Биссон, должным образом выполненное историческое исследование дает нам передышку от «гнета настоящего». Должным образом выполненное историческое исследование фокусируется на чем-то принципиально ином, нежели сосредоточенность на «политике и развитии» (т. е. на настоящем и будущем), которая доминирует в крупнейших – прогрессивных, авторитетных, перспективных, предпринимчивых – университетах современного мира. Напротив, оно сосредоточивается на «том далеком прошлом, гуманно

и образно восстановленном, которое только и может поместить наше хрупкое настоящее в перспективу»¹.

Это «далекое прошлое», в общем-то, не обязательно должно быть отдаленным по времени. «Дистанция» здесь не только темпоральная, но и психологическая, эстетическая, концептуальная.

Так же и мышление, открывающее путь к этому «прошлому», не ограничивается исторической дисциплиной. Существует линия мысли, идущая из XVII века от Лейбница к современному философу Ф. Р. Анкерсмиту, которая особенно открыта различиям и многообразию и предлагает философскую основу для исторического мышления, к которому я здесь обращаюсь. Две концепции Лейбница имеют непосредственное отношение к историческому мышлению. Одна из этих концепций – фундаментальный онтологический принцип, монада. В отличие от атомов в ньютоновской традиции, каждый из которых идентичен другому, монады отличны и независимы друг от друга, хотя в то же время и определенным образом связаны со всей тотальностью монад. Другая концепция Лейбница, приложимая к историческому мышлению, основана на идее, что можно представить бесконечное количество миров, отличных от того мира, который существует на самом деле. С нашей точки зрения, настоящий историк (а кстати, возможно, и настоящий антрополог) есть исследователь альтернативных человеческих миров. Нельзя сказать, что все историки придерживаются подобного мнения: фактически, многие историки являются искусными (или не очень искусными) пропагандистами того или иного социального или политического строя, историю которого они пишут. И все же в пределах дисциплины существует некое обязательство постижения прошлого по его собственным пра-

¹ *Thomas H. Bisson*. Письмо к редактору «Atlantic». June, 2005. P. 17.

вилам. В общем, существует неутолимая жажда исторической объективности, которая и делает возможным историческое мышление.

Эта книга, конечно, обращена лишь к одному аспекту исторического мышления – к тому, что я назвал «исторической эпистемологией». Под этим термином я понимаю имплицитные (а иногда и прямо выраженные) принципы «установления правды» о прошлом. Эти принципы неотделимы от специфического контекста конкретного исторического исследования. Соответственно, изучение оснований исторического метода должно включать в себя также и рассмотрение текущих проблем и интересов, преобладающих в самой исторической дисциплине. Именно поэтому в данной книге были подняты самые разные вопросы, характерные для современной практики историков. Во-первых, многое было сказано о взаимосвязи истории и памяти, так как это – предмет жарких дискуссий в сегодняшних историографических спорах. Несколько слов было также сказано о связанной с этим вопросом проблеме, которая состоит в стремлении историков передавать прошлое в его предполагаемой непосредственности. Современные технологии создают *иллюзию*, что такое понимание прошлого, возможно, и есть опасность, что технологии будущего сделают эту иллюзию еще правдоподобней и притягательней. Осведомленность об эпистемологических достижениях и границах истории может помочь нам более ясно понять, какими должны быть взаимоотношения между историей и памятью. Она также может помочь рассеять иллюзию непосредственности.

Во-вторых, в нашей книге невозможно было обойти проблему нарратива – самую обсуждаемую в последние годы. Книга исследует нарратив в двух планах. Во-первых, рассматриваются отношения между нарративом и эпистемологическими требованиями истории. Здесь ставится во-

прос: в какой степени нарратив *сам по себе* может предложить нам некое знание? В книге утверждается, конечно, что нарратив способен дать нам знание в той степени, которая позволит понять установку – мировоззрение – историка, либо того рассказчика (создателя мифа), которого изучает сам историк. Второй вопрос книги: как нарратив относится к тому, что не является нарративом в работе историка о прошлом? Я не буду утруждать читателя сложным содержанием главы II, §2. («Нарратив и четыре задачи историописания»). Скажу лишь еще раз, что некоторые из выводов главы являются решающими для ясного осмысления историографического проекта. Например, в своем стремлении к созданию правдоподобных нарративов многие историки впадают в нечто вроде «эпистемологического греха», забывая о необходимости контрфактического рассуждения для исторического мышления. Я понимаю «контрфактическое рассуждение» как в строгом, так и в широком смысле: как рассуждение по принципу «без этого бы не...», рассуждения, без которого утверждения о причинах и следствиях – не более чем шарлатанство; и как общее предписание всегда учитывать свидетельства «за» и свидетельства «против» тех заявлений, который историк намерен сделать. В книге также рассматривается второй аспект проблемы нарратива в контексте современного историописания и исторического мышления, а именно – очевидный крах той идеи, что все прошлое может быть охвачено в рамках *одной*, официальной истории, так называемого «большого нарратива», под который могут быть подведены остальные, «более мелкие» нарративы. Многообразие взглядов историков привело к многообразию исторических нарративов. Результатом стала так называемая «фрагментация» (некоторые назвали бы ее обогащением) нашего понимания исторического прошлого.

В-третьих, после фрагментации в книге рассматривается взаимодействие фрагментации и связности в истории. Утверждается, что фрагментация – совсем не обязательно негативный феномен. Более того, попытка достичь связности – далеко не всегда явление позитивное, хотя это стремление есть необходимый и важный стимул к пониманию мира человеческой истории (ибо как можно говорить о том, что мы поняли нечто, если оно осталось для нас бес-связным и непонятным?). Далее, в книге доказывается, что даже в условиях явной фрагментации в любой исторической дисциплине, достойной этого имени, всегда остается призрак «большого нарратива» – пусть даже всегда недостижимый идеал всеобъемлющей когерентности.

Наконец, наша книга является размышлением об объективности и теоретизировании в истории. Если и есть нечто, объединяющее историческую дисциплину, то это сохранившаяся приверженность объективности. Но это не *одна единственная* объективность. Скорее, это набор отличных друг от друга, но в то же время взаимосвязанных объективностей. Существует дисциплинарная объективность, подразумевающая консенсус между сообществами историков; диалектическая объективность, допускающая чувствительность некоторых историков к особенностям исторических объектов, которые они описывают, объясняют и интерпретируют; процедурная объективность (наиболее важная для настоящей книги), являющаяся прежде всего методологической по своей природе; и, наконец, существует недостижимый идеал абсолютной объективности – мир истории в том виде, как его может постичь некое всезнающее божество. Конечно, такое божество вообще не нуждалось бы в истории – и именно потому, что его всезнание позволяет ему охватить все человеческое одним взглядом, с помощью одной единственной *theoria*. Историки же – не всезнающие существа; они понимают, что абсолютное

видение им недоступно, и все же они до сих пор привержены призраку такой объективности.

В завершение необходимо сказать о том, как в истории культивируется дистанция между прошлым и настоящим. Обращенность истории к давно прошедшему не только предлагает альтернативное видение того, как мы должны мыслить и жить сейчас. Она также часто предлагает отход от настойчивого требования, чтобы результаты любого исследования обязательно соответствовали требованиям политического момента. В 2003 году США начали войну против Ирака – авантюру, основанную на заявлениях, что Ирак владеет быстро разворачиваемым оружием массового уничтожения. На самом деле, исследование, которое подтвердило эти факты, было фальсификацией, инспирированной группой заинтересованных лиц в американской администрации с целью найти убедительный *casus belli*, а также жадностью или непрофессионализмом так называемых «экспертов» из так называемых «разведывательных агентств»¹. Историческая дисциплина, сосредоточенная на «памяти» и на том, как ей быть полезной в настоящем, вряд ли способна на что-то большее. Напротив, историческая дисциплина, должным образом следующая правилам исторической эпистемологии, может служить образцом честности и высокого интеллекта в исследовании человеческого мира.

¹ Более подробно об этом см.: *David Barstow, William J. Broad, Jeff Gerth. How the White House Embraced Disputed Arms Intelligence // New York Times, October 3, 2004; <http://www.nytimes.com/2004/10/03/international/middleeast/03tube.html>; а также многие другие веб-сайты); James Risen, State of War: The Secret History of the C.I.A. and the Bush Administration. N. Y., 2006.*

КОММЕНТАРИИ

Комментарии к изданию не содержат никаких интерпретативных целей; их задача состоит лишь в том, чтобы раскрыть некоторые аспекты размышлений автора и пояснить перевод иностранных слов и выражений.

Введение

1. *«понимают это на самом элементарном уровне»*. – Буквально у автора – «запудривание мозгов».

История с памятью, история без памяти.

1. *«архив был основан для этой цели Йад Вашем в Израиле»*. – Музей Холокоста, в котором собраны и продолжают собираться материалы о трагедии еврейского народа во время Второй мировой войны.

2. *с излишне оптимистической Америкой: «а теперь желаю хорошего дня» и предприимчивого «вставай и иди»*. – Речь идет о расхожей фразе (даже автоматизме, своего рода), которую произносит каждый американец много раз в день, будь то в магазине (продавец – покупателю и наоборот) или просто на улице при встрече со знакомым. Фраза *«Вставай и иди»* означает «иди работай, решай проблемы».

3. *«которую мы можем определить как эстетизм истории»*. – В оригинале *aesthesis* истории, который мы перевели как *эстетизм* истории.

История. Память. Идентичность

1. *«французского социолога Мориса Хальбвакса (1877–1945)»* – франц. социолог, представитель школы Дюркгейма; погиб в Бухенвальде в 1945 году. На русском языке издана работа: «Социальные классы и морфология». М.–СПб., 2000. Подробнее о нем см., например: П. Хаттон. История как искусство памяти. СПб, 2003. С. 191–229.

2. *«множественное личностное расстройство»* (multiple personal disorder – MPD) – психическое расстройство, при котором у человека наблюдается раздвоение личности, часто взаимопротивоположное. Т. к. любой тип личности стремится при этом доминировать, то он и определяет поведение человека и его отношение к ок-

ружающему миру в каждый момент времени, причем окружающие этого человека люди не осознают этого. Переход от одного типа личности к другому осуществляется внезапно, в остальном их психическое состояние остается нормальным. Считается, что данное состояние есть результат насилия над ребенком, проводившееся в детском возрасте.

3. «В 1994 американская психиатрическая ассоциация переименовала MPD в “диссоциативное расстройство личности”». – «Диссоциативное расстройство личности» есть крайнее проявление действия защитных механизмов психики, сопровождающееся потерей памяти на важные события, происходившие с человеком (амнезия); уходом из дома и принятием новой идентичности (реакция бегства); расщеплением личности и трансподобным состоянием с сильно сниженным откликом на внешние раздражители.

4. «Далее Ницше доказывает, что память, подобно забывчивости, “активна”». – Ф. Ницше. К генеалогии морали: Соч.: В 2-х т. Т. 2. М., 1990. С. 439–440.

5. «autopsy» – в данном контексте: наблюдение за кем-то (“looking to see for oneself”).

6. «В работе “История как письмо” Серто...». – Речь идет о принципах методологии исторического познания, предлагаемых М. де Серто. См. предисловие переводчика; работы по исследованию французской исторической школы XX века.

7. «Работы Хейдена Уайта известны намного лучше, чем работы Серто». – Прежде всего речь идет о работе Уайта «Метаистория: историческое воображение в Европе 19 века», где он предложил и обосновал идею о возможности сравнения прошлого с текстом о нем и о доказательстве общности правил создания исторического нарратива, спекулятивной философии истории и исторического романа. Кроме того, стали хрестоматийными такие его работы, как: *Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism*. Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press, 1978; *The Content of the Form: Narrative and Historical Representation*. Baltimore: Johns Hopkins Univ. Press, 1987, – в которых он развивает свою концепцию риторики и нарратологии. См. предисловие переводчика; работы по исследованию американской исторической науки XX века.

Обладает ли нарратив собственной познавательной ценностью?

1 Разумно начать с обсуждения предполагаемого кризиса «большой нарратив» (*grand récit*) – в отечественной литературе по-

няте *grand récit* переводят как «великий», «большой» и «гранд-нарратив». Мы пришли к выводу, что наиболее удачным все-таки является термин «большой нарратив», т. к. он позволяет избежать всякого рода ненужных коннотаций.

2. *telos* – цель.

3. *tout court* – в целом.

4. *petits récits* – малый нарратив.

5. «Кафковский “Процесс” блестяще иллюстрирует этот момент». – Речь идет о знаменитом романе Ф. Кафки «Процесс». Его главный герой Йозеф К. однажды утром был арестован посланцем некоего таинственного суда, который неофициален (находится на чердаке) и всемогущ (находится на всех чердаках). Невинных для этого суда не существует. Йозеф К. не убегает от этого суда, хотя и пытается пассивно сопротивляться. Йозеф К. как личность осуждает себя как чиновника, но мир «чиновников» убивает его как «личность». Суд, описанный в романе, предстает, таким образом, как враждебный мир и аллегория высшего суда, а сам роман поднимает экзистенциальные проблемы мучительных соблазнов одиночества.

6. «Можно вспомнить в этой связи о примере Карла Гемпеля, касаемом попытки завести автомобильный радиатор в холодную ночь». – Мегилл напоминает начало работы Гемпеля «Функция общих законов в истории», где Гемпель связывает определенное множество детерминирующих условий (холодная ночь, автомобиль оставлен на улице) и законов физики (при 0 градусов вода замерзает) // К. Гемпель. Функция общих законов в истории // К. Гемпель. Логика объяснения. М., 1998.

7. «соображения Фуко в работе “Слова и вещи: археология гуманитарных наук” (1966) о последовательности *epistemes*». – Речь идет об известном выделении Фуко «эпистем» как неких синхронных структур, скрытых в каждой культуре и действующих как «исторические априори», позволяющих ставить ту или иную теоретическую проблему и предлагать способы ее решения. Отличаются эпистемы друг от друга типом отношения между «означающим» и «означаемым». Согласно Фуко, основным принципом эпистемы эпохи Возрождения была категория сходства, слова и вещи взаимно переплетались, и вещи «командовали»; период классицизма (начало XVII века) руководствуется категориями тождества и различия, слова отделяются от вещей, «командуют понятиями», выраженные в словах; эпистема современности (начало XIX века) характеризуется разворачиванием реальности во времени, возникает история. Мышление здесь пытается выявить структуру предпосылок знания, создавая

метафизику категорий «труд», «жизнь», «язык», что ведет к возникновению образа человека, соединяющего в себе субъект и объект знания. Таким образом, Фуко обосновал идею смены эпистемических полей, но оставил открытым вопрос о причинах их смены.

8. «У. Гэлли подчеркивает “прослеживание” (“followability”) историй» – от англ. «to follow» – следовать, тогда «followability» – способность быть прослеживаемым. Историческое понимание, согласно Гэлли, заключается в слежении за развитием фабулы исторического нарратива. Для наиболее яркой иллюстрации процедуры прослеживания Гэлли приводит пример игры в крикет, которой, по его мнению, свойственна структура нарратива, т. к. внимание игрока (как и читателя) направлено к ожидаемому концу, а неожиданности в ходе сюжетного действия не только приемлемы, но и существенны для получения читателем удовольствия.

9. «нарратив глубоко связан с процессами, которыми индивидуумы и их группы придают смысл самим себе – даже определяют себя». – Объясняя «живучесть» нарратива Н. Партнер в выступлении на XIX Международном конгрессе историков (Австралия, 2005, июнь), подчеркнула, что он глубоко вписан в лингвистические и познавательные структуры человека. Нарратив является и самоочевидным и реальным, понятным каждому, он существенная связывающая функция человеческой идентичности и ядро веры, мнения, принятия решения и суждения. Например, нарратив стал ключевым способом объяснения каждой стороной конфликта на Ближнем Востоке, на Балканах, в Ирландии. В Ираке шииты, подавляемые Саддамом Хуссейном, «пишут» нарратив резни и притеснения, восходящий к основанию их религии. Нарратив имеет обманчиво беспристрастную форму, граничит с литературной теорией и это придает ему особую власть над историей, власть над ее сообщением, придает убедительность оправданию точки зрения главного героя нарратива, а ему самому – долгую жизнь в историописании.

10. *modus operandi* – принцип работы.

11. «Old Régime» – вероятно, имеются в виду церемониальные действия «Старого порядка». Термин прямо относит к работе А. Токвиля «Старый порядок и революция». М., 1997.

12. «что это не означает – не может означать – что “все сгодится”». – Под термином «все сгодится» (anything goes) имеется в виду лозунг, выдвинутый П. Фейерабендом в работе «Против метода» в процессе обоснования им позиции «методологического анархизма». Смысл этого лозунга заключается в том, что в развитии науки когда-либо может пригодиться любое решение и любая стратегия

научного поиска, даже если они противоречат принятым здесь и сейчас методологическим стандартам и нормам, поскольку последние сами меняются в ходе истории. (*Фейрабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986.*) В указанном издании выражение «anything goes» не совсем удачно переведено как «все дозволено».

Нарратив и четыре задачи историописания

1. *tieferliegend* – глубже.

2. *die Sache selbst* – сама вещь. Термин, наиболее часто употребляемый в области феноменологии; в частности, используется Э. Гуссерлем при рассмотрении ступеней редукции (конкретно – эйдетической редукции) в феноменологической установке.

3. «*между “номотетическими” науками, занятыми поиском общих и постоянных законов, и “идиографическими” науками*». – В инаугурационной речи ректора Страсбургского университета Виндельбанд сформулировал концепцию классификации наук не по предмету, а по методу. Естественные науки заносились в раздел наук о законах, социально-гуманитарные дисциплины – в раздел наук о событиях. Оба вида наук должны были оперировать разными типами мышления: науки о законах – номотетическим, открывающим общие законы в целях постижения природы, а науки о событиях – идиографическим, описывающим отдельные, уникальные факты и аспекты реальности с целью обоснования самих себя. Как приемы познания, они могли дополнять друг друга, но любые проблемы истории развития науки осмысливались с помощью идиографического метода. Идеи Виндельбанда были развиты Г. Риккертом. Метод естествознания он назвал «генерализирующим», а метод истории – «индивидуализирующим», т. к. история есть наука об индивидуальном и только оно существует реально. Идиографический метод был призван возродить значение теории исторического познания и показать, что исследование частного может быть не менее важно, чем исследование общего. Идиографический метод исключает подведение исторических событий под общий закон. Он предполагает движение в исторических исследованиях от формы к содержанию.

4. «*Нижней Слоббовии*». – Слоббовия – мифическое место, населенное бедными невежественными «деревенщинами» или жителями гор, например. Автор хочет подчеркнуть, что позитивистская теория применима к любым историческим местам и пространствам, даже самым невероятным. Само слово заимствовано из комиксов 1960-х, его семантика может быть передана словом «гденибудвилль», т. е. везде, в принципе где угодно.

5. «трактовкой понятия “герменевтический круг”». – Герменевтический круг – круговая структура понимания: для того чтобы понять целое, необходимо понять его части, но для понимания частей нужно иметь представление о целом. «Целое надлежит понимать на основании отдельного, а отдельное – на основании целого... В обоих случаях перед нами круг... движение понимания постоянно переходит от целого к части и от части к целому. И задача всегда состоит в том, чтобы, строя концентрические круги, расширять единство смысла, который мы понимаем» (Гадамер Г.-Г. О круге понимания // Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991. С. 72, см. особенно: С. 81–82).

6. *raconter* – сообщать, рассказывать.

7. *post hoc, ergo propter hoc* – «после этого» означает «вследствие этого».

8. *Паратаксис* – в грамматике бессоюзное сочинение или подчинение; *гипотаксис* – отношение подчинения предложений, приводящее к зависимости одного из них от другого.

9. *histoire-récit* – «история-рассказ».

10. *вытеснили морисков*. – Мориски – мавры, оставшиеся жить в Испании после победы над ними короля Фердинанда Католика и принявшие христианство. В 1609 году были из Испании изгнаны.

11. *ведет к пуантилизму*. – Пуантилизм – манера живописи мазками в виде точек, неоимпрессионизм.

12. «мениппеанскую сатиру». – Мениппея – от имени греч. драматурга Мениппа. Это экспериментально-фантастический жанр литературы (беседа с мертвыми, полет на небо и пр.). Варианты мениппей были созданы Шекспиром, Пушкиным, Булгаковым; идея мениппеи использовалась Бахтиным для анализа литературных текстов, «смеховой культуры» и культуры в целом. Мениппея – многофабульная и многосюжетная конструкция, структура которой совершенно отлична от трех фундаментальных родов литературы – эпоса, лирики и драмы. Если в последних существует одна пара «фабула – сюжет», то в мениппее их несколько. Образ рассказчика – персонажа, наделенного особыми функциями, – сводит воедино все сюжеты. См. об этом, например: Барков А. Прогулки с Евгением Онегиным. Киев, 1998.

13. *historia rerum gestarum* – рассказ о прошлом, описание деяний.

14. «Основываясь на российской формалистической традиции». – Русская формалистическая традиция: Б. В. Шкловский, Ю. Н. Тынянов, Б. М. Эйхенбаум создали свою теоретическую по-

этику, основанную на подходе к произведению как к конструктивному целому. Литература рассматривалась формалистами как система знаков, отсюда ими была предложена идея замкнутости искусства; формалисты пытались показать механизм того, как «сделано искусство». О связи формализма и исторических исследований см., например: *Калинин И.* История как искусство членораздельности (исторический опыт и металитературная практика русских формалистов) // НЛО. № 71. 1. 2005.

15. *«Итак, нам затруднительно в точности определить, что за исторический персонаж Средиземноморье...»* – Ф. Бродель. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. Ч. I. М., 2002. С. 15–16.

16. *regard de fin du monde* – с точки зрения конца Мира; с точки зрения Бога.

17. *Estates-General* – Генеральные штаты, высший орган сословного представительства феодальной Франции и Нидерландов. Первые были созданы в 1302 году, с 1614-го по 1789 годы Генеральгье штаты не собирались ни разу. 5 мая 1789 года король Людовик VII созвал Генеральные штаты, а 17 июля депутаты третьего сословия объявили себя Национальным собранием. 9 июля Национальное собрание стало Учредительным высшим органом государственной власти революционной Франции.

18. *завоеванию земли Зейдер-Зее*. – Имеется в виду залив Зейдер-Зее (Нидерланды). В 1930-х годах он был отгорожен от моря дамбой, в результате чего одна часть (более 2 тыс. кв. км) территории дна залива была осушена, а другая стала соленым озером. В настоящее время земля Зейдер-Зее не существует.

19. *«утверждения о каузальной обусловленности предполагают существование контрфактического условного высказывания»*. – См. об этом, например: *Г. Х. фон Вригт.* Объяснение и понимание // Логико-философские исследования М., 1986. С. 104–105.

20. *sine qua non* – неперенное условие.

**Фрагментация и будущее историографии:
размышления о работе Питера Новика
«Эта благородная мечта: “вопрос объективности”
и американская историческая профессия»**

1. *выявление некоторых значений работы Питера Новика «Эта благородная мечта: “вопрос объективности” и американская историческая профессия»*. – В 1988 году вышла в свет книга П. Новика

«Эта благородная мечта: вопрос объективности и профессия историка в Америке» (*Novick P. That Noble Dream: the «Objectivity Question» and the American Historical Profession. New York, 1988*). Эта работа до сих пор считается лучшим социокультурным исследованием развития современной историографии США. Выводы Новика сводятся к двум основным моментам: 1) он считает, что сегодня среди американских историков наиболее предпочитаемыми и влиятельными являются не работы их коллег, а работы политологов (Дж. Роулс, Б. Мур, В. Бернхейм), социологов (Ч. Тилли, Т. Скокпол), антропологов (С. Минц, К. Гирц), философов-лингвистов (А. Данто, Д. Серль, Н. Ришер, Л. Витгенштейн) и др. Подобное положение вещей угрожает американским историкам потерей их профессиональной идентичности. Конечно, в американской исторической науке всегда наблюдался весьма широкий спектр различных школ и направлений, но столь широкий разброс интересов порождает в американской исторической общине провинциализм и сверхдисциплинированность; 2) идея объективности исторического знания, защищаемая сторонниками Ранке, – не более чем прекрасная иллюзия, в исторической практике недостижимая. Новик полагает, что эпистемологическая революция постмодерна и развитие «новой» истории ясно показали, что для историков нет жесткой системы последовательных приемов и действительно «всяк сам себе историк» – идея американских историков 1930-х годов Ч. Бирда и К. Бекера. Культурологическая парадигма постмодерна стимулирует кризис исторической науки, но изменить объективные познавательные и исторические обстоятельства нельзя. Этот общий вывод Новика с разной степенью энтузиазма поддерживает сегодня большинство историков. Показательна в этом отношении книга А. Апплби, Л. Хант и М. Джейкоб «Говоря правду об истории», вышедшая в Нью-Йорке в 1994 году (*Appleby A., Hunt L., Jacob M. Telling the Truth about History. New York, 1994*). Авторы проанализировали американскую историографию в контексте эволюции англо-американской науки вообще. Ими выделены 3 обобщающие модели в ее развитии: 1) героическая модель, реализованная Ньютоном – Бэконом – Декартом. В ней историк выступает беспристрастным исследователем прошлого; 2) модель, включающая в себя наличие имманентных объективных законов социального развития. Она реализовалась в идеях об исторической истине Гердера, Ранке, Гегеля, в идеях о прогрессе и эволюции человека и общества Конта, Дарвина, Маркса. С точки зрения авторов книги наиболее существенны для американской историографии концепции Маркса, Вебера и Дюрк-

гейма. Именно эти концепции вдохновили появление трех крупнейших школ интерпретации истории XX века: марксизма, «Анналов» и американского модернизма; 3) национальная модель, основанная на абсолютизации национальной историографии, и в частности историографии США. В США, по мнению авторов книги, историческая наука всегда базировалась на идее национальной уникальности и исключительности американского менталитета и образа жизни, что, в основном, и отличает ее от исторической науки Европы. Апплби, Хант и Джейкоб подчеркнули, что сегодня американским историкам не остается другого выбора, кроме как исследовать философские основания своей дисциплины. «Засвидетельствовав негативы и позитивы правды и релятивизма, возникшего в этом столетии, историки не могут полагать, что это и в дальнейшем будет для них обычным делом. Очевидно, что следует переосмыслить понимание истины и объективности» (Р. 194).

2. «или к любой другой парадигме». – Понятие научной парадигмы Куна весьма многозначно, причем взгляды самого Куна на сущность научных парадигм претерпели заметные изменения в течение 25 лет его творческой деятельности. Выделяют четыре этапа таких трансформаций: работа Куна «Коперниканская революция» (1957), в которой основной единицей анализа науки является понятие научной традиции; работа «Структура научных революций» (1962), где это понятие парадигмы вводится; работы 1969–1975 годов, где предпринимается попытка заменить понятие парадигмы понятием «дисциплинарной матрицы» в связи с вводом целой серии уточнений в сущностные характеристики парадигмы; работа «Теория черного тела и квантовая прерывность. 1894–1912» (1978), в которой Кун попытался отказаться от понятий парадигмы и дисциплинарной матрицы, сохранив их принципиальный смысл.

«Большой нарратив» и дисциплина истории

1. *Grundlagenreflexion* – нем.: *Grundlagen* – «основные идеи», *Reflexion* – «мышление», *Grundlagenreflexion* в данном контексте – «размышление».

2. *Begriffsgeschichte*, – нем.: «история понятий». Н. Копосов, например, считает, что история понятий Райнхарта Козеллека, так же, как и история памяти Пьера Нора, являются в сегодняшних направлениях исторической мысли наиболее интересными и перспективными. (См об этом, например: *Копосов Н.* Основные исторические понятия и термины базового уровня. Хватит убивать кошек! М., 2005. С. 54–64.)

3. *per se* – лат.: как таковой.

4. *grosso modo* – лат.: в широком смысле.

5. *per definitionem* – лат.: по определению.

6. *ad hoc* – лат.: к этому, для этого, кстати.

7. *lingua franca* – лат.: смешанный язык, используемый людьми разных стран.

8. *сложную позицию пирронова или монтенева скептицизма.* Имеются в виду: Пиррон (Pyrrhon) из Элиды (около 360 – около 270 годы до н. э.), древнегреческий философ, один из основателей скептицизма, известный своими тропами – оборотами речи, из которых явствует, что все существующее относительно; Мишель Монтень (Michel de Montaigne) (1533–1592) – французский философ и писатель. В знаменитой книге «Опыты» (М., 1998) – своде размышлений по вопросам философии, истории, политики, религии, морали, естественных наук и т. д. – Монтень приходит к выводу об относительности всех вещей.

9. *в особенности я имею в виду понятие difference Деррида.* – Понятие письма – одно из центральных понятий концепции деконструкции – Деррида употребляет в двух смыслах: как противопоставление речи (фонетическая модель) и как архи-письмо, грамма, разнесение (новый концепт письма). Анализируя разнесение в качестве основного элемента письма, Деррида обращает внимание на необычайность написания этого слова: вместо привычного *difference* – *différance*. Буква «а» в этом слове пишется и читается, но ее нельзя услышать. Эта буква есть грамматическая и графическая агрессия, указывающая на вмешательство написанного знака. Разнесение есть не концепт, а, скорее, конфигурация концептов, порожденная непрерывной работой странной «логики» буквы «а» и проявляющаяся в определенный момент. Игра разнесения (*différance*) делает так, что ни одно слово, никакой концепт, никакой важный тезис не претендуют на подытоживание и организацию, исходя из теологического присутствия центра, движения их различий и их размещения в тексте (Деррида Ж. Позиции. Киев, 1996. С. 15).

Связность и несвязность в исторических исследованиях: от школы «Анналов» к новой культурной истории

1. *или Отцов-основателей* – имеются в виду авторы Декларации независимости США – Т. Джефферсон, Дж. Вашингтон и др.

2. *когда в 1975 École des Hautes Études en Sciences Sociales* – Школа высших исследований социальных наук.

3. основали *Annales d'histoire économique et sociale*. – Анналы экономической и социальной истории.

4. Будучи студентом *École Normale Supérieure*. – Эколь Нормаль – Высшая школа, иногда переводится как Высшая нормальная школа (например, так называет ее А. Я. Гуревич). Это высшее учебное заведение, имеющее самый высокий статус среди высших учебных заведений во Франции.

5. *Franche-Comté*. – Франш-Конте – одна из французских провинций.

6. *старшим normalien* – студентом Эколь Нормаль.

7. основал журнал *Revue de synthèse historique* – можно перевести как «Журнал исторического синтеза».

8. *histoire historisante* – историзирующая история.

9. «большая длительность (структура) [*la longue durée*], средняя длительность (конъюнктура) и короткая длительность (событие)». – Введя эти понятия, Бродель предложил схему прочтения исторического времени по трем ритмам: большой длительности – неподвижная история взаимоотношения человека с окружающей средой (географическое время); средней длительности – медленная история групп и коллективных образований (социальное время); короткой длительности – история кратковременных колебаний (индивидуальное время).

10. *Encyclopédie française* – Французская энциклопедия.

11. «В структуре науки логического эмпиризма». – Логический эмпиризм относил себя к «ученым», а не к гуманитариям. Для него было характерно неприятие метафизики, стремление перестроить философию на строго научной основе, создать универсальный язык единой науки. Инструментом для этого должна была стать логическая символика, разработанная Фреге, Расселом и Уайтхедом. Создание такого языка должно было устранить разрыв между словами и опытом, избавить человека от двусмысленностей обыденного языка. Символом этого стремления стал проект создания на базе Чикагского университета «Международной энциклопедии унифицированной науки», к которому, кроме указанных А. Мегиллом философов, были также привлечены Ч. Моррис и Дж. Дьюи. Цель проекта заключалась в интегрировании методов и результатов конкретных наук.

12. *l'Unité vivante de la Science* – живое единство науки.

13. «*Histoire science de l'Homme, science du passé humain*» – История – наука о человеке, о прошлом человека.

14. *à leur date* – фр.: их датировка.

15. *tout court* – фр.: коротко, просто.

16. *его лекции ENS*. – лекции в Эколь Нормаль.

17. «*Vers une autre histoire*» – «К другой истории».

18. *Revue de métaphysique et de morale* – «Обзор метафизики и морали».

19. *Combats pour l'histoire* – книга Л. Февра «Бои за историю», представляющая собой собрание работ (эссе, лекций, выступлений и пр.) Февра разных лет. В русское издание «Боев за историю» вошли не все работы, имеющиеся во французских и английских изданиях. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что и в эти издания, по общему признанию многих историков, вошло далеко не все из наследия Февра, что можно было бы включить в «Бои за историю».

20. *École Pratique des Hautes Études* – Практическая школа высших исследований.

21. «название которого теперь было *Annales: Économies, Sociétés, Civilisations*». – «Анналы: экономика, общества, цивилизации».

22. *Maison des Sciences de l'Homme* – Дом наук о человеке.

23. *histoire dirigée* – управляемая история. О ее принципах см., например: Л. Февр. Коллективные исследования и будущее науки // Л. Февр. Бои за историю. М., 1991. С. 52–53.

24. *histoire totale* – тотальная история, в которой рассматривается взаимодействие всё и вся. Февр предложил говорить об *histoire tout court* как оппозиции экономической или социальной или политической истории. Р. Тоуни использовал термин *histoire integrale*, антрополог Марсель Мосс считал необходимым использовать предикат *totale* как характеристику антропологического подхода к исследованию социальности. Бродель использовал этот термин в заключении второго издания его «Средиземного моря». Имеет коннотации в *histoire globale*, сформулированной Броделем таким образом: «Глобальность не означает призыва писать полную историю мира (*histoire totale du monde...*)... но просто желание, если исследователь встречается с проблемой, систематически идти за ее границы» (*Braudel F. En guise de conclusion // Review. Vol. 1. P. 245*). Сам Бродель рассмотрел средиземноморский мир от Сахары до Атлантики. Существует предположение, что термин *histoire globale* был заимствован из социологии Джорджа Гурвича.

25. *histoire-problème* – «проблемно-ориентированная история»; термин-слоган Люсьена Февра, который утверждал, что вся история должна принять эту форму.

26. *histoire des mentalités* – термин заимствован из работы Леви-Брюля «Менталитет первобытных народов» («*La mentalité primi-*

tive») (1922), использовался Дюркгеймом и Моссом. Есть в работе Марка Блока «*Royal Touch*» («Короли-чудотворцы») (1924), хотя сам Блок (как и Дюркгейм) предпочитал *histoire des representations collectives* – история коллективных представлений, *representations mentales* – ментальные представления, и даже *illusions collectives* – коллективные заблуждения. В 1930-е годы Февр ввел термин *outillage mental* – ментальная оснастка (перевод термина предложен А. Я. Гуревичем), но он не имел большого успеха. Жорж Лефевр ввел в обиход термин *histoire des mentalites collectives* – история коллективных ментальностей.

28. «предложенной Пьером Бурдьё, особенно его понятия *habitus* и культурного капитала». – *habitus* (габитус) – лат.: свойство, состояние, положение – ментальные или когнитивные структуры посредством которых люди действуют в социальном мире, «продукт интериоризации структур» социального мира. *Pierre Bourdieu. Social Space and Symbolic Power // Sociological Theory. Vol. 7. P. 14–25.* «Габитус, продукт истории, порождает индивидуальные и коллективные практики (и, следовательно, саму историю) в соответствии с порожденными историей схемами» (*Pierre Bourdieu. Outline of a Theory of Practice / Trans. Richard Nice. Cambridge, 1977. P. 82*). Культурный капитал рассматривается Бурдьё в контексте понятия поля как сети отношений между объективными позициями исторических/социальных агентов или институтов. Позиции различных агентов в поле определяются количеством и относительным весом капитала, которым они обладают. Бурдьё выделяет 4 вида капитала: экономический, культурный, социальный, символический (см. например: *Pierre Bourdieu. Rethinking the State: Genesis and Structure of the bureaucratic field. // Sociological Theory. Vol.12. P. 1–18; Бурдьё П. Структуры, habitus, практики // Современная социальная теория: Бурдьё, Гидденс, Хабермас. Новосибирск, 2005; Шюес К. Анонимные силы габитуса // Логос. Философско-литературный журнал. № 10. 1999. С. 20*).

Объективность для историков

1. Прав был Ницше, утверждая в работе «*К генеалогии морали*», что во всём мире «существует только перспективное зрение, только перспективное “познавание”». – Здесь автор имеет в виду перспективизм – разновидность субъективистской теории познания, в которой мир предстает в виде личной «перспективы» каждого человека. Это значит, что особенности восприятия субъектом объекта определяют процесс познания. Разработана в трудах Тейчмюллера

(1832–1888), Ницше и Ортеги-и-Гассета. Тейчмюллер обосновал тезис о том, что единственной фундаментальной реальностью является самость человека, а концептуальный мир есть проекция ее конститутивной активности. Ницше утверждал, что каждый человек, интерпретируя мир, вкладывает в эту интерпретацию собственный смысл, поэтому процесс познания понимается как индивидуальное восприятие мира. Последний обладает бесчисленными смыслами – «перспективами» или «перспективными» подходами к различным вещам, за плюрализмом которых реальность исчезает и на первый план выдвигается фигура самого познающего субъекта. В отличие от Ницше, Ортега-и-Гассет подчеркивает важность реальности для создания перспективы, идея которой, согласно ему, есть новое слово в понимании человека как субъекта познания. Перспективистская эпистемология сводит познавательную деятельность к актам спонтанного восприятия мира и не рассматривает познание как понятийную, теоретическую деятельность.

2. *ad infinitum* – лат.: на бесконечное время (отложить).

Проблема исторической эпистемологии

1. «назвал такой способ доказательства “абдукцией”, подразумевая, что он должен быть добавлен к дедукции и индукции как базовая категория логики». – Термин «абдукция» был предложен Ч. Пирсом и означал семиотическую интерпретацию, инсайт, «момент озарения», который вкрадывается в наше «перцептивное суждение». С этой точки зрения, любой акт восприятия уже есть абдукция (*Peirce Ch. Perceptual Judgments // Philosophical Writings of Pierce. Dover Publications, 1955. P. 394*). Абдукция, таким образом, есть догадка, полученная на основе выведения возможной гипотезы из частного факта на основе некоторой закономерности, но никак не «базовая категория логики», – здесь Мегилл не прав. Тем не менее с помощью абдукции было сделано немало научных открытий. Метод абдукции исследовал У. Эко. Он предложил три вида абдукции: гиперкодирование (общее правило получается автоматически); недокодирование (общее правило выбирается среди альтернативных); креативная (общее правило создается заново) (*U. Eco. Semiotics and the Philosophy of Language. Bloomington: Indiana Univ. Press, 1984*). См об этом, например: *Крупенина Е. В. Философская проблематика в романах У. Эко: Дис. ... канд. филос. наук. М., 2005*). Применительно к деятельности историков метод абдукции рассмотрел К. Гинзбург в работе «Приметы» (*Карло Гинзбург. Мифы-эмблемы-*

приметы. М., 2004). Гинзбург считает, что «...к концу XIX века в области гуманитарных наук бесшумно возникла некая эпистемологическая модель (если угодно, парадигма), которой до сих пор не уделялось достаточно внимания» (с. 189) и называет ее уликовой (или, в зависимости от контекста, следопытной, дивинационной, семейтической). Уликовая парадигма есть парадигма косвенных уликов в научном знании. Она ориентирует познающего субъекта на выработку в себе чувствительности к звукам и запахам, к индивидуальным случаям и ситуациям, к незначущим, на первый взгляд, документам и на умение с помощью этикет улик «дешифровать реальность». Уликовая парадигма, таким образом, как индивидуализирующее знание, всегда антропоцентрична и этноцентрична. Гинзбург полагает, что уликовая парадигма, оперирующая качествами, в норме всегда была свойственна историческому знанию. Но в нем ей нередко противостояла другая парадигма – галилеевская, ориентированная на количество, на количественную измеримость и повторяемость явлений, на физико-математические методы исследований, и ярко проявившаяся в «социологическом» повороте в историческом знании.

Против непосредственности

1. *упомянул последнюю работу Кена Бёрнса*. – Кен Бёрнс – современный американский режиссёр-документалист.

2. *особенно Microsoft PowerPoint*. – Инструментальная среда для создания мультимедиа-приложений (презентаций).

3. *«Колониального Вильямсбурга» (Plimoth Plantation)*. – Музей, основанный в 1947 году и расположенный в Плимуте, штат Массачусетс. Он воссоздает оригинальные поселения колонии, которая была основана в 1620 году группой религиозных эмигрантов, прибывших в Америку на корабле «Мэйфлауэр».

4. *Innerlichkeit* – нем.: «внутренняя жизнь».

Заключение

1. *casus belli* – лат.: повод для объявления войны.

2. *так называемых «разведывательных агентств»*. – Автор иронизирует: Central Intelligence Agency – Центральное разведывательное управление – буквально переводится как «центральная интеллектуальная служба».

СОДЕРЖАНИЕ

СЛОВА ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ	3
ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ	5
ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА (<i>М. Кукарцева</i>)	11
ВВЕДЕНИЕ (<i>перевод М. Кукарцевой</i>)	69
Глава I. ПАМЯТЬ	91
§ 1. История с памятью, история без памяти (<i>перевод М. Кукарцевой</i>)	91
§ 2. История, память, идентичность (<i>перевод М. Кукарцевой</i>) .	133
Глава II. НАРРАТИВ И ПОЗНАНИЕ	170
§ 1. Обладает ли нарратив собственной познавательной ценностью? (<i>перевод М. Кукарцевой</i>)	170
§ 2. Нарратив и четыре задачи историописания (<i>перевод М. Кукарцевой</i>)	199
Глава III. ФРАГМЕНТАЦИЯ	255
§ 1. Фрагментация и будущее историографии: размышления о работе Питера Новика «Эта благородная мечта: “вопрос объективности” и американская историческая профессия» (<i>перевод М. Кукарцевой</i>)	255
§ 2. «Большой нарратив» и дисциплина истории (<i>перевод М. Кукарцевой</i>)	266
Глава IV. СВЯЗНОСТЬ	314
§ 1. Связность и не-связность в исторических исследованиях: от школы «Анналов» до новой культурной истории (<i>перевод М. Кукарцевой</i>)	314
Глава V. ОБЪЕКТИВНОСТЬ И РАССУЖДЕНИЯ	358
§ 1. Объективность для историков (<i>перевод В. Кашаева, В. Тимонина</i>)	358
§ 2. Проблема исторической эпистемологии: что соседи знали о Томасе Джефферсоне и Салли Хэмингс? (<i>перевод В. Кашаева</i>)	392
Глава VI. ПРОТИВ МОДЫ ДНЯ	438
§ 1. Против непосредственности (Не слишком ли многого мы ждем от истории?) (<i>перевод В. Тимонина, В. Кашаева</i>) .	438
§ 2. Воображаемая история (о «Виртуальной истории» Найалла Фергюсона и подобных работах) (<i>перевод В. Тимонина, В. Кашаева</i>)	450
ЗАКЛЮЧЕНИЕ (<i>перевод В. Тимонина</i>)	458
КОММЕНТАРИИ (<i>М. Кукарцева</i>)	464

Аннотированный список книг издательства «Канон +»
РООИ «Реабилитация» вы можете найти на сайте
iph.ras.ru/kanon или <http://journal.iph.ras.ru/verlag.html>
Заказать книги можно, отправив заявку по электронному адресу:
kanonplus@mail.ru; bozhkoyra@mtu-net.ru

Научное издание

Мегилл Аллан

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭПИСТЕМОЛОГИЯ

**Научный редактор – доктор исторических наук,
профессор *Л. П. Ретина***

Ответственный за выпуск *Божко Ю. В.*

Подписано в печать с готовых диапозитивов 14.10.2008.
Формат 84×108¹/32. Печать офсетная. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 25,2. Тираж 800 экз. Заказ 2868.

Издательство «Канон +» РООИ «Реабилитация».
111627, Москва, ул. Городецкая, д. 8, корп. 3, кв. 28.
Тел. 207-51-13. Тел/факс 702-04-57.
E-mail: bozhkoyra@mtu-net.ru; kanonplus@mail.ru
Сайт: iph.ras.ru/kanon или <http://journal.iph.ras.ru/verlag.html>

Республиканское унитарное предприятие
«Издательство «Белорусский Дом печати».
ЛП № 02330/0131528 от 30.04.2004.
220013, Минск, пр. Независимости, 79.

Историческая

ЭПИСТЕМОЛОГИЯ



Аллан Мегилл, уроженец Канады, степень бакалавра получил в Университете Саскачевана, степень магистра — в Университете Торонто, докторскую диссертацию защитил в Университете Колумбии (Columbia University) в Нью-Йорке.

Специализируется в области интеллектуальной истории и философии истории.

Преподавал в Университете штата Айова и в Австралийском

Национальном Университете. С 1990 г. — профессор Университета Вирджинии.

Самая последняя книга — Карл Маркс: Бремя Причины (Почему Маркс отверг политику и рынок). (Karl Marx: The Burden of Reason (Why Marx Rejected Politics and the Market) Rowman & Littlefield Publishers, 2002, 400 p.).

Живет с семьей в пригороде Шарлоттсвилля.

Книга американского историка Аллана Мегилла подводит итог многолетним исследованиям автора в области проблем исторической эпистемологии и одновременно предлагает контуры структуры того типа мышления, которое называют историческим. Показывая широкую панораму движения исторического познания от классического историзма Ранке, через спекулятивную философию истории и концепции истории школы «Анналов», через полемику между представителями исторической герменевтики и сторонниками модели охватывающего закона К. Гемпеля к идее «исторического возвышенного» Х. Уайта и «новому историзму», автор выявляет суть интриги развития истории как научной дисциплины с конца XIX века по настоящее время и вместе с этим специфику исторического дискурса в целом.

ISBN 978-5-88373-150-0



9 785883 731500